ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. Ф. КОСИНСКИЙ

# ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ВЕКА

YMCA-PRESS




ОСНОВАНА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

СЕРИЯ

# НАШЕ НЕДАВНЕЕ

12

YMCA-PRESS
11, Rue de la Montagne-Ste-Geneviève – 75005 - Paris

М. Ф. КОСИНСКИЙ

# ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ВЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ

1995

Подготовлено к печати И.А. Косинским

ISBN 2-85065-236-9
ISSN 1140-0854



Михаил Федорович Косинский
Фото М. Наппельбаума, 1928

*В самом начале века, в Кронштадте, в семье русского морского офицера, родились два мальчика — Мстислав и спустя три года Михаил.*

*Их отец погиб в Цусимском сражении, на броненосце, потопленном японским огнем. Судьбу сыновей — каждого по-своему — определила Октябрьская революция. Старший, Мстислав, избрал нелегальную эмиграцию на одиннадцатом году советской власти, жил во Франции и погиб в боях с немцами на французской земле в августе 1944 года.*

*А Михаилу была суждена долгая жизнь. Но жизнь эта оказалась страшной, потому что, имея возможность покинуть Россию в двадцатые годы, он остался на родине с матерью. Ему предстояло пройти через аресты, пытки, годы тюрем, концлагеря и ссылки. Его мать, ничего не зная о судьбе обоих сыновей, умерла в 1942 году, в совершенном одиночестве, голодной смертью. Участвуя в войне с гитлеровской Германией, получив боевые награды, Михаил мог надеяться, что после войны его оставят в покое. Однако его ждали новые преследования, издевательства и репрессии и в результате — тяжкая, неизлечимая болезнь. Ему не удалось создать семьи. За что же такая судьба? Действительно ли он был в чем-то виновен перед властями? Очевидно, нет, потому что после смерти Сталина, в середине 50-х годов, его трижды реабилитировали, то есть признали несостоятельными все предъявлявшиеся ранее обвинения.*

*Воспоминания, написанные им в конце жизни, местами захватывающе интересны. А в целом они приводят на память прозорливые и горькие слова русского поэта Волошина:*

*Разве я плачу о тех, кто умер?*
*Плачу о тех, кому долго жить.*

Иосиф Косинский*

---

* И.А. Косинский, двоюродный брат Михаила Федоровича Косинского (1904-1975), подготовивший публикуемые воспоминания к печати.

## *От автора*

Эти воспоминания не претендуют на привлечение сколько-нибудь широкого общественного интереса. Это личные, частные воспоминания человека, жившего в очень напряженное, иногда очень тяжелое время, которое принято считать очень интересным. Действительно, события, которые захватил автор воспоминаний, значительны. Конец русской монархии, Февральская и Октябрьская революции, становление советской власти, сталинская эпоха и Великая Отечественная война, послесталинский период... Эти события превосходят по своей значительности все то, что переживали люди в более спокойные «старые времена». Конечно, и раньше выдавались напряженные, насыщенные событиями эпохи. Были войны, революции, диктаторы и критические для многих народов ситуации, но, мне кажется, никогда еще на протяжении жизни отдельного человека не совершались такие большие и многочисленные перемены, сопровождавшиеся далеко и глубоко идущими последствиями.

Поскольку это, повторяю, личные и частные воспоминания одного человека, они, конечно, не могут быть объективными. Но они, по крайней мере, правдивы.

Ленинград, 1972



**Юзеф-Ян (в России — Иосиф Иосифович) Косинский, генерал-лейтенант российской армии, прадед автора воспоминаний. Фотография, 60-е годы XIX в.**

## *Глава 1. Род Косинских*

Вначале я хочу рассказать о своей семье. Она была по своему укладу типичной интеллигентской и трудовой, с незначительными остатками дворянского аристократизма, объясняющимися ее древностью.

Если начинать от самых истоков, придется привести такое дошедшее до моего поколения, едва ли достоверное предание. В 1109 году польский князь Болеслав III Кривоустый (историческое лицо) охотился на туров в Померании. В его свите находился немецкий рыцарь граф фон Биберштейн. Князь увлекся и тур сшиб его с коня. Князю грозила гибель от турьих рогов. Тогда граф фон Биберштейн, соскочив с коня, бросился на тура и схватил его за рога. Тур был убит, причем граф выломал у него один рог. В благодарность за спасение Болеслав Кривоустый пожаловал графу поместье и добавил в его фамильный герб (с изображением оленьего рога) рог тура, а герб получил название «Рога́ля».

Это, конечно, не более чем легенда, хотя ее и приводят некоторые очень старые генеалогические труды.* Любопытно, что, между прочим, известный писатель В.В. Вересаев (настоящая фамилия которого Смидович) сообщает в своих воспоминаниях о подобном же происхождении герба старинного польского дворянского рода Смидовичей: «...один наш предок спас на охоте жизнь какому-то польскому королю и за это получил в свой герб охотничий рог». Вероятно, легенда была очень распространенной среди польского дворянства. Некоторое подтверждение ее в отношении моих предков можно усмотреть в «пшидомке» (прозвище) Рогаля. Целый ряд польских родов — Рогаля-Левицкие, Рогаля-Рогалинские, Рогаля-Скульские и другие являются потомками Биберштей-

* Okolski S. Orbis polonus. Cracovia, 1641, II, 606-607.

нов и таким образом находятся в далеком родстве с Рогаля-Косинскими. В то же время Косинские другого герба (например, Косинские герба Равич) не имеют к нашей семье никакого отношения.

В Плоцком воеводстве Польши существовал ряд поместий — Косины Старе, Косины Вельке, Косины Капичне, Косины Барташове, — от названия которых происходит наша фамилия.

В польской историко-биографической литературе неоднократно упоминаются мой прапрадед, известный художник при дворе короля Станислава Августа, и его брат — профессиональный военный. Оба они родились в Кракове; их родителями были Михал Косинский и Марианна Ярачевская, вышедшая из семьи, давшей Польше немало государственных и военных деятелей.

По существу все, что написано о моем прапрадеде, художнике Юзефе Косинском, основано в первую очередь на сведениях, приводимых Эдвардом Раставецким в его «Словаре польских художников» 1850 года.*

Юзеф Рогаля-Косинский родился в 1753 году в Кракове, прошел курс обучения живописи у итальянского художника Бачиарелли (1731-1818) в варшавской королевской живописной мастерской и на протяжении конца XVIII - начала XIX вв. приобрел известность как миниатюрист, хотя работал и в области станковой живописи. Он был выдающимся масоном, по крайней мере с 1805 года — активным и почетным членом многих лож, и дошел до высшей, седьмой степени рита — «кавалер розового креста». Его жизненный путь завершился в Варшаве в 1821 году.

В нашей семье хранились три портрета его кисти: автопортрет, портрет жены Марии и портрет сына. Во время войны они находились в блокированном немцами Ленинграде и пропали. Из них в 1945 нашелся только один — портрет сына художника.

В Национальном музее в Варшаве хранятся сейчас три другие портрета, написанные моим предком: портрет национального героя Тадеуша Костюшко (1790), автопортрет, поступивший в музей в 1960 году и изображающий прапрадеда

* Rastawiecki E. Slownik malarzów polskich... Warszawa, 1850, I, 238.

в возрасте приблизительно сорока пяти лет, а также портрет жены художника, написанный в те же годы и приобретенный музеем в 1964 году.

Портреты, утраченные нашей семьей, изображали художника и его жену несколько более молодыми, чем хранящиеся в Варшаве.

Портрет единственного сына художника, относящийся к первым годам XIX века, висит передо мной на стене. Мальчик, которому было тогда приблизительно десять лет, изображен с книгой в руке. Поза его очень естественна, взгляд серо-голубых глаз обращен поверх книги к зрителю, как будто мальчик на минуту оторвался от чтения...

В самое последнее время в «Польском биографическом словаре», фундаментальном издании, выходящем отдельными выпусками, появилась небольшая, но строго документированная статья Анджея Рышкевича (сотрудника Института искусств Польской Академии Наук), посвященная моему прапрадеду, и в том же выпуске, статья другого автора, содержащая биографию его брата.*

Все, что мы знаем о жизни прапрадеда, говорит скорее о благополучии. Его талант художника получил признание и обеспечил ему большое число заказчиков, звание королевского придворного художника, награды. Он получил подготовку у крупного мастера и оставил нескольких учеников. В личной жизни его сопровождали красавица жена и сын. Если ему и пришлось покинуть родину и отправиться в далекое путешествие, то это было путешествие в Италию для совершенствования в живописи. Такие творческие поездки, как известно, только способствуют ощущению счастья.

Совсем иным представляется жизненный путь его младшего брата. Михал Косинский окончил Краковский университет и также обладал художественным талантом рисовальщика. Но еще юношей он вступил в ряды польской армии и провел почти всю жизнь в боях и походах. Он сражался во многих странах, от степей России до гор Испании. Последствия ранений и тяготы профессиональной военной службы заставили Михала Косинского «по слабости здоровья» выйти

---

* Ryzkiewicz A. "Polski Slownik Biograficzny", t. XIV/2, zeszyt 61, 1969, 215-216.Homola I.: там же, 220-222.

в отставку в невысоком чине полковника. Он имел боевые награды, польские и французские, а за подвиги находившихся под его командованием польских частей, входивших в наполеоновскую армию, император французов пожаловал ему титул «военного барона».

Будучи холостяком, всю свою личную привязанность он обратил на племянника — сына старшего брата.

Хронологически его жизненный путь выглядит так. Михал Косинский родился в 1773 году, семнадцати лет начал свою военную службу (кадетом в Королевском инженерном корпусе), а в 1794 году присоединился к восстанию и принимал участие в обороне Варшавы и ее предместья Праги. После подавления восстания он вступил в Польские легионы в Италии и с этого времени принимал участие во всех походах Наполеона в Италии, Испании, России, Германии и Франции. За испанский поход он был награжден в 1810 году Кавалерским крестом ордена «Виртути милитари», в 1811 году особенно отличился в обороне Кастеллон де ла Плана и награжден Кавалерским крестом Почетного легиона. Баронский титул был пожалован ему в 1813 году. Соответствующая грамота, подписанная Наполеоном в Риме 11 ноября 1813 года, хранилась в нашей семье до 1941 года. В этом году моя мать бежала в Ленинград из Стрельны (поселок под Ленинградом) от наступающих немецких войск и закопала ее под верандой стрельнинского дома, в котором жила. По возвращении с войны я пытался найти грамоту или то, что от нее осталось, в куче пепла и кирпичей разрушенного дома, но безуспешно. Моей матери к этому времени уже не было в живых.

Выйдя в 1817 году в отставку, Михал Косинский умер в Варшаве в мае 1835 г. Полученный от Наполеона Бонапарта титул он, будучи бездетным, завещал племяннику Юзефу-Яну, сыну своего старшего брата-художника. Юзеф-Ян к тому времени уже переехал в Россию и служил в русской армии.

У меня хранятся два портрета моего прадеда. На одном, написанном маслом его отцом, изображен изящный мальчик с тонким красивым лицом, в черном плаще, с книгой красного цвета в руках.* Другой портрет — фотография старого

* Об этом портрете уже была речь выше. После смерти автора мемуаров он был приобретен Эрмитажем и, насколько известно, в настоящее время находится там. (И.К.)

генерал-лейтенанта с лохматыми седыми бровями и в очках. На плечах густые эполеты, на шее и груди ордена. Несмотря на шестидесятилетний промежуток времени, разделяющий оба портрета, можно говорить о сходстве черт лица. Но, увы, это сходство, или вернее разница, позволившая сохраниться лишь некоторым общим чертам, рождает грустные мысли...

Мой прадед родился в 1793 году, который был годом тяжелых испытаний для Польши: 13 января этого года Россия и Пруссия подписали акт второго раздела этой многострадальной страны. Четырнадцати лет Юзеф-Ян, движимый чувством патриотизма, вступил в польско-французскую гвардию. От прадеда оставалась и хранилась у меня книга Сент-Илера «История императорской гвардии», изданная в Париже в 1847 году, с поправками и дополнениями, сделанными рукой прадеда в главе о польских уланах.

Юзеф-Ян Косинский женился в Варшаве и имел дочь Эмилию. Больше о первой жене его и дочери от нее я ничего не знаю. Ряд личных утрат постиг моего прадеда в этот период его жизни. Смерть матери и отца и, если верить семейным преданиям, развод с женой. Наконец, восстание 1830 года, вызвавшее в его душе разлад, под знаком которого он провел всю свою дальнейшую жизнь, конец которой, по рассказам родных, сопровождался черной меланхолией.

Известно, что значительная часть польской аристократии принадлежала к числу противников восстания. Да и многие другие образованные поляки, обладавшие солидным возрастом и житейским опытом, отдавали себе отчет в том, что борьба с могущественной Россией не может не окончиться поражением и утратой всех тех привилегий, которые к тому времени сохраняла Польша: собственных управленческих учреждений, собственной армии и прочих.

Польская молодежь была за восстание. Романтические настроения и горячий патриотизм этой молодежи, неоправдавшиеся расчеты на помощь извне и на революционное движение в России содействовали идее восстания и заставили значительную часть поляков взяться за оружие. Причем большую роль в неоправдавшихся надеждах играло наличие регулярной, кадровой армии в 55 тысяч человек, сохранением которой поляки были обязаны в значительной мере русскому великому князю Константину Павловичу.

Как и следовало ожидать, восстание было подавлено. Люди же наиболее дальновидные, не хотевшие усугубить несчастную судьбу своей родины, были заклеймлены позорными кличками «изменников» и «ренегатов», и многих из них постигла смерть от руки их же соотечественников.

Фридрих Смит в книге о польском восстании и войне 1830 и 1831 годов называет потери в людях для Царства Польского : 326 тысяч человек.* После подавления восстания объявленная Николаем I для успокоения амнистия выразилась только в том, что к участникам восстания не применяли смертную казнь. Сотни поляков были осуждены на каторгу, сосланы в Сибирь, записаны в солдаты. Тысячи семейств переселены в глубинные губернии России. Конфискованы имения активных участников восстания. Упразднена была автономия Царства Польского и конституция 1815 года, ликвидирован сейм, уничтожена армия, введена общерусская монетная система. В 1839 году были ликвидированы высшие учебные заведения в Польше, сокращено число гимназий, введена строгая цензура и т.д.

Вместо того, чтобы принять участие в восстании (разразившемся 29 ноября 1830 года) в составе гвардейского саперного батальона, в котором служил прадед, последний покинул родину и, подобно многим другим полякам, сопровождая великого князя Константина Павловича, оказался в России.

В декабре 1832 года он был произведен в полковники русской армии. В ближайшие за этим годы прадед женился вторично — на Марфе Филипповне Кузовлевой.

То обстоятельство, что его дядя, отставной полковник польских войск Михал Косинский, завещал баронский титул своему племяннику, очень знаменательно. Оно свидетельствует о том, что кадровый офицер, всю жизнь проведший в боях и походах польской армии (в том числе и в походах против России), понимал и сочувствовал своему племяннику в его отъезде из Польши. Если бы старый заслуженный польский солдат не одобрял поступка племянника, — он бы ни за что не передал ему титула, полученного от кумира поляков.

---

* Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов. СПб, 1864, т. 3, 721.

Указом Правительствующего Сената от 21 августа 1836 года полковнику Косинскому было дозволено принять завещанный ему баронский титул. В 1843 году мой прадед был произведен в генерал-майоры, а в 1861 — в генерал-лейтенанты. Его подпись встречается на ряде документов Артиллерийского департамента Военного министерства; любопытно, что вытянутая длинная линия начальной буквы «К», покрывающая у него всю фамилию, отличает также подписи моего покойного дяди Алексея Михайловича Косинского и мою.

Последние годы жизни прадеда были омрачены семейными неприятностями. Его дочь Елена Иосифовна Лихачева сделалась известной поборницей эмансипации женщин и приняла деятельное участие в организации Высших женских (Бестужевских) курсов.* Его единственный сын Михаил, которого он определил в Военно-инженерную академию, оказался исключенным оттуда из-за политических взглядов и всецело посвятил себя педагогической деятельности. Все это было очень не по душе старому николаевскому генералу. С сыном он порвал отношения и долго не хотел его знать. Примирение наступило, когда Михаил Иосифович сам уже был главой многодетной семьи.

Прадед умер в мае 1873 года в Петербурге, до конца своих дней не приняв православия и оставаясь католиком. В России он носил имя Иосиф Иосифович или Осип Осипович.

Задолго до моего рождения умер и дед — Михаил Иосифович Косинский. Но его жену, бабушку Надежду Владимировну, я помню очень хорошо. Когда она скончалась, мне было 12 лет. Ее воспоминания, как и вообще все, что я слышал и читал о дедушке, создали у меня представление о нем как о человеке необыкновенной чистоты, душевности и житейского мужества.

Дедушка родился в 1839 году в Киеве и с детских лет готовился отцом для военной карьеры. Окончив в 50-х годах курс в инженерном училище, он перешел в Николаевскую инженерную академию. Это не помешало ему стать в начале 1859 года одним из основателей бесплатной воскресной

* Н.А. Некрасов посвятил ей поэму «Мать» и еще одно стихотворение. Н.Н. Ге написал ее портрет (находящийся теперь в Государственном Русском музее).

школы — так называемой Таврической, первой в Петербурге и во всей России, где учились преимущественно рабочие и ремесленники самого различного возраста, стремившиеся к просвещению.

В 1861 году из инженерной академии был уволен подпоручик Никонов, уличенный в чтении нелегальной политической литературы. Сто двадцать семь товарищей Никонова, и в их числе мой дед, заявили протест против увольнения Никонова в форме подачи прошения об отставке. Император Александр II приказал отчислить всех сто двадцать семь офицеров от академии до окончания курса и прикомандировать их к саперным частям, расквартированным в провинции, для прохождения службы, с обходом при производстве в несколько чинов. Не прибыв к назначенному месту прохождения службы, мой дед был уволен в отставку.

В это время известный педагог К.Д. Ушинский, производя реформу всей учебной системы в Смольном институте и стремясь привлечь туда лучших педагогов Петербурга, посетил Таврическую школу. Он прослушал здесь урок геометрии, проводимый Михаилом Иосифовичем, и не замедлил пригласить его преподавателем арифметики и геометрии в Смольный институт.*

В эти годы Михаил Иосифович пережил еще одно событие, долго еще дававшее себя знать. Он женился на некоей Аргамаковой, принадлежавшей к русской дворянской семье. Брак этот был совершен из чисто филантропических побуждений и связан с деятельностью деда в Обществе милосердия, или Обществе попечения о бедных женщинах. Родные рассказывали, что дед состоял в обществе по спасению падших женщин, где, по уставу общества, его холостые члены должны были сами жениться на «падших женщинах», причем вопрос, кому следует принести эту жертву, решался жеребьевкой. Так и совершился этот брак. Конечно, эта чисто филантропическая затея не могла привести ни к чему хорошему. Очень скоро Михаил Иосифович развелся с Аргамаковой, но она до конца его жизни, по выражению родных, «висела н а н е м, как дамоклов меч». На счастье деда, от этого короткого брака не было детей.

---

* Водовозова Е.Н. На заре жизни. М., 1964, т. I, 528. См. также: Семевский М.И. Знакомые. СПб, 1888.

К концу 60-х годов имя М.И. Косинского как педагога и деятеля народного образования получило широкую известность. Новгородская земская управа пригласила его для организации сельского учительского съезда, а затем предложила организовать под Новгородом учительскую школу и заведовать ею. Школа открылась в 1869 году, а спустя немногим более двух лет дед был отстранен от должности как «человек крайне либеральный и в политическом отношении неблагонадежный» (эта формулировка принадлежит пресловутому III отделению «собственной его императорского величества канцелярии» и датирована 1872 годом).*

Как бы горько ни было читать это теперь, не следует забывать о некоторой наивности просветителей 60-х и 70-х годов прошлого столетия. Большое число деятелей в те годы только и говорили о «служении народу» и его просвещении. И Михаил Иосифович, сын генерала, барон и офицер, был одним из таких деятелей, воззрения которых теперь, сто лет спустя, вызывают у нас удивление.

Отдавая должное искренности, бескорыстию и самоотверженности этих людей, мы поражаемся прежде всего их очень упрощенному представлению о, скажем так, человеческой душе. Несколько утрируя, можно сказать, что просветителям казалось, будто достаточно понять начатки химии, биологии, весьма поверхностно усвоить гипотезу Дарвина — и загадки природы будут разрешены. Мало того: самоустранятся экономические и социальные противоречия и наступит некое земное царство справедливости. Если теперь мы с улыбкой говорим о доярках с высшим образованием и углекопах, освоивших дифференциальное исчисление, то в те времена наша улыбка была бы даже непонятна. Просвещение, притом в тогдашнем грубо материалистическом духе,** казалось абсолютным благом, некоей самоцелью. Не следует думать, будто все эти детские мечты не таили в себе опасности, — просто опасность не приходила в голову тогдашним культуртреге-

* О периоде работы М.И. Косинского в учительской школе интересно, со многими подробностями пишет его ученик П. Вересов в журнале «Русская старина», 1895, № 12, декабрь.

** «С ножом и огнем идут естествоиспытатели на природу, — едко замечал Герцен о современных ему натуралистах, — режут ее, жгут и после уверяют, что, кроме вещества, ничего не существует».

рам. Объективно она надвигалась, но только немногие — Герцен, Достоевский — видели ее.

Оставаясь за кулисами событий, что всегда было, есть и, вероятно, останется характерным для учреждений данного рода, III Отделение поручило добиться увольнения Косинского председателю Новгородской земской управы Фирсову. Можно даже судить о времени, когда такое поручение последовало. 11 мая 1872 года, в день выпуска учителей из школы, Николай Николаевич Фирсов обратился к выпускникам с речью, в которой благодарил Михаила Иосифовича за его деятельность. Но уже в июле отношение к деду резко изменилось. При проведении экзаменов Фирсов создал конфликт, в результате которого одному из преподавателей было предложено покинуть школу, а Михаил Иосифович был предупрежден об увольнении.

В связи с осуществленным в августе 1872 года увольнением деда в печати завязалась полемика вокруг этого инцидента — между либеральными «Санкт-Петербургскими ведомостями» и реакционным «Гражданином». В связи с сочувственной корреспонденцией, появившейся в первом из этих изданий, М.И. Косинский направил туда письмо, разоблачавшее методы земской управы и опубликованное 11 августа. Оказывается, 5 августа Фирсов пригласил одного из учащихся, который по болезни не мог держать экзамена в мае и которому, следовательно, экзамен еще предстоял. Фирсов объявил, что бояться экзамена ему не следует, его проэкзаменуют лишь для формы, и вообще этот учащийся «может ожидать всяких благ в будущем». Но вот вопрос: не давал ли ему Косинский книг из своей личной библиотеки, — а если не ему, то другим ученикам? И не было ли среди этих книг сочинений Чернышевского? Когда выяснилось, что вообще-то учащиеся брали книги из библиотеки Косинского, но ничего недозволенного в числе этих книг не было, Фирсов начал выражать лицемерное огорчение по поводу отстранения Михаила Иосифовича, внушая ученику вместе с тем, что «так нужно», что было необходимо «спасти школу от человека польского происхождения, весьма коварно подрывающего в учениках верноподданнические чувства и преданность России». Охваченный негодованием, ученик тотчас же появился у моего деда и передал ему, «в сильном волнении, —

как пишет Михаил Иосифович, — этот инквизиторский разговор. Комментариев к нему не надо».

Покинув Новгород и возвратившись в Петербург, мой дед еще некоторое время продолжал попытки работать в области народного образования. По приглашению земств других губерний, он руководил летними учительскими курсами в Курске, Нежине, Череповце... В 1873 или 1874 году он поступил в Исправительный совет при Тюремном замке в Петербурге воспитателем малолетних преступников, вскоре был избран председателем совета, — но и эту деятельность ему пришлось в 1875 году оставить вследствие столкновения с тюремной администрацией.* Михаил Иосифович перешел работать в таможенное ведомство, причем вынужден был покинуть Петербург. Последние годы жизни он провел в Ревеле, будучи служащим эстляндской таможни.

Михаил Иосифович скончался 4 декабря 1883 года, в возрасте сорока четырех лет. Тело его было перевезено в Петербург и похоронено на Волковом кладбище.

Вторым браком мой дед был женат на Надежде Владимировне Конюховой (1844–1916). У них было девять человек детей — три дочери и шесть сыновей, один из которых умер в раннем детстве. Надежда Владимировна — прекрасный, чистый человек, верный друг Михаила Иосифовича, после смерти мужа продолжала его дело, основывая небольшие частные школы и преподавая в них.

Михаил Иосифович и Надежда Владимировна принадлежали к тому поколению русских интеллигентов, которое вошло в историю под именем «люди шестидесятых годов», или проще — «шестидесятники». Безудержное стремление к просветительской деятельности среди народа сочеталось у них с крайней житейской непрактичностью, — это были, как говорится, «люди не от мира сего». Притом у моего деда эти черты характера присутствовали в наиболее законченной и обнаженной форме, — достаточно взглянуть на его портрет, с которого смотрит такое незащищенное, такое одухотворенное лицо! В моей памяти сохранилось также стихотворение, написанное Михаилом Иосифовичем и как нельзя лучше вы-

---

* Подробности см. у В.Н. Никитина (Воспоминания. Журн. «Русская старина», 1907, № 2, февраль).

ражавшее его жизненные принципы. Там были, например, такие строки: «Друг, шествуй жизненной стезёю, участье всюду расточай, страдальца облегчи слезою (!), малютку научи, ласкай. Содействуй счастью всех, кого ни встретишь, и счастье сам тогда найдешь, дней испытанья не заметишь и жизнь счастливо проживешь!»

Увы, в действительности далеко не счастливо сложилась жизнь не только самого Михаила Иосифовича, но и его большой семьи.

Смерть деда была, безусловно, ускорена таким событием: его старший сын, семнадцатилетний гимназист 6-го класса Ревельской гимназии Иосиф Косинский, однажды утром был найден в парке с раной головы, в бессознательном состоянии. Рядом лежало бездыханное тело его гимназического товарища Лесникова — с простреленным сердцем. Иосифа удалось вернуть к жизни, но история эта (дело было осенью 1883 г.), наделавшая много шуму, так и осталась до конца не выясненной. Да и едва ли семья моего деда была заинтересована в ее полном выяснении. По-видимому, оба гимназиста были вовлечены в подпольный кружок террористов, не смогли — или не захотели — выполнить какое-то возложенное на них поручение и решили покончить с собой. Лесников выстрелил первым, ранил в голову товарища, а себе пустил пулю в сердце.

Результатом было исключение Иосифа Косинского из гимназии, — как тогда говорили, «с волчьим паспортом». Завершить среднее образование он так и не смог: где-то служил, чем-то занимался, но, видимо, с подпольным движением не порывал. Уже после смерти отца, Михаила Иосифовича, в начале или середине 90-х годов Иосиф был сослан в Тобольскую губернию. Непрерывные удары судьбы, невозможность вырваться из заколдованного круга несчастий сделали свое дело. Он начал пить.

Прошло несколько лет. Когда после долгих хлопот все же удалось вернуть его из ссылки в Петербург, страшный недуг уже глубоко пустил корни. Периоды запоя участились, служба не ладилась; из дома стали все чаще пропадать вещи.

На глазах родных погибал прекрасный, тонкой души человек. Внешний облик его (судя по фотографии) был очень приятен — он чем-то напоминал молодого Чайковского; к

тому же был, даже по отзывам специалистов, изумительный музыкант.

И вот наступила развязка. Конечно, вернувшись из ссылки, он находился под «негласным» надзором полиции (о чем охотно, за 3 рубля, сообщали самому поднадзорному в старое время дворники); временами это приводило его в бешенство, он целыми днями отказывался выходить из дому... Стоял июнь 1901 года. Иосиф жил летом с родными, снимавшими дачу под Петергофом (пригород Петербурга). Однажды он не вернулся вечером со службы, из Петербурга, а наутро в доме появился жандармский офицер и рассказал, что накануне дядя обратил на себя внимание сыщика, который сел с ним в один вагон и неотступно наблюдал за ним до самого Петергофа (здесь слежка была особенно строгой, поскольку царское семейство и двор, как известно, лето всегда проводили в Петергофе). Дядя, видимо, это заметил. Выйдя на станции Новый Петергоф, он направился не налево, в сторону дачи, а направо, к дворцам, начал петлять, чтобы сбить сыщика с толку, — и кончил тем, что в Английском парке близ Старого Петергофа, при стуке приближающегося поезда, обернулся, погрозил сыщику кулаком, пропустил паровоз — и бросился под первый вагон. Его тотчас же ударило подножкой в висок и отбросило на насыпь. Он был мертв, но... свободен.

Вернемся в 80-е годы. После смерти Михаила Иосифовича осиротевшая семья перебралась в городок Старая Русса. Здесь Надежда Владимировна открыла школу, преподавать в которой ей помогала старшая дочь Надежда.

Очень одаренная, прекрасно владевшая роялем, Надежда была помощницей матери во всем, а это «все» было очень нелегким. Средств на содержание большой семьи не хватало — ведь дедушка умер, не оставив буквально ничего.

В Старую Руссу приехала подруга Надежды Владимировны по Мариинскому институту, с мужем и двумя детьми. Это была «передовая», как тогда говорили, женщина. Она разъезжала по Европе, пропагандируя различные русские кустарные изделия, — а может быть, и не только их. Упросив Надежду Владимировну взять на некоторое время на ученье и пансион ее детей, подруга отправилась в Лондон. Ее муж, инженер Логин Корвин-Погосский, остался с детьми.

Надежда Михайловна не была красавицей, но, в придачу к различным талантам, она обладала привлекательностью, обаянием, — и у нее возник серьезный роман с Погосским. Для него, католика, развод с женой был почти невозможен. Они нашли выход в том, что уехали, фактически бежали, в Америку.

Надежда исчезла из Старой Руссы внезапно — вместе с Погосским и его детьми, оставив матери, Надежде Владимировне, письмо, — можно себе представить, какую сенсацию вызвало это событие в маленьком городишке, какие сплетни и слухи пошли кругом! В неистовом горе мать прокляла бедную Надежду.

Через некоторое время из Америки, из Флориды, начали приходить нежные письма. Надежда умоляла мать простить ее. Писала, как счастливо, дружно живут они с мужем: сами построили очаровательный домик, насадили деревьев, развели хозяйство. Погосский хорошо рисовал и прислал впечатляющий рисунок усадьбы и дома. Но эта счастливая жизнь продолжалась недолго. Дом сгорел, и через несколько дней после пожара Надежда умерла от ожогов, в страшных мучениях. В письмо, сообщавшее об этом, Корвин-Погосский вложил рисунок ее могилы на чужбине.

## *Глава 2. Отец*

Мой отец, Федор Михайлович, родился 16 августа 1870 года. Рождение его совпало с одним из самых счастливых периодов жизни деда — с периодом наибольшей его популярности, расцвета его педагогической деятельности.

Когда отец, во время разразившейся русско-японской войны, ушел в свое последнее плавание с эскадрой адмирала фон Фелькерзама, мне было три месяца, и я не мог сохранить никаких воспоминаний о нем. Но вот что известно по воспоминаниям близких, документам, литературным произведениям отца, которые печатались в конце прошлого века в журнале «Вокруг света», в издаваемом отцом для матросов «Баковом вестнике» и выходили отдельными изданиями.

Осенью 1890 года мой отец окончил Морской кадетский корпус в Петербурге и был произведен в мичманы (в то время — первый флотский офицерский чин, обозначавшийся одной маленькой звездочкой на погонах с одним просветом). В корпусе учился в это время его младший брат Алексей, в дальнейшем тоже военный моряк.

В годы обучения в корпусе отец познакомился с совсем молоденькой институткой Патриотического института Жозефиной-Фелицей Доманской. Она была чистокровной полькой. Ее отец, Иосиф Доманский, был военным в чине подполковника. В ранней молодости, во время Крымской кампании, он из Польши, где воспитывался теткой, отправился добровольцем на войну и под Севастополем был ранен в голову, но не оставил военной службы. Ввиду ранения ему было разрешено при парадной форме носить не тяжелый кивер, а фуражку.

...Мама рассказывала мне, что, познакомившись с отцом, она полюбила красивого и бравого морского кадета. В институте, оторванная от семьи, она часто мечтала о браке с ним.

Она говорила, что часто ночами, просыпаясь, она плакала, так как эта мечта казалась ей несбыточной.

В 1899 году отец приехал к родным матери просить ее руки. После свадьбы они поселились в Кронштадте и дружно зажили в скромной квартирке. Это был брак по взаимному влечению, без тени какого-либо расчета.

Первый их ребенок родился мертвым. Мама говорила, что это произошло из-за ее неудачного падения. Второй сын, Мстислав, родился в 1901 году. Третий, Михаил, родившийся 7 (по старому стилю) июня 1904 года, — автор этих воспоминаний.

Отец в глазах мамы всегда был и остался после смерти самым дорогим и самым уважаемым человеком. Это отношение к нему передалось и нам, его детям.

Отец начал службу в Кронштадте, в 5-м флотском экипаже, мичманом. В 1892-93 годах он совершил свое первое заграничное плавание на крейсере I ранга «Генерал-Адмирал» — железном полуброненосном фрегате постройки 1873 года. Выйдя из Финского залива, крейсер обогнул Европу, прошел на юг вдоль побережья Африки, затем повернул на север, прошел мимо обеих Америк и возвратился в Кронштадт. В 1894-95 и 1896-97 годах отец дважды повторил это плавание на том же крейсере. Перед последним плаванием он произведен в лейтенанты. По возвращении, в 1897 году, он, как офицер превосходно владевший французским языком, был приставлен к президенту Французской республики Фору, прибывшему в Петербург с целью укрепления союза с Россией. Президент наградил отца кавалерским крестом ордена Почетного легиона. Это был третий орден Почетного легиона в нашей семье. Первый получил от Наполеона I мой прапрадед Михал Косинский, второй, с бурбонскими лилиями, — прадед Иосиф Косинский, и третий, уже с «Марианной», — отец.

В 1898-99 годах отец участвовал еще в одном заграничном плавании, но уже на парусном крейсере «Разбойник». Не довершив его до конца, из-за резкой ссоры с кем-то из начальства, отец в Вальпараисо списался с корабля, совершил путешествие через южноамериканский материк, прибыл в Буэнос-Айрес, отсюда на пассажирском пароходе отправился в Западную Европу и через нее вернулся в Россию, чтобы повенчаться с моей матерью.

В первые годы нашего столетия отец служил в Кронштадте и командовал маленькими номерными миноносцами, в частности под номерами 130 и 137.

У меня сохранились фотографии: Атлантический океан, палуба «Разбойника», раскрытый атлас, лежащий прямо на палубе, над ним — отец, окруженный матросами, которые сидя и стоя рассматривают карту в атласе; 14 октября 1901 года, палуба миноносца № 137, и на ней, в группе матросов, — мои родители. Считая моего отца, командира этого миноносца, здесь всего двадцать моряков — по-видимому, вся команда.

Отец добровольно отправился на войну с Японией. Он пошел на эскадренном броненосце «Ослябя» флаг-офицером младшего флагмана 2-й Тихоокеанской эскадры адмирала фон Фелькерзама. Уходя, отец оставил матери четыре запечатанных конверта, надписанных: «Вскрыть в случае моей смерти». Эти письма были адресованы маме, моему старшему брату Мстиславу, когда ему исполнится десять лет, мне и моей крестной матери — русской великой княжне, греческой королеве Ольге Константиновне.

В этих письмах, по крайней мере в тех, которые отец адресовал своей семье и которые долго хранились у нас, он оставлял ряд жизненных советов, как бы заповедей, и объяснял причины своего ухода на войну. Он писал, что хотя и имел возможность остаться в Кронштадте, однако не мог этого сделать: он считал долгом воевать за свою родину, а не отсиживаться за тысячи верст от тех мест, где русские люди проливают за нее кровь. «Я не оставляю вам ничего, — писал отец брату и мне, — кроме честного имени. Косинских ни лгунов, ни воров не было». Многие, продолжал он, увлекаются революционными веяниями, однако веяния эти очень неопределенны, и трудно судить, принесут ли они действительное благо народу. Между тем, служение благу народа — долг каждого честного человека.

Уже в недавнее время мне привелось ознакомиться с любопытными воспоминаниями лейтенанта А.В. Витгефта о походе 2-й Тихоокеанской эскадры, опубликованными в 1960 году в журнале «Исторический архив». Витгефт был младшим минным офицером на броненосце «Сисой Великий». Он пишет, что адмирал Фелькерзам «входил решительно во все мелочи судовой жизни и обучения, причем проявлял всегда

редкий здравый смысл и прямо-таки энциклопедические знания»; с этой оценкой, насколько мне известно, безусловно мог бы согласиться и мой отец. Кстати, Витгефт упоминает и о нем: «Насколько Фелькерзам был дееспособен, — читаем далее в той же публикации, — настолько же и его штаб, немногочисленный по составу, но хорошо подобранный, за исключением флагманского штурмана полковника Осипова, который всегда был велик на словах и мал на деле... Что бы ни случилось, даже не относящееся вовсе до его специальности, — постоянно, по его словам, оказывалось, что он это предвидел и будто даже предупреждал, но его умным советам не следовали... Кроме Осипова в штабе адмирала состояли: старший флаг-офицер барон Косинский и младшие — мичманы Трувеллер и светлейший князь Ливен. Барон Косинский... если и был, судя по отзывам, раньше человеком с пороками, за что был однажды даже списан, кажется с «Разбойника», едва ли не по настоянию кают-компании, однако на «Сисое» он оказался очень милым, доступным для всех человеком, быстро сошедшимся с кают-компанией (то есть со всем офицерским составом броненосца), и в то же время разумным и талантливым помощником адмирала, ведущим штабные дела просто, ясно и без излишней переписки».

Из воспоминаний Витгефта можно сделать вывод, что мой отец в составе штаба фон Фелькерзама находился на броненосце «Сисой Великий» и только непосредственно перед началом боевых дйствий эскадры перешел на «Ослябю».

Отправление на Дальний Восток 2-й эскадры было вполне разумно в начале войны, однако формирование ее и организация похода затянулись на целых восемь месяцев. Эскадра вышла из Либавы только 2 октября 1904 года; к этому времени русские морские силы на Дальнем Востоке давно уже прекратили сопротивление и почти полностью погибли.

В ночь с 8-го на 9-е октября в Северном море произошел так называемый «гулльский инцидент», наделавший много шуму. Некоторые корабли эскадры, проходя через рыболовный район Доггер-банки, открыли огонь, считая себя атакованными японскими миноносцами. Это привело к потоплению одного рыболовного судна и повреждению пяти других, причем два английских рыбака было убито и шесть ранено.

В крейсер «Аврора» (это была та самая впоследствии прославившаяся «Аврора») тоже попало несколько малокалиберных снарядов, на ней был смертельно ранен судовой священник и легкое ранение получил один из матросов. Все это дало повод ко всяким безответственным высказываниям в прессе, иногда к прямой клевете, к которой, кстати, впоследствии присоединился советский писатель Новиков-Прибой в своей очень недобросовестной книге — романе «Цусима». Фактическая же сторона события до сего дня остается неясной. Миноносцы, вызвавшие открытие огня, похоже, действительно были. Только они, конечно, были не японскими и приблизились к эскадре без враждебных намерений, а просто необдуманно увлекшись разведочной службой.

А.В. Витгефт, который во время гулльского инцидента был на «Сисое Великом» вахтенным начальником, излагает начало этого происшествия так: «...сигнальный кондуктор Повещенко и прислуга 47-мм орудия левого крыла мостика закричали в один голос: "в лучах прожекторов I-го отряда броненосцев виден четырехтрубный миноносец", а затем несколько голосов закричало вдобавок: "правее его еще один миноносец". ...Я уверен, что миноносцы были, так как не могли одновременно ошибиться Повещенко и прислуга орудия. Принять рыбачьи суда за миноносцы они не могли, так как четырехтрубных "рыбаков" не было». Витгефт предполагает, что не исключено было появление именно «японских миноносцев», но, конечно, не пробравшихся в европейские воды из самой Японии, а «купленных на частных заводах в Англии».

Так или иначе, гулльский инцидент очень тяжело отразился на вере личного состава эскадры в успех похода и в значительной мере подорвал авторитет командующего эскадрой — адмирала Рожественского, который был человеком знающим, дельным и решительным, но крайне несдержанным в проявлении своих чувств и склонным к самодурству.

Интересно привести высказывание самого Рожественского, относящееся к этому времени. Одна английская газета писала в угрожающем тоне, что Англия в состоянии сосредоточить 24 броненосца, чтобы преградить дорогу «эскадре бешеных собак». Прочитав это, Рожественский не без горького остроумия сказал: «Вот чудаки, нашли чем пугать, ведь

для нас важны первые четыре броненосца, с которыми нам пришлось бы драться. А будет ли их еще 20 или 120 — уже безразлично». Очевидно, Рожественский считал свою эскадру слабее четырех боеспособных английских броненосцев. А ведь в конце беспримерного похода ее ждал весь японский флот.

Отец, начиная со дня выхода эскадры из Либавы, посылал матери подробные письма, по которым хотел, в случае своего благополучного возвращения, написать книгу о походе. Эти пронумерованные отцом письма хранились у нас и пропали в годы Великой Отечественной войны. В 1935 году я посылал их писателю Новикову-Прибою, он сделал из них выписки и вернул письма мне. Может быть, в его архиве и сохранились эти выписки из писем отца.

К походу эскадры как таковому отец относился отрицательно. Он с самого начала не только не верил в победу, но и не особенно надеялся сохранить жизнь и вернуться. Это настроение пронизывало и его письма.

Еще до ухода эскадры отец получил письмо от своего младшего брата Алексея, также морского офицера, командовавшего в Порт-Артуре миноносцем «Статный». В этом письме Алексей Михайлович Косинский с горечью и раздражением писал о наших военных неудачах. Я помню одно место из этого письма, долго хранившегося в нашей семье: «Мы оказались хуже испанцев и китайцев», то есть отстали в военном деле сильнее, чем эти самые тогда отсталые государства, незадолго до того потерпевшие поражение в морских войнах с Японией и США.

Адмирала Рожественского, командовавшего 2-й Тихоокеанской эскадрой, отец считал самодуром, совершенно не способным выполнить возложенную на него задачу. Совсем иначе относился он к своему непосредственному начальнику, контр-адмиралу фон Фелькерзаму, — однако тот был старым и больным человеком. Адмирал фон Фелькерзам не дожил до боя. Захворав в апреле, он умер 11 мая 1905 года, и цинковый гроб с его телом пошел на дно вместе с броненосцем «Ослябя».

Эскадру, кое-как сформированную и состоявшую из кораблей, различных по ходу и вооружению, старых и новых, отец считал обреченной на верный разгром. Ему думалось, что только какая-нибудь героическая авантюра могла бы прине-

сти ей победу над врагом или, по крайней мере, спасти от поражения. Но Рожественский не был способен на авантюру, пусть даже героическую.

Дальнейшие перипетии похода только усугубляли печальные предчувствия. Из бухты Ван-Фонг отец писал, что упадок дисциплины на эскадре дошел до предела. Офицеры, большинство которых также не верило в благополучный исход, предались пьянству. Он писал, что даже не заходит в кают-компанию броненосца, чтобы не встречаться со своими товарищами. В свободные минуты он общается только с матросами и в этом находит необходимый моральный отдых.

Однако затянувшийся беспримерный поход заканчивался. «Беспримерный» следует понимать буквально: ни одна паровая эскадра не совершала подобного плавания, многие моряки даже не верили в возможность его осуществить. Но решительность и организационный талант Рожественского преодолели все трудности. Эскадра сожгла более полумиллиона тонн угля и прошла 18 тысяч миль.

И вот наступил роковой день 14 (27) мая 1905 года. Эскадра вступила в Корейский пролив. Здесь ее встретили японские корабли и произошел жестокий бой, окончившийся полным разгромом русских. Ширина Корейского пролива — около 150 километров. Посреди его лежит довольно большой остров Цусима, именем которого и названо сражение, хотя оно происходило в совершенно открытом море.

Первым кораблем, погибшим в этом бою, был как раз эскадренный броненосец «Ослябя», на котором находился мой отец. С самого начала линейного боя он оказался под тяжелым обстрелом. По броненосцу стреляли главным образом броненосные крейсера адмирала Камимуры, — впрочем, вероятно, первое время и некоторые корабли Того также вели по нему огонь. «Ослябя» почти сразу получил тяжелые повреждения в носовой части, а вскоре последовал смертельный удар. Так как японцы в Цусимском бою стреляли только фугасными снарядами, которые вовсе не пробивали броню, то предполагают, что один или два снаряда, разорвавшихся у борта, сорвали с болтов целую броневую плиту. Открылась гигантская пробоина, «на тройке можно было въехать», как вспоминал очевидец. Вода хлынула внутрь корабля. «Ослябя» вышел из строя, лег на обратный курс и остановился.

«Он, — как пишет участник Цусимского боя В. Кравченко в своих воспоминаниях («Через три океана», СПб, 1910), — зарылся носом, начал ложиться на левый борт; показались, коснулись воды отверстия труб, обнажился беспомощно вертевшийся в воздухе правый винт; люди, вначале прыгавшие с борта в воду, тут уж неудержимо посыпались как горох с разных мест палубы, из люков, и тотчас же в таком положении, не перевертываясь килем вверх, корабль пошел ко дну».

Момент гибели «Осляби» через 50 минут после начала боя, совпавший с выходом из строя флагманского «Суворова», командующий японским флотом адмирал Того в своем донесении отметил так: «Сражение выиграно нами».

Русские корабли пытались спасать тонущих. «В эту кашу плававших, барахтавшихся людей врезались миноносцы "Буйный", "Бравый", "Быстрый", давая то передний, то задний ход, они спасали гибнувших», — вспоминает В. Кравченко. Но моего отца не было среди спасенных. Он был ранен еще в самом начале боя, однако продолжал находиться на палубе. Его вестовой Яков Пуль спасся, вернулся в Россию и впоследствии неоднократно бывал у нас. От него мы знаем о последних минутах жизни отца. Вестовой уверял, что пытался помочь отцу уже в воде, но тот так и не выплыл...

Он ушел из жизни тридцати четырех лет. После него осталось около восьмидесяти напечатанных литературных произведений — рассказов, очерков, стихотворений. Знают о них очень немногие.

## *Глава 3. Мои родные*

Мне остается написать о младших братьях и сестрах моего отца. Две его сестры и три брата окончили свой жизненный путь уже после Октябрьской революции, и я их хорошо знал. О них еще неоднократно придется упоминать.

Брат моего отца Константин Михайлович Косинский родился в сентябре 1872 года. Это был период жизни деда, который можно назвать кульминацией его несчастий. Константин Михайлович окончил гимназию в Новгороде, Военно-медицинскую академию в Петербурге и в 1897 году был выпущен из академии врачом во флот.

Но... я не любил этого дядю и поэтому не считаю себя вправе высказывать личные суждения о нем. Что касается его жизненного пути — по крайней мере до двадцатых годов нашего века, — он подробно предстает перед нами в воспоминаниях дочери Константина Михайловича — Ольги Константиновны Клименко. Обратимся опять к ним.

«Если бы мы могли выбирать себе родителей, — пишет Ольга Константиновна, — я бы его не выбрала себе в отцы.

...Прежде всего — это был поразительный музыкальный талант. Никогда более я не видела подобного самородка в этой области. Необыкновенная музыкальная память, природная сила кисти и природная техника. Придя с какого-нибудь концерта, он садился за рояль и играл то, что только что слышал — в любой тональности, попутно импровизируя и иногда изображая, как тот или другой известный пианист исполняет это музыкальное произведение: как эту вещь играет Гофман или, скажем, Падеревский.

Кроме того, он сам сочинял прекрасные вещи. Сидя просто за столом, даже не наигрывая на инструменте, он быстро-быстро переносил на нотную бумагу все звуки и мелодии, которые рождались в его голове. Слух у него был абсолютный.

Но этого было мало. Настоящим художником он становился, когда играл на виолончели. У него был прекрасный инструмент (Амати?), и летними вечерами на веранде дачи он играл самозабвенно. С детских лет я помню, что по вечерам в нашем доме всегда устраивались трио, квартеты и квинтеты. (Кстати сказать, эти "квартеты", т.е. "сборища музыкантов", впоследствии, в 1929 году, сыграли роковую роль в аресте и заключении его вместе с младшим братом Алексеем в Соловки).

Однокашником моего деда Михаила Иосифовича Косинского по Инженерному училищу был известный в дальнейшем композитор Цезарь Кюи. Конечно, он помог бы такому талантливому юноше, сыну своего товарища, получить настоящее музыкальное образование. Но по окончании гимназии, на семейном совете с участием богатых теток — Буяльской и Лихачевой, — было решено устроить его в Военно-медицинскую академию. Ибо профессия музыканта — дело ненадежное и неверное, а доктор всегда при желании будет материально обеспечен. Средств для музыкального образования не было, а денежная зависимость от богатых теток — была. Пришлось подчиниться...

Увы, он совершенно безучастно и равнодушно относился ко всему, что не было музыкой. Все горести и радости, сопровождающие человеческое существование, как бы скользили мимо него. Это была какая-то разновидность эгоизма — не подпускать к себе по возможности никаких волнений.

Он был прекрасно воспитан и в обществе признан, как говорят французы, подлинным "charmeur'ом". Чужие люди, его пациенты и знакомые, считали его прекрасным, добрым, отзывчивым человеком, — а я не помню ни одного хотя бы маленького подарка, ни одной игрушки, которую бы он купил мне, своей дочери.

Он был прекрасным рассказчиком. Ему необходимо было общество — музыканты, коллеги, слушатели. Дома он делался скучным, молчаливым, скупым до мелочности, ко всему равнодушным, ходил небрежно одетым, в домашних туфлях и с упоеньем читал романы Шеллера-Михайлова.

Вот с этим-то человеком встретилась моя мать — умная, очаровательная, хорошо образованная женщина, очень добрая, хотя и очень вспыльчивая, веселая, жизнерадостная. Когда

они поженились, ей было 19 лет. Любил ли он ее? Думаю, по-настоящему любить кого бы то ни было он вообще не мог, не умел. Перед этим он просил руки племянницы адмирала Рожественского — Мэри Саблиной, но получил отказ. Это резануло по самолюбию, и, вероятно, брак его с моей матерью был то, что называли браком par dépit— вроде брака по расчету и немного из мести.

После свадьбы в церкви лейб-гвардейского Павловского полка — на Марсовом поле в Петербурге — молодые сразу уехали в Кронштадт, и вот здесь 1899 года мая 29 дня у младшего лекаря Кронштадтского морского госпиталя барона Константина Михайловича Косинского и законной жены его Веры Семеновны урожд. Князевой родилась дочь Ольга — то есть я.

(До сих пор мне кажется, что ужасно странно звучит сочетание этих слов и понятий, стоящих за ними: "младший лекарь" и "барон". Думаю, что во всей царской России такого странного сочетания профессии, должности и происхождения, как у моего отца, — ни у кого больше не было)».

Ольга Константиновна рассказывает в своих воспоминаниях, что ее отец должен был принять участие в злосчастном походе русской эскадры адмирала Рожественского на Дальний Восток — врачом на плавучей мастерской «Камчатка». Должен был, но...

«На царском смотру перед отходом эскадры Николай II во время посещения "Камчатки" в виде укора или совета сказал отцу, что лучше перекрасить помещения лазарета в белый цвет — вместо серого, в который лазарет был почему-то окрашен. "Есть, ваше величество, — ответил отец, — как только кончат с окраской боевых кораблей, нас сразу же перекрасят". Царь отошел — и в этот момент отец почувствовал, что кто-то с силой схватил его за шитый серебром воротник мундира и отбросил в сторону. "Мерзавец, на десять дней на гауптвахту!" — услышал он бешеный шепот Рожественского. Через час отца отвезли на кронштадтскую гауптвахту. Окно в камере было разбито, холодный октябрьский ветер врывался в него. Отец, еще дрожа от обиды и оскорбления, лег на койку и пытался прийти в себя и уснуть. К вечеру у него поднялась температура, а наутро его пришлось положить в лазарет. Он проболел шесть недель крупозным воспалением легких.

Эскадра тем временем ушла. В этом виден перст судьбы: "Камчатка" погибла, ни один человек не спасся с нее».

О судьбе Константина Михайловича я еще буду говорить.

Следующим сыном моего деда был Владимир, проживший всего два года (1876-1878). За ним следовал пятый сын деда, Михаил Михайлович, — он родился в 1877 году и умер, по-видимому, в 1938-м. Это был, как считалось, самый неудачный — и неудачливый — сын Михаила Иосифовича. Человек он был неплохой, но странный. В психике его было что-то неладно.

Он был, что называется, «религиозен». Ходил в церковь, дружил с духовенством и мечтал о духовном сане. Мечтал о том, что когда примет священство, то по церковному обычаю возьмет имя Милий, которое его очень умиляло. Некоторые свои фотографические портреты он «дорисовывал»: свое безбородое лицо снабжал окладистой бородой, на голову надевал клобук, а фигуру облекал в рясу, украшенную наперсным крестом.

В молодости он издал книжку «Голос совести русского православного молодого человека». У меня она некогда была, но сейчас я не нашел ее даже во втором по значению книгохранилище нашей страны — ленинградской Публичной библиотеке.

Михаил Михайлович отличался незлобивым, но очень неровным характером. Помню, как, бывало, в двадцатые годы, во времена преследований священников и монахов, он с умилением говорил об их святости, превозносил их «подвиг». А через несколько часов бранил их на чем свет стоит: «Все попы мерзавцы, жулики, пройдохи!» Михаил Михайлович обладал слабой тенью тех действительно незаурядных дарований, которыми владели его близкие. Так, он играл на скрипке, — но очень плохо. У него было несколько альбомов с карандашными зарисовками тех мест, где он жил. Эти рисунки были совершенно детскими.

Когда-то он отбывал военную службу вольноопределяющимся. Потом служил в акцизе и одновременно преподавал пение в петербургских школах, — в частности, в реальном училище и гимназии Гуревича и Губинского. Сам перекладывал на музыку стихотворения, которые и разучивал с учениками. В этот период жизни и застала его Октябрьская революция...

Всю жизнь Михаил Михайлович прожил холостяком. Попытки родных, главным образом сестер, женить его всегда оканчивались неудачей.

«Натасенька» — так ласково называли в нашей семье тетю Наташу — Наталию Михайловну Косинскую. Она родилась в 1878 и умерла в 1946 году в городе Куйбышеве (Самаре), куда она была сослана вместе с братом Михаилом, погибшим, по-видимому, в тюрьме восемью годами раньше.

Наталия Михайловна не отличалась красотой внешней, что, вероятно, и явилось причиной того, что она не вышла замуж. Но зато она отличалась великой скромностью и редкой добротой. Кажется, все окружающие любили ее за эти качества.

Дорогая Натасенька, с болью и любовью вспоминаю Тебя. С любовью — за твои человеческие качества, с болью за людей, отнесшихся так несправедливо к Тебе.

Что, кроме этого, можно написать о ней?

Окончив Екатерининский институт в 1896 году, Наталия Михайловна до Октябрьской революции работала скромной служащей в столичном Съезде мировых судей.

Полной противоположностью ей являлась ее младшая сестра Мария Михайловна (1879-1923). Хорошо помня Марию Михайловну, я все же знаю ее меньше, чем Ольга Константиновна Клименко, которая подробно рассказала о тетке в своих воспоминаниях.

Она характеризует Марию Михайловну так: «Внешне — высокая, породистая, похожая на англичанку, как теперь говорят, "организованная", аккуратная, с очень властным и каким-то ледяным характером. Блестяще образованная — она окончила Екатерининский институт, потом Бестужевские курсы. В совершенстве владела тремя языками, несколько раз бывала и подолгу жила за границей. Всегда одевалась у дорогих портних — очень строго и эффектно. Была убежденной сторонницей женского равноправия — всегда работала. Долгое время была личным секретарем крупного петербургского заводчика — старика Сан-Галли (который, кажется, был в нее влюблен), затем преподавала литературу в женской гимназии кн. Оболенской (ныне — школа имени Н.К. Крупской, т.к. последняя там училась). Мария Михайловна пользовалась страшным влиянием на своих учениц и подруг и их любовью, но...

не обладала ни в какой степени женской обаятельностью. Ум ее был чисто мужской, а ее характер, властный и беспокойный, как-то давил всю семью. Ни одно событие не обходилось без ее участия, ни одно решение не принималось без ее властного и решающего голоса.

Казалось, ей обеспечена блестящая будущность, а на самом деле — ее ждала страшная судьба и смерть в сумасшедшем доме.

В юности (по рассказам) она пользовалась большим успехом у молодых моряков, товарищей своих братьев, но дальше "ухаживания" дело не шло. И вот уже в 28-летнем возрасте она внезапно вышла замуж за некоего Павла Николаевича Юдина — скромного чиновника министерства внутренних дел. Это было полное ничтожество. Внешне — он напоминал таракана: бесцветно-рыжеватый, с закрученными вверх по тогдашней моде (а ля Вильгельм) усами. Чтобы усы "стояли", он по утрам ходил в специальной повязке. Все бы ничего, однако через короткое время выяснилось, что он был настоящий алкоголик и в периоды запоя тащил из дому все, что попадалось под руку: самовар, ложки и т.д., а потом его обнаруживали в публичном доме, откуда швейцар на извозчике привозил его домой. Придя в себя, он нисколько не чувствовал себя виноватым, а наоборот, злобно отругивался от нападков и упреков своей жены. Брак этот длился, к счастью, очень недолго.

Юдин жил то в квартире Марии Михайловны, то с отцом и матерью в казенной квартире у Тучкова моста — в здании таможни, где его отец был директором. И вот в сентябре 1911 года там произошел пожар — от оброненной им папиросы, когда он в сильном опьянении валялся на диване. В тяжелом состоянии, сильно обгоревший, он был доставлен в больницу "Марии Магдалины" на Васильевском острове, у того же Тучкова моста... Помню его похороны и его в гробу с обгоревшими усами.

Тетка Мария Михайловна была склонна вообще к аффектации и истерии, а может быть и искренне очень горевала о нем, но в душе, я думаю, понимала, что эта смерть явилась освобождением для нее».

«Я так подробно пишу о судьбе братьев и сестер моего отца, — продолжает Ольга Константиновна Клименко, потому

что эти следовавшие один за другим удары судьбы наложили какой-то тягостный отпечаток на весь быт и настроение, царившие в семье моей бабушки. Из кроткой и бесхарактерной пожилой женщины она превратилась в вечно плачущую старушку. Воистину какой-то рок тяготел над ее детьми. В последние годы бабушка начала страшно увлекаться спиритизмом, в квартире появлялись какие-то темные личности — медиумы, чуть ли не каждый вечер устраивались "столоверчения", вызывались дорогие усопшие, им задавались вопросы типа "хорошо ли там?" — но ответы оказывались туманными и уклончивыми. На меня все это производило тягостное впечатление, и от той поры и тех вечеров в доме бабушки осталось чувство, верность которого впоследствии не раз подтверждалась моей жизнью. Это чувство — "ощущение рока": протестуй, не протестуй, все равно он тебя победит».

Воспоминания Ольги Константиновны, которые я так широко привожу здесь, дополняют мои личные впечатления не только потому, что Оля была старше, лучше разбиралась в происходящем вокруг, но, вероятно, также по той причине, что она, как девочка, воспринимала все окружающее тоньше и эмоциональнее. К сожалению, наряду со штрихами тогдашней действительности, в ее воспоминаниях встречаются явно «позднейшие напластования». Напротив, я всячески стараюсь отстраниться от них, и если они все же проникают на эти страницы, то только в виде оценок, суждений, на которые был неспособен тогдашний мальчик и юноша — то есть тот, каким я был в пред- и первые послереволюционные годы. Что же касается фактов, то я прилагаю все усилия, чтобы перенести их на бумагу в неискаженном виде.

Раз уж я заговорил о воспоминаниях Ольги Константиновны Клименко, хочу выразить сожаление в связи с их неполнотой. Оля довела первую часть воспоминаний до осени 1919 года — но в них опущены целые месяцы и годы: вероятно, они не оставили в памяти моей двоюродной сестры сколько-нибудь отчетливого следа. Еще один кусок ее жизни — с начала 1942-го по июль 1945-го — записан ею подробно: это годы, предшествовавшие ее заключению в сталинский концлагерь и проведенные в лагерях. Она была осуждена на десять лет заключения и отбыла полностью этот срок, а в послесталинский период была — тоже п о л н о с т ь ю —

реабилитирована. Ее воспоминания, охватывающие этот период, так и названы ею: «Десять лет». А промежуток ее жизни между 1919-м и 1942-м еще не описан. Не знаю, суждено ли мне прочитать его когда-нибудь.* Спасибо ей и за то, что я смог узнать о старшем поколении нашей семьи.

Возвращаюсь к прерванному мной повествованию.

Последним членом нашей семьи, чья жизнь сложилась в основном до революции, был Алексей Михайлович Косинский. Младший из детей моего деда, дядя Леша был старше меня на 24 года. Но, несмотря на разницу лет, мы с ним были очень дружны, и я до сих пор сожалею о его преждевременной ранней смерти в концентрационном лагере на Соловках.

Умный, энергичный, высокообразованный, он был единственным человеком, к которому я постоянно обращался за советом, с которым делился своими радостями и сомнениями, зная, что всегда получу от него справедливую оценку, разумный совет, благожелательный, хотя, быть может, и расходящийся с моими представлениями ответ на волновавший меня вопрос. И хотя разделявшие нас двадцать четыре года были годами ломки психологии, привычек и жизненных установок миллионов русских людей, несмотря на существенное различие взглядов дядиных и моих, — мы часто спорили, но это не меняло дружеского характера наших отношений. Я понимал, что изменения в жизни России, принесенные революцией, легче было понять и принять мне, тогда четырнадцатилетнему мальчику, чем тридцативосьмилетнему боевому офицеру царского флота.

Алексей Михайлович Косинский родился 14 января 1880 года. Поступив в Морской кадетский корпус, он окончил его и в сентябре 1898 года был произведен из гардемаринов в мичманы. В 1900–1901 годах он участвовал в заграничном плавании на крейсере II ранга (парусно-паровом клипере) «Джигит», входившем в состав I-го Тихоокеанского флота. В 1902 г. дядя закончил Минные офицерские классы Балтийского флота. Им были окончены также штурманские классы.

---

* Михаил Федорович Косинский умер 4 октября 1975 года. Ко времени его смерти О.К. Клименко, которой в то время было уже 76 лет, насколько нам известно, прекратила работать над своими мемуарами. Упомянутые лагерные воспоминания О.К. Клименко «Десять лет» опубликовал в 1990-91 гг. журнал «Грани» (№ 157–159). (И.К.)

Всестороннее военно-морское образование, личная храбрость и успешное участие в боевых операциях флота способствовали его быстрой карьере.

В 1904 году дядя служил в чине лейтенанта на кораблях I-й Тихоокеанской эскадры — крейсере «Аскольд» и миноносцах «Боевой» и «Статный».

Во время обороны Порт-Артура дядя был ранен. Более двадцати мелких осколков снаряда попали в него, и он порядочно времени пробыл в госпитале, пока удаляли эти осколки. Один из них, засевший в шее, остался неудаленным. Когда мы, дети, смотрели на этот осколок, как большой прыщ выступавший под кожей, и спрашивали, почему он оставил его, дядя смеялся и говорил, что ему так надоел процесс удаления осколков, что последний он решил оставить на память.

Назначенный командиром «Статного», Алексей Михайлович совершил настоящий подвиг. В канун сдачи Порт-Артура он прорвался на израненном миноносце в китайский порт Чифу и вывез из Порт-Артура русские знамена и секретные документы. Вышел он 18 декабря 1904 года и прибыл в Чифу 20 декабря. Здесь миноносец был интернирован. Фотоснимок команды и офицеров «Статного» в Чифу поместил распространенный журнал «Нива» (в № 16 за 1905 год).

7 февраля 1905 года Алексей Михайлович был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 12 декабря того же года он получил сразу два ордена: Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и Св. Станислава 2-й степени с мечами. Дядя был недоволен. Это был редкий для моряка случай «заработать» Георгиевский крест,* но «Георгия» получил пехотный офицер, назначенный для сопровождения знамен. Весь этот опасный переход от Порт-Артура до Чифу он провел в каюте. Вся тяжесть прорыва из осажденного Порт-Артура и вся ответственность лежали на командире миноносца.

В 1907 г. Алексей Михайлович был произведен в старшие лейтенанты и по 1911 год командовал, уже на Балтике, миноносцем «Ловкий». Одно из моих самых ранних воспоминаний

---

* Георгиевским крестом награждали только за личный подвиг, поэтому моряки, участвовавшие обычно лишь в «коллективных» подвигах, в составе всей команды корабля, очень редко удостаивались этой награды.

связано с посещением этого миноносца, пришедшего в Петербург и стоявшего на Неве. Летом 1911 г. дядя был переведен на броненосный крейсер «Громобой» — сначала исполняющим обязанности старшего офицера («старцера»), а после присвоения ему звания капитана 2-го ранга (1913) — старшим офицером. Затем он командовал эскадренным миноносцем «Бурный» (по январь 1915 г.). За этот период — шла уже мировая война — его наградили орденом Св. Анны (в декабре 1914). Он получил также почетный Знак для защитников крепости Порт-Артур. Этот знак, в виде креста с уширенными концами и скрещенными мечами, с силуэтом корабля в центре, носил неофициальное название «корабль, заключенный в крепость». Дядя надевал его на китель даже в течение нескольких лет после Октябрьской революции, когда носить царские ордена и знаки отличия не полагалось.

С января 1915 г. дядя командовал новым большим эскадренным миноносцем «Забияка». Этот миноносец, команда которого совершила немало славных боевых дел, относился к знаменитому классу «Нови́к», ставшему образцом для строительства эскадренных миноносцев других крупных держав.

6 января 1916 года вблизи Дагерорта «Забияка» подорвался на мине, сорванной с якоря и плавающей по воле ветра и течения. Мина была замечена с борта корабля, «Забияка» отвернул вправо, нос корабля прошел благополучно, но корму забросило на повороте влево, и мина взорвалась у кормы. На миноносце погибло 12 человек, еще 9 было ранено. Повреждения оказались серьезными, однако своевременными решительными мерами доступ воды удалось ограничить. Эскадренный миноносец «Победитель» взял «Забияку» на буксир и благополучно привел в Ревель. Миноносец после ремонта быстро снова вступил в строй и участвовал, между прочим, в Моонзундском сражении, но уже без А.М. Косинского.

Менее чем за год до Февральской революции дядя был произведен в капитаны I-го ранга и награжден Георгиевским оружием (25 апреля 1916 года).

Октябрь 1917-го он встретил командиром Укрепленного района побережья Або-Бьёрнборг.

На этом кончается «историческая» часть моих воспоминаний. Она заняла довольно много места. Не хотелось, чтобы полностью были преданы забвению дела людей, сыгравших

несомненно положительную роль в истории моей страны. Не говоря уж о том, что потомку нельзя было обойти молчанием своих предков и их дела, хотя бы и в личных воспоминаниях.

После гибели моего отца в Цусимском бою мама переехала из Кронштадта в Псков, где жила ее мать, моя бабушка Ванда Норбертовна. Некоторое время спустя мы перебрались в Петербург и сняли квартиру в Озерном переулке.

Я давно там не был, но говорят, этот дом еще стоит. Тогда, в десятых годах нашего столетия, он выглядел довольно уныло — четырехэтажный доходный дом, построенный еще в первой половине XIX в., без всяких признаков архитектурного оформления, всегда, насколько я помню, окрашенный в грязно-желтый цвет.

Наша квартира находилась на втором этаже, куда вела мрачная лестница, ничем не прикрашенная. В квартире было пять комнат, по преимуществу маленьких, выходивших окнами на Озерной и во двор. Ванной не было. В самой большой комнате находилась гостиная, в комнате поменьше — столовая, в «холодной комнате», приходившейся над аркой ворот, жила тетя Люся — Люция Иосифовна Доманская, мамина сестра. Это была довольно красивая молодая женщина, тогда еще не замужняя и где-то служившая. Перечисленные комнаты выходили окнами на улицу. В двух остальных, выходивших окнами во двор, помещались наши спальни.

Как сейчас помню тишину, господствующую в нашем переулке и нарушаемую порой только цокотом лошадиных копыт по булыжнику мостовой. Трамваев тогда не было даже на соседних, довольно оживленных улицах — Знаменской (ныне ул. Восстания) и Бассейной (ул. Некрасова).

Бабушка Ванда Норбертовна то жила с нами, то поселялась отдельно. Почему-то между нею и мамой существовали какие-то натянутые отношения. Может быть, это происходило оттого, что на характере бабушки сильно отразились несчастья, которых она перенесла немало. Ее муж много пил, — правда, не водку или вино, а всего лишь пиво. Но мама рассказывала, как на ее памяти он садился за стол, уставленный многочисленными бутылками, и не выходил из-за него, пока не опорожнит все. У меня сложилось впечатление, что человеком он был тяжелым и мрачным. В доме все перед ним

трепетали. За малейшую провинность он нещадно стегал детей. Единственным ребенком, которого он никогда не трогал, была его любимица — моя мать. Когда совершалась расправа над кем-нибудь из детей, Ванда Норбертовна и остальные сидели в другой комнате и не смели вступиться. Тогда посылали маму. Она вбегала в комнату, где происходила экзекуция, и плача бросалась отцу в ноги, умоляя простить виновного. Часто это помогало. Все имеет свои причины, и, возможно, на характер маминого отца повлияло тяжелое ранение в голову под Севастополем, во время Крымской войны, а может быть и неумеренно потребляемое пиво.

Конец деда был страшен. Его разбил паралич, и он несколько лет недвижно пролежал в постели, лишившись языка, но сохранив при этом некоторую ясность мыслей и, как ни странно, крепость челюстей. Когда его кормили, а он был чем-либо недоволен, он мял зубами ложку.

На долю бабушки Ванды выпали тяжкие испытания. Постоянное присутствие при муках парализованного мужа, его смерть, затем гибель шести из семерых детей. Двое из них умерли в детстве, один сын подростком, сбежав из дому, поступил юнгой на иностранный пароход и пропал без вести, другой сын застрелился; дочь умерла от родов; последний из сыновей был убит во время гражданской войны. Неудивительно, что страдания ожесточили и преждевременно состарили бабушку Ванду. Сколько я ее помню, она была худощавой малоразговорчивой старухой, всегда одетой во все черное и очень просто. Сердце ее было совершенно изношено. С 1910 года у нее начались тяжелые сердечные приступы, которые заставили ее не покидать комнаты.

Единственным человеком из ее окружения, к которому она относилась тепло, был я.

Мы жили тогда на средства матери. Средства эти состояли из пенсии и заработка. Мама получала по тем временам порядочную пенсию — 107 рублей в месяц, хотя отец погиб в чине всего только лейтенанта. За мужа-подполковника бабушка получала 40 рублей пенсии. Правда, отец погиб в бою, но мне кажется, что размеры пенсии, которую получала мама, зависели и от того, что хлопоты по ее назначению взяла на себя тетушка моего отца Мария Иосифовна Буяльская, богатая и деловая женщина, умевшая где нужно и кому нужно

«сунуть». Впрочем, эти мои личные соображения могут быть и ошибочными. Нам с братом также полагалась пенсия за отца, кажется по шести или семи рублей в месяц. Конечно, пенсия крохотная, но сам факт ее назначения давал известные права и льготы. Так, она позволяла претендовать на бесплатное содержание в казенных учебных заведениях. Это право было использовано мамой в отношении старшего сына. Кроме пенсии, маме выдавали к большим праздникам пособие — двести-триста рублей.

Мама еще до свадьбы работала машинисткой. После гибели отца она была принята на службу в Гидрографическое управление морского министерства в качестве машинистки и получала там около 70 рублей в месяц, да еще прирабатывала раскраской гидрографических карт, что приносило ей дополнительно около 40 рублей. В общем мы имели вполне достаточно для безбедного существования. Средний заработок рабочего составлял в те годы 30–40 рублей в месяц.

Но мама совершенно не умела жить экономно и расчетливо, и этих денег нам постоянно не хватало. Мама была молода, привлекательна, одевалась у приличных портних, любила театр. Держала прислугу, временами и горничную, а кроме того для нас с братом — немку-воспитательницу. Все это в старое время считалось обязательным в дворянской семье. Но дворянские обычаи требовали денег и совсем не были рассчитаны на то, чтобы эти деньги самим зарабатывать.

Каждое лето мы уезжали на дачу. Правда, расходы по найму дачи оплачивала бабушка Мария Иосифовна Буяльская, выделявшая моего отца из всех своих племянников и перенесшая свое отношение к нему на нас, его детей.

Однако цены все время росли. Хотя это происходило медленно и почти незаметно, в общем итоге жизнь становилась дороже.

Наш семейный быт был очень несложен. Утром мама уезжала на службу, а к нам приходила немка-воспитательница. Это была пожилая женщина, вполне интеллигентная, из обрусевшей немецкой семьи. Мама почти совершенно не вмешивалась в наши занятия, хотя свободно говорила по-немецки и по-французски. Бабушка Ванда отлично знала три или четыре языка, но тоже не принимала участия в нашем с братом образовании, — зато с немкой она разговаривала только

на ее родном языке. Остальное время бабушка долгими часами раскладывала пасьянсы и предавалась своим горьким думам.

Только когда началась война, а за ней последовала революция и стало не до репетиторов, мне пришла на помощь бабушка Ванда. Ей и маме я обязан знанием французского языка.

Среди знакомых нашей семьи было немало поклонников мамы. Ей неоднократно предлагали «руку и сердце». Но она не принимала этих предложений, считая, что в новой семье ее детям будет хуже. А главное, она не хотела изменять памяти отца.

Политикой в нашей семье никто не интересовался. К царю мы привыкли с детства и считали, что существующий государственный порядок вечен, вернее вечен в масштабах одного человеческого поколения, то есть переживет нас всех. Портретов государя императора или императрицы в квартире не было, но в гостиной стоял очень изящный подзеркальник с колоннами, наподобие миниатюрного античного храма. На нем находилось несколько фотографий царевича Алексея, родившегося, как и я, в 1904 году: царевич на пони, царевич в матросском костюме и т.д.

Бабушка же всегда говорила про себя: «Я — социал-революционерка». Несколько раз к нам заезжал какой-то ее дальний родственник, тоже Доманский, вечный студент. И всякий раз он появлялся то после выхода из тюрьмы, то по возвращении из политической ссылки. Принадлежность же бабушки к «социал-революционерам» выражалась только в пассивном презрении к власть имущим, к богатству, знатности и всяким дворянским предрассудкам. Когда кто-нибудь упоминал при бабушке о нашем баронском титуле, она едко замечала: «Czego w tytule, jak nic niema w szkatule»!* Что удивительно для польки того времени, бабушка была совершенно неверующей и ни разу на моей памяти не посетила костел. Вероятно, сказалось высшее образование — Смольный институт и Бестужевские курсы. И моя мама, выросшая при неверующей матери, также относилась к религии с совершенным безразличием. Насколько я помню, она не посещала ни костел, ни православную церковь.

* Что толку в титуле, когда нет ничего в шкатулке! (польск.).

Только раз в год она отправлялась с нами в православный храм-памятник, где в годовщину Цусимского боя служилась панихида по погибшим морякам. Посещения храма-памятника надолго сохранились в моей памяти. Да, наверное, не только в моей! В Цусимском бою погибло более пяти тысяч русских моряков. Но храм являлся памятником в с е м м о р я к а м, погибшим в войне с Японией 1904–1905 годов. На панихиды по ним собиралось очень много людей.

Храм был построен на добровольные пожертвования, собранные по всей России, и деньги, выделенные государственными учреждениями. Комитет по сбору пожертвований был создан в 1908 г., сбор денег прошел по огромной стране очень быстро, и храм удалось заложить уже в мае 1910 года. Через год после закладки, в середине лета 1911 года, храм был торжественно освящен. Этот храм-памятник — «Спас на водах» (так его назвали в отличие от «Спаса на крови», стоящего на Екатерининском канале — канале Грибоедова, — на месте, где был смертельно ранен бомбой народовольцев император Александр II) находился на набережной Невы против Морского кадетского корпуса (теперь Высшее военно-морское училище им. Фрунзе). К западу от храма находилась Франко-русская верфь (ныне называемая, кажется, Балтийским заводом), а с востока его ограничивал Адмиралтейский канал (ныне канал Крузенштерна).

На внутренней стене апсиды храма бросался в глаза огромный мозаичный образ «Спаса на водах», исполненный по эскизу академика Н.А. Бруни. Вдоль стен чернели чугунные доски. Каждая из них была посвящена отдельному кораблю, и на ней находились имена погибших моряков этого корабля. Над досками — судовые иконы. На северной стороне храма — доска «Ослябя», «наша» доска...

Обычно родственники погибших становились около «своих» досок. Поэтесса Мария Григорьевна Веселкова-Кильштет прекрасно выразила настроение этих панихид в одном из своих стихотворений:

Янтарный сумрак, тишина,
Скрижали вдоль колонн,
А на скрижалях — имена...
Ряды, ряды имен...

О, где же вы, кто их носил,
Где ныне ваш приют?
Ряды зеленых волн — могил
В ответ кругом встают.

Теперь этот памятник разрушен. Его снесли в 30-х годах, хотя никакой нужды в этом не было. Даже прекратив церковную службу, почему-то не пожелали сохранить прекрасный памятник тысячам русских моряков, отдавших жизнь за свою родину.

## *Глава 4. Детство в Петербурге*

...Детские игры! Теперь, вспоминая их, я вижу, что наши игры были очень осмысленными, и чем мы становились старше, тем разумнее делались игры, — польза, которую мы из них извлекали, соединяясь с истинным увлечением, несомненно, в большой степени подготовляла нас к выбору будущей специальности.

В раннем детстве, как и у большинства детей, у меня самыми любимыми игрушками были звери. Самым любимым был плюшевый медведь средних размеров, называвшийся «папашей Мишаниным». Среди прочих был маленький мишка, довольно плохой и дешевой работы, из которого постоянно сыпались набивавшие его опилки. И вдруг этот мишка пропал. Для меня это было большим горем. Мама утешала меня тем, что мишка заболел, ведь я сам видел, как из него сыпались опилки, и мама отправила его на курорт в Висбаден (в то время — курорт с европейской, если не мировой, известностью). Я должен не плакать, а радоваться, что он вернется с курорта поздоровевшим. Так и случилось. Мишка приехал из Висбадена такой же маленький, но полный и здоровый. Его плюшевая шкура лоснилась и не напоминала больше полупустой мешок. С этого времени он стал называться «Висбаденским мишкой».

Мы, и особенно старший брат, увлекались оловянными солдатиками. Их у нас было очень много. Правда, солдатики отечественного производства были сделаны очень грубо. Немецкие же, нюрнбергские, были действительно хороши — не только тонкой работой и многоцветной раскраской, но и многообразием. Тут были и кавалерия, и пехота, и артиллерия, и флотские части. И русские, и французы, и немцы, и турки! Более того — арабы на верблюдах, негры в юбочках из страусовых перьев и с копьями, индейцы с луками и

томагавками... Бонапарт со свитой, Кутузов, «белый генерал» Скобелев, Вильгельм II с усами.

Были и мирные жители, животные, дома, деревья...

Кроме оловянных солдатиков, были и так называемые «вырезные», которых поставляли Германия и Франция. С таким же разнообразием, а может быть и с бóльшим, они были напечатаны в красках на листах плотной бумаги, и их нужно было вырезáть ножницами. Увлекались мы и зáмками, домами и прочими архитектурными сооружениями, также рассчитанными на вырезывание и склеивание. Но понемногу эти игры уже переставали удовлетворять нас. Мы стали сами рисовать, раскрашивать акварельными красками и вырезать рыцарей, воинов, дам, заимствуя костюмы из разных книг. Так постепенно мы научились владеть карандашом и кистью, познакомились с одеждой и оружием различных эпох, — и в дальнейшем этим играм я стал обязан тем, что сделалось на всю жизнь моей специальностью.

Довольно рано мы познакомились с театром. До сих пор у меня сохранилось впечатление и «ощущение», испытанное при первом или одном из первых посещений театра. Это происходило в саду Народного дома. На открытой сцене давали спектакль «Робинзон Крузо». На меня, шести- или семилетнего мальчика, спектакль сильно подействовал. Помню, как на сцене по блестящей, чистенькой палубе корабля бегали тоже необыкновенно чистенькие, пестро одетые матросы, помню запах декораций, бутафории и, вероятно, грима, — запах, так характерный для театра.

В эти годы я начал уже сам читать. Для нас выписывался детский журнал «Светлячок» и два французских детских журнала. Мне еще не было и семи лет, когда мы с братом читали вслух «Маяк на краю света» Жюля Верна. С этой книги началось мое увлечение великим фантастом.

В конце нашей жизни на Озерном переулке в семье произошло несколько крупных событий.

Тетя Люся вышла замуж за военного врача и уехала к месту его службы — в Карс. Через год, родив двух дочерей-близнецов, она умерла от родов. Второе, столь же врезавшееся в детскую память событие — поступление брата в Александровский кадетский корпус. Он был принят туда без конкурса как сын погибшего в бою офицера. Жил он в корпусе и только

на праздники приезжал домой. Оторванность от семьи и казенное воспитание принесли ему не много пользы. Отец был противником закрытых учебных заведений. Но мама вынуждена была отдать в корпус хотя бы одного из своих сыновей. Ведь обучали и содержали его в этом учебном заведении бесплатно.

И, наконец, пожар в нашей квартире. На Рождество собрались гости, среди них было много детей. В гостиной стояла елка до потолка. Слава поставил к ее подножию игрушечный домик и хотел осветить внутренность домика свечой. Вата, покрывавшая подножие елки, воспламенилась, от нее и сама елка. Вызвали пожарных. Телефона у нас не было. Пока пожарные добирались до нас, бабушка проявила необыкновенную энергию и с помощью прислуги и взрослых гостей ликвидировала пожар. Конечно, праздник был подпорчен.

Осенью 1911 года мы переехали на Бармалееву улицу на Петербургской (в дальнейшем — Петроградской) стороне. Дом, где мы поселились, был новый — построенный на рубеже двадцатого столетия. Мы сняли квартиру из трех комнат, выходивших окнами во двор. Квартиры в то время были дороги, и за нее мама платила около 50 рублей в месяц, т.е. четверть своего дохода.

Чем запомнились мне те два года, 1911 и 1912, которые мы прожили на Петербургской стороне?

В столовой висел большой портрет отца. Помню, что старший брат Мстислав ходил по комнатам в форме Александровского кадетского корпуса с фуражкой на голове. Проходя мимо портрета, он по всем правилам отдавал ему честь. Это было не только данью увлечению военной муштрой (мой брат учился плохо, а «фрунтовиком» был отличным), но и проявлением уважения к памяти отца, к его самопожертвованию во имя родины. Кстати, в это время несколько матросов, спасшихся с погибших судов 2-й Тихоокеанской эскадры, но считавшихся погибшими, неожиданно вернулись из японского плена. Это взволновало маму, да и нас с братом. Вдруг отец жив и тоже может вернуться? Но надежда рухнула после наведения справок.

В том же 1912 году меня определили в частный пансион, помещавшийся вблизи от нас, на Большом проспекте Петербургской стороны. Пансион посещало несколько маленьких

детей — мальчиков и девочек, которые играли и одновременно учились, главным образом французскому языку. В пансион меня отводила прислуга, по-нынешнему «домбработница». Ей давались деньги на покупку продуктов. Часто я просил ее купить мне какую-нибудь книжку или журнал у уличных продавцов. И вот однажды я услышал, что газетчики кричат: «"Тары-бары" — три копейки!» Попросил купить, и неграмотная женщина купила мне за три копейки ярко раскрашенный журнал. А дома произошел из-за него скандал: журнал оказался «бульварным», заполненным всякими непристойностями. Но волнение мамы и бабушки было напрасным: я ведь их не понимал.

Бабушка Ванда Норбертовна в эти годы уже почти не выходила на улицу, особенно после смерти дочери, совсем подорвавшей ее здоровье, и после сердечного припадка, случившегося на улице и собравшего толпу, многие из которой считали, что «старуха пьяна».

В ту зиму приехал к нам из Одессы сводный брат бабушки — Николай Борисович Кутневич. Это был отставной генерал, старик с седой бородой и сизым, отмороженным в походах носом. В русско-японскую войну он командовал корпусом. В Петербурге на Смоленском кладбище был похоронен его отец — отчим бабушки Ванды, генерал-лейтенант Борис Герасимович Кутневич. Он посетил могилу своего отца, причем взял меня с собой. Я сопровождал его еще несколько раз во время прогулок. Не скрою, мне доставляло большое удовольствие (не меньшее, чем его шпага, лежавшая на столике в нашей передней) то обстоятельство, что во время наших прогулок проходившие военные вытягивались и отдавали «нам» честь. А если мы встречали отряд солдат, то раздавалась даже команда: «Равнение направо!» — и солдаты, подтянувшись, чеканя шаг, проходили мимо «нас».

Направляясь на Смоленское кладбище, мы сели в конку (тогда еще это был обычный способ сообщения, но в дальнейшем конку повсеместно заменил трамвай). В вагоне находилось несколько молодых офицеров. На очередной остановке вошла скромно одетая женщина. Никто не уступил ей места. Тогда дедушка, старый генерал, в шинели с красными отворотами, поднялся с места и любезно предложил женщине сесть. Офицеры сразу же вскочили и смущенные выбежали

на империал (второй, открытый этаж вагона). Этот случай еще более поднял в моих глазах престиж дедушки.

Уж раз речь зашла о генералах, расскажу и о адмиралах. Среди наших знакомых были и те и другие. И вот однажды, когда мамы не было дома, к нам приехал один из адмиралтейских (штабных) адмиралов — Крыжановский. Он решил подождать возвращения мамы, а я, не зная, чем занять его, начал показывать ему своих оловянных солдатиков. Крыжановский был близорук, носил пенсне. Он с трудом разглядывал детали маленьких солдатиков и сказал, что пришлет мне в подарок несравненно более крупных, объемных, так называемых «литых». Вскоре он прислал большую красивую коробку с марширующими солдатами лейб-гвардии Павловского полка. Помню, как я обрадовался. Но подарки на этом не прекратились. За павловцами последовали русские матросы с ведрами и щетками во время уборки корабля, батарея конной артиллерии, с отпрягающимися конями и стреляющими пушками, и, наконец, давнишняя моя мечта — эскадрон кавалергардов. Литые солдатики были очень дороги, поэтому основным нашим со Славой войском оставались все же маленькие оловянные солдатики, число которых постепенно перевалило за тысячу.

Адмирал Крыжановский, боюсь, делал эти подарки, чтобы, так сказать, проникнуть к сердцу мамы. Он, действительно, предлагал ей стать его женой, получил отказ, но дружественные отношения между ним и мамой еще долго сохранялись.

Еще вспоминается домашний концерт у тети Марии Михайловны. На нем выступали девочки и в их числе моя двоюродная сестра Оля (О.К. Клименко), которая воспитывалась у тетки. Оля, в длинном платье, читала стихи и «произвела на меня впечатление». Ей было тогда тринадцать лет, а мне восемь.

Еще одно, увы, печальное событие связано с квартирой на Петербургской стороне. Мама была на службе. Дома находились бабушка, прислуга и я. К бабушке пришла ее знакомая — Леонтина Иеронимовна Миллер. Это была толстая старая полька. В молодости ею увлекся польский граф Тышкевич и увез ее за границу. Но любовь длилась недолго. Граф оставил девушку-сироту и в виде компенсации дал ей несколько ты-

сяч рублей. Теперь Леонтина Иеронимовна одиноко влачила свои дни. Тысячи, полученные от Тышкевича, она все еще берегла — «на черный день», причем говорили, что она прячет их в чулке и потому никогда не моется в бане. Вообще бедная женщина обладала странностями. Умерла она в 30-х годах.

Бабушка мирно беседовала с Миллер, я играл. Вдруг из кухни раздались страшные крики. Леонтина Иеронимовна бросилась из квартиры на лестницу, ноги ее подкосились, она села на ступень и стала звать на помощь. Она решила, что напали грабители.

Бабушка и я вбежали в кухню и увидели прислугу, пылающую как факел. Бабушка схватила ковер и пыталась затушить огонь, но прислуга проскочила мимо нее на черную лестницу и выскочила во двор. Здесь ей встретился дворник с ведром помоев, вылил их на нее и потушил огонь. Вызвали карету скорой помощи и увезли бедняжку в больницу. Она прожила недолго и умерла от ожогов. В кухне обнаружилась бутыль из-под керосина. Разжигая плиту, несчастная женщина плеснула керосин на дрова, содержимое бутыли воспламенилось, бутыль взорвалась и обдала ее пылающим керосином...

В «Петербургской газете» появилась заметка об этом случае, изложенная цветистым языком тогдашних репортеров: «Баронесса Косинская, вернувшись с бала, обнаружила...» и т.д.

В те времена не существовало, насколько мне известно, централизованной системы врачебной помощи. Каждая семья, имевшая какой-то достаток, пользовалась услугами «своего» постоянного врача. Этот порядок имел свои преимущества. Врач, долгие годы посещавший одну и ту же семью, знал все особенности здоровья своих пациентов, что безусловно облегчало ему как лечение в случае болезни этих пациентов, так и профилактические мероприятия.

У нашей семьи был свой врач. Детский доктор Николай Константинович Буймаков — «Тюка», как почему-то его назвала собственная жена. Конечно, он располагал средствами, намного превышавшими наш скромный доход. У него была дача в модном курортном городке Гунгерсбурге — на берегу Балтийского моря. Весной 1912 года он предложил маме снять помещение на лето в этой даче. И вот с наступлением

лета мы доехали железной дорогой до Нарвы, прибыв туда, долго гуляли по старинному красивому городу и затем, сев на пароход, по реке Нарове прибыли на берег Балтийского моря, в Гунгерсбург. Здесь мы хорошо провели лето. Купались в море. Тогда морские курорты выглядели несколько иначе, чем теперь. Купальный костюм, особенно женский, оставлял открытыми только шею, руки до локтей и ноги до колен. Раздевались, скорее переодевались, в маленьких домиках на колесах, которые лошади завозили довольно далеко в море. Совершенно не было распростертых на берегу обнаженных тел.

На рейд Гунгерсбурга в это лето пришла русская эскадра. Среди кораблей находился броненосный крейсер «Громобой», на котором служил дядя Алексей Михайлович. Дядя побывал у нас на даче, и когда мы провожали его на шлюпку с «Громобоя», стоявшую у пристани, произошел такой эпизод, оставшийся в моей памяти: все члены команды «Громобоя», отбывавшие на корабль, были налицо, но недоставало Джона — собаки-боксера дяди, которого он привез с корабля и отпустил погулять по берегу. Это грозило задержкой шлюпки. Но дядя был спокоен и говорил, что умный пес очень пунктуален, — и действительно, в самую последнюю минуту появился Джон и прыгнул в шлюпку.

Осенью наша семья возвратилась в ту же квартиру. Я не возобновил посещений пансиона: мама пригласила учителя-студента, чтобы подготовить меня к поступлению в реальное училище. Я рос один — как теперь говорят, «вне коллектива». Такое воспитание имеет свои недостатки, но в то же время, мне кажется, позволяет человеку с детства утвердиться в своих, не навязанных со стороны, жизненных принципах и правилах. В наш век слишком часто приходится сталкиваться с зыбкостью моральных правил и принципов, с зыбкостью убеждений, чтобы не сказать — с полной беспринципностью, что, по-моему, в прошлом и притом в нашем кругу встречалось неизмеримо реже. Возможно, воспитание с раннего детства в стенах своего дома, в кругу семьи играло здесь не последнюю роль.

Часто я сидел с бабушкой, слушал ее рассказы, иногда она читала мне вслух. Но большей частью я присутствовал при ее любимом занятии — раскладывании пасьянсов. У нее и я

научился этому нехитрому занятию, и сейчас, когда мне под семьдесят лет, нередко коротаю время, раскладывая пасьянсы. Это успокаивает нервы, помогает организовать мысли. К тому же это, по существу, интересная игра.

В детстве меня неожиданно начал пугать кинематограф. Мама как раз в этот период увлеклась им. И так как одной женщине считалось неудобным и даже неприличным посещать кино, она стала регулярно брать меня с собой. Сначала я ходил охотно, но потом тогдашние фильмы, наполненные убийствами, бандитами в полосатых тельняшках и прочими страстями, стали пугать восьмилетнего мальчика.

Нужно сказать, что это, по-видимому, постоянный недостаток кинофильмов. В наше время, даже в нашей стране, редкий фильм обходится без смертей и всяких ужасов — независимо от того, на какую тему написан сценарий. Возможно, без этого фильмы получались бы пресными. Историки кино, вероятно, когда-нибудь исследуют и разъяснят нам эту специфику данного рода искусства.

В восемь лет я уже свободно читал. Кроме детских книг, мне попадались и книги для взрослых. Первой такой книгой был «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Мама читала ее, а в ее отсутствие прочел и я, — правда, понять этот роман вполне я не мог, но он показался мне достаточно интересным. Слава приносил из корпуса книги, содержание которых считалось, видимо, полезным для воспитания преданности царю и качеств, необходимых на военной службе. Но многие из них были написаны так, что вызывали у меня и у брата смех. Например, в книжке, называвшейся «Как живет и работает Государь Император», можно было прочесть примерно следующее: «Государь Император очень экономен и карандаши, которыми он работает, исписывает до конца, а остатки отдает на забаву своему августейшему сыну».

Одновременно со способностью многое понимать, я в восемь лет отличался большой наивностью. Как-то раз, когда мы были в гостях у тети Марии Михайловны, у меня произошел спор с двоюродным братом Романом, моим одногодком, несравненно более «просвещенным», чем я. Роман уверял, что дети могут рождаться у людей независимо от их состояния в законном браке. Я же утверждал, что этого не может быть. Так как мы часто за разрешением спорных отвлеченных

вопросов обращались к тете Марии Михайловне, Роман предложил спросить у нее. Я думаю, что это было сделано с учетом пикантности ситуации. Конечно, спросить пришлось мне. Я вошел в гостиную, где сидели хозяева и гости, изложил тете наш спор и попросил разрешить его. Мария Михайловна, педагог и умная женщина, нисколько не показав своего смущения, вынуждена была солгать восьмилетнему мальчику и разрешила спор, признав мою правоту. Роман, когда я, торжествующий, вернулся к нему, выслушал мнение тети со смешком, относившимся к моей наивности. Однако в его распоряжении, видимо, не было примеров, которые были бы известны и мне и могли убедить меня в обратном, — поэтому спор на том и кончился.

Я был не только наивным, но и добрым мальчиком. Иногда моей готовностью сделать доброе дело злоупотребляли. Однажды Слава, которому не хотелось возвращаться в корпус после воскресенья, проведенного дома, уговорил меня спрятать его форменную фуражку. Я исполнил его просьбу, и так хорошо, что фуражка была обнаружена лишь после долгих поисков. Слава, в сопровождении прислуги, был посажен на извозчика и отправлен в корпус с запиской мамы, — я же выпорот, в первый и последний раз. Сжав зубы, я не проронил ни звука, когда меня пороли, и так и не признался, что фуражку спрятал по наущению брата.

Самым крупным событием за эту зиму 1912–1913 гг. было посещение нашей семьи королевой греческой Ольгой Константиновной — моей крестной матерью. Будучи замужем за королем Греции Георгом I, она значительную часть жизни проводила в России. В свое время, запрет цензуры печатать рассказ моего отца «Часовой» задерживал выпуск сборника его рассказов «Наши матросы». Ольга Константиновна ходатайствовала перед цензурой о пропуске рассказа, и это решило вопрос. Уже после гибели отца она долгое время поддерживала отношения с нашей семьей и во всем, что касалось этих отношений, проявляла себя как простая хорошая женщина. Как-то наша семья проводила лето в Павловске, где в это время жила и Ольга Константиновна. Вернувшись однажды домой с прогулки, мама узнала от прислуги, что заходила какая-то женщина и спрашивала маму. После расспросов стало ясно, что эта женщина — королева Греции. Конечно, мама не

могла так же просто реагировать на внимание королевы. Ей пришлось отправиться во дворец, Ольга Константиновна тотчас приняла ее и рассказала, что гуляла одна, зашла навестить нас и жалела, что не застала дома. Каждый новогодний или пасхальный праздник мы с братом получали подарки от Ольги Константиновны. И всякий раз совершенно одинаковые — кегли в виде фигур мужчин и женщин в старинных русских одеждах. По-видимому, подарки, по ее распоряжению, посылал какой-нибудь чиновник ее двора, не затрудняя себя записью, что было послано в предыдущий раз.

У нас сохранилось довольно много писем Ольги Константиновны. Никто бы не поверил, что автором этих писем была королева, а не простая хорошая женщина: «Дорогая Жозефина Иосифовна! Спасибо за поздравление. Болезнь Славы очень огорчила меня. Ведь я на себе испытала это беспокойство матери, когда был болен мой Христо...» (речь идет о младшем сыне королевы). Я, конечно, цитирую по памяти. Естественно, мама в своих письмах Ольге Константиновне вынуждена была придерживаться этикета, установившегося для писем высокопоставленным лицам, — почти в каждую фразу вставлять обращение «Ваше Величество» и т.д. Последнее письмо Ольги Константиновны, полученное нами, было датировано 1917 годом.

Рассказывали, что какой-то матрос совершил серьезный проступок, и его в наказание направляли в дисциплинарный батальон. Его жена или мать, через камеристку королевы, обратилась к ней, прося о заступничестве. Оказалось, что морской министр, которым тогда был большой формалист адмирал Бирилёв, успел уже утвердить наказание. И вот однажды, в одном из дворцов (насколько я знаю, в том самом, в котором Ольга Константиновна скончалась в 1926 году) состоялся прием, устроенный королем Дании. На приеме присутствовали Николай II и ряд высокопоставленных лиц, среди которых были и Ольга Константиновна, и морской министр Бирилёв. Ольга Константиновна подошла к нему и попросила об отмене наказания, о котором идет речь. Тот ответил, что не может этого сделать, ссылаясь на служебный долг. Поняв, что ее просьба не будет исполнена, Ольга Константиновна сказала адмиралу, что тут же станет перед Бирилёвым на колени и будет умолять его. И королева начала опускаться на

колени. Скандал! Королева на коленях перед адмиралом, да еще на глазах у всех присутствующих в зале. Как быть? Тогда адмирал тоже начал опускаться на колени, поддерживая за руки королеву и одновременно заверяя, что исполнит ее просьбу. И вот они оба опускаются, как проделывая сложное па в каком-нибудь неизвестном окружающим танце, на глазах у царя и датского короля. Позднее Бирилёв рассказывал: «Я исполнил п-п-п-риказание ее ве-л-л-личества (он был заика), н-н-н-но з-з-з-агнал м-м-матроса на Д-д-дальний В-в-в-осток!»

В 1928 году дядя Константин Михайлович рассказывал о своей встрече с Ольгой Константиновной после Октябрьской революции. На Московском, тогда Николаевском, вокзале в Петрограде, в 1918 или 1919 году, он неожиданно увидел королеву в сопровождении мужчины с чемоданом в руках. Дядя подошел к ней: «Ваше величество...» Ольга Константиновна прошептала: «Тише, тише», — и рассказала ему, что по разрешению советского правительства покидает Россию.

Итак, в 1913 году мы получили приглашение навестить Ольгу Константиновну, живущую в Мраморном дворце. Понятно, что это приглашение взволновало и маму, и нас. Ведь не каждый день скромную машинистку и ее детей приглашали во дворец!

Нужно было приехать к определенному часу. Много забот было вложено в то, чтобы подобрать маме, да и мне, соответствующий случаю наряд, пригласить парикмахера и сделать маме прическу... Времени оставалось в обрез, когда мы с мамой садились в извозчичью пролетку, а нужно было еще заехать за братом в Александровский корпус. И тут отличился я. По-видимому от волнения, со мной случилась беда. Пришлось срочно заехать в Пассаж и на квартире его директора переодеть меня во все новое. Уже опаздывая, мы подъехали к корпусу. На крыльце волновались Слава и какие-то офицеры. Сопровождаемый напутствиями воспитателя, Слава сбежал с крыльца и вскочил в пролетку.

Мы, конечно, опоздали. У королевы уже находились незнакомый нам офицер с женой. Потом мы были приняты. В тоне разговора со стороны нашей собеседницы не было ни капли высокомерия, чем она резко отличалась от некоторых наших знакомых дам. Мы сидели и говорили, как старые

друзья. При этом Ольга Константиновна всячески удерживала Славу от выполнения корпусных наставлений, в частности, от вставания и вытягивания по стойке «смирно», когда она к нему обращалась.

Весной 1913 года дядя Константин Михайлович повез меня в Рязанскую губернию, в свое имение Полянку. Несколько часов мы провели в Москве, гуляли по городу, были в Кремле, где я видел «царь-колокол» и «царь-пушку». В Рязани пришлось пересесть на поезд узкоколейной железной дороги. Помню, что этот поезд шел страшно медленно. Пассажиры выходили из вагонов и шли рядом, ничуть не отставая, а некоторые даже уходили вперед и встречали поезд на следующей станции, успев там выпить чаю.

Имение было очень скромное — одноэтажный деревянный домик в саду. Вокруг на многие вёрсты простирался бор. В имении нас ждала бабушка Надежда Владимировна, дядя и обе тети— Мария и Наталья. Все они проводили в Полянке лето.

То действительно прекрасное, что я испытал в Полянке, были наши прогулки в могучем лесу, который и пугал меня, и в то же время восхищал своей красотой. Говорили, что этот лес являлся частью знаменитых муромских лесов. Здесь же, в Полянке, впервые я увидел мертвого человека: мимо имения провозили крестьянина, случайно убитого во время охоты. Я вышел на дорогу вместе с двоюродными братьями и увидел его. Потом, ночами, долго не мог заснуть. А двоюродный брат Роман, сын дяди Кости, из озорства за обедом вспоминал покойника, и пища не шла мне в рот.

Конец лета мы провели на Кавказе — по рекомендации врачей, которые считали, что болезнь глаз моего брата требовала общего укрепления его здоровья. Вернулись в Петербург, израсходовав все наличные деньги. Маме пришлось прямо с вокзала ехать в ломбард и заложить там некоторые из своих драгоценностей. Не помню, почему так получилось, вероятней всего из-за чрезмерных летних расходов, но ближайшую зиму наша семья провела на новой квартире. По возвращении с Кавказа наша мебель была свезена в Кокоревские склады, а мы временно сняли большую комнату у знакомого ювелира Фомина — в Озерном переулке, в том же доме и на той же лестнице, где жили раньше.

В этом доме, в бывшей нашей квартире, проживали две тетушки — Мария и Наталья Михайловны, дядя Михаил Михайлович и моя двоюродная сестра Оля — она воспитывалась у тети, после развода ее отца Константина Михайловича с женой.

Моя тетя Наталья Михайловна, как многие незамужние женщины, была весьма экзальтированной дамой. В этот период своей жизни она была почитательницей актера Юрьева, в дальнейшем сделалась очень религиозной. Както она взяла меня с собой в лучший тогда в Петербурге кинотеатр «Паризиана», где шел фильм с участием ее кумира Юрьева. Вернувшись из кинотеатра, я ночью почувствовал себя плохо, поднялся сильный жар, и я потерял сознание. Вызвали доктора Буймакова, и он, установив скарлатину, немедленно отправил меня в детскую больницу, где я пробыл, наверное, не меньше двух месяцев. Мне сделали операцию, шрам от которой навсегда остался у меня на шее.

В начале лета 1914 года мы уехали в Тарховку, на дачу, где с нами постоянно находилась бабушка Ванда Норбертовна. В это время я уже начал интересоваться «политикой» и охотно читал получаемый нами журнал «Нива» и другие «взрослые» журналы. Надо сказать, что царская цензура работала своеобразно. В журналах и газетах печатались статьи, авторы которых порой весьма критически относились к царю, правительству и к самой идее монархии. В этот год начали особенно много писать о Распутине. Я, помню, прочитал в журнале (если не ошибаюсь, «Жизнь и суд») статью, называвшуюся «Кака-то стерьвя пырнула мине». В этой статье описывалось покушение на жизнь «старца», совершенное бывшей монахиней Ксенией. Она подошла к Распутину на улице и ударила его ножом. Там же была напечатана и фотография записки раненого Распутина в полицию, из которой и было заимствовано название статьи. В этой статье, открыто направленной против царского фаворита, говорилось, что Распутин обольстил монахиню и бросил.

Все мои родные возмущались и Распутиным, и мистическими настроениями царя и царицы, вызвавшими приближение этого проходимца к престолу. Дальнейшие же события, и в первую очередь катастрофа, нагрянувшая в августе 1914

года, наоборот, способствовали росту патриотизма и веры в царя и русское оружие.

Мне пришлось быть свидетелем и даже участником патриотической демонстрации. Мама привезла меня в город из Тарховки, чтобы купить мне что-то из одежды. Когда мы шли по Невскому, на нас накатила, как волна, огромная шумная толпа людей, движущаяся к Зимнему дворцу. В толпе были рабочие, интеллигенты, купцы, мужчины, женщины и дети. Несли патриотические плакаты, портреты царя, иконы. В воздухе разносились слова гимна. Мы с мамой не собирались участвовать в манифестации, но толпа подхватила нас и вынесла на Дворцовую площадь. На площади толпа, с пением гимна, как один человек, опустилась на колени, а я оставался стоять, сжимая руку мамы, чтобы не потерять ее. На балкон Зимнего дворца вышел царь и с ним какие-то люди. Вернее, я только потом узнал, что один из вышедших был царь, но все, что я в тот день увидел, произвело на меня очень сильное впечатление.

Осенью, незадолго до окончательного возвращения нашего в город, мама и я приехали в Петербург на новую квартиру. Она находилась в Ковенском переулке, на втором этаже старинного дома, и состояла из трех комнат с балконом. В ней уже была расставлена мебель, и мы остались там ночевать. Ночью мама заболела. Мы с ней съездили ночью же за лекарством, на другой день вызвали врача. Мамина болезнь оказалась довольно серьезной и требовала ухода за ней. Кроме физических проявлений, она сопровождалась еще и психическими, вроде мании преследования.

Через несколько дней бабушка, брат и прислуга приехали из Тарховки. Мама постепенно поправлялась, но продолжала лечиться. Нервы ее оказались не в порядке. Тогда входило в моду электролечение. Мама стала посещать лечебницу доктора Герзони на Садовой улице. Бабушка Ванда Норбертовна считала это дорогостоящее лечение шарлатанским — вероятно, справедливо, — и на этой почве у нее с мамой часто происходили ссоры, и мама, нервы которой были напряжены до крайности, бросила в бабушку Ванду стакан. Все родственники были очень возмущены этим поступком.

Между тем, мама стала жаловаться, что на службе в Адмиралтействе ее «преследуют», и спустя некоторое время

ушла оттуда. В этом ее ошибочном решении большую роль играли, конечно, больные нервы. Ее только недавно, той же зимой, наградили золотой медалью «За усердие». Мама, получив медаль, сразу же, по дороге домой, заехала в Гостиный Двор, где, в специальном магазине, продала эту медаль за сорок рублей и купила ее позолоченную копию. Сорок рублей были тогда порядочными деньгами, а маме они были так нужны для оплаты сеансов у Герзони.

В том же году я поступил в реальное училище, принадлежавшее Александру Ивановичу Гельду. После недолгого пребывания в приготовительном классе перешел в первый класс. Мне купили форму.

Училище помещалось на Бассейной улице, недалеко от Знаменской. Это была вполне респектабельная буржуазная школа, в прошлом — училище военного типа. Педагогический состав был бесспорно хороший. С инспектором — Савватом Николаевичем Тихановичем — оказалось связано небольшое происшествие, случившееся позднее и очень схожее с описанным Мартен дю Гаром в его романе «Семья Тибо».

Я случайно принес в класс свой личный дневник, который мама всегда советовала вести правдиво, чтобы потом иметь возможность задуматься и оценить свои поступки, записанные на бумагу по свежим их следам. Дома никто не имел права заглядывать в этот дневник, чтобы я мог быть уверен, что пишу только для себя. Уходя из класса, я забыл дневник в парте. Он был найден служителем и передан Саввату Николаевичу. Тот прочел и нашел какие-то неблаговидные записи. Вызвал маму и передал ей дневник, прося ее обратить внимание на его содержание. Но мама отказалась, объяснив инспектору свою точку зрения. Она сказала, что обещала мне, что никто, кроме меня самого, не будет читать дневник, и попросила инспектора возвратить его лично мне. Инспектор сделал это на следующий же день, сказав только: «Косинский, в вашей парте служитель нашел забытую вами тетрадку. Возьмите ее и помните, что не следует ничего забывать в классе».

Наши педагоги были знающими, дельными, в большинстве своем строгими людьми. В неприятную сторону выделялся законоучитель отец Виктор Плотников, «вгонявший» в нас веру посредством двоек. Ученики его терпеть не могли,

но очень боялись. Спустя много лет, в 1922 году, я присутствовал на процессе церковников. Среди подсудимых был и В. Плотников, ставший епископом Кронштадтским.

Директор изредка заменял отсутствующих учителей. Его уроки мы очень любили — за присущие ему добродушие и чувство юмора. В 1922 г. я разыскал и навестил его. Он был уже совсем дряхлым, но еще преподавал в какой-то школе.

Состав учеников был довольно разнообразен. Были мальчики из богатых семейств, приезжавшие в училище в собственных экипажах. Но таких было мало. Большинство принадлежало к среднему по достатку классу.

Из моего класса я запомнил всего нескольких товарищей: Костю Аренда из офицерской семьи; очень бледного и симпатичного Лагутина, которого я встретил после гражданской войны в военной форме и с саблей на боку; Мусатова, сына «старшего дворника» (по-нынешнему — управхоза); Карамальди, сына мастера с какого-то завода, у которого я бывал дома в благоустроенной большой квартире на Знаменской улице; маленького и юркого Доброумова; Базыкина, сына мясоторговца; очень бедного Зверева. Его я несколько раз угощал пирожными в маленькой кондитерской Миллера — в доме, соседнем с училищем. Первый раз, когда я предложил ему зайти со мной в эту кондитерскую и угостил пирожными, стоившими пять копеек штука, он, съев пирожное, со страхом посмотрел на меня и вокруг и прошептал: «А теперь бежим!» И был очень удивлен, когда я расплатился сполна.

В классе учились, между прочим, два еврея — Грихеллес и Берзин. Последнего я встретил позднее в Институте истории искусств. Антисемитских настроений в нашем классе не замечалось.

По утрам, перед началом занятий, ученики выстраивались в рекреационном зале, вместе с некоторыми преподавателями, и хор пел молитвы. Так было заведено во всех учебных заведениях.

Мои двоюродные братья — Георгий и Роман, сыновья дяди Константина Михайловича, — учились в одном кадетском корпусе с братом Славой. Учились гораздо лучше нас с братом. Их сестра Оля в 1915 году была определена в женский Ксениевский институт, но она так плакала, не желая там учиться, что тетя Мария Михайловна вынуждена была взять

ее из института, и Оля продолжала заниматься в гимназии княгини Оболенской.

В этом году событием в нашей жизни был приезд маминого брата, Григория Иосифовича Доманского, и его жены Александры Ивановны. Он жил в Омске, где командовал запасной кавалерийской сотней. Приезжая в Петербург, он останавливался у нас и жил обычно на широкую ногу. Дядя Гриша, как мы его называли, был полным усатым кавалерийским штаб-ротмистром. На другой день после приезда он вместе с женой, мамой и мной поехал в Гостиный Двор. Там мы зашли в игрушечный магазин Дойникова, и, так как выяснилось, что больше всего мне хотелось получить литых солдатиков, дядя купил мне несколько коробок этих дорогих игрушек. Дядя с дамами ехали затем в ресторан, поэтому меня посадили на извозчика, нагрузили коробками с солдатиками и отправили домой. До сих пор помню, как, очутившись один в пролетке, я боялся за свои сокровища.

На другой день, дома, дядя Гриша дал мне уроки тактики на этих же солдатиках, с обороной, атакой и контратакой.

Дядя и тетя уехали в Омск. Вернувшись из училища, я с удивлением увидел брата Славу, беспечно играющего с моими солдатиками. Оказалось, что брата исключили из корпуса за громкое поведение и тихие успехи. Все были очень огорчены, за исключением самого героя этого события. Мама сначала не знала, что делать, — но потом она вспомнила о моем крестном отце, дяде царя и брате греческой королевы — великом князе Константине Константиновиче.* Он был президентом Академии наук и начальником военно-учебных заведений. Мама помчалась к нему, и брат сразу же был восстановлен в корпусе.

---

* Фактически он и его сестра, королева Греции Ольга Константиновна, были только записаны в моей метрике как крестные отец и мать, а далее указывалось: «...а при купели находились: коллежский асессор барон Константин Михайлович Косинский и вдова подполковника Ванда Норбертовна Доманская».

## *Глава 5. Война и революция*

Война в первый год вступления в нее России мало отразилась на нашем быте. Продукты питания, торговля, цены и все остальное еще оставались на довоенном уровне. Но, конечно, война сильно чувствовалась в жизни столичного общества. Появилось много людей в военной походной форме, много раненых. Часть Зимнего дворца была отведена под госпиталь, много мелких госпиталей открывали частные лица в своих домах и даже квартирах. Госпиталь был устроен и в женской гимназии кн. Оболенской, в которой преподавала тетя Мария Михайловна. Однажды она взяла меня с собой, и я увидел, что раненые солдаты содержались в нем в прекрасных условиях.

Моя мама еще до ухода из Адмиралтейства окончила курсы медицинских сестер и по вечерам работала теперь в частном госпитале. Даже бабушка Ванда не оставалась безучастной к войне. Она не только читала газеты, но и завела карту театра военных действий, на которой флажками отмечала изменения линии фронта — часто, увы, весьма печальные для нас. Плохое зрение и старческая забывчивость порой мешали бабушке, и тогда она призывала на помощь меня: «Миша! Помоги мне найти на карте Калиш — его взяли немцы. Не может быть, чтобы его не было на карте!» Я бегу к бабушке, и мы долго и безуспешно ищем Калиш. Наконец, я обращаю внимание на участок карты, который бабушка давно закрыла своим пальцем. Прошу снять палец — и под ним оказывается Калиш. Бабушка давно нашла его, накрыла пальцем и забыла.

Во вторую военную зиму, расставшись со службой в Адмиралтействе, мама поступила машинисткой в управление военной цензуры. Последняя прекратила свое существование после Февральской революции, и мама осталась без работы.

Этой же зимой, уже в начале 1916 года, умерла бабушка Надежда Владимировна. А в конце лета того же года еще раз

пришлось участвовать в похоронах — умерла двоюродная моя бабушка Мария Иосифовна Буяльская, сестра деда Михаила Иосифовича, последняя остававшаяся в живых из этого поколения семьи Косинских. Похороны были торжественными. И это понятно — большую часть своего порядочного состояния она завещала Александро-Невской лавре, где ее и похоронили.

Сын Марии Иосифовны — Василий Петрович, или, как его называли в семье, Васенька Буяльский, ненадолго пережил свою мать. Он был убит неизвестными лицами у себя на квартире, и обстоятельства его трагического конца так и остались невыясненными. Он был холостяком, и с его смертью род Буяльских прекратился.

На меня, как и на многих других, очень сильное и положительное впечатление произвело убийство Распутина 18 декабря 1916 года. Я принадлежал к числу тех, кто считал тогда «распутинщину» позорным явлением, дискредитирующим императорскую власть и нашу страну. Я уже начинал понимать, что «распутинщина» была порождением абсолютной власти, и считал, что эта власть должна быть ограничена, — хотя и не уничтожена.

Убийство Распутина, конечно, не могло спасти царский режим. Скорее наоборот, оно ускорило ход событий, оно взбудоражило всех и подало повод для слухов, пересудов и разговоров, которые неизбежно приобретали политический характер. Ведь имя Распутина в Петрограде знали решительно все, вплоть до последнего неграмотного рабочего. Да и не только в Петрограде, а и в Москве, и на фронте, и в провинции. Всем было о чем поговорить.

Шепотом передавали, что, по данным медицинского вскрытия, Распутин еще дышал, когда его сбросили в Малую Невку, в промоину, которую заговорщики высмотрели заранее. А ведь до этого они позаботились о том, чтобы он проглотил с пирожными смертельную дозу цианистого калия. Мало того, он был дважды свален многочисленными револьверными выстрелами в упор. Выходит, все это не лишило его жизни — он умер окончательно только тогда, когда течение затянуло его под лед. Такая нечеловеческая живучесть казалась страшной. Суеверные, а ведь все немного суеверны, вспоминали слова, с которыми Распутин неоднократно

обращался к царской семье: «Пока я около вас, с вами не произойдет ничего худого! Но не дай Бог меня не станет, — тогда несдобровать и вам». Это звучало, как пророчество.

А между тем революция, что называется, уже «висела в воздухе». Тóлпы народа устраивали демонстрации. На улицах появились войска. Вооруженные пулеметами городовые были, по слухам, рассажены на чердаках домов.

Мой старший брат, перешедший из Александровского корпуса в то же реальное училище, где учился я, начал пропадать из дома. Его увлекла атмосфера революции, и он принимал участие в демонстрациях. Дома он распевал революционные песни.

Помню, однажды я и двоюродный брат Роман пошли к Невскому проспекту посмотреть на очередную демонстрацию. Мы шли по тротуару Лиговской улицы. Поперек улицы выстроился отряд кавалеристов с корнетом во главе. Роман был в форме Александровского кадетского корпуса. Корнет увидел его и подъехал к нам.

— Кадет, немедленно отправляйтесь домой! Вам не следует находиться на улице во время беспорядков.

В эту минуту с площади перед Николаевским (ныне Московским )вокзалом донеслись крики и гул толпы. Корнет отдал команду и во главе солдат на галопе помчался к площади.

Волнение все усиливалось. Бастовало уже более двухсот тысяч рабочих, на улицах собирались толпы, кое-где появились уже красные флажки и одновременно с ними высоко взлетел «красный петух»: запылал Окружной суд на Литейном проспекте, и народ не позволял пожарным тушить его. Были и другие поджоги. Полиция уже ничего не могла сделать. За пулеметчиками на чердаках охотились как за дикими зверями, и если удавалось настигнуть, то убивали их. А войска были ненадежны. Уже давно гвардия была выведена из столицы, отправлена на фронт и погибла под немецкими пулеметами, и до сих пор неясно, было ли это очередной правительственной глупостью или чьим-то весьма дальновидным планом.

Кстати, не так-то прост и вопрос о пулеметной стрельбе с чердаков, где, по всеобщему тогдашнему убеждению, «засели городовые», т.е. полицейские. В.С. Дякин в своей строго документированной книге «Русская буржуазия и царизм в

годы первой мировой войны» (издательство «Наука», Ленинград, 1967, стр. 322) сообщает: «Специальные расследования, проведенные после Февральской революции бюро адвокатуры петроградской судебной палаты и Бурцевым, опровергают версию о передаче пулеметов в распоряжение полиции».

Гарнизон Петрограда состоял из тыловых и запасных частей, которые совсем не хотели драться с кем бы то ни было. Если войска и открывали огонь, так только для самозащиты. Но в большинстве случаев толпа вовсе не нападала, а наоборот, шумно приветствовала солдат. Воинские части стояли на улицах в бездействии, пока их не уводили в казармы. Царское правительство издало декрет о роспуске Государственной Думы, считая ее, видимо, виновницей создавшегося положения, — но это показывало только, что правительство не отдает себе отчета в серьезности момента. Дума, конечно, отказалась повиноваться. Разогнать ее силой было уже невозможно, многие воинские части стали переходить на сторону восставших и слушались распоряжений, отдаваемых членами Государственной Думы.

Царский поезд, покинув ставку, не был допущен железнодорожниками в столицу и колесил по ее окрестностям. В конце концов он попал в Псков, к командующему Северо-западным фронтом генералу Рузскому. Ряд крупных военачальников, в том числе великий князь Николай Николаевич, почтительно уговаривали царя отречься от престола и, наконец, убедили его. Когда из Петрограда приезжали делегаты от Государственной Думы, он уже спокойно подписал отречение. Не знаю, чувствовал ли он тогда в глубине души, что подписывает по существу смертный приговор себе и своей семье...

Перед самой революцией быт в Петрограде сильно осложнился. У магазинов выстраивались очереди, подвоз продуктов сильно сократился, и их не хватало. После революции недостача провизии, особенно в таком громадном городе как Петроград, все сильнее давала себя знать с каждым днем. Цены резко подскочили. Чтобы как-то существовать после потери работы в военной цензуре, мама вынуждена была сдавать одну комнату. До лета 1918 года у нас три раза сменялись жильцы. Появился и еще один источник существования. На железнодорожных станциях скапливались грузы, а

грузчиков не хватало. Создавались артели, состоявшие из студентов, учащихся средних учебных заведений и вообще из людей, нуждавшихся в заработке. Брат и я вступили в такую артель. Очень нерегулярный заработок в артели все-таки помогал нам существовать. Так мой рабочий стаж начался с тринадцатилетнего возраста.

После ликвидации полиции Петроград остался без блюстителей порядка. Конечно, этим не могли не воспользоваться бандиты, жулики, в частности уголовники, выпущенные из тюрем, да и просто пьяницы и хулиганы. Временное правительство издало распоряжение об организации милиции из добровольцев. В домах была организована «домовая охрана» из жильцов. Отряды из нескольких человек дежурили у ворот и в подъездах домов. Они были вооружены случайным оружием — огромными старинными револьверами, крохотными дамскими, охотничьими ружьями, чиновничьими и генеральскими шпагами и даже дуэльными пистолетами. Пришлось и мне принять участие в этой «домовой охране».

По всему городу прокатились подвиги пьяниц. Были разграблены огромные винные склады, находившиеся в подвалах Зимнего дворца. Грабили винные магазины, закрытые по приказу царя с началом войны. Недалеко от нас, на углу Знаменской улицы и Ковенского переулка, находился частный винный магазин. В начале войны он был закрыт и витрины его заколочены досками. Теперь магазин разграбили. Доски выломали, витрины разбили. Помню, проходя мимо магазина, я воочию видел, как его громили. На досках, которые еще оставались в нижней части окон, висел пьяный субъект. Перекинув руки наружу, он так и не смог вылезти из магазина.

Шли аресты бывших министров, крупных чиновников, генералов, чинов полиции. На улицах собирались толпы и происходили бесконечные импровизированные митинги. Иногда, проходя, я не мог удержаться от того, чтобы не принять в них участия. В числе митинговавших было много солдат. Спорили до одури. Одни кричали, что нужно кончать войну, гнать буржуев, засевших во Временном правительстве, дать всю власть народу. Другие, наоборот, стояли за Временное правительство и за продолжение войны «до победного конца». Я тогда разделял точку зрения последних, — возмож-

но, потому, что вырос в семье, где были профессиональные военные, офицеры, высоко ставившие свой воинский долг.

Как-то я шел по Бассейной улице. Конечно, и на ней митинговали. И вдруг крики в толпе усилились, от нее отделились несколько человек и побежали за старым отставным генералом медицинской службы, проходившим мимо. Испуганный криками и преследованием, он пытался бежать, но одышка мешала ему. У генерала не было шпаги; мне запомнился маленький аккуратный пакетик на длинной веревочке, который он держал в руке. «Доскакав», потому что, повторяю, генерал не мог бежать, а как-то немощно подскакивал, до подъезда какого-то дома, он скрылся в нем, и преследование прекратилось. На меня эта сцена произвела тяжелое впечатление — я впервые увидел «стихийную» охоту за человеком, тем более совершенно безоружным и беззащитным. Может быть, именно поэтому смельчаки и гнались за ним.

Несколько раз я встречал на улице «рядовых» Армии спасения. Женщины и мужчины в военной форме какого-то иностранного образца ходили по улицам, останавливались и пели песни, похожие на молитвы. Вокруг собиралась небольшая толпа. Прочитав объявление о том, что в доме на Спасской улице происходят собрания «Армии», я решил посмотреть, что это такое. Благо это происходило близко от дома, в котором мы жили. Придя по указанному адресу, я оказался в мрачном зале среди небольшого числа посетителей. В конце зала высилась трибуна. На ней сменялись мужчины и женщины, облаченные в ту же полувоенную форму, что-то говорили, а главным образом пели какие-то однообразные, скучные песни. Пели невыразительно, с каким-то прибалтийским акцентом. Я ушел, не дождавшись конца собрания.

3 апреля 1917 года в Петроград приехал Ленин. Это имя мне впервые стало известно из расклеенных по городу объявлений. В них было напечатано о нелегальном приезде в Петроград В.И. Ульянова (Ленина), Л.Д. Бронштейна (Троцкого) и ряда других «немецких шпионов», прибывших из Германии.

В июне Временному правительству удалось организовать наступление наших войск на Львовском, Добруджинском, Молодечно-Виленском и Рижском направлениях. Вначале наступление развивалось довольно успешно, но затем было

остановлено немцами. Предпринятое в угоду союзникам, оно явилось, вероятно, самым безумным из всех действий Временного правительства. Во-первых, оно расшевелило немцев, — до него немцы держались выжидательно и пассивно, у них было достаточно забот на Западном фронте, к тому же в войну на стороне их противников вступила Америка. На русском фронте война с начала революции почти затихла. Теперь, однако, столкнувшись с фактом наступления русских войск, немцы поняли, что надо как-то воздействовать на Россию.

Во-вторых, и это главное, неудачное наступление подорвало дух еще боеспособных воинских частей. Произошло полное падение дисциплины, начались грабежи и убийства офицеров. Наступил развал фронта. Дезертирство сделалось всеобщим. Солдаты ехали с фронта целыми эшелонами, причем большинство захватывало с собой на всякий случай винтовки. Часть солдат возвращалась домой в свои деревни, но очень многие ехали в города, справедливо полагая, что человек с ружьем всегда кому-нибудь пригодится.

В нашей семье к Керенскому относились заведомо отрицательно. Иным было отношение к генералу Корнилову, поднявшему в июле контрреволюционный мятеж, впрочем не удавшийся, — возможно, потому, что среди наших родных и знакомых многие были офицерами, считавшими, что Россия переживает серьезный кризис, с которым болтунам и выскочкам вроде тогдашнего «главноуговаривающего» (так окрестили Керенского, назначившего себя «главнокомандующим») не справиться.

«Уже тысячи раз описаны все последующие дни, — читаю я в воспоминаниях О.К.Клименко, — не надо, наверное, о них и писать. О том, как демонстрации становились все гуще, плакаты несли то пугающие, то какие-то совсем непонятные: "Все, как один, под знамена Циммервальда", "Долой материнство"... От природы смешливая, я как-то спросила оказавшегося рядом разудалого матроса, что означает этот последний призыв. Он, затянувшись папиросой, глядя вбок, ответил: "А то, что рожать будешь ты, а воспитывать будем мы" (он, очевидно, уже был силен в "марксистской диалектике"). "А если я не захочу рожать?" — засмеялась я тогда. Он глупо посмотрел на меня — такая возможность ему, очевидно, не приходила в голову».

На остановившихся заводах усиленно формировались вооруженные отряды Красной гвардии. От Временного правительства уже мало что зависело, и, как известно, ему не удалось даже дотянуть до Учредительного собрания, чтобы передать тому свою иллюзорную власть...

Этим летом мы уже не имели средств снять дачу. Бабушка Ванда Норбертовна и Слава на лето уехали в Омск к дяде Грише. Меня тетя Мария Михайловна взяла в свой дом под Петергофом. Этот дом она начала строить за год до того на средства свои и холостого дяди Алексея Михайловича, с которым она была очень дружна. Дом стоял на участке, купленном у другого дяди — Константина Михайловича, и был почти закончен. Оставалось достроить фронтон и колонны над большой верандой, выходившей в будущий сад. Эта колоннада так и не была достроена. Дом был деревянный, в два этажа, обширный и добротно построенный, и имел зимнее отопление. Он был расположен в небольшом поселке (что-то вроде обширного хутора) Князево, недалеко от так называемой «Царской мельницы». Во втором этаже дома находилась отдельная маленькая трехкомнатная квартирка, предназначавшаяся для нашей семьи, которой так и не удалось там пожить.

Наши родственники обладали несравненно бо́льшими средствами, чем мы. Хотя источником этих средств был только их личный заработок. Дядя Алексей Михайлович, успешно командовавший «Забиякой» и награжденный в 1916 году Георгиевским оружием, был назначен командующим I-м дивизионом миноносцев Ботнического залива. Конечно, он зарабатывал несравненно больше, чем мама. Тетя Мария Михайловна сумела скопить несколько тысяч рублей, в то время как мама и не помышляла о чем-либо подобном. Наших доходов и до, и после революции хватало только на жизнь.

Итак, я провел лето в петергофском доме. В августе 1917 г. была отпразднована свадьба моей кузины Ольги Константиновны. Оля вышла замуж за флаг-офицера дяди Алексея Михайловича — Георгия Михайловича Тырышкина, который в начале войны окончил курсы так называемых «золотых гардемаринов» (эти курсы оканчивали лица, получившие высшее гражданское образование) и с 1915 года служил на флоте. Человек это был не только образованный и неглупый, но даже талантливый. И вместе с тем склонный к авантю-

ризму и... к выпивке. Бедная Оля порядочно помучилась с ним, прежде чем они разошлись. Но уже с самого начала, после того, как Оля и Георгий Михайлович сделали нам свадебный визит, бабушка Ванда сказала, что муж Оли, конечно, образованный молодой человек, но нос у него типичного алкоголика. После свадьбы Оля с мужем отправились совершать «свадебное путешествие».

Сентябрь и октябрь 1917 года молодые провели на шхерном островке Рейпосаари (Рефсэ) у финского побережья, «в “гамсуновской“ гостинице с табльдотом, — вспоминает Оля, — где за столом восседали главным образом шведские и финские капитаны с торговых шхун».

«Можно было в любой момент отбыть за границу, — пишет далее Оля, — но это как-то ни разу не пришло в голову. Службы как таковой на кораблях русского военного флота уже никто не нес, и мы втроем — мой дядя Алексей Михайлович, муж и я — подолгу гуляли по острову. Щелкали дядиным “кодаком“, и на память об этих двух безмятежных месяцах остался ряд фотографий. Дядя — в форме морского офицера, но уже без погон, и с тросточкой, я — в клетчатом длинном пальто, как было модно тогда.

10 ноября мы с мужем выехали в Петроград, откуда доходили все более тревожные вести.

Сколько раз в моей жизни пришлось мне видеть этот город в таком буйном, грязном, страшном виде! На улицах — отряды вооруженных людей. Разбойничьи рожи матросов в растерзанных бушлатах с красными бантами, широченные “клёши“... Вот хозяева положения,от которых к стенке жмется каждый встречный. Нет уже той “свободы“, той говорильни, что затопляла улицы весной и летом. Поговорили! Хватит! Молчать!

Помню день открытия Учредительного собрания (которое было сразу разогнано). По Литейному двигалась большая колонна к Таврическому дворцу, во главе со своими депутатами — “выборными представителями“. Запомнилось одно лицо -- по-видимому, бывший мировой судья, с цепью на шее. Лицо его было таким грустным, безнадежным, сосредоточенным, точно он шел на смерть. Я встретилась с ним глазами — и у меня сжалось сердце от боли.

В Петрограде мы пробыли недолго. Для возвращения обратно требовался пропуск, который удалось получить в Смольном. Но за короткое время нашего отсутствия Финляндия, увы, также сильно изменилась. Направляясь в Бьёрнеборг (Пори), где стояли корабли нашего отряда и где находился дядя Алексей Михайлович, мы на два или три дня заехали в Гельсингфорс. Наши матросы в Финляндии держались, правда, несравненно скромнее, чем в Питере, но все же столица "великого княжества Финляндского" уже была здорово загажена. Давал себя чувствовать и голод (хотя в кафе "Сити" все еще можно было пообедать и даже подавали масло). Мы направлялись из Гельсингфорса в Бьёрнеборг, а в нашем поезде с нами ехала орава эмигрантов, возвращавшихся из-за границы. Вероятно, они относились к преуспевающей прослойке эмиграции — все хорошо одетые, в желтых ботинках, наглые, вроде бы русские — но все время мешающие русские слова с немецкими или английскими. Ни эти люди, ни предки их ничем не жертвовали России, не пережили с ней войн, потерь, потрясений... Вид у них был "бизнесменов от революции". Как вбороны, кинулись они на разодранную междоусобицей, истекающую кровью страну, — давно отвыкшие от России, по-настоящему не знавшие ни ее народа, ни ее языка, ни ее духа... не то эс-эры, не то эс-деки, не то Бог знает кто. Много евреев. Едут с настроением победителей и, видимо, в полной уверенности, что окажутся у власти (как хорошо их перемололо потом чертово колесо — и праха не осталось!).

В Бьёрнеборге нас ждала тоже совсем новая обстановка. Отношение финнов к русским повсеместно заметно ухудшилось. Да и понятно: кому же хочется видеть на своей земле убийц, воров, головорезов, — а многие из окончательно распустившейся матросни явно могли быть причислены к этим категориям. В городе начались грабежи; финны требовали от "судовых комитетов" передачи воров в руки финских властей, а их суды и приговоры были скорыми и страшными.

С севера Финляндии двигалась уже "белая финская армия" — говорили, что по жестокости она превосходит недавно организовавшихся "красных финнов". Население заметно симпатизировало ей. Мы снимали комнаты у одной славной пожилой финки; оба ее сына внезапно исчезли, — говорили, что молодые люди толпами уходят в сторону Вазы, то есть к

белым. Все это очень быстро привело к тому, что мы, русские, вынуждены были спешно покинуть Финляндию — навсегда. Правда, часть офицеров все же решила остаться в Финляндии и податься в торговый флот. Но ни дядя мой, ни муж не были в их числе».

Ольга Константиновна старше меня на пять лет, и неудивительно, что в эти революционные дни она понимала и пережила несравненно более того, что выпало на мою долю. А до меня накатывающие одно за другим события доходили как не очень-то понятный, сумбурный процесс. Я видел, например, первые декреты советского правительства, — но в потоке бесчисленных призывов, объявлений, воззваний не придавал им какого-нибудь особенного значения. Я читал о мире, о передаче земли крестьянам, о национализации предприятий, — но нашу семью, не владевшую ни землей, ни фабриками, ни банками, ни магазинами, это непосредственно не затрагивало. К тому же, по правде говоря, декреты имели почти исключительно агитационное значение: ведь ко времени их выхода помещичьи усадьбы были уже разграблены, землю обрабатывал кто мог и кто хотел, фабрики, заводы, шахты и рудники стояли, банкам нечего было делать с грудами обесцененных бумажных денег, а мир был дальше, чем когда бы то ни было прежде.

Оружия в стране накопилось много, вооруженческий кризис 1915 года давно был преодолен, в арсеналах и складах хранилось достаточно снарядов и патронов. Огромное количество людей умело владеть оружием и было ожесточено многолетней войной. Лозунги, под которыми люди начинали вооруженную борьбу с центральным правительством и друг с другом, были самыми разнообразными.

...Слава остался очень доволен летом, проведенным в Омске. Главное, что ему там понравилось, — это предоставленная в его распоряжение кавалерийская лошадь из состава сотни, которой командовал дядя, и он вдоволь наездился на ней. Он с удовольствием рассказывал, что дядя Гриша — конечно, хороший кавалерист, но поскольку он весьма тучный человек, то, когда садился на своего рослого и сильного коня, тот «крякал» и прогибался под ним.

События, между тем, развивались. Мои дяди — Алексей Михайлович Косинский и Григорий Иосифович Доманский

— принадлежали к числу офицеров, не сумевших наладить отношения с революционными солдатами и матросами, — вероятно, потому, что не желали подлаживаться к ним, тем более что это с каждым днем становилось труднее и бессмысленнее: офицерам прямо в лицо говорили, что без них могут прекрасно обойтись. Алексей Михайлович в феврале 1918 года, из-за недоразумений с «судовыми комитетами», вынужден был оставить службу в действующем флоте и возвратиться в Петроград, где и получил новое назначение: был направлен в Архангельск для приведения в порядок северного военного флота. Однако вскоре после его прибытия туда город был занят белогвардейцами и интервентами. Алексею Михайловичу как боевому командиру царского флота было предложено принять участие в борьбе против советской власти. Но он ответил отказом и ночью покинул Архангельск. Частью пешком, частью на лошадях проделав 200-верстный путь и перейдя линию фронта, он вернулся на территорию, контролировавшуюся советской властью.

Около десяти лет спустя между дядей и мной произошел разговор о событиях тех дней. Как-то летом я приехал в петергофский дом, где жил Алексей Михайлович. Он в это время читал книгу Романа Гуля «Ледяной поход». В книге, вышедшей на Западе и переизданной у нас, автор -- офицер Белой (Добровольческой) армии — пишет, в частности, о смерти генерала Корнилова, смертельно раненного в бою с красными под Екатеринодаром. По словам Гуля, Корнилов перед смертью произнес: «Какое счастье для солдата умереть в бою!» Дядя высказал свою солидарность с этими словами. Тогда я спросил его: «Почему же ты не захотел испытать подобного счастья? Ведь в Архангельске ты имел полную возможность испытать участь генерала Корнилова». Но дядя ответил мне, что он, будучи русским, считает долгом служить своей родине, независимо от того, симпатизирует он или нет ее правительству и установившимся в стране порядкам.

Что касается Григория Иосифовича Доманского, то он, как и многие другие офицеры, служившие в тылу, еще перед Октябрьской революцией подал прошение о переводе в действующую армию. Сдавая сотню в Омске и будучи назначен на Кавказский фронт, он отправил жену с домработницей — девушкой Тоней — к нам в Петроград. Здесь они должны

были ждать его приезда после того, как в Омске он покончит со своими обязанностями.

Александра Ивановна Доманская, приехав к нам, долго ждала своего мужа. Наконец, подозревая, что дядя Григорий Иосифович «загулял» там на прощанье, она вновь отправилась в Омск наводить порядок. Через некоторое время она вернулась, и из соседней комнаты мне довелось услышать ее разговор с бабушкой Вандой об этой поездке. В Омске она нашла мужа в гостинице, где он жил перед своим отъездом. И как нашла! В номере она увидела следы грандиозной попойки — батареи пустых бутылок, залитую скатерть и т.д., и среди этого беспорядка на кровати спал дядя, одетый и в сапогах. Выяснилось, что он устроил прощальную попойку, не завершив всех необходимых дел. Отрезвев, он был очень смущен неожиданным появлением жены, которой он всегда побаивался. Через несколько дней он явился в Петроград, вслед за нею.

Летом 1918 года Александра Ивановна и Григорий Иосифович уехали, оставив у нас домработницу и вещи, — но отнюдь не на Кавказ, где, ввиду новых событий, делать, видимо, было уже нечего. Они написали нам из Саранска, который тогда был уездным городом Пензенской губернии, советуя переехать в Саранск из голодного Петрограда, и, подумав, мы решились на переезд. Сначала отправили туда бабушку Ванду и Тоню, а затем и сами стали собираться.

## *Глава 6. Жизнь в Саранске*

Оформив необходимые дела, продав часть своего имущества, а остальные вещи оставив под наблюдение ювелира Фомина и его жены, мы простились с родными, сели в поезд и уехали. Мы покидали Петроград без большого сожаления. Во-первых, мы уезжали временно, не собираясь расставаться с ним навсегда. Во-вторых, жизнь в Петрограде стала очень тяжелой. Мы, как, впрочем, очень многие жители столицы, голодали. Да и сам город, хотя и остававшийся красивым, величественным и родным, все более и более приходил в упадок. Тяжело было оставаться постоянными свидетелями его печального прозябания. Тяжело было наблюдать и деградацию окружавших нас людей, в том числе и многих наших знакомых. Спекуляция разрослась катастрофически. Многие «дамы общества» пооткрывали «кафе», в которых торговали весьма подозрительными яствами из дуранды и прочих отбросов. На рынках города и просто на улицах толпы людей, преимущественно интеллигентных, вели непрерывную меновую торговлю — на продукты меняли всё, начиная от драгоценностей и кончая придворными мундирами, бальными платьями и бюстгальтерами. Покупатели, спекулянты и прочие, часто пьяные и наглые, со смехом и циничными шутками хватали вещи, являвшиеся порой дорогими и памятными в глазах их владельцев. Но голод и абсолютная беспомощность и непрактичность принуждали продавать все, что могло представлять хоть какую-нибудь ценность. Какие бы гроши ни платили. Это было неизбежным следствием смены режима, приведшей многих так называемых «бывших людей» на грань нищеты.

...Кроме всего прочего, для брата и для меня, ввиду нашего еще очень молодого возраста, перемена места жительства была привлекательна и интересна сама по себе.

Дорога длилась дня два, а может быть и три. И вот перед нами Саранск. Станция, окруженная полями и лесами. За ней — большое кладбище и деревянные бараки-казармы. От станции мы быстро добрались до города и дома Китовых на 2-й Богословской улице, где нас ждала комната и живущая в ней бабушка Ванда.

Город был расположен на почти высохшей речке Саранке, впадавшей в приток Волги — реку Инсару. Один берег Саранки — высокий, другой низкий. На высоком берегу расположен центр города, на краю которого — наша улица, немощеная, как почти все другие, поросшая травой — типичная улица провинциального города старой России.

В городе было несколько церквей и монастырь. На центральной улице стояло несколько двухэтажных каменных домов, театр, кинематограф, библиотека, больница, гостиница, суд и несколько магазинов. Что характерно для подобных небольших городов — на самом видном месте, на высоком берегу Саранки, высилось четырехугольное, окрашенное белой краской здание тюрьмы. Под самыми стенами тюрьмы раскинулся базар, заполнявшийся по «базарным дня» крестьянскими телегами. На другом, низком берегу находился городской сад с эстрадой для оркестра, а дальше, на окраине города — большие красные корпуса кирпичных казарм.

Саранск был типичный русский уездный город, вплоть до городских «блаженненьких» — девушки и парня, обычно пребывавших на базарной площади. Население города составляло около пятнадцати тысяч.

В отношении климата эти места были, конечно, намного лучше Петрограда. Город казался зеленым от садов, в окрестностях его были леса, луга и перелески, как бы созданные для отдыха горожан. С продуктами питания тут было намного легче, особенно до волжского голода 1920 года, захватившего и Саранск.

К моменту нашего прибытия дядя Гриша уже уехал со специальным эшелоном закупать лошадей для фронта. С ним отправилась и его жена. Хозяин дома, где мы поселились, был вахмистром и служил с дядей. Это был симпатичный и непьющий человек. Звали его Антон Фролович Китов, а жену его — Ирина Исидоровна. Жил у них и брат хозяина, молодой парень. У хозяев были маленькие дети. Бабушке пре-

доставили «зальце» — лучшую комнату дома. За домом был фруктовый сад, а перед домом — палисадник.

По причине полного отсутствия у нас денег, маме и брату пришлось сразу же искать работу, — тем более, что мы взяли с собой из Петрограда только самое необходимое. Вещи же, отправленные багажом, пришли только через несколько месяцев.

С подысканием работы дело оказалось не слишком сложным. Мама узнала, что требуется машинистка в Чрезвычайную комиссию. Тогда это было одно из новых учреждений, и мы еще не связывали название «Чека» с чем-то страшным. Маму приняли на работу. Но вскоре ей пришлось печатать списки арестованных помещиков и прочих — собственно, списки заложников, — и даже документы, связанные с расстрелом. Маму это возмутило. Тем более что слухи, ходившие в городе, были нелестны для саранской ЧК. По улицам города каждый день водили под конвоем нескольких стариков-помещиков и бывших офицеров с мётлами в руках. Они должны были подметать заросшие травой улицы, выполняя брошенный тогда лозунг: «пролетарий под ружьё — буржуй под метёлку!» Держали их в тюрьме.

Возмущенная мама пошла к председателю ЧК и стала его убеждать, что расстрелы и аресты не должны происходить в стране, завоевавшей себе свободу. По-видимому, наивность мамы настолько поразила председателя ЧК, что он ограничился немедленным увольнением мамы. Она нашла работу при штабе какой-то артиллерийской части, квартировавшей в Саранске.

Брат начал работать в саранском народном суде. Там, судя по его рассказам, работали хорошие, но чудаковатые старики (он впервые встретился с нравами и времяпрепровождением провинциальных служащих). Один из них, например, коллекционировал всякие склянки и пузырьки...

Мне же пришлось поступить учиться. В Саранске было прежде два средних учебных заведения — женская прогимназия и «СРУ» — Саранское реальное училище. Во время первой мировой войны сюда же была эвакуирована из Риги гимназия — педагоги, учащиеся и все имущество. Часть педагогов и большинство учащихся гимназии уехали. В начале моего обучения в Саранске еще существовал какой-то

распорядок занятий, но с наступлением зимы мы больше путешествовали в лес за дровами, чтобы школа могла отапливаться, чем учились. Началась какая-то катастрофическая текучесть педагогических кадров. Многих из учеников и учениц все это только радовало.

Подавляющее большинство учеников, от самых маленьких до самых больших, увы, отличались противоестественным пороком. Это казалось особенно странным после нашего петербургского реального училища, в котором ни о чем подобном я даже не слыхал. Впрочем, впоследствии я увидел, что этим пороком были заражены и многие взрослые жители Саранска. По-видимому, это было специфическое местное явление — другого объяснения не нахожу.

В Саранске очень плохо обстояло дело с газетами. Лишь изредка удавалось увидеть или прочесть какую-нибудь из центральных газет. Так что о событиях внешнего мира, и прежде всего о событиях гражданской войны, мы были информированы очень слабо. Но некоторые известия до нас все же доходили. Так, дошло известие об убийстве в Екатеринбурге бывшего царя, его семьи и некоторых приближенных к ним людей. Это событие произвело на всех членов нашей семьи тяжелое впечатление. Да и сейчас, когда прошло уже более пяти десятилетий, я вспоминаю о нем с неприятным чувством. Дело не в том, что мне жаль убитого царя, царицу, наследника как представителей монархии. Вся мировая история наполнена подобными и даже еще более жестокими эпизодами. Мне грустно, что это событие произошло в нашей стране, и притом жестокость была допущена по отношению к беззащитным людям. Никакие причины — политические, в частности, — не могут оправдать убийства детей.

Тем же летом 1918 года мы узнали от Антона Фроловича Китова, уезжавшего в свою «часть по закупке конского состава для фронта», что части он не нашел, что эшелон с лошадьми был разграблен и многие, особенно офицеры, убиты. В числе убитых были дядя Григорий Иосифович и его жена.

В казармах Саранска стояли тем летом башкирские части, находившиеся здесь вместе с правительством Башкирии и семьями членов правительства. Кажется, это было связано с наступлением белых на Башкирию. Командовал башкирскими войсками молодой и красивый Афтох-Хеддин Оглы-Га-

бидулин, по-видимому бывший гвардейский офицер. Во всяком случае, он носил на голове гвардейскую фуражку с красным околышем и белым верхом.

Мы познакомились с некоторыми башкирами, и среди них — с довольно симпатичным молодым командиром конных пулеметчиков Ильясовым. И вот мой брат, которому было тогда уже восемнадцать лет, загорелся желанием вступить в армию. При содействии Ильясова он поступил в армию пулеметчиком и вскоре вместе с башкирскими частями ушел на фронт.

Примерно в то же время нашей соседкой стала жена командующего башкирским войском. Это была молодая и привлекательная женщина с разноцветными глазами. Звали ее по-башкирски Галия Загидулловна Оглы-Габидулина, но ничего восточного в ней не было. Ее девичья фамилия была Францель и имя Нина Михайловна, ее отец — аптекарь из немцев в Стерлитамаке. Не думаю, чтобы скромный папа Михель был очень доволен, когда его дочь, выйдя замуж за башкирского полководца, переменила его имя на грозное Загидулла.

Нина Михайловна, как мы ее называли, после отъезда мужа скучала, порой часами сидела у окна и смотрела, кто проходит по улице мимо дома. В пятнадцать лет я был стройным и привлекательным юношей. Нина Михайловна мне нравилась. Она, вероятно скуки ради, обратила внимание на своего юного соседа. Мы часто беседовали, гуляли с ней, и в конце концов я влюбился в нее. Но моя бабушка бранила меня за частые отлучки с Ниной Михайловной. Моя любовь бабушке решительно не нравилась.

Вскоре у Нины Михайловны произошло несчастье. Она узнала, что муж ее арестован и находится в Москве. Поехала в Москву — а по возвращении рассказала, что Габидулина расстреляли. Она уехала из Саранска. А летом 1919 года в город вместо башкир пришли казаки. Казачьим корпусом командовал бывший войсковой старшина (подполковник) Миронов. Его конец был тоже печален: в феврале 1921 года свои же, красные, арестовали его и расстреляли.

Осенью 1919-го артиллерийская часть, в штабе которой работала мама, была расформирована, и ее штабу предстояло отправиться в Москву для оформления окончательной ликвидации и получения новых назначений. Так как мы повсе-

дневно ощущали нехватку некоторых насущно необходимых вещей из остававшихся в Петрограде, мама решила воспользоваться оказией до Москвы и съездить в Петроград. С ней поехал и я. Ехали мы в товарном вагоне, вместе с несколькими командирами и рядовыми, служившими в штабе.

## *Глава 7. 1919–1922*

В Петроград прибыли хмурым днем. Город выглядел мрачно. На Николаевском вокзале в вагон вошли железнодорожники и просили у пассажиров хотя бы заплесневевшие корки хлеба. Голод. Улицы поражали грязью и запущенностью. Мы пошли на Озерной переулок, благо это было недалеко, где жили наши родственники и Фомины. Сначала заглянули к Фоминым. Они встретили нас любезно. Сразу же было видно, что Фомины живут в голодном городе, ни в чем не нуждаясь. Они стали нас уговаривать погостить у них. В одной из комнат стоял киот с образами, и в нем мы увидели большой образ Николая Чудотворца в массивных серебряных ризах и с золотым венцом над головой святого. Этим образом дедушка благословил маму на ее свадьбе, и он находился среди вещей, оставленных на сохранение Фоминым. Мама тихонько обратилась ко мне: «Бог с ними! Пусть будет им за заботу о вещах».

Приведя себя в порядок с дороги, мы пошли к дяде Алексею Михайловичу. Он жил с тетями — Марией Михайловной и Натальей Михайловной. Мы застали всех дома. Они обрадовались нашему приезду и не скрыли своего огорчения тем, что мы не сразу пришли к ним.

Оказалось, что в этот день был семейный праздник, не помню какой, и наши родственники ждали гостей. Мы провели вечер у них. Был подан приличный ужин, даже с вином, но было очевидно, что родные жили хуже Фоминых. Во всяком случае, когда я почувствовал себя плохо, очевидно с дороги, тети настояли на том, что они оставят мне мою долю угощенья, и что я должен ее потом съесть.

В Петрограде мы могли пробыть не больше двух-трех дней: в Саранске оставалась беспомощная бабушка, порученная вниманию соседей. Поэтому на другой же день мы отпра-

вились в военную комендатуру на Садовую улицу, там отметились, проделали необходимые формальности. Нас даже накормили обедом, состоящим из очень скверного супа, сваренного из селедки. Но, самое главное, нам сообщили в комендатуре, что в Конногвардейских казармах стоят башкирские части, прибывшие с фронта.

Мы немедленно направились на Конногвардейский бульвар и, действительно, там увидели много башкир, очень плохо обмундированных, притом в грязных белых конногвардейских колетах. На маленьких ростом башкирах колеты великанов конногвардейцев выглядели как огромные халаты. Охраны в казармах не было видно. Башкирского языка мы не знали, все же удалось разыскать кое-кого из начальства и получить немногие сведения о брате. Нам сказали, что он хорошо зарекомендовал себя в боях на Украине, но был ранен и отправлен в госпиталь. Адреса госпиталя нам дать не смогли.

На следующий день мы были уже в Москве. В город с вокзала мы не выходили, но он выглядел так же неприглядно, как и Петроград, и казался таким же голодным. На вокзале кипели толпы людей.

С собой мы везли три больших пакета с вещами и несколько маленьких. Не знаю, были ли тогда носильщики, — во всяком случае, мы их не видели. Зато много людей с голодными глазами шныряло в толпе, предлагая «поднести». Мы воспользовались услугами какого-то молодого человека в форме железнодорожника. Его руки были почему-то забинтованы грязными бинтами. Мама оставалась у переносимых вещей, он переносил пакеты, а я дежурил около уже перенесенных к поезду. С третьим пакетом парень исчез. Пытаться обратиться к милиции было безнадежно в такой толчее, да и не такое было время, чтобы жалеть какие-то вещи. В украденном пакете, среди прочего, был самовар, в котором мы так нуждались в Саранске. Ну что ж, утешались мы с мамой, — жили год и дольше проживем без самовара.

По приезде мама поступила на работу в саранский Уездный Совет народного хозяйства, вновь на должность машинистки, а я вернулся в технические мастерские, где работал и до отъезда. Они состояли из нескольких цехов: кузнечного, слесарного, кровельного, лудильного и других, разбросанных

по деревянным сараям и чисто кустарных. Ни одного станка не было. В каменном доме помещалась контора. До революции мастерские принадлежали некоему Корнилову, который после их национализации продолжал работать в них же, занимая должность технического директора. Корнилов был довольно симпатичным человеком. Это был худощавый и уже немолодой мужчина с усами и густыми черными бровями. Из руководящего персонала помню также франтоватого техника Мишу Язычкова и секретаря Перлу Лазаревну Левитан — довольно миловидную наружностью, но не отличавшуюся чистоплотностью девицу. Начальства вообще было многовато. Был и уполномоченный профсоюза металлистов, и старший мастер — аккуратный старик купеческого склада, носивший всегда поддевку и мягкий картуз с загнутыми кверху полями, на вид обходительный, елейный, но крайне неприятный из-за всегдашних шуточек самого неприличного свойства. Старшим в конторе считался калькулятор Николай Федорович Трубчиков. В его распоряжении находилось трое нас — конторщиков, все школьного возраста. Среди рабочих также было много совсем зеленой молодежи. Из взрослых рабочих я запомнил троих: очень симпатичного и скромного Шумилова с поврежденным одним глазом и уже пожилого рабочего, очень недалекого, но целиком осознавшего себя «хозяином жизни». Товарищи считали его глупым и постоянно подсмеивались над ним. Как-то в споре с товарищами, сославшимися на какой-то декрет правительства, он с глубокомысленным видом произнес: «Что мне декрет! Может, у меня свой декрет в голове». Третий из запомнившихся мне рабочих — бывший матрос с Балтики. Франтоватый, с длинными черными усами, он всегда носил тщательно отутюженную матросскую форму. Как-то он спросил меня, не родственник ли мне «барон Косимский», командовавший миноносцем «Забияка». Я сказал, что это мой дядя. Тогда он поведал мне, что служил в одном отряде миноносцев с дядей и что «Косимский был т о т командир! У нас о нем говорили, что если на миноносце Косимского не стоит под ружьем несколько наказанных матросов, то, значит, у него нет аппетита и он плохо обедает. После погрузки угля он, бывало, выйдет на палубу, вынет чистый носовой платок и залезет им в самые грязные

места.* Сразу несколько человек под ружье». — «А знали вы его лично? Видели ли моего дядю?» — «Нет, не видел, товарищи рассказывали».

После возвращения в Петроград я рассказал дяде о встрече с бывшим матросом и об этом разговоре. Дядя сказал, что это довольно типичные сплетни «нижних чинов» о своих командирах. «Да, я был строгим, иным командиру быть нельзя. Но под ружье я провинившихся никогда не ставил. Я считал, что свое оружие матрос должен любить, гордиться им, и обращать его в орудие наказания неправильно».

В том же 1919 году в мастерские назначили парторга или комиссара (не помню названия этого «поста»), некоего Зезина. Зезин начал командовать вовсю, но через некоторое время выяснилось, что ни к партии, ни к технике он не имеет никакого отношения, что в прошлом он разъезжал в труппе каких-то клоунов и вообще — «проходимец и жулик». Его убрали, но еще день или два он приходил в контору мастерских, причем держал себя нагло и отвратно, именно так, как может держать себя разоблаченный жулик.

Наступила зима, принесшая нашей стране новую беду — волжский голод. Он захватил и Саранск. Для нашей семьи, как и для массы других семейств, он оказался осложнен болезнью — тифом. Для меня эта зима была одним из самых тяжких испытаний, перенесенных в жизни.

Среди зимы приехал Слава — приехал, перенеся тиф в московском госпитале, куда он попал после ранения на фронте. Он был донельзя исхудавший, оборванный и голодный. Тут заболел тифом я. Перенес болезнь в довольно легкой форме. Когда я более или менее поправился, вторично заболел брат. Только он начал поправляться — заболели мама и бабушка. Во время кризиса маминой болезни началась агония бабушки. В комнате, где стояло три кровати, бабушкина, мамина и моя (брат спал в соседней комнате), мама металась в сильном жару, повторяя в бреду все время одно и то же. Ей мнилось, что броненосец «Ослябя» погрузился на дно океана и люди, в числе которых находится отец, задыхаются в своих каютах. А в это время бабушка в агонии стонет: «Миша, Слава, поднимите меня, поднимите меня! Где же этот Бог, почему

* «Забияка» был не «угольным», а нефтяным миноносцем, так что непонятно вообще, о какой погрузке угля могла идти речь.

он не поможет, если он существует?» Мы еле держимся на ногах от слабости после только что перенесенной болезни, но приподнимаем бабушку один раз, другой; бесконечное число раз. Наконец, бабушка замолкает. И без того худые черты ее лица заостряются и желтеют. Появляется пожилой фельдшер Козлов и констатирует смерть...

Маме после кризиса стало легче, но она не могла вставать. Бабушку похоронили без нее. На крест прибили медную дощечку с выгравированной надписью: «Ванда Норбертовна Доманская». Эта дощечка когда-то висела на дверях бабушкиной квартиры и была найдена нами в ее вещах.

Как все проходит, миновали и эти тяжелые дни. Для меня они были первыми тяжелыми испытаниями в жизни. Поправилась мама и начала работать. Я стал ходить в мастерские и в школу. Сначала, под впечатлением пережитого, я хотел бросить учиться. Написал об этом дяде Алексею Михайловичу. Он ответил мне длинным хорошим письмом, в котором советовал не бросать школу, а напрячь все силы и окончить ее. Он писал, что будущее покажет, смогу ли я продолжать образование дальше, но если я брошу среднюю школу, то закрою себе путь для дальнейшей учебы.

А брату уже исполнилось девятнадцать. Он решил ехать в Петроград. Там виднее будет, что дальше делать. Так он и поступил.

Прошло лето 1920 года, зима, и вот весной 1921-го брат, служивший на военном флоте на Балтике, приехал к нам на побывку. Приехал совсем другим, чем прошлой зимой. Выглядел он прекрасно, и матросская форма очень шла к его красивой наружности. Он помог нам в огородных работах (мы усиленно работали на общественном огороде, чтобы при распределении урожая получить достаточное количество овощей — главное подспорье в нашем питании), пофлиртовал с девушками и уехал в Петроград.

Я благополучно перешел в седьмой класс. Как раз был объявлен призыв в военные училища — стране требовались командирские кадры. В Саранске оказалось много желающих. Подал заявление и я. При этом я оказался единственным из саранских ребят, выразившим желание поступить в военно-морское училище, что было в традициях нашей семьи. Саранская профсоюзная организация Союза металлистов, членом

которой я состоял, не только поддержала мое ходатайство, но и снабдила меня письмом, написанным в лирических тонах. В нем говорилось о «тесной связи флота с металлическим производством» и о том, что саранская организация Союза «посылает одного из лучших своих членов» в военно-морское училище. Письмо было датировано 17 сентября 1921 года.

Всю группу саранской молодежи направили в Казань, где мы должны были пройти проверочные испытания и распределение по училищам. Расстояние до Казани — около 400 километров, но поезда тогда ходили очень медленно, к тому же нам предстояла пересадка в Тимирязеве (ныне Красный Узел). Здесь мы переночевали на полу станции, сплошь устланном пассажирами. На вокзале в Казани мы столкнулись со страшными картинами — перед нами предстал волжский голод: изможденные лица, лохмотья на донельзя исхудалых телах, болезни. На вокзальном полу корчился молодой парень с совершенно зеленым лицом. Нам сказали, что у него холера.

Одна из казанских комиссий проверяла наше здоровье, другая — знания. Нас разместили в казанском кремле. В отношении меня было признано, что и по здоровью, и по знаниям могу быть послан в военно-морское училище. Но непосредственно из Казани, как выяснилось, в такие училища не направляли, и комиссия решила отправить меня в Москву, в Главное управление военно-учебных заведений (ГУВУЗ). Мне дали направление и познакомили с каким-то командиром, тоже едущим в Москву. На нас обоих дали общий билет. Но я хотел до Москвы заехать «домой», в Саранск: рассказать маме о своих делах, которые вроде бы складывались неплохо, помочь ей в уборке овощей, да заодно и немного подкормиться после полуголодного пребывания в Казани. Чтобы меня не связывал общий билет, я предложил своему попутчику после станции Канаш, где мне надлежало сойти, продолжать путь одному. А я в Канаше заявлю, что у меня украли билет. Документы мои в порядке, направление в Москву на руках. В случае неудачи до Саранска доберусь «зайцем».

Мой попутчик одобрил этот план, и в Канаше мы простились. Дождавшись отхода поезда, я разыскал уполномоченного ЧК. Он сидел в отдельном домике при станции, к дверям которого тянулся огромный хвост татар и мордвинов,

окруженных женщинами и детьми. Заняв очередь, я первым делом прошел на пристанционный базар, достал из мешка белую матросскую форменку — подарок брата — и променял ее на хлеб. Утолив голод хлебом и водой и стоя в очереди, я понял, что ждать безнадежно. Толпа передо мной становилась все гуще и гуще. Люди приходили, уходили, возвращались, они плохо понимали по-русски, что заставляло их добиваться приема вновь и вновь. Я подошел к заветной для нас всех двери, взялся за ручку и под ругань и крик вошел.

В комнате сидел за столом пожилой мужчина в морской форме, тщетно пытаясь понять, что объясняют ему на смешанном татарско-русском наречии два татарина. Отвлекшись при моем появлении, он прикрикнул на меня и потребовал, чтобы я стал в очередь. Но я проявил настойчивость. Не обращая внимания на весьма нелюбезный прием и протестующую брань татар, я пытался объяснить уполномоченному свое положение и совал ему документы. Отводя их рукой, он все же взглянул на них — и вдруг задал мне вопрос: «А ты, случаем, не сродни Федору Михайловичу Косинскому?» — «Я его сын». Тут его взгляд потеплел, и, оборотившись к татарам, он заставил их замолчать. «А я ведь знал твоего отца. Служил на его миноносце. Твой папаша был очень хороший командир, сердечный человек. До самой смерти их не забуду». Уполномоченный внимательно просмотрел мои документы. «Значит, хочешь быть моряком. Это дело! Желаю тебе удачи и быть таким же, как твой отец. Так, бумаги у тебя в порядке, а билет сейчас устроим!» Он достал кусок бумаги, что-то написал на нем, расписался, прихлопнул печатью... «На, теперь полный порядок! Ну, бывай! Желаю удачи». Я поблагодарил и вышел. На бумажке было написано, что такому-то, то есть мне, разрешается проезд по железной дороге до станции Москва. Были тогда и такие «билеты»...

На другой день я появился в Саранске. Провел там несколько дней, помог матери в огородных работах. Мой поезд в Москву шел через Рузаевку, вдоль поймы реки Инзы, где располагались общественные огороды. На них как раз распределяли выкопанный картофель. Из окна вагона я увидел маму. Она стояла в группе мужчин и женщин около кучи картофеля. В толпе людей она показалась такой одинокой, что у меня защемило сердце.

Москва произвела на меня несравненно лучшее впечатление, чем в прошлый раз, когда мы проезжали ее вдвоем с мамой. Чувствовалось, что жизнь в столице возрождается. Да и день был солнечный, веселый.

«ГУВУЗ» помещался на одной из улиц, отходивших от Садового кольца; так как я не знал города, мне пришлось довольно долго идти по этому кольцу, пока я, наконец, не попал в нужный мне дом. Несколько дней предстояло прожить тут на казарменном положении в ожидании комиссии. Один раз кандидатов в военные училища водили на экскурсию в Кремль, и я впервые побывал в Оружейной палате. В доме, где нас разместили, имелся клуб. Помнится, однажды в нем был устроен спектакль для нас. Шла политпросветовская агитка. На сцене выступали профессиональные актеры; один из них «представлял» кулака, наменявшего у горожан на хлеб и другие продукты массу разных вещей. Помню, что на столе стояло биде, наполненное яблоками, а сам хозяин, слонявшийся среди доставшихся ему за бесценок вещей, время от времени присаживался за рояль и кулаками извлекал из него сумбурные звуки.

Пройдя вновь комиссию, я был направлен в Петроград, в военно-морское училище, и, не задерживаясь, выехал туда. В Петрограде я с вокзала направился к дяде Алексею Михайловичу. Застал его дома и узнал от него очень неприятные вещи.

Незадолго до моего приезда ЧК арестовала дядю Константина Михайловича, его младшего сына Романа и моего брата Славу. Дядю недолго продержали в тюрьме и выпустили, а Славу и Романа отправили в неизвестном направлении. Оба дяди сейчас жили в одном доме. Старший сын Константина Михайловича, Георгий, весной 1918 поступивший на военный флот, три месяца прослужил на миноносце, потом был на курсах командиров флота, а теперь учился в Институте гражданских инженеров. Роман был до ареста флаг-офицером штаба подводного флота. В том же доме жила и старшая дочь Константина Михайловича, Оля, с мужем Георгием Михайловичем и маленьким сыном Всеволодом («Тасиком»). Ее муж служил на флоте еще с 1915 года. В 1919 году он был арестован, но вскоре освобожден и реабилитирован. Теперь он служил в Главном морском штабе. В дальнейшем, в 1922

году, он поступил в Военно-морскую академию, которую окончил с первым послереволюционным выпуском.

Дядя Алексей Михайлович рассказал мне еще об одном несчастье в нашей семье, которое он переживал особенно тяжело. Его сестра Мария Михайловна сошла с ума и была помещена в клинику профессора Бехтерева, известного психиатра. Дядя всегда был особенно дружен с Марией Михайловной, человеком выдающимся по уму и образованности. И вот — ее постигла такая судьба...

О себе дядя Леша рассказал кратко, что заведует морским отделом Военно-хозяйственной академии и состоит членом военно-исторической комиссии при Военно-морской академии. Работает над книгой о Моонзундской операции 1917 года (эта книга вышла в 1928 году).

Я поведал дяде о моих делах и показал направление в военно-морское училище и прочие документы. Прочитав письмо профсоюзной организации, дядя, смеясь, назвал его «стихотворением в прозе», рассказал, к кому я должен обратиться, и попросил передать поклон некоторым работникам училища. На другой же день я отправился туда, на Васильевский остров. Все те лица, с которыми я беседовал, были из числа офицеров царского флота. Я передал дядины поклоны, меня расспросили о моих родственниках-моряках, приняли документы и, обнадежив меня, предложили явиться через день.

На обратном пути я любовался городом, уже ожившим, хотя в нем на многих улицах, правда второстепенных, все еще росла трава. Открыты были многие магазины, преимущественно частные. По улицам ходили трамваи.

Когда я через день приехал в училище и явился к человеку, которому сдал документы, он встретил меня с натянутой вежливостью и, возвращая бумаги, сказал, что, к сожалению, меня принять не могут, так как у меня нет законченного среднего образования. Через год, закончив среднюю школу, я смогу поступить в училище, если мои планы не изменятся. Мне оставалось только проститься и уйти.

Казалось бы, ГУВУЗ, где тщательно рассматривали мои документы, должен был знать условия поступления в военно-морское училище, куда он меня официально направил. В те времена прием в военные учебные заведения был очень

облегчен. Быть может, я ошибаюсь, но мне показалось, что отказ, как и изменение отношения ко мне, были продиктованы скорее всего нелепым «стихотворением в прозе», скомпрометировавшим в глазах кадрового начальства училища родственника офицеров царского флота.

Но может быть, что причина отказа была иной. ГУВУЗ не знал ни того, что я был родственником царских офицеров, ни того, что они принадлежали к титулованному дворянству. А здесь это знали. Знали и об аресте моих родных, который был проведен, вероятно, из «профилактических соображений» и в связи с кронштадтским восстанием. Те же соображения вполне могли играть роль и в отказе принять меня в училище.

Дядя, узнав, что произошло, пожал плечами. Мы решили, что мне следует, действительно, прежде всего закончить среднюю школу, а там видно будет. И я поступил в седьмой, по тем временам — последний, класс 23-й «советской школы». Там преподавал пение мой дядя Михаил Михайлович. Я и поселился у него.

Советская школа второй ступени № 23, разместившаяся в здании бывшего женского Екатерининского института, была оригинальным учебным заведением, где забавно перемешивались «пережитки» распорядка института для благородных девиц и новые веяния. После революции институт был вывезен из Петрограда на юг со значительной частью воспитанниц. После разгрома Врангеля произошло его возвращение. Преобразование его в школу означало, что в нем стали учиться и мальчики. В моем классе было девочек и мальчиков поровну — по пятнадцать человек, в том числе несколько бывших институток, и среди них графиня Граббе и баронесса Дольст. Девочки носили институтскую форму, а мальчики — кадетские мундиры без погон. Часть учащихся жила в здании школы, часть только посещала занятия, но питались в школе все. Во главе ее стояла директриса, «дама из общества»; сохранились и институтские классные дамы. Они присутствовали на всех уроках и, сидя в стороне, читали либо занимались вязаньем. Их обязанностью было следить за поведением учащихся, но, увы, большинство учениц, да и учеников старших классов, отличались далеко не скромным поведением, особенно вне стен школы.

Состав педагогов был очень пестрым. Проучившись здесь одну зиму, я запомнил двоих — Константина Сергеевича Митягина, преподавателя русской литературы, скучного формалиста с внешностью лабазника, и географа Михаила Васильевича Ускова, маленького старичка с седой бородкой, ведшего свой предмет увлекательно и нешаблонно.

Несколько месяцев я прожил у дяди. Потом приехала мама, а затем из заключения, из лагеря под Архангельском, вернулся брат.

Мы начали усиленно искать квартиру. Сначала попытались снять комнату. В поисках сдающейся комнаты попали, помню, в большую, хорошо обставленную квартиру. Хозяйка оказалась любезной и приятной женщиной. И вдруг мы увидели в одной из комнат большой сейф. Мы, смеясь, спросили ее, что она держит в этом сейфе. «Мы его не можем открыть, — отвечала хозяйка. — Так что я не имею представления, что в нем!» Этот ответ удивил нас. Выяснилось, что квартиру со всей обстановкой ей дали после бегства прежних хозяев — может быть, они уехали за границу. Кто они такие, она не знала: «какие-то буржуи». Нам было неприятно въезжать в реквизированную квартиру и мы ушли.

После нескольких подобных случаев мы стали искать пустые квартиры. В Петрограде их было очень много. Целые дома стояли незаселенными. Но в каком виде! Поломанные двери, разбитые стекла, загаженные комнаты. Однако на Озерном переулке, в доме, где мы когда-то жили, пустовал флигель с маленькими двухкомнатными квартирами, выходящими окнами во двор. Все квартиры были закрыты и сохранились в относительном порядке. Мы перебрались туда, в маленькую квартирку, в которой и прожили несколько лет.

В 1921 году, по случаю амнистии в годовщину Октябрьской революции, вернулся из тюремного заключения двоюродный брат Роман. Но его отец, дядя Костя, узнав, что Роман освобожден без права проживания в Петрограде, не позволил ему даже переночевать дома. Заверения сына, что он приехал в Петроград именно для того, чтобы хлопотать о документах, которые позволили бы ему восстановиться в правах, не повлияли на решение отца. Роман пришел тогда к нам и у нас прожил до своего отъезда в Москву. Он побывал у своего товарища — комиссара штаба подводного флота, который

раньше относился к нему очень хорошо. Тот неожиданно сообщил Роману, что арест ряда подводников был произведен по распоряжению свыше. Предлагалось арестовать определенное количество командиров, причем отбор был поручен именно ему — комиссару. Он включил в список Романа как самого молодого из командиров, не имеющего специального образования, чтобы «нанести меньший ущерб делу»! Теперь он с легким сердцем выдал Роману справку за своей подписью, подтверждающую мотивы ареста.

Роман поехал в Москву на прием к председателю ВЦИК М.И. Калинину. Не помню, принял его лично Калинин или нет, но, так или иначе, вскоре он вернулся в Петроград с отменой ограничений, связанных с арестом. По-видимому, упомянутая справка, полученная от комиссара, немало помогла ему в этом.

Аресты в нашей семье не могли не отразиться на моих взглядах. Еще в большей степени они повлияли на Славу. Ведь он добровольно пошел воевать на стороне советской власти — и его же без всякой причины посадили, — вероятно, только за фамилию. О концлагере он не любил рассказывать, говоря, что только там он узнал значение слова «кошмар».

У Славы еще до революции проявились тенденции к увлечению полонизмом — естественно, в связи с прошлым нашей семьи. Теперь они проснулись с новой силой. Он, никогда не бывший религиозным, перешел в католичество и ходатайствовал через консульство о предоставлении ему польского гражданства. Получив отказ, он, видимо, решил любым путем, даже нелегально, скрывая это от родных, покинуть родину, — что и произошло в 1926 году.

Весной 1922 года я благополучно окончил школу. Слава поступил в техникум водного транспорта (ныне Высшее училище торгового мореплавания, в просторечии — «Высшая мореходка») на 22-й линии Васильевского острова. Я тоже решил пойти туда — на судоводительское отделение, как и мой брат. Война кончилась. Наш торговый флот начал бороздить моря и океаны. Военный же флот редко выбирался тогда за пределы внутренних морей. Но для меня главная причина «измены» профессии военного моряка заключалась скорее всего в неприятном осадке, оставшемся от моего неудачного «поступления» в военно-морское училище.

По окончании школы я расстался с товарищами, не сохранив ни с кем дружеских отношений, но продолжая встречаться с некоторыми из них. Одна из девушек моего класса рассказала мне как-то такую печальную историю.

Среди бывших институток, учившихся в нашем классе, была юная графиня Граббе, которую считали очень хорошенькой. Правда, мне она не нравилась. Дуся Граббе отличалась легкомыслием, что в то время было, к сожалению, характерно у «осколков побежденного класса». По словам подруг, она злоупотребляла кутежами с «непачами», как называли представителей нового и в большинстве своем очень неприятного класса, порожденного новой экономической политикой. И наружно, и внутренне она производила впечатление какой-то нечистоплотности. Дуся жила с матерью и маленьким братом, которые собирались уезжать за границу к отцу — царскому генералу, эмигрировавшему ранее.

У Дуси Граббе был жених, за которого она предполагала выйти замуж по окончании школы, что и произошло. Пока она училась, он не появлялся в нашем кругу, мы ни разу не видели его на школьных празднествах и вечерах. На мои вопросы, покажет ли она нам своего жениха, Дуся отвечала, что он очень занятый человек и на вечерах ему некогда бывать. Но ее подруги уверяли, что Дуся просто стесняется этого своего жениха, так как это некрасивый, рыжий, огромный человек «солдатской наружности»: до революции он служил вахмистром не то в кавалергардском, не то в конногвардейском полку, после революции вступил в партию и теперь командует какой-то кавалерийской частью, стоящей в окрестностях Петрограда.

После замужества поведение Дуси Граббе не слишком изменилось. И вот как-то ночью, возвращаясь из части, ее муж ехал верхом по набережной Невы и увидел жену в объятиях очередного возлюбленного. Он не показал виду, что узнал ее. Но когда она появилась дома, он застрелил ее из револьвера, а затем явился к комиссару своей части, сдал оружие и сказал, что убил свою жену.

Был суд. На него я не пошел, но мне рассказывали, что на суде демонстрировались дневники Дуси Граббе, где описывались ее романы, попойки и отношение к мужу. Суд его оправдал.

Мой двоюродный брат Роман, с которым я был очень дружен, с осени 1922 года поступил в седьмой класс средней школы. Милый, веселый, остроумный, порядочный «дон Жуан», полный кипучей энергии, он постоянно что-то организовывал, предпринимал, и, не имея постоянного заработка (школа мешала этому), порядочно прирабатывал. В годы нэпа сделались очень популярными всякие развлечения: балы, танцульки, концерты. Роман брался за организацию этих «мероприятий», работал также комиссионером в частных фирмах, иногда привлекая к этой работе и меня. Помню, по его протекции я занялся было распространением суррогатного кофе, производимого двумя соперничавшими компаниями — Бумштейна и Финкельштейна. Но, должен сознаться, это дело шло у меня плохо.

В этот период на очень короткое время непроницаемая завеса, отделившая послереволюционную Россию от Запада, почему-то приподнялась: очень многие лица, не захотевшие остаться в Советской России, получили разрешение на выезд за границу. Среди них были бывший министр царского двора граф Фредерикс, которому шел девятый десяток, бывший морской министр Григорович... Но — что гораздо важнее — уехало (или было выслано) большое количество талантливых и образованных людей — работников науки, видных философов, одаренных инженеров, писателей, поэтов, художников, композиторов, артистов. В самом деле, в то время знающим, талантливым и энергичным людям в Советской России делать было нечего.

Между тем, почему-то у многих господствовало убеждение, что революция против собственности окончилась, что нэп установлен раз и навсегда (тем более, что он оказался в экономическом смысле столь эффективным), и следует только как-то приноравливаться к его мутной стихии. Чем же был плох нэп? Ведь во все времена существовали темные сделки, игорные дома и всякие вертепы. Да, но прежде поверх всего этого лежал мощный культурный слой населения, среди которого считалось, что жизнь нельзя свести к жажде примитивного стяжательства и низкопробных увеселений; считалось, что к морали и к науке и искусству сто́ит относиться с подобающей серьезностью. Тогда и рысаки, и рестораны окажутся на своем месте.

Правда, этот слой отчасти сохранился, хотя и сильно поредел. Но теперь и в самом культурном обществе стали заметны признаки разложения. Сказывалось влияние прослойки «нэпманов» — руководителей всяких трестов и торговых предприятий. В общем, бурьян густо разросся на могилах... Но от чего русская интеллигенция излечилась раз и навсегда — это от идеи «служения народу». Просветительство тоже стало выглядеть вовсе смешным — пусть им занимаются ликбезы! Торжествовал своеобразный эгоизм — или, если угодно, инстинкт самосохранения: большинство пожилых людей старалось держаться как можно тише, все понимали, что раз нельзя высказывать свое собственное мнение, то лучше не иметь его вовсе. Умные и вполне порядочные люди механически поднимали руки и голосовали за резолюции вроде «лордам по мордам!» или «смерть Папе Римскому!» Трудно поверить, что они не понимали глупости таких резолюций, скорее просто считали, что «теперь так нужно». У молодежи возникли свои не менее эгоистичные заботы — как пробиться в люди, прежде всего — как получить образование. В то время для сыновей всяких «бывших» это было не просто.

Многие люди интеллигентного труда стали опять зарабатывать прилично. У некоторых сохранились квартиры и обстановка — то есть мебель, книги, рояли. В общем, в 1922 году «петербургское общество» несколько оживилось. Правда, характер его изменился. «Высшего света» уже, естественно, не было. Его, если можно так выразиться, «заменила» интеллигенция — академики, профессора, инженеры. К этому слою следует причислить и нэпманов, и «советских деятелей» не вполне определенного толка — то ли толкователей марксизма, то ли журналистов, то ли «организаторов», то ли вообще мелких хищников, искусных в ловле рыбки в мутной воде...

Очень много было людей работавших, но живущих на скромную зарплату и едва сводивших концы с концами. И много таких, которые потеряли все во время революции и — в силу преклонного возраста либо отсутствия, как теперь говорят, «специальности» — буквально нищенствовали. Баронесса Ш., вдова бывшего богача, ходила по людным улицам и пела итальянские романсы. Другую в прошлом светскую даму дочь-девочка возила по улицам в коляске, собирая

подаяние. Родственница бывшего военного министра Ванновского, жившая с маленькими дочерьми, собирала милостыню у дверей игорного дома, открывшегося в годы нэпа на Владимирском проспекте. Собрав немного денег, она тут же отправлялась в игорный дом и проигрывала их в рулетку. На Знаменской площади (ныне — площадь Восстания) сидел мужчина с седой бородкой, собирая подаяние. На нем — сюртук и фуражка дворцового гренадера, медали за дореволюционную службу и значок с портретом Ленина на груди. Встречались и такие...

Зато в деревнях было, по-видимому, благополучно. В эти годы Россия опять стала продавать хлеб за границу. Крестьяне трудолюбиво работали. «С советской властью жить нам по нутру, теперь бы ситца да гвоздей немного» (Есенин). Что же, они оказались еще более недальновидными, чем горожане.

С наступлением зимы я начал заниматься в техникуме водного транспорта. Директором его был тогда бывший «полковник по адмиралтейству», специалист по водолазному делу Берлинский, постоянно подчеркивавший свою преданность советской власти, — как говорили, «не в последнюю очередь» по причине того, что брат его был белым генералом. В то же время рассказывали, что его полное бритое лицо, покрытое сплошь мелкими багровыми жилками и снискавшее ему пожизненное прозвище «Ветчина», пострадало еще до революции. Рядовые-водолазы будто бы ненавидели Берлинского за грубость и жестокость. Однажды, когда он, в порядке инструктажа, погрузился в скафандре в воду, кто-то из них наступил ногой на шланг подачи воздуха. Берлинский начал задыхаться и у него полопались кровеносные сосуды...

## *Глава 8. Участник полярной экспедиции*

Весной 1923 года началась подготовка полярной экспедиции по освоению Северного морского пути. Во главе экспедиции стоял товарищ дяди Леши по морскому корпусу, известный гидрограф Николай Николаевич Матусевич. Дядя советовал брату и мне постараться попасть в состав экспедиции. Большая часть ее участников набиралась в Петрограде. Подбирали команду для ледокола «Малыгин» и двух судов Северного гидрографического отряда — «Купавы» и «Мурманска». В состав экспедиции входили еще два лихтера (морских баржи), один из которых носил громкое название «III Интернационал», а другой — «Красный генерал Николаев».

Вполне понятно, что участвовать в полярной экспедиции мне и брату очень хотелось. К нам присоединился товарищ по техникуму Юра Быков (впоследствии погибший в Отечественной войне). Я помню большую толпу желающих принять участие в этом походе; каждого из них, по очереди, в отдельной комнате принимали и подробно опрашивали трое политработников, и на основании такой беседы объявляли свое решение. Юра Быков и брат прошли этот опрос и были приняты. Когда же в комнату вошел я, эта «тройка» долго задавала мне разные вопросы, под конец заявив, что я не подхожу, но не объясняя причин. А мне так хотелось принять участие в экспедиции! Думаю, что они сочли меня слишком молодым, да к тому же я не имел никакого стажа работы на флоте. Я стал настаивать. Я тогда еще не имел достаточного жизненного опыта, но впоследствии мне пришлось убедиться, что если человек чего-то особенно хочет, его доводы могут, подобно гипнозу, воздействовать на умонастроение людей. Более часа продолжались наши споры, и в результате я был принят.

Нужно было готовиться к отъезду в Архангельск, откуда отправлялась экспедиция. Мы прибыли туда в пассажирском

поезде и через несколько дней были распределены по судам. Все трое попали на гидрографическое судно «Купава». Меня назначили «марсовым-рулевым». «Купава» еще до революции была куплена в Норвегии. Там она эксплуатировалась как пассажирский пароход и называлась «Ернсдальфиорд» — это название сохранилось на рынде (судовом колоколе). Водоизмещение судна было невелико — всего 440 регистровых тонн. В носовой части находилась мачта с марсом (смотровой площадкой), но мне ни разу не пришлось влезать на марс, работу же рулевого я выполнял регулярно в течение плавания. Внутренние помещения парохода были прилично отделаны. В частности, кубрик (помещение для команды) с нарами в два этажа был отделан под ореховое дерево. Он, как обычно, помещался в носовой части, и через него проходили якорные шлюзы (каналы для якорной цепи), так что при подъеме и спуске якоря цепь его громыхала на весь кубрик. Паровая машина «Купавы» работала на угле, а компас был магнитным. Обращению с ним я хорошо научился в техникуме.

Командовал «Купавой» Петр Андреевич Полисадов. Команда парохода была очень разношерстной. Были и славные парни, были и грубые, недисциплинированные, абсолютно аморальные субъекты. Такие люди, которых нельзя назвать иначе как «жизненные отбросы», тогда постоянно встречались среди матросов торгового флота, так сказать, в международном масштабе. Я еще захватил этот период. Нужно отдать справедливость нашему современному торговому флоту в том, что моральный облик его матросов совершенно изменился. В числе команды «Купавы» оказалось и несколько учащихся нашего техникума.

В Архангельске мы простояли несколько дней. Кроме вахт на корабле, пришлось и поработать. Грузили продукты и материалы для строительства радиостанции, которую требовалось построить на Новой Земле, в том месте, где пролив Маточкин Шар открывается в Карское море. Среди прочих материалов грузили кирпич, который собирали на развалинах каменного дома в городе. Мне также пришлось потаскать шестипудовые мешки по зыбким доскам над водой. Ничего, привык, хотя поначалу и показалось трудным, но молодость все скрашивала. Ночные вахты приучили меня курить, что тоже скрашивало долгие часы в полном одиночестве.

Познакомился я и с Архангельском, в котором до того никогда не бывал и который вновь увидел через семнадцать лет.

В июле 1923 года Архангельск был зеленым, в значительной части деревянным городом, особенно Соломбала — район города, где стояли суда экспедиции. Всегда хороша была Двина, катившая свои серые волны, на которых колыхались многочисленные суда.

Для нас в городе был устроен концерт. Помню выступление какой-то пожилой женщины, декламировавшей длинное стихотворение об Ермаке Тимофеевиче. Запомнилось не только весьма посредственное исполнение, но и горшкообразная шляпа над трясущимся лицом и очками. Из курьезов товарищи показали мне секцию Союза водников, расположенную в бывшем подворье Соловецкого монастыря. На лестнице здания были когда-то росписи, изображавшие святых. Потом на них написали портреты вождей революции. Но так как старые росписи выполнялись куда более добротными материалами, то получился курьез. Из-за плеча, скажем, Троцкого поднималась длань святого с пальцами, сложенными для благословения. Не говоря уже о том, что почти вокруг всех голов «вождей» проступили нимбы предшественников.

Архангельск жил сытно. В Соломбале, недалеко от стоянки судов экспедиции, на берегу Двины находилась базарная площадь. Она была заполнена всякой снедью. Мне особенно запомнилось очень вкусное топленое молоко — «варенец», продававшийся в чистых берестяных туесах.

Но вот погрузка окончена. Мы совершили первое плавание по Двине и ее многочисленным затонам, чтобы опробовать готовность «Купавы» к плаванию по океану и определить девиацию компаса (погрешности, происходящие от влияния корабельного железа на магнитный компас). Во время этого пробного рейса, в одном из затонов, мы прошли мимо броненосца «Чесма». Он стоял заброшенный, покинутый, но все еще грозный.

Когда наступил день отплытия, первым снялся с якоря «Малыгин», затем «Купава» с лихтером «III Интернационал» на буксире. Вышли под вечер и Соловецкие острова миновали, когда они уже были скрыты мглой. Утром прошли Канин Нос, и Белое море осталось позади. Вокруг простирался океан,

точнее та его часть, которая носит название Баренцева моря. Первое в жизни плавание, да еще океанское, волновало меня. Оно породило подъем душевных сил, подняло над обычной житейской прозой. Стоя за штурвалом, впиваясь глазами в компас, я испытывал истинное наслаждение и не замечал трудностей, не чувствовал усталости от этой работы, требовавшей напряженного внимания. А в свободное время я часами просиживал на гакаборте (кормовая оконечность судна), не уставая любоваться бескрайним океаном и наблюдая, как из-под судового винта, шипя и пенясь, вырывается вода, вынося на поверхность светящихся фосфорическим светом медуз.

На второй день плавания разыгрался девятибалльный шторм. «Купава» оказалась обладавшей очень неприятным свойством: килевая качка на ней была более сильна, чем бортовая. Казалось, что судно почти отвесно падает в волны. «Травили» почти все, и поскольку на свежем воздухе было все же легче, вся команда вылезла на палубу. Брат мой оказался на этом фоне молодцом. Я тоже оказался вполне способным переносить качку. А вот молодой штурман, несший вахту и расхаживавший над рублевой рубкой, регулярно, точно по расписанию, «травил» в начале и конце крошечной дистанции, которую он проходил.

Наконец, как-то рано утром, когда я стоял на руле, впередсмотрящий крикнул: «Земля справа!» Приглядевшись, я постепенно различил на горизонте нечто вроде крохотного бугорка. Прошло немало времени, прежде чем этот бугорок обратился в довольно крутой скалистый берег. Это была цель нашей экспедиции — Новая Земля.

Шторм утих. Выглянуло солнце. «Купава» вышла в пролив Маточкин Шар и вскоре остановилась у небольшого становища. На берегу стоял довольно большой деревянный дом с рядом окон, выходящих на пролив, и маленькая, тоже деревянная часовня. Вокруг дома и часовни — несколько чумов. Спустили шлюпку, и несколько человек командного состава и с ними матросы съехали на берег. На обратном пути в шлюпке сидел маленький белый медвежонок. Как выяснилось, его выменяли на две банки сгущенного молока у ненцев, живших в чуме. В деревянном доме обитал русский помор — охотник и рыбак, с семьей, давно поселившийся

на Новой Земле и являющийся уполномоченным «Главрыбы».

Маленький мишка оказался очень славным. Он подружился с судовой собакой Шариком, да и со всей командой. Несмотря на свой ребяческий возраст, он проявлял исключительную подвижность и ловкость. Играя с Шариком, он совершенно свободно бегал по планширю (продольный брус фальшборта).

Путь по проливу был сказочным по красоте открывающихся видов. Уже спустя четыре года я посвятил ему такие стихи, не в силах забыть это впечатление:

### В заколдованном царстве

### (Новая Земля)

Мохом диким покрытые груды громад
Над зеленою бездною вод,
В вековечном молчаньи, угрюмо хранят
От пришельцев незваных проход.
Над спокойным отливом стеною слились —
Зоркий глаз не нащупает путь,
Но мы можем сказать им: «Сезам, отворись!» —
И раздвинется грозная грудь.
Царство камня и мха, царство моря и льда,
Непорочных снегов белизна...
Одинаково щедро дарует всегда
Красотой их зима и весна.
Словно сотни титанов сошлися на пир
И заснули вкруг мощных озер,
И бегут ледники в этот сказочный мир
Водопадами быстрыми с гор...

5 июля 1927 г.

Действительно, над спокойными водами пролива громоздились горы — беспорядочной толпой, иногда напоминая своим видом уснувших гигантских чудовищ. Природа окрасила их в самые различные цвета — то бурые, то желтые, то красноватые, то черные, сложенные из глинистого сланца. Все это изукрашено белоснежными снегами и льдами. По проливу мы прошли мимо глетчера Третьякова, окруженного горами и издали казавшегося замерзшим морем. С окрестных

гор в глетчер сползали десятки ледников — как реки, стремящиеся в ледяное море. А из него в некоторых местах ледники спускались в пролив и резко обрывались над ним, подмытые волнами. Иногда горы, казалось, сплошной стеной замыкали впереди проход. Но судно продолжало свой путь — и по мере приближения они раздвигались. Впечатление грандиозности природы усиливалось оттого, что не по чему было установить масштаб — ни домов или чумов, ни людей либо животных. Когда «Купава» подошла к восточному выходу из пролива, он казался нам совсем узким — представлялось, что расстояние до скал можно преодолеть одним прыжком. И вдруг мы увидели у самого берега крохотный, как игрушечный, кораблик. Это был ледокол «Малыгин». Сделалось страшно — вот тебе и «один прыжок до берега»!

И эта полярная тишина. Какая-то «прозрачная» тишина, как в громадном, холодном и пустом зале. Когда ее прорезает крик чайки или какой-то другой птицы, — он звучит гулко и резко.

На выходе из пролива все суда экспедиции собрались вместе. Здесь была намечена постройка радиостанции. Так как вплотную к берегу суда не могли подойти, вперед толкнули лихтерá, но и те остановились на некотором расстоянии от берега. С них перекинули мостки и начали разгружать стройматериалы.

Во время разгрузки произошел неприятный случай. Отправляясь в плавание, брат взял с собой зюйдвестку,* сохранившуюся от отца. Брат очень дорожил ею. Во время работ по разгрузке порыв ветра сорвал с его головы зюйдвестку и понес ее в море. Брат бросился за ней. По горло в воде, он все-таки успел схватить ее, но купанье в воде полярного моря не прошло даром. По возвращении в Петроград Слава заболел туберкулёзом желёз — очень малоприятной болезнью...

По окончании разгрузки команда была распределена по работам на строительстве станции. Нас троих назначили в топографическую партию, которую возглавлял Сергей Павлович Рябышкин, бывший штабс-капитан корпуса гидрографов и руководитель съемки мурманского побережья. С Кипрегелем и вешками мы исходили все окрестности станции, где в

* Кожаная или клеенчатая шапка, которую носят моряки торгового и военного флотов и рыбаки на судах рыболовного флота.

малейших углублениях скал лежал вековой снег, а на доступных солнцу местах росли розовые полярные цветы, мох и целые тучи карликовых березок со стволами, стелющимися по земле. Встречались и животные — белые медведи и песцы. Последние в это время года линяли и имели весьма неприглядный вид.

Из озорства я забрался как-то на крутой спуск берега и выцарапал на глинистом сланце огромными буквами, хорошо видимыми с моря: «Пейте только кофе Бумштейна!»

Тут мы были свидетелями любопытного для городских жителей явления. Шли косяки рыбы — из моря в пролив, такие густые, что в их пределах, казалось, воды было меньше, чем рыбы. Матросы вытаскивали ее из воды тельняшками, шапками и всем, что попадалось под руку и чем только можно было ее подхватить. Вытащили много, и кок приготовил нам очень вкусный обед.

Станция была построена к концу сентября, когда лед, наступавший из Карского моря, уже заставлял спешить с уходом экспедиции. На станции было оставлено несколько зимовщиков и собак с санями. Обратный путь прошел благополучно, и к началу октября мы возвратились в Архангельск, а оттуда по железной дороге — в Петроград. Интересно было наблюдать изменение природных условий по мере продвижения на юг. В Арктике уже началась зима, в Архангельске стояла золотая осень, а в Петрограде листва деревьев еще только начала желтеть.

Я приступил к продолжению занятий в техникуме. Но в конце зимы там была устроена чистка. Ее проводила комсомольская организация при непосредственном участии директора Берлинского. Вызывали учащихся и чинили им форменный допрос: кто родители, состоишь ли в комсомоле, а если не состоишь, то почему, и т.п. В результате из техникума было «вычищено» очень много учащихся — в том числе Юра Быков, его младший брат Борис и мы со Славой. Через некоторое время ветер подул в противоположную сторону. Берлинский был снят и заменен Дмитрием Афанасьевичем Лухмановым, кое-кому влетело, а всем исключенным было предложено вернуться в техникум.

Брат и Быковы вернулись, а я предпочел переменить «специальность» и стал готовиться к поступлению на Высшие

государственные курсы искусствоведения при Институте истории искусств.

Не могу не упомянуть одного разговора с дядей Константином Михайловичем, относящегося к этому времени. Както, беседуя с ним, я упомянул Ленина. Дядя помолчал, — и вдруг с проникновенно-задумчивым выражением лица и голоса произнес: «Мишенька, а уверен ли ты, что Ленин не переодетый (!) Николай II?» От изумления я не мог ничего ему ответить. Я был поражен. Хотя я и не очень любил дядю, но считал его, как и все, неглупым человеком. И вдруг такая, да еще серьезно сказанная, фраза! Если бы я не слышал, как еще до революции дядя запросто ругал царя, я бы углядел в этой фразе неутолимую тоску завзятого монархиста. Но в данном случае дело обстояло, видимо, проще: я столкнулся с отражением той сумятицы в мозгах, которая отличала многих российских обывателей, над чьей головой вдруг так неожиданно рухнула многовековая империя со всеми своими условностями и привычными представлениями...

## *Глава 9. Будущий искусствовед*

Тучи мрачные нависли плотно —
И просвета не найти средь них,
Но с тобой я снова беззаботный
И улыбка на губах моих.
    Если оба мы одною песней
    Искупить сумели столько зла, —
    Нам не страшно то, что стало тесно
    От затяжного, давящего узла!

30 августа 1929 г.

Этот эпиграф, взятый мной из собственного стихотворения того времени, как мне кажется, передает в основном настроения мои и моих близких в период, начавшийся для страны приблизительно с середины двадцатых годов, а для меня — после перехода на стезю «искусствоведения», очень мало «созвучную с эпохой». Многое, тем не менее, скрашивала молодость, скрашивал расцвет сил и здоровья, который я испытывал в ту пору, — ведь мне только исполнилось двадцать лет.

Летом 1924 года я продолжал готовиться к поступлению на Высшие государственные курсы искусствоведения. Экзамены или, скорее, опросы предстояли только по общей истории искусств и по одному из западноевропейских языков. Вроде бы мне не приходилось их бояться. Однако следовало систематизировать мои знания, а одновременно — постоянно зарабатывать на хлеб насущный.

Летом предыдущего года мой дядя Константин Михайлович переехал из Петрограда в свой дом под Новым Петергофом, так что его сын Роман вынужден был снять в городе комнату. Он как раз окончил среднюю школу и поступил в медицинский институт. С его помощью я «взял подряд» на

малярные работы — требовалось окрасить домик опытной станции дорожного ведомства, сооруженный в Юсуповском саду, а по окончании этого предприятия нанялся матросом в Торговый порт, на баржу землечерпательного каравана. Это было в июле 1924 года. Экзамены были сданы благополучно. Занятия на курсах шли по вечерам, что позволяло одновременно работать и учиться.

История Высших государственных курсов искусствоведения любопытна. Институт истории искусств, при котором они функционировали, был создан в начале нашего века графом Валентином Платоновичем Зубовым, потомком знаменитых екатерининских вельмож. До революции это было частное учреждение, размещавшееся в особняке Зубовых в Петрограде, на Исаакиевской площади. Валентин Платонович — как говорили, под влиянием гувернера-швейцарца — усвоил революционную идеологию и еще до 1917 года стал социал-демократом. После Октября его мать и брат эмигрировали, а он остался и продолжал руководить созданным им институтом. Когда еще произошла Февральская революция, он поместил в газетах письмо, в котором публично отказывался от титула, «нечестным путем полученного предками». Помню, что, когда я прочитал это странное объявление, оно меня покоробило. Если считаешь, что титул получен нечестным путем, пусть хотя бы и полтораста лет назад, — не носи его, и только. А к чему делать себе такую рекламу, да еще после падения царского режима? Если бы это заявление было сделано при царе, тогда оно еще имело бы какой-то смысл, — ну хотя бы как выражение протеста против давно установившихся нелепых порядков.

В начале 20-х годов комиссия по чистке партии нашла нужным освободить Зубова от членства в последней. Но он оставался директором института до января 1925 года. В это время за границей умерла его мать, оставив Валентину Платоновичу и его брату Сергею небольшое наследство. Зубов получил разрешение на выезд и уехал за границу — с женой и огромной собакой. В Ментоне открыл антикварный магазин, быстро прогорел и в тех же 20-х годах стал работать экспертом в берлинской антикварной фирме. Валентин Платонович был человеком весьма неказистой наружности, небольшого роста и, хотя носил баки, ничем не напоминал тех могучих

красавцев, которые благодаря своей внешности приобрели когда-то благосклонность императрицы и положили начало графскому роду Зубовых. Нужно отдать справедливость Валентину Платоновичу в одном: он был превосходным знатоком изобразительного искусства и очень интересным лектором.

В институте была великолепная библиотека, фототека, аудитории с мягкой мебелью, оборудованные прекрасной аппаратурой по последнему слову техники того времени, фотолаборатория и, наконец, преподавательский состав из лучших сил петербургской профессуры. Сам институт был не учебным, а чисто научным учреждением. Курсы при нем состояли из четырех отделений (факультетов): изобразительных искусств, литературного, театрального и киноискусства. Шутя их называли «четырьмя советскими музами: Изо, Лито, Тео и Кино».

Умер Валентин Платонович за границей в 1969 году. Там он успел выпустить несколько книг: в ФРГ вышли, в частности, «Царь Павел I» и «Карлик фаворита» — обе в 60-х годах. Любопытно, что, судя по этим книгам, автор забыл о своем публичном отречении от титула, ибо он вновь именует себя «графом Зубовым».

Курсы были связаны с институтом не только общими помещениями (это был особняк графов Зубовых — черный дом на Исаакиевской площади, к которому, в связи с ростом популярности курсов и, следовательно, увеличением числа учащихся, был присоединен также соседний особняк Мятлевых), библиотекой и т.п., но и общностью руководящего состава: вся профессура и преподавательский состав курсов являлись работниками института.

В 1924 году директором курсов был Адриан Иванович Пиотровский, возглавлявший одновременно театральное отделение как крупный специалист по истории театра и автор ряда пьес. К моему поступлению на курсы Пиотровский отнесся неодобрительно, исключительно из-за моего непролетарского вида. Он подчеркнуто покровительственно относился к студентам «из простого народа» и не любил учащихся из интеллигенции, хотя сам принадлежал к ней (кстати, он был близким родственником академика Зелинского). Что ж, в то время такое подчеркнутое выражение

симпатии к одним «слоям» и антипатии к другим было очень распространено и понятно. Инстинкт самосохранения — пожалуй, самый сильный из инстинктов. Мне пришлось обратиться к В.П. Зубову, ссылаясь на успешные результаты экзаменов, и только после его вмешательства мое поступление на курсы было оформлено.

Впоследствии А.И. Пиотровский подвергся необоснованным репрессиям и погиб в 1938 году, в возрасте всего лишь сорока лет...

Оформление поступающих производил очень симпатичный человек — заведующий канцелярией института и курсов Павел Иванович Васильев.

Из профессоров и преподавателей отделения ИЗО я помню более двадцати человек. На первом курсе историю древнерусского искусства читал Дмитрий Власьевич Айналов. Ему было тогда более шестидесяти лет. Известный специалист в области не только древнерусского, но и византийского искусства, он преподавал в целом ряде высших учебных заведений — на Высших женских курсах, в Петербургском университете и других. Семь лет он проработал в Эрмитаже, написал ряд ученых трудов. Среднего роста, с седой бородой, Айналов читал лекции в приподнятом, торжественном тоне. «Я видел этот шлем... Я держал его в собственных руках. Я надел его на свою голову!» — повышая все время голос, провозглашал заслуженный ученый. И хотя слушателям при этом, естественно, виделся седой человек в очках и в «партикулярном» костюме со шлемом древнерусского витязя на голове, его слушали с благоговением.

Обычно, придя на лекцию, Айналов минут десять молчал и, тяжело дыша, отдыхал.

Отдохнув, он несколько минут бранил житейские неудобства: ему, старому ученому, приходится добираться на трамвае, где его жмут, толкают и так далее. Только после этого вступления он начинал лекцию.

Айналова сменил Константин Константинович Романов — архитектор-художник, высокообразованный, простой и милый человек. Помимо искусства Древней Руси, он читал также лекции по «крестьянскому искусству», т.е. народному художественному творчеству.

Историю русской живописи вел Борис Павлович Брюллов — внук архитектора Александра Павловича Брюллова, брата знаменитого художника. Впоследствии он умер в ссылке (в 1939 году). Не избежал тюрьмы в 30-х годах Владимир Яковлевич Курбатов — химик по образованию, читавший лекции по химии в Технологическом институте, но давно уже увлекшийся историей искусства. В каждой интеллигентной русской семье читали его книги «Старый Петербург», «Современный Петербург» и другие, посвященные дворцовой и парковой архитектуре. У нас он читал историю новой русской архитектуры и историю русского прикладного искусства. Курбатов, один из первых в России искусствоведов, был также и очень милым человеком. Лекции его пользовались большой популярностью, хотя, не имея специальной подготовки, он иногда допускал в них некоторую бессистемность. Его лекции иллюстрировались огромным количеством диапозитивов. Случалось и так. Владимир Яковлевич читает о русской архитектуре XIX века. На экране быстро сменяются изображения зданий. Вдруг вместо них появляются произведения прикладного искусства XVIII века. Лев Павлович Лапин — демонстратор — лихорадочно меняет диапозитивы, стараясь поймать иллюстрации к теме лекции. Безрезультатно. «Лев Павлович, может быть, я перепутал коробки? — предполагает Курбатов. — Ну, ничего, — продолжает он своим очень высоким, пискливым голосом, — займемся прикладным искусством XVIII века!» И течение лекции резко меняется.

Владимир Яковлевич всегда очень чутко и заботливо относился к нуждам студентов. Его личная прекрасная библиотека постоянно была к их услугам. Как-то раз мне пришлось побывать у него дома. Меня провели в его кабинет. И тут я вдруг увидел высокого и худощавого пятидесятилетнего Курбатова на полу, играющим с собакой. Меня это тронуло и еще больше увеличило симпатию к этому вечно юному и доброму человеку.

Умер Курбатов в Ленинграде, у себя дома, пережив все обрушившиеся на него невзгоды, в 1957 году, семидесяти девяти лет...

На курсах была и иконописная мастерская, в которой желающие на практике изучали технику древнерусской живописи. Я не участвовал в этом семинарии, но неоднократно

посещал мастерскую. Руководила ею Лидия Александровна Дурново, впоследствии высланная в Армению и работавшая в Ереване по древнерусской миниатюре.

Одна из первых женщин историков искусства в России, Наталья Давыдовна Флиттнер, доктор исторических наук, профессор Ленинградского университета, читала курс истории искусства Древнего Востока. Впоследствии нам привелось вместе проработать несколько лет в Эрмитаже.

Искусство Востока более позднего, мусульманского периода, главным образом архитектуру, преподавал архитектор Григорий Иванович Котов. Когда я увидел шестидесятипятилетнего Котова впервые, меня поразило его сходство с Александром Ивановичем Гельдом, директором реального училища, в котором я учился. Лекции Котова были содержательны, но суховаты.

Совсем иначе читал свои два курса — «Раннехристианское искусство» и «Красота пространственных сооружений» — Александр Александрович Починков, тоже, как и Курбатов, химик по образованию. Он отличался удивительной памятью и превосходно знал материал. Любой памятник греческой, римской и раннехристианской архитектуры он тотчас, не прибегая ни к каким справочникам, не только мог определить, но и указывал место его нахождения, автора и год сооружения. В институте он до конца заведовал библиотекой и сам имел прекрасную библиотеку, которой пользовались студенты. С Александром Александровичем я встретился вновь в 1954 году, когда начал работать в музее Академии Художеств. Он занимал там должность старшего научного сотрудника Античного отдела. В 1955 году Починкову было предложено уйти на пенсию. Семидесятилетний старик был очень огорчен вынужденным отходом от любимой работы и в начале 1956 года скончался. Изумительная память не изменяла ему до конца.

Крупнейшим специалистом по искусству Греции и Рима в те годы в нашей стране был Оскар Фердинандович Вальдгауэр. Да в России ли только? Недаром ему предлагали в 20-х годах пост директора Пергамон-музеума в Берлине. Заведуя отделом античного искусства в Эрмитаже, он возглавлял на курсах соответствующую кафедру. Правда, Оскар Фердинандович иногда пропускал лекции, и тогда его заменяла

ассистентка ученого Анна Алексеевна Передольская. После смерти Вальдгауэра в 1935 году Передольская заняла его должность в Эрмитаже.

Жгучий брюнет, Оскар Фердинандович носил бороду и чем-то напоминал мифического кентавра. Он был явным поклонником Бахуса. К моим знаниям по искусству античного мира профессор относился настолько доверчиво, что ставил «отлично» в мою зачетную книжку с первого же вопроса, а часто и вообще не задавая вопросов. Но однажды... Профессор почему-то не имел времени для приема зачетов на курсах и принимал их в Эрмитаже. Тогда там в качестве смотрителей или сторожей работало еще много бывших придворных лакеев. Эти старики очень добросовестно относились к своим новым обязанностям и очень сурово — к нашему брату студенту. Войдя в служебный подъезд, я был подвергнут строгому допросу и только после этого допущен в кабинет Вальдгауэра. Оскара Фердинандовича будто подменили. Чуть ли не целый час он задавал мне вопросы по курсу, явно стараясь придраться. Не сразу я заметил, что он был в состоянии довольно сильного опьянения. Однако и тут дело кончилось тем, что я получил «отлично».

Проводя занятия с первокурсниками в античных залах Эрмитажа, Вальдгауэр нередко поручал юным слушательницам вслух описывать греческие вазы с весьма нескромной росписью. Не зная еще специальной терминологии, одни девушки краснели и заикались, другие, напротив, считая, что этого требует от них наука, «рубили сплеча».

Профессор университета Борис Леонидович Богаевский, автор исследования «Крит и Микены», читал на курсах историю искусства этих мест.

Увлекшись еще в раннем детстве рыцарством, начитавшись романов об этом периоде, я решил избрать в качестве своей будущей специальности искусство западного средневековья. Этот курс вела шестидесятилетняя Александра Андреевна Константинова, вела прекрасно, хотя ее специальностью была живопись эпохи Возрождения. Она издала книгу «Мадонны Леонардо да Винчи», училась в Германии и там получила степень доктора философии.

Но к Константиновой почему-то скверно относился новый директор института Федор Иванович Шмит, сменивший

на этом посту Зубова. Тогда только начинались у нас попытки построить марксистскую теорию искусства, — но от преподавателей уже требовали «марксистского подхода». Шмит усиленно нажимал на это как в институте, так и на курсах и сам написал и издал труд в этом духе по теории искусств (который немного лет спустя был признан ничего общего не имеющим с марксизмом). Так вот, Шмит отозвался как-то на заседании Ученого совета о Константиновой в том смысле, что она принадлежит к профессорам, «каких следует пороть». Вскоре после этого (или, может быть, незадолго до этого) на смену Константиновой был приглашен сорокалетний преподаватель Николай Александрович Кожин. Он хорошо владел своей специальностью и, между прочим, впоследствии дважды защитил докторскую диссертацию. Но в 20-х годах, стремясь к реализации того же «марксистского подхода», Кожин изобрел, как он сам именовал его, «развитой формальный метод», заключавшийся в том, что все элементы формы и конструкции средневековых памятников искусства он подчинил ряду «принципов», будто бы соответствовавших социально-экономическим моментам в жизни общества того времени. Среди них были принцип конструктивной ясности, «принцип пространственной широты» и т.д

Мне эти построения казались искусственными и надуманными, и я не стеснялся говорить об этом Кожину. К чести его, на наших отношениях подобные расхождения не отразились.

Эксперименты с западным средневековым искусством продолжались. Для чтения лекций параллельно с Кожиным был приглашен некто Алфей Ильич Харнас — лектор-политпросветчик, до того водивший экскурсии по музеям и т.п. На курсах он успел прочесть три-четыре лекции, наполненные дешевыми анекдотами и показавшие, что Харнас не имеет никакого отношения ни к науке, ни к искусству. Студенты заявили протест, и Харнаса убрали. При мне это был единственный случай,когда в число серьезных специалистов проник «гость случайный».

Семинарий по эпохе Возрождения вела также Елена Константиновна Мроз — «профессор с черными глазами», как ее называл старичок-завхоз, бывший управляющий домами князя Юсупова. Действительно, Мроз была интересной жен-

щиной, вдовой морского офицера. Она также не избегла «репрессий» в тридцатые годы — ее арестовали и выслали в г. Калинин (Тверь). Там она работала в областной художественной галерее. Во время войны ей удалось спасти наиболее ценные произведения от разграбления оккупантами. Мроз умерла в 1952 году, будучи директором Калининской галереи.

Одним из самых одаренных лекторов был профессор Николай Николаевич Пунин, читавший курс искусства новейшего времени. Пунин слегка заикался, — но этот недостаток, казалось, даже украшает его до вдохновения эмоциональную речь. В его лекциях, именно благодаря их острой эмоциональности, часто спорным личным суждениям, всегда звучало что-то свежее, молодое, увлеченность искусством даже в самых крайних его проявлениях. А это увлекает молодых людей, рождает у них чувство протеста против слишком уж «академичных» суждений заслуженных ученых «стариков». Я во многом не был согласен с высказываниями и оценками Пунина. Но не однажды яркость и искренность его лекций рождали во мне желание подойти к профессору и пожать ему руку.

На первом курсе теорию искусств читал Владимир Александрович Головань — умный и знающий преподаватель, но, на беду свою, открытый противник материалистической философии. Так что его лекции очень часто состояли в опровержении материалистических концепций с идеалистических — или, скорее, «аполитичных» — позиций. В конце 20-х годов, если не ошибаюсь, Владимира Александровича арестовали. Но еще до этого ему пришлось оставить курсы. Его сменил Богаевский, а затем — новый директор института Шмит.

Федор Иванович Шмит, член Украинской Академии Наук, когда-то весьма удачно занимался византийским искусством. После революции он занялся другими проблемами и, в частности, детским рисунком, а затем — созданием марксистской (как он ее представлял) теории искусства. По-видимому, это и выдвинуло его на пост директора Института истории искусств. Он приехал в Ленинград с несколькими своими учениками и поселился в здании института, в квартире, которую ранее занимал Зубов.

Сразу же по приезде он собрал научных сотрудников и слушателей и поразил аудиторию, высказав свои концепции относительно истории искусств. Казалось, они резко порывали с установившимися традициями и выглядели чрезвычайно современно. Нужно сказать, что Федор Иванович обладал блестящим даром красноречия, и к тому же о марксистском искусствоведении никто еще ничего не знал — до сих пор оно все никак не складывалось, не шло дальше ряда неудачных и разрозненных попыток. А тут создавалось впечатление, что излагается стройная и цельная теория.

Федор Иванович, высокий, худощавый человек с небольшими усами, в самых эпатирующих местах своего выступления выразительно двигал челюстями и змеинообразно обвивал одну ногу другой...

Его теория искусства базировалась на идее целого ряда исторических циклов, в течение которых искусством решались отдельные проблемы отображения мира: проблема цвета, проблема движения и прочие. Таким образом искусство обогащалось и развивалось, притом в тесной связи с социальной и материальной историей общества. Федор Иванович издал книгу, в которой изложил свою теорию, и по этой книге мы должны были зубрить и сдавать экзамены до конца существования курсов, то есть до 1930 года, когда теория Шмита была признана псевдомарксистской, а ее автор арестован и сослан в Ташкент...

Среди преподавателей находился Александр Николаевич Зограф — один из крупнейших специалистов по нумизматике, возглавлявший соответствующий отдел Эрмитажа. На его лекциях присутствовало, увы, очень мало слушателей. Постоянными слушателями были всего три человека, и я в том числе. Причиной была дикция Зографа: читая предмет, который он знал в совершенстве, Александр Николаевич то и дело запинался, и его «гм, кхым, гм» обращали усвоение излагаемого материала в мучительный процесс.

Другой преподаватель, ведший курсы музейного и реставрационного дела, Мстислав Владимирович Фармаковский, несмотря на казенную, скучную манеру проведения занятий, усиленно «посещался» студентами. Их не смущало даже то, что он читал лекции и проводил практические занятия не на Исаакиевской площади, в здании курсов, а на площади

Жертв Революции (Марсовом Поле), в Мраморном дворце, где в то время помещался Институт археологической технологии (Фармаковский был его директором). Дело в том, что большинство студентов собиралось по окончании курсов работать в музеях, и предметы, читавшиеся Фармаковским, были для них очень важны.

В отличие от своего старшего брата, известного искусствоведа и археолога Бориса Владимировича, которого прозвали «Почтенный Фармакопей», «наш» Фармаковский получил прозвище «Полупочтенный Фармакопей». Он учился за границей, затем преподавал в Петроградском университете, на наших курсах, в Академии художеств, работал в Институте археологической технологии и в Русском музее. Был сослан в Ярославль, но по ходатайству академика Грабаря возвращен из ссылки. На меня и сам этот ученый, и его манера преподавания производили неприятное впечатление. Вероятно, антипатия была взаимной. Я часто пропускал его лекции, что привело к столкновению с ним при окончании мной курсов.

В 1935 году мне пришлось вновь встретиться с Фармаковским. В то время я заведовал Знамённым отделом Военного историко-бытового музея Красной армии, и необходимость реставрации ветхих знамён заставила меня обратиться в Институт археологической технологии. Мстислав Владимирович приехал в наш музей и порекомендовал уплотнять ткань раствором коконов шелковичных червей. Нелегкая задача была выполнена, однако не дала желаемых результатов.

Мне остается сказать еще об одном преподавателе — Николае Павловиче Анциферове, авторе известной книги «Душа Петербурга» и других интереснейших работ, посвященных городу и пригородам. Николай Павлович вел на курсах занятия по экскурсионному делу и был мастером литературных экскурсий, а также экскурсий по Эрмитажу, Русскому музею и другим хранилищам произведений искусства.

Для практической подготовки я был направлен, по своему желанию, в Гербовой музей, находившийся в бывшем Департаменте герольдии, в здании бывшего Сената. Геральдика, как и нумизматика, представляли значительный интерес для медиевиста, которым я собирался стать, в связи с большим количеством гербов на памятниках средневекового искусства. В Гербовом музее был всего один научный сотрудник, он же

заведующий музеем — профессор Вацлав Крескентьевич Лукомский. В первые послереволюционные годы он читал лекции на кафедре геральдики, генеалогии и сфрагистики в университете, но, говорят, его слушали всего три-четыре студента: интерес к этим наукам прошел, кафедру вскоре закрыли, но, так или иначе, в этих областях знания Лукомский оставался крупнейшим специалистом. Он принял меня очень любезно и уделил мне немало времени. Вацлав Крескентьевич был до некоторой степени оригиналом. Очень сдержанный, до чопорности, при встрече на улице со знакомыми он не говорил ни слова и ограничивался поклоном. Правда, он объяснял это чисто медицинскими соображениями. У меня установились с ним добрые отношения, и я несколько раз посетил его дома на Каменноостровском (ныне Кировском) проспекте. В его квартире висело несколько акварелей, написанных его братом Георгием, эмигрировавшим из Советской России. Вацлав Крескентьевич говорил мне, что очень жалеет об этом и не раз советовал брату в письмах вернуться на родину.

В 1936 году, когда я вернулся из первой ссылки и начал работать в Эрмитаже, Лукомский предложил мне консультировать вместе с ним спектакль Московского Художественного театра «Анна Каренина». Спектакль готовили к премьере в Париже. Лукомский взял на себя консультации по придворному быту, а мне предоставил всю военную часть. Кстати, когда ставился фильм «Декабристы», сотрудники «Ленфильма» пришли в Гербовой музей и, как рассказывал Лукомский, просили его показать портреты царя Николая I. В музее находилось несколько портретов царя, и один из них относился как раз ко времени Декабрьского восстания. Но постановщики фильма остались им недовольны: «Что вы, нам этот портрет не подходит! Нам нужен "Николай Палкин" с бакенбардами — жандарм, а не какой-то юноша!»

Спустя десять лет, возвратившись в Ленинград с войны, я не застал здесь Лукомского. В его дом угодила немецкая бомба, а сам он пребывал в Москве, где женился на пожилой актрисе. Я послал ему письмо и получил сердечный ответ. В том же году Вацлав Крескентьевич умер.

Но вернусь к двадцатым годам. Надо сказать, что среди молодежи на курсах, как и вообще среди учащейся молодежи

того времени, существовали оппозиционные настроения. Они выливались, насколько помню, в безобидные формы. Так, кучка студентов собиралась в буфете, и там велись довольно откровенные разговоры о некоторых отрицательных моментах тогдашней жизни. ГПУ не оставило это без внимания, — следовательно, среди нас были «осведомители». Начались групповые аресты, за которыми в те относительно мягкие времена следовала обычно ссылка.

Я не принимал участия в этой фронде, но, тем не менее, мне вскоре тоже пришлось познакомиться со следственными органами. Весной 1926 года, незадолго до очередного отъезда брата в Архангельск (он поступал там на работу на суда, так как в Ленинграде из-за безработицы, вызванной «режимом экономии», это было гораздо труднее), мне принесли повестку. Меня вызывали на Гороховую (ныне ул. Дзержинского) в ГПУ. Брат был очень встревожен этим. Испытав подобное на себе, он знал, что вызов в «органы» не предвещает ничего хорошего. Мама была на работе (она продолжала работать машинисткой). Денег у нас оказалось всего около рубля. А за вызовом мог последовать арест, и перспектива оказаться в тюрьме без денег была малоприятной. Правда, обычно арестовывали дома, после обыска, но иногда это происходило даже на улице, а обыск производили потом.

Я полагал, что причин для моего ареста не было. Но многие, как мой родной брат, двоюродный брат Роман и другие, уже побывали в заключении без всяких причин. К тому же подобные примеры стали явно умножаться. На улицах нередко можно было встретить колонны людей, которых под вооруженной охраной вели из тюрем на вокзалы для отправки в концентрационные лагеря. Было ясно, что их «гнали» пешим порядком потому, что стало не хватать транспорта для доставки их на вокзал. Уже получила распространение фраза: «Был бы человек, а статья для него всегда найдется» (имелась в виду статья уголовного кодекса). Так что волнение мое и брата было вполне понятным, хотя мы и не принадлежали к числу трусливых людей и паникеров.

Первое знакомство с «органами» окончилось для меня благополучно. Следователь, предложив мне сесть, долго расспрашивал об адресах моих родственников. Причем он явно путал меня. Когда я называл адрес моих родных, он

спустя некоторое время возвращался к этому вопросу в такой форме: «Так вы говорите, что ваша тетя живет...» — и называл другой адрес. Более серьезных вопросов не было. Я ни разу не позволил себе ответить дерзостью, терпеливо повторял действительные адреса. Под конец следователь предупредил, чтобы я никому не рассказывал о нашем разговоре. Я ответил ему, что о повестке уже знают мои родные. Тогда он посоветовал объяснить им, что меня вызывали в связи с делами по призыву на военную службу, «что-то выясняли». Это было бы заведомой чепухой, поскольку такими вопросами занимался военный комиссариат, а ГПУ не имело к ним отношения. Да он, видимо, и не придавал серьезного значения своему совету, зная, что таких советов никто не выполняет.

Адреса моих родных были только предлогом. Их можно было получить в адресном столе. Меня вызывали явно для личного ознакомления с моей персоной, из желания прощупать, что из себя представляет «бывший барон». Тогда еще не был известен термин «потенциальный враг народа», изобретенный, насколько мне известно, Вышинским и послуживший в дальнейшем «обоснованием» арестов и гибели огромного числа невинных людей. Однако дело шло к этому.

...Поступив на курсы, я познакомился с целым рядом товарищей, с некоторыми из них и сейчас сохраняю приятельские отношения. Но с двумя из них я особенно сдружился, и дружба эта продолжалась до их трагического конца. Это были Николай Николаевич Тучков и Николай Николаевич Забек.

Николай Тучков или, как его называли близкие, Ника, был потомком славных русских генералов Александра и Николая Алексеевичей Тучковых, погибших в Бородинском бою, и фельдмаршала Кутузова. Отец Ники служил в свое время в лейб-драгунском полку и рано вышел в отставку. Потом он был гласным Государственной думы от Ярославской губернии, где у него было в Угличском уезде два имения, а в послереволюционные годы жил с семьей в Ленинграде, в доме, доставшемся ему в наследство от потомков Кутузова. На стене этого дома, и посейчас стоящего на набережной Невы, носящей имя Кутузова, можно видеть доску с надписью, гласящей, что здесь полководец жил до своего отъезда в действующую армию в 1812 году.

Николай Николаевич старший, отец Ники, в 20-е годы был элегантным старым человеком, из-за грудной жабы почти не выходившим из дома. Говорили, что и в молодости он был не особенно деятелен, даже сонлив. Он умер в этом же доме в 1927 году. Жена и сыновья отвезли его тело в Углич и там похоронили. По их словам, похороны отца привлекли массу местных жителей и неожиданно получились очень торжественными...

Мать Ники Тучкова, Софья Николаевна, была очень симпатичной женщиной, умной, широко образованной. Прекрасно владея несколькими языками, она давала частные уроки, а также работала медицинской сестрой — не ради заработка, а исключительно из благородного желания приносить пользу людям. С началом войны 1914 года она организовала в имении мужа, в Угличском уезде, госпиталь для раненых и сама работала в нем, пройдя специальную подготовку на курсах медицинских сестер. Ко мне Софья Николаевна относилась очень сердечно.

Ника рассказывал мне о таком случае. Во время войны, незадолго до революции, Тучковы получили письмо из Одессы, от совершенно незнакомой женщины. Она писала, что обладает даром ясновидения и во сне ей приснилось, что в саду угличского имения Тучковых одним из их предков закопан клад. Она предлагала приехать к Тучковым и показать это место, прося оплатить ей только расходы на поездку. Хотя Тучковы понимали, что существует немало шарлатанов, спекулирующих на доверчивости людей, они все же пригласили эту женщину. Приехала, как рассказывал Ника, вполне приличная дама. Имение принадлежало когда-то матери Николая Николаевича старшего, урожденной Опочининой. Один из Опочининых был женат на дочери фельдмаршала Кутузова, и именно через них Тучковы породнились со знаменитым полководцем. В доме, находящемся в имении, был зал с портретами Опочининых. Войдя туда, приезжая из Одессы сразу же опознала среди портретов того, кем был закопан клад в саду. Начало, таким образом, было правдоподобным и многообещающим. Прошли в сад. Она показала место, позвали садовника и рабочих, начали копать, но клада не оказалось. Дама из Одессы решила, что она ошиблась, и указала еще несколько мест. Но и там ни-

чего не нашли. Оплатили ей дорогу, и она уехала к себе в Одессу.

На этом вроде бы и закончилась история с кладом. Но так как Тучковы рассказывали про это происшествие знакомым, — возможно, именно оно послужило причиной ареста Софьи Николаевны в самом начале 30-х годов. ГПУ проводило тогда ожесточенную кампанию по изъятию золота у населения, и в связи с этой кампанией начались многочисленные аресты. Арестовав Софью Николаевну, ее посадили сначала в тюрьму на Нижегородской улице в Ленинграде, настойчиво требовали отдать властям золото. Потом, в сопровождении сотрудника ГПУ, увезли почему-то в город Гаврилов-Ям и там держали в сарае при местном отделении милиции, вместе с еще одной ленинградкой и несколькими местными жителями... Обедать водили в общественную столовую. У Софьи Николаевны не было с собой денег, и ей пришлось очень тяжело. Дело в том, что ее арестовали, когда дома никого, кроме нее, не было. Исчезновение Софьи Николаевны, естественно, очень встревожило ее родных и знакомых. Наконец, ей удалось сообщить сыновьям о месте своего пребывания. Ей привезли деньги, а вскоре после этого явился сотрудник ГПУ, посадил ее и другую ленинградку в поезд, привез в Ленинград и прямо с вокзала развез по домам. Софья Николаевна опять очутилась в своей квартире одна — было дневное время, никто из родных не ожидал ее возвращения. Сотрудник ГПУ, воспользовавшись этим, забрал золотые часы ее сына, лежавшие на туалетном столике и бросившиеся ему в глаза, забрал также из буфета серебряные ложки и вилки, пояснив, что все это пойдет на возмещение не оправдавшихся расходов, связанных с ее арестом, — и удалился.

Софья Николаевна рассказывала нам о своих злоключениях нисколько не волнуясь, спокойно, даже с юмором... Жить ей оставалось очень недолго. По утрам она обычно будила своего младшего сына, чтобы он не опоздал на работу. И вот однажды он проснулся сам, взглянул на часы и начал поскорей одеваться: мать на этот раз не разбудила его. Он вошел в столовую, где спала Софья Николаевна (это было уже после выселения Тучковых из их дома, как бывших домовладельцев), и понял, что его мать мертва. При вскрытии тела врачи констатировали, что сердце покойной до предела изношено.

А между тем, до последнего часа она никому, даже своим детям, ни разу не жаловалась на здоровье!

По-разному складывается отношение к жизни у людей, — даже у тех, которые живут, казалось бы, в одних и тех же условиях. Так и у братьев Тучковых — моего ровесника Ники и Павлика, который был на три года младше, — сложились совершенно разные характеры. До революции это была аристократическая семья, владевшая состоянием, которое обеспечивало безбедное существование. Революция лишила их этих преимуществ. Но до смерти матери, до 1934 года, они не нуждались. Софья Николаевна все эти годы зарабатывала преподаванием языков и работала медицинской сестрой в больнице. Кроме того, в их семье сохранились вещи, продавая которые они получали значительно бóльшие деньги, чем от работы матери. В этих условиях Ника, похоже, не собирался «взяться за ум» и трудиться, если не ради пользы общества, то хотя бы для своей собственной пользы. Поступив на Высшие государственные курсы искусствоведения, он не занимался, а когда дело доходило до сдачи зачетов, просто переходил с одного факультета на другой. У него появился вкус к «прожиганию жизни», он много ухаживал за молодыми девушками и дамами и считал себя «неотразимым». Он не был красив, но был высокого роста, элегантен, неплохо пел, хотя немного картавил, и огромное внимание уделял одежде. В годы нэпа устраивалась масса, именно м а с с а, концертов и танцевальных вечеров. Театры, концерты и вечера очень привлекали Нику. Поскольку денег у него никогда не водилось, он сделался великим специалистом по добыванию всяких пропусков и контрамарок. Хорошо одеваться ему помогало то обстоятельство, что какой-то богатый родственник, эмигрируя из России, оставил у Тучковых кучу своих нарядов. Ника очень любил слоняться по улицам, особенно по ночам, и его можно было назвать типичным «бульвардье». Каких-либо политических убеждений Ника не имел. Эгоизм — вот что было его политическим и жизненным кредо, и он нисколько не отрицал этого. Конечно, он понимал, что революция помешала ему жить так, как хотелось бы, то есть праздно и без забот, лишив его «материальной базы». Но и к контрреволюции он относился безразлично. Его принципом было: «жить самому и не мешать жить другим», как когда-то он сам мне сказал.

Казалось бы, облик моего приятеля целиком отрицателен. Таким он представлялся большинству окружающих. Даже его родная мать осуждала его. Но было в Нике, как, вероятно, почти в каждом из людей, и что-то неуловимо хорошее, за что многие близко знавшие его люди все же любили Нику. Это хорошее проявилось, например, в 1934 году, когда мне удалось уговорить Нику поступить в «Краснопутилпроект» на должность библиотекаря технической библиотеки, входившей в Бюро технического обслуживания, которым я заведовал. Библиотека получала много заграничных журналов, а Ника хорошо знал три основных европейских языка и оказался здесь полезным и нужным работником. Инженеры, которым он помогал своим знанием языков, оценили его, да и сам он стал работать с увлечением, аккуратно совершая неблизкий ежедневный путь с улицы Каляева, на которой он тогда жил, на Путиловский завод. Но тут вмешалось все то же ГПУ...

Младший брат Ники Тучкова, Павел или, как его привыкли называть близкие, Пом или Помка, был совершенно иным человеком. Милый, прекрасно воспитанный, Павел Тучков и работал, и учился без каких бы то ни было признаков лени. Учился он сначала в техникуме, откуда его исключили за социальное происхождение, а потом в Институте путей сообщения. В 1929 году Павел женился на очень славной девушке — Татьяне Александровне Завалишиной. Но закончить институт ему опять-таки не дали. В 1934 году он с женой и трехлетней дочерью был выслан в Уфу.

На курсах же я подружился с Колей Забеком. Внук архитектора Александра Забека, строившего частные дома и казенные здания в Петербурге, сын художника, Коля жил с родителями в Гатчине и работал там во дворце-музее. Он был курсом старше меня. Глубоко порядочный, хороший товарищ, серьезный и образованный человек, он был неплохим художником — рисовальщиком и акварелистом.

Довольно часто он бывал у меня дома и неоднократно приглашал к себе в Гатчину, где жил на Багаутовской улице. Наконец как-то летом я приехал в Гатчину вместе с моим близким другом, пианистом Димой Ловенецким. Мы оба плохо знали Гатчину и потому спрашивали дорогу у прохожих. Приехали мы в субботу, предполагая пробыть здесь

также и воскресенье, осмотреть дворец, погулять по городу и знаменитому парку; Коля обещал быть нашим гидом.

Когда мы спросили у прохожего, как пройти на Багаутовскую, дом такой-то, он охотно нам указал и прибавил: «Вы, вероятно, к гадалке?» На что мы ответили, что не к гадалке, а к товарищу.

Забеки жили во втором этаже дома. Коля приветливо встретил нас и познакомил с родителями. Отец — худощавый старик, еще преподававший рисование в гатчинской средней школе. Мать Коли произвела на нас довольно сильное впечатление. Склонная к полноте женщина явно цыганского типа, ярко одетая, с крупными серьгами-обручами в ушах — Феодора Львовна Забек, действительно, оказалась южанкой, молдаванкой по национальности. Квартира Забеков состояла из нескольких комнат, и в одной из них, в гостиной, висела довольно большая картина маслом, напоминавшая произведения французского художника Кабанеля. На ней была изображена обнаженная полная женщина, лежащая спиной к зрителю. Коля сказал, что это дипломная работа отца, а позировала ему Феодора Львовна.

На другой день мы осмотрели дворец, побродили по парку и городу. Коля давал нам очень интересные и остроумные пояснения. Гуляли долго, с утра и часов до пяти, устали и проголодались. А Коля явно оттягивал возвращение домой. Наконец, мы вернулись; нас ждали с обедом. С удивлением мы увидели в гостиной под креслами, диваном, стульями какие-то свертки, пакеты, корзины, бутыли с молоком. Тут мы поняли и смысл реплики прохожего на пути с вокзала, и причину задержки с возвращением к Забекам. Очевидно, у Феодоры Львовны был приемный день, и продукты в гостиной были подношениями ее клиентов, благодаривших за предсказание судеб, обнаружение пропавших кур и коров и тому подобные откровения. Коля Забек явно стеснялся занятия своей матери, необычного для круга интеллигенции. Но должен сказать, что стеснялся он напрасно. При ближайшем знакомстве Феодора Львовна оказалась очень хорошей женщиной, прекрасной и энергичной хозяйкой.

Недостатком ее сына, часто встречающимся у порядочных и образованных людей, была рассеянность, непрактичность, неприспособленность к быту. А любящая и энергичная мать

даже способствовала развитию этого недостатка. Впоследствии, например, выяснилось, что Феодора Львовна мыла своего взрослого сына в тазу.

Когда у меня установились с Феодорой Львовной хорошие отношения, она сама рассказала мне о своем занятии гаданием. Оказалось, что в голодные годы, наступившие после революции, она разъезжала в поисках продуктов, чтобы прокормить семью, и зарабатывала их именно гаданьем. Тогда, рассказывала она, происходило всякое, приходилось гадать «наобум святых». Этому занятию она научилась в Молдавии у цыган. Теперь она получила известность, и к ней стала обращаться вся округа, в том числе даже партийные работники и сотрудники милиции. И очень часто ее предвидения и предсказания сбываются. Как она говорила, в ней есть какой-то дар «прови́дения», хотя она сама не понимает, что это такое. У нее сами собой рождаются ответы на вопросы клиентов. Она не придумывает ответов, — но очень часто они оказываются верными.

К сожалению, Феодора Львовна, очевидно, не имела представления о дальнейшей судьбе собственной семьи. После окончания Высших искусствоведческих курсов я редко виделся с Колей Забеком. В 1938 году в Артиллерийском историческом музее готовили к печати первый том трудов музея — «Сборник исследований и материалов», в который были включены моя статья и статья Н.Н. Забека «Крепостные сооружения XVII века в Кириллове». В этом же году я был арестован и до лета 1943 года пробыл в концентрационном лагере. Находясь там, я получил одно письмо от Николая Николаевича. В 1945 году мне удалось купить этот сборник, вышедший из печати в 1940 году. Моей статьи в нем, конечно, не было. Статья Забека была. Но потом я узнал, что Коля Забек был арестован и погиб. Отца и мать его выслали куда-то из Гатчины.

Конечно, не только Ника Тучков и Коля Забек находились со мной в дружеских отношениях. У меня были и другие приятели, но почти всех их коснулись преследования того периода, и многие погибли.

## *Глава 10. События в семье*

В 1923 году умерла тетушка Мария Михайловна. Я уже писал о ее неожиданном помешательстве. После моего возвращения из Саранска дядя Алексей Михайлович попросил меня навестить ее и передать ей всякие вкусные вещи. И с тех пор невеселая обязанность посещать тетю как-то сама собой сделалась моей. Тетя находилась в клинике знаменитого невропатолога профессора Бехтерева — того самого, который в дальнейшем определил у Сталина паранойю и вскоре умер (по слухам, был отравлен). Клиника находилась за Старо-Невским проспектом; ее здание, с обширными светлыми палатами и коридорами, было окружено садом, и больные расхаживали по помещениям и саду совершенно свободно. По-видимому, буйных больных в клинику не помещали. Чистота, цветы и приветливое, ласковое обращение персонала создавали для больных самую благоприятную обстановку.

Помню, однажды я шел по светлому коридору в сопровождении медсестры и навстречу нам попалась женщина-больная. Хлопнув меня по плечу, она вдруг произнесла: «А этого я не съем, потому что он молодой!». Проходя мимо одной из палат, я, в каждое свое посещение, слышал громкие, завывающие причитания женского голоса: «Чтó я наделала, чтó я наделала!»

Тетя Маруся лежала в маленькой отдельной палате, с дверями, открытыми, как у всех палат, в коридор. Сначала она находилась в одиночестве, а потом туда положили еще одну больную — девочку-подростка. Здесь я убедился, что в отношениях с душевнобольными нужна строгость. Когда я появлялся и вручал тете передачу, сначала она разговаривала со мной как совершенно нормальный человек. Спрашивала о родных и об их делах. Но стоило каким-нибудь словом или просто тоном дать ей почувствовать сочувствие или жалость,

как она начинала говорить всякие несуразные вещи. Иногда же, входя, я видел тетю, свесившуюся с постели и плюющую на пол. «Подожди, — говорила она мне, — ток! ток!» И продолжала плевать на пол. Внешне она сильно изменилась и из интересной элегантной женщины превратилась в худенькую маленькую старушку. Притом ее мания, как я вскоре понял, была, по всей вероятности, как-то связана с долгим отсутствием в ее жизни мужчин. Так, ее посещали видения, о которых она мне рассказывала такими словами: «Мишенька, — говорила она, — в Лавре-то статуи Богородиц — такая-то Божья Матерь, такая-то Божья Матерь, но я смотрю — у них-то у всех хуи привинчены!» Я смущался и не знал, что отвечать на подобные речи...

Выйдя из клиники, я каждый раз долго не мог успокоиться и прийти в себя, и все встречные прохожие и пассажиры в трамвае, казалось мне, глядят сумасшедшими глазами.

После смерти тети Алексей Михайлович переменил квартиру. Он переехал на Васильевский остров, где и поселился вместе с тетушкой Натальей Михайловной и дядей Михаилом Михайловичем. Новая трехкомнатная квартира была частью большого помещения, состоявшего из двух квартир и занимаемого адмиралом Николаем Николаевичем Беклемишевым, который любезно предоставил эти три комнаты дяде.

Революция застала Беклемишева в чине контр-адмирала. Он был известен в городе как масон, один из руководителей петербургского масонства. Но это осталось далеко позади: в середине 20-х годов Николай Николаевич, которому было уже около восьмидесяти лет, безвозмездно трудился над созданием Музея торгового мореплавания на набережной Красного Флота, на открытие которого мы с братом были приглашены. В столь преклонном возрасте Беклемишев сохранял свежесть мыслей и неутомимую работоспособность.

После переезда дяди на Васильевский остров брат и я продолжали навещать его очень часто. Помню, как-то я заночевал у дяди. Накануне вечером мы сидели у Беклемишевых и пили чай с ромом. Разговор шел о русской эмиграции — в связи с тем, что в Советском Союзе только что вышла книга писательницы-эмигрантки Тэффи. Это была книга рассказов, вышедшая в Париже, проникнутая тоской по родине и в

1927 году переизданная в Москве. Наутро мы с дядей вместе вышли из дому. Только сделали несколько шагов — из-за угла навстречу нам вывернулся здоровенный тип с крайне непривлекательной физиономией. Мы миновали его, дядя произнес: «Нет, я бы не мог жить вне России... Посмотри, на что уж разбойничья рожа, — и все-таки своя, русская!» Эти неожиданные слова были, конечно, выражением патриотизма, и дядя говорил совершенно искренне. Но одновременно в его словах мне послышались боль и растерянность человека морально опустошенного, не знающего, чем восполнить эту опустошенность, и цепляющегося за национальное чувство как за единственное, что у него осталось.

Зимой 1925-26 гг. брат поступил на работу в Артиллерийский музей. Знамённым отделом, куда он устроился, заведовал Петр Иванович Белавенец — бывший морской офицер. Брат прекрасно владел карандашным рисунком и акварелью, а у Белавенца шла большая работа по зарисовке хранившихся в музее знамен. Он оценил талант брата — именно талант, потому что Слава никогда не учился этому искусству, — и рассчитывал закрепить за ним эту работу.

Но судьба решила иначе. Летом 1926 года Слава уехал в Архангельск. Он продолжал учиться в Техникуме водного транспорта, и морская практика была ему необходима. О своих планах на будущее он никому не рассказывал, и мы их не знали. Сам же он, как говорится, «ждал случая».

Приехал он в Архангельск в то время, когда там комплектовали команду для большого отряда судов — преимущественно морских буксиров, а также кранов и прочих плавучих средств, которые передавались из Белого в Черное море и должны были совершить очень тяжелый и сложный рейс через Баренцево море и Атлантику. Брат оказался в числе команды буксира «Шуя». Еще перед отъездом в Архангельск он передал мне предложение П.И. Белавенца, с которым я тогда не был знаком, заменить брата в музее. Это меня очень устраивало, так как давало и заработок, и музейную практику. Из Архангельска брат прислал нам с мамой письмо. В нем он подтверждал данное мне обещание привезти из плавания книги по истории искусств. Рейс протекал очень медленно. Только спустя несколько месяцев мы получили от Славы письмо из французского порта Шербур. А потом, несколько

месяцев подряд не получая никаких известий, волновались и наводили справки, но узнать о Славе ничего не могли.

Я начал работать в Артиллерийском музее, помещавшемся в здании Кронверка Петропавловской крепости, в июле 1926 года. В том же году мы с мамой переменили квартиру. Наша квартира совсем разваливалась: полы требовали капитального ремонта, канализация «отказывала» во всем флигеле. И вот Белавенец предложил нам комнату в квартире своей второй жены, на улице Красной Конницы. Первая жена Петра Ивановича и дочь оказались после революции за границей.

В музее я проработал год — до июля 1927-го. За это время в нем сменили бо́льшую часть сотрудников, убрали почти всех бывших офицеров. Заменен был и начальник музея; но Белавенец остался.

В этот период мой дядя Алексей Михайлович не имел постоянной работы. Правда, дома он писал книгу о Моонзундской операции Балтийского флота и продолжал состоять в «исторической комиссии» при Военно-морской академии, начальником которой был его однокашник по морскому корпусу Борис Борисович Жерве. После выхода книги о Моонзундской операции дядя получил от исторической комиссии заказ на новую работу — о Панамском канале. Но Моонзундская операция, проходившая на глазах дяди (хотя он и не был ее участником), описывалась им с большим подъемом, о Панамском же канале он писал без всякого интереса.

В 1925 году дяде предложили принять командование четырехмачтовым парусным кораблем «Товарищ» и совершить на нем рейс в Южную Америку. «Товарищ» был учебным судном, и большую часть его команды составляли слушатели техникума водного транспорта. Дело обстояло так:

Четырехмачтовый барк «Товарищ» находился в это время в Киле, где на нем производился капитальный ремонт, чтобы корабль мог получить «класс Ллойда». Менялся весь стоячий такелаж, проверялся каждый лист стальной обшивки и каждая конструкция корабельного набора. «Товарищ» — бывший английский «Лауристон», построенный в 1892 году, был чистым парусником, предназначенным для дальних океанских плаваний. Правда, на палубе его стоял небольшой паровой котел и три паровых лебедки, с помощью которых можно было производить погрузочно-разгрузочные работы в порту.

Незадолго до этого у капитана «Товарища» произошли неприятности с судовым комитетом комсомола, и он был снят с работы. Как-то, будучи на Васильевском острове, я зашел в Управление пароходства Совторгфлота. Там меня позвали в кабинет начальника и попросили передать Алексею Михайловичу пакет. Дядя, как обычно, проводил лето в своем доме в Новом Петергофе, а в пароходстве не знали его петергофского адреса. Я отвез пакет; через несколько часов дядя позвал меня и поручил передать его ответ. Он познакомил меня со своим письмом, равно как и с предложением пароходства. Дядя соглашался принять командование «Товарищем» на двух условиях. Первое состояло в том, чтобы разоружить на корабле одну мачту, так как кадровой команды на нем было слишком мало для работы с парусами на четырех мачтах. Конечно, такое перевооружение могло в известной мере сказаться на мореходных качествах корабля.

Второе условие, поставленное дядей, по существу говоря, было в то время невыполнимым. Алексей Михайлович давал согласие на командование «Товарищем» только в том случае, если ответственное и трудное дело управления парусником будет безраздельно доверено ему. Во время плавания ни профсоюзная организация, ни комитет комсомола не должны вмешиваться в его распоряжения. Не следует забывать, что управление в океане парусным судном — сложное дело, требующее навыков и дисциплинированности матросов. Дядя, служивший до русско-японской войны на парусных судах, хорошо знал это.

Я передал ответ дяди в правление пароходства. Условия не были приняты. На «Товарищ» был назначен другой капитан, и корабль пошел в Швецию для погрузки гранита. 1-го января 1926 года он вышел в рейс, но после замысловатых приключений весьма беспокойного плавания попал не в Атлантику, а в Баренцево море и потом в Мурманск. Там он простоял почти полгода, потом на него был назначен капитаном директор мореходки (то есть того училища, которое столь неудачно было окрещено «техникумом водного транспорта», а в дальнейшем вернулось к своему исконному названию) Дмитрий Афанасьевич Лухманов, который и привел его в Англию опять на ремонт. Так не торопясь «Товарищ» 5 января 1927 года прибыл наконец в Росарио, затратив год и пять

дней для доставки 3700 тонн гранитных кубиков для аргентинских мостовых...

Вскоре после этих событий Алексей Михайлович получил постоянную работу на Северной судостроительной верфи. А я, после ухода из музея, несколько месяцев проработал «наблюдателем», как называлась эта должность, на ленинградской Испытательной станции Госплана. Мои обязанности заключались в том, что я, с хронометром в руках, учитывал продолжительность различных строительных работ. Это было и неинтересно, и неприятно: рабочие смотрели на хронометражистов очень неприязненно, справедливо полагая, что «наблюдения» производятся ради интенсификации их труда и снижения расценок, и всячески затягивали самую простую работу...

Зимой 1928 года над Институтом истории искусств нависли тучи. Специальная комиссия начала его буквально потрошить. Состоялся ряд чуть ли не судебных заседаний, на которых присутствовали и мы — студенты. На заседаниях научным сотрудникам чинился форменный допрос. Все это создавало очень неприятное ощущение вызывающей грубости и непонятной враждебности к культуре и искусству. Например, Владимир Яковлевич Курбатов и Александр Александрович Починков были по образованию химиками. Вызвав, их с пристрастием допрашивали, почему они не работают по полезной и нужной специальности, а занимаются каким-то (подразумевалось: не нужным государству) искусством. Починков к тому же с преподаванием совмещал заведование превосходной библиотекой института. Члены комиссии задают ему вопрос: «Когда в библиотеке появились сочинения Ленина?» Починков отвечает: как только они были изданы, т.е. в 1917-1920 гг. Тогда комиссия злобно набрасывается на него, на библиотеку, на институт в целом — за то, что сочинения Ленина администрации института были не нужны, ее не интересовали, а потому и появились только после революции, так сказать «для отвода глаз». Александр Александрович совершенно спокойно возражает, что произошло явное недоразумение и что он назвал дату появления в библиотеке первых томов собрания сочинений Ленина, а отдельные его произведения находились в библиотеке института еще до Февральской революции... Хотя можно бы ответить и по-другому: что многие произведения Ленина до

революции распространялись нелегально, и это затрудняло их приобретение; что, наконец, библиотека комплектовалась исходя из профиля института, а у Ленина, как известно, искусствоведческих работ нет. Тем более что даже самые сдержанные и дипломатичные ответы не спасали положение: печальная процедура закончилась оглашением явно заранее подготовленного постановления о ликвидации Института истории искусств и Высших государственных курсов при нем. Студенты курсов переводились в Ленинградский университет, — кроме последнего, старшего курса, моего курса, которому позволено было доучиться в официально закрытом институте.

Все это напоминало старый анекдот о муже, который застал жену с другим мужчиной у себя дома, на диване. Разгневанный муж немедленно принял меры, чтобы измена не могла повториться: он... продал диван. Так же поступили и с нашим институтом. Допустим даже, что в нем обнаружили какие-то непорядки. Но для того, чтобы их ликвидировать, надо ли было «продавать диван» — закрывать институт, прекращая подготовку нужных стране специалистов?

А впрочем, пожалуй, я ошибаюсь, считая по старой памяти, что стране нужны были р а з н ы е специалисты. Профессия искусствоведа в этот период становилась уже анахронизмом, отвлекавшим молодежь от более нужных государству профессий и только «без пользы» поглощавшим государственные деньги.

Итак, на курсах еще год продолжались лекции и семинарии, но только для нашего курса. Они уже носили явно выраженный отпечаток предстоящей «ликвидации».

Летом 1928 года я продолжал работать — в ленинградском торговом порту, на буксире «Зюйд-Вест», простым матросом. Мы занимались в основном тем, что буксировали баржи с песком для строившейся тогда в Ленинграде водоотстойной станции. Баржи грузились в Лисьем Носу. «Зюйд-Вест» отводил их в Неву, а после разгрузки — порожняком доставлял обратно. Шкипер буксира, старый речник, относился ко мне сердечно. Эта работа в летнее время казалась мне не только не утомительной, но даже приятной.

Но в конце лета я стал свидетелем несчастного случая. «Зюйд-Вест» стоял около места разгрузки. Из приведенных

нами баржей рабочие выгружали песок. Для этого при помощи стоявшего на берегу крана в баржу опускали железный ковш, который рабочие заполняли просто лопатами. Затем кран вытаскивал наполненный ковш и опрокидывал его на берегу. И вот, когда ковш шел наверх, он вдруг сорвался, рухнул на дно баржи и придавил одного из рабочих. Это был страшный момент. Неизвестно, была ли то оплошность крановщика, или же неисправность старого крана. На долю минуты многолюдная и шумная толпа рабочих смолкла. Наступила абсолютная тишина. Крановщик вновь поднял ковш, и все увидели в барже распластанное тело. С криками люди бросились к нему. Но уже никто и ничем не мог помочь. Через несколько минут примчалась машина скорой помощи, но долго еще рабочие не могли возобновить работу и, собравшись толпой, обсуждали происшедшее.

Однажды, когда я приехал в порт на вахту после двухдневного отдыха (мы работали сутки и двое суток отдыхали), в кубрике буксира сменявшиеся товарищи сказали мне, что накануне заходил помощник капитана парохода, вернувшегося из заграничного плавания и пришвартовавшегося неподалёку. Он хотел повидать меня и просил передать, чтобы я пришел к нему на пароход. Отпросившись у шкипера, я разыскал нужный пароход; войдя в каюту помощника капитана, увидел молодого моряка и назвал себя. Он усадил меня и сказал, что имеет ко мне поручение от моего брата. Они работали вместе в отряде плавучих средств, перебрасываемых из Архангельска в Черное море, и брат просил его передать мне, что он решил остаться за границей. Я услышал следующие подробности. Когда флотилия стояла в Шербуре, брат сошел на берег с небольшим чемоданом, сказав, что идет в баню. Больше на буксир он не возвращался. Командование отряда обратилось в полицию. Там приняли заявку на розыск, но через несколько дней сообщили, что брата не нашли. Догадываясь об истине и не доверяя полиции буржуазной страны, командование прибегло к помощи частного розыска. Во Франции, как и во многих других странах, существуют частные сыскные агентства; они за плату помогают выяснению обстоятельств совершаемых преступлений и розыску тех или иных лиц, хотя и не имеют права ареста. Частное агентство разыскало брата в каком-то отеле и дало знать командованию отряда

судов. Последнее вновь адресовалось в государственную полицию и, сообщив адрес отеля, где остановился брат, потребовало его ареста. Однако полиция, установив, что брат не совершил никакого преступления, кроме самовольного оставления торгового судна, отказалась его арестовать, сославшись на французские законы. По ним каждый человек, работающий по вольному найму, имеет право оставить работу, и это является его частным делом. О дальнейшей судьбе брата помощник капитана ничего не знал. Я поблагодарил его за полученные известия и вернулся на свой буксир.

Могут спросить, осуждал ли я брата за его поступок. Нет. Я сожалел, что мой брат покинул родину и сделался эмигрантом. Понимал я и то, что его поступок может плохо отразиться на будущем моей матери и моем собственном, хотя мы не имели к нему никакого отношения и даже не знали о намерении Славы. Но, принимая во внимание все то, о чем я раньше писал, я не мог не понять его.

Летом того же 1928 года в нашей семье произошло событие, взволновавшее ее членов и вызвавшее среди них самую различную реакцию, в основном — негативную. Дядя Алексей Михайлович женился. Ему было сорок восемь лет, причем до того он не был формально женат и являлся, так сказать, старым холостяком, а его жене — Марфе Даниловне Игнатович — всего двадцать два. Дядя познакомился со своей будущей женой у кого-то из знакомых, и через несколько месяцев была назначена свадьба. Я был приглашен шафером, но заболел (кое-кто из родных, да, кажется, и дядя и его невеста, расценили мою болезнь как «дипломатическую») и попросил Нику Тучкова заменить меня.

Отец невесты служил до революции почтовым чиновником в Гродно, где она и родилась. Эта семья была белорусской по национальности, но переехала в Петроград в связи с наступлением немцев в годы Первой мировой войны. Здесь отец Марфы Даниловны умер (в 1919 году), и она жила с матерью и тетками и работала в библиотеке, которой заведовала одна из ее теток по матери — Ольга Мартыновна Подобед, не бывшая замужем. Эта женщина была очень хорошим человеком, мужественным в несчастьях, которых в дальнейшем немало выпало на долю этой семьи, и самоотверженным. Я ближе познакомился с ней в тяжелые последующие годы и до

самой ее смерти, в 1954 году, сохранял с ней самые хорошие отношения.

Но тогда, в 1928 году, родственники Алексея Михайловича не знали ни семьи Марфы Даниловны, ни ее лично. На основании каких-то слухов и разницы в возрасте Алексея Михайловича и его невесты многие из них резко осуждали этот брак. Лишь некоторые, и в их числе моя мать и я, не видели в браке дяди ничего плохого. Однако и мою болезнь, помешавшую мне присутствовать на свадьбе, родственники, повторю, сочли «дипломатическим приемом», которым я будто бы выражал мое отрицательное отношение к происходящему.

Выздоровев, я продолжал бывать у дяди и познакомился с Марфой Даниловной. Молодые жили дружно, и дядя, при моих посещениях, не раз высказывал шутливое предположение, что я завидую ему. Я вежливо соглашался, но кривил душой. Наружность Марфы Даниловны мне совсем не нравилась. Особенно мне не нравился ее рот, придававший ей какое-то хищно-насмешливое выражение...

Этим летом ледокол «Красин» был отправлен в Арктику, чтобы принять участие в спасении экспедиции Умберто Нобиле, потерпевшей крушение. Мне очень хотелось участвовать в этом полярном рейсе, тем более что при наборе команды на «Красин» меня пригласили как имеющего уже некоторый опыт работы на судах в Арктике. Но увы, желающих было очень много, и в конце концов я не попал в этот поход.

Тем же летом 1928 года мама и я, совершенно неожиданно, получили известие о брате. Тетушка Наталья Михайловна сообщила нам, что в Новом Петергофе, где она жила летом, на мамино имя получено письмо из Парижа. Я немедленно поехал туда и, пройдя в поселок Князево, где был дом дяди Алексея Михайловича, получил это письмо. Оно было написано молоденькой девушкой — Лидией Дурдиной. Мы до этого письма и не ведали об ее существовании. Она писала маме, что живет в Париже, куда ее привезли родители в 1918 году. Тогда ей было всего пять лет. В Париже она познакомилась с моим братом и собирается выйти за него замуж. Брата она называла «мсье Biber», явно из соображений конспирации. Это, быть может, ими, то есть ею и братом, и неплохо было придумано, потому что являлось сокращенной фамили-

ей нашего легендарного предка и в то же время хорошо звучало по-французски. Однако из текста письма становилось совершенно ясно, о ком она пишет, — даже для человека, вовсе не знакомого с историей нашей семьи. В этом письме, наполненном нежностью к своей будущей свекрови, Лидочка писала, что она является внучкой старого учителя географии младшего брата Славы, — то есть моего учителя.

Прочитав это восторженное письмо молодой влюбленной девушки, мы решили разыскать ее деда. Но дело в том, что у меня в разное время было два учителя географии, оба почтенного возраста — Михаил Васильевич Усков, у которого я учился в 1921-22 годах, и Николай Федорович Арефьев, преподававший географию в реальном училище А.И. Гельда в 1914-1918 гг. Сначала я обратился к Николаю Федоровичу, но оказалось, что никакой внучки у него в Париже нет. Тогда я разыскал Ускова, — и выяснилось, что в письме шла речь о нем. Я узнал, что его дочь, мать Лидочки, Елена Михайловна, была замужем за сыном петроградского пивозаводчика Дурдина, Александром Дмитриевичем. В Париже, в эмиграции, она развелась с ним, и он уехал в Швейцарию, к профессору, у которого учился в молодости. А Елена Михайловна вышла замуж за англичанина Чарльза Уайта, представлявшего в Париже английскую спичечную фирму. Лидочка жила с ней и работала моделью в какой-то фирме.

Михаил Васильевич проживал в Ленинграде на Петроградской стороне с другой своей дочерью, Евгенией, и они переписывались со своими парижскими родственниками.

Летом 1929 года мы перебрались на новую квартиру, сняв большую, но не очень удобную и холодную комнату на улице Петра Лаврова — одной из самых фешенебельных улиц старого Петербурга (до революции она называлась Фурштадтской). Мы нашли эту комнату по объявлению. Ее сдал нам некто Марк Исаевич Сигель, кажется, нэпман, прослышавший о предстоящем очередном «уплотнении» буржуазных кварталов и в связи с этим заранее подыскивавший «приличных» соседей, не ожидая, пока ему навяжут жильцов в принудительном порядке.

26 января 1929 года жена дяди Алексея Михайловича родила сына. Я присутствовал при его крещении, которое происходило на квартире дяди. Мальчика назвали Иосифом.

В нашей семье было традицией давать мальчикам имена Михаил и Иосиф. Михаилом звали отца моего прапрадеда, его два сына получили эти имена — старший Юзефа, младший Михала. Мой прадед был Юзефом, дед Михаилом, двое из моих дядей тоже носили те же имена. Вероятно, я и мой двоюродный брат, сын Алексея Михайловича, — последние Косинские, носящие эти традиционные имена...

До рождения Иосифа в большой семье Косинских состоялись еще две свадьбы — женились оба сына дяди Константина Михайловича: Георгий — на Зинаиде Николаевне Алексеевой, Роман — на Екатерине Владимировне Бок. Обоим этим моим двоюродным братьям удалось к тому времени закончить высшие учебные заведения: Георгий кончил Институт гражданских инженеров, а Роман — медицинский институт по специальности врача-хирурга. Первая из этих свадеб состоялась в доме Алексея Михайловича в Князеве. Вообще дом этот часто служил местом семейных празднеств и вечеров, с выступлениями певцов-любителей, декламаторов и музыкантов. Большие помещения, сад, рояль и гостеприимство хозяина благоприятствовали таким вечерам. Помню такой эпизод: как-то среди многочисленных гостей находилась молодая дама. Она принимала участие в танцах, вместе со всеми выбегала в сад, выполняя фигуры вальса. За ужином я оказался сидящим с нею рядом. Она наклонилась ко мне и тихим голосом спросила: «Скажите, пожалуйста, кто хозяин этого гостеприимного дома?» Я был удивлен, так как считал ее одной из знакомых дяди. Она рассказала, что присутствует совершенно случайно. Живет неподалёку на даче, одна, услышала музыку, увидела танцующих и присоединилась к ним... Никто не обратил внимания на присутствие постороннего человека и ее приняли за свою. Когда я рассказал о моем с ней разговоре, все рассмеялись, а дядя был искренне рад, что невольно доставил удовольствие этой незнакомой даме.

Зимой 1928–29 гг. я сдал выпускные экзамены на курсах и получил квалификацию искусствоведа-музееведа. Правда, с экзаменами, дающими звание музееведа, произошла заминка. Мстислав Владимирович Фармаковский отказался принимать у меня экзамены по музейному и реставрационному делу, мотивируя свой отказ тем, что я нерегулярно посещал его занятия. Но я подал заявление в деканат с просьбой на-

значить, ввиду такой позиции Фармаковского, комиссию по их приему, и сдал эти экзамены образованной по этому случаю комиссии под председательством декана К.К.Романова.

Уже в конце апреля 1929 года я вновь начал работать в ленинградском торговом порту — в качестве матроса I класса на пожарном пароходе «Церель». Командовал им шкипер Брянцев, человек суровый и требовательный. Мы с ним сработались хорошо, хотя дело не обошлось, особенно вначале, без «матюгов». Я пробыл на «Цереле» вплоть до февраля 1930 года. Хорошо помню очередное ленинградское наводнение осенью 1929 г., когда нам с Брянцевым пришлось работать подряд двое суток, так как мы не имели возможности принять смену. Вдобавок, приехав в порт, я узнал, что мой напарник не вышел. Верхняя команда пароходика состояла из двух матросов, и мне пришлось справляться за двоих — без сна и еды. Эти сутки выдались очень тяжелыми: «Церель» два дня и две ночи был в постоянном движении. Стоявшие в порту суда срывало с причалов, бросало друг на друга. Их приходилось растаскивать. С судов надо было снимать рабочих, напуганных непогодой и сыпавшихся на маленький пароходик без всякого порядка, что могло перевернуть его. Загорелись нефтяные баки, и мы мчались туда на полном ходу, готовя пожарные средства... Особенно трудно приходилось ночью.

На третье утро погода смягчилась, и мы приняли смену и сдали вахту. По дороге к остановке трамвая Брянцев и я зашли в буфет портового управления. Необходимо было перекусить, но от усталости буквально сводило рот. Выпив две рюмки водки и с трудом разжевав пару бутербродов, я выслушал сухую похвалу Брянцева и поехал домой.

## *Глава 11. Оба мои дяди арестованы*

А между тем обстановка в стране становилась все более напряженной и странной. Аресты ни в чем не повинных людей делались обычным явлением и принимали массовый характер. В августе 1929 года были произведены аресты и в нашей семье — в тюрьму попали дядя Константин Михайлович со старшим сыном Георгием и, спустя несколько дней, Алексей Михайлович. Георгия через два или три месяца выпустили из тюрьмы (тогда это еще случалось, — может быть, здесь сыграли роль хлопоты его жены, имевшей знакомства среди руководящих работников Ленинграда, но несколькими годами позже никакие знакомства, связи и даже родство, пусть даже с членами правительства, не могли помочь арестованному по «политическому» делу). Оба дяди, после непродолжительного следствия, были приговорены к пятилетнему заключению в концлагерь. Во время ареста работники ОГПУ произвели обыск, носивший поверхностный характер. Так, например, у Алексея Михайловича был забран небольшой семейный архив, в котором находились документы конца XVIII–начала XIX вв., и в то же время не обнаружили георгиевский палаш, пожалованный ему в 1916 году, хотя он стоял в платяном шкафу. Потом, когда уже шло следствие, специально приехали за палашом, очевидно, от самого дяди узнав об его существовании.

Положение, в котором оказались семьи заключенных, было неодинаковым. Семья Константина Михайловича состояла из одной только жены, так как дети были уже взрослыми. У Георгия перед самым его арестом родился сын, но Георгий пробыл в тюрьме, как я уже упомянул, очень недолго. Но у Алексея Михайловича осталась беременная жена с полугодовалым сыном и старухой-матерью.

Вслед затем, в январе 1930 года, был арестован Георгий Михайлович Тырышкин, муж моей двоюродной сестры Оли

(дочери Константина Михайловича). Оля развелась с ним задолго до того ввиду его пьянства и непорядочных поступков. Как я слышал, его арестовали не по политическим мотивам. В дальнейшем он снова арестовывался и умер в лагере в 1950 году, в возрасте шестидесяти лет...

Перед отправкой в концлагерь родственникам было разрешено свидание с осужденными. Пошли Людмила Александровна, жена Константина Михайловича, его дочь Оля, Марфа Даниловна и я. Свидание происходило в следственной тюрьме на Шпалерной улице (ныне ул. Воинова). Я впервые был в этой тюрьме, в которой впоследствии мне пришлось сидеть долгие месяцы. Помещение для свиданий представляло собой длинный зал, перегороженный вдоль двойной решеткой. С одной стороны перегородки впускались посетители «с воли», с другой — заключенные. В пространстве между решетками ходили лица тюремной охраны.

Помещение для посетителей было переполнено. Через некоторое время из дверей, ведущих в камеры, послышался шум, топот ног, и тесной толпой вбежали заключенные. Как посетители, так и заключенные сгрудились около решеток, и крики с обеих сторон и плач создали невероятный шум.

Наконец мы увидели наших родных и с трудом протиснулись к тому месту, против которого за решеткой остановились оба дяди. При наполнявшем помещение плаче и криках ничего нельзя было разобрать, и все же, изо всех сил напрягая слух и голос, удалось обменяться несколькими фразами. После того, как Марфа Даниловна уступила мне место, причем она протянула сквозь решетку руку, которую Алексею Михайловичу удалось поцеловать, я обменялся с дядей немногими словами. Он прокричал мне: «Здесь ужас!» И уже по одному виду толпы заключенных, одетых в поношенное платье, небритых, с растерянными лицами, многие со слезами на глазах, можно было судить о справедливости слов дяди. Всегда подтянутый, корректный, он казался потерявшим себя, как и подавляющая часть этой серой толпы.

Свидание окончилось, мы вышли в соседнюю комнату, где было два или три окошка в стене. Здесь принимались передачи и деньги для заключенных, выдавались справки. У этих окошек тоже билась толпа. Люди продирались к ним, расталкивая окружающих. Какая-то старая женщина, в

растерзанном в давке платье, со сбившимся с седых волос платком, протягивала деньги и кричала: «Примите от меня всего два рубля! Это не займет много времени! Внука отправляют в лагерь». И называла фамилию внука, которому хотела помочь хотя бы двумя рублями...

Теперь, кроме своих личных и служебных забот, я старался посодействовать семье дяди Алексея Михайловича в устройстве неотложных материальных дел. Дядя просил Марфу Даниловну по возможности сохранить петергофский дом, к которому был очень привязан. Марфа Даниловна решила перебраться в поселок Князево с семьей, оставив ленинградскую квартиру. С этим была связана продажа мебели и других вещей, оказавшихся лишними. Деньги, вырученные от продажи, отнюдь не были ненужными для семьи дяди. Ей ведь предстояло существовать только на скудный заработок Марфы Даниловны. Заботы о Константине Михайловиче и его жене должны были, естественно, лечь на его двух сыновей. С Алексеем же Михайловичем я был очень близок и постарался как только мог помочь его семье.

Правда, бывая теперь часто в этой семье, я сталкивался с суждениями, которые глубоко огорчали меня. Например, я видел, как мать Марфы Даниловны разбирает мелкие вещи — альбомы, безделушки, — которые были дороги Алексею Михайловичу, связаны с теми или иными моментами его жизни. Многие из этих мелочей откладывались в стопу, которая все росла и росла: их намечалось продать или обменять на продукты. Я слышал много раз повторяемую фразу: «А это — чухонкам на молоко». Конечно, малютка-сын моего дяди нуждался в молоке. Но неужели до такой степени, чтобы требовалось отдавать за бесценок массу вещей, дорогих дяде и многим из нас по воспоминаниям?

Дядя был осужден не за какое-либо преступление против власти, а только за свое прошлое офицера царского флота и за свои убеждения, которые порой не считал возможным скрыть. Но насколько «вредными» были эти убеждения? Я никогда не слышал от дяди высказываний, которые сам не мог бы разделить, настолько справедливы они были. Но, разбирая его письменный стол, я обнаружил не найденную при обыске крамолу: вырезанное из бумаги чьей-то искусной рукой изображение Ленина. Стоило слегка растянуть этот

кусочек бумаги — и черты вождя искажались, он начинал строить то забавные, то злобные гримасы. Можно ли было осуждать дядю за явное отсутствие пиетета по отношению к вождям революции?

Второго февраля 1930 года я был переведен с «Цереля» на ледорез «Пурга». Ледорез передавался из ленинградского торгового порта в Мурманск, где его собирались использовать в качестве лидера флотилии ОГПУ. Команда должна была привести его в Баренцево море и в Мурманске передать новому хозяину, а затем по железной дороге вернуться в Ленинград. Рейс предстоял интересный, несмотря на суровое время года. В Ленинграде стояли сильные холода, и от морозов даже появились трещины в уличном асфальте.

«Пургой» командовал некий Брейдкопф, произведший на меня не слишком приятное впечатление.

Насколько я помню, на вторые сутки похода мы подошли к Копенгагену и бросили якорь в торговом порту. Часть команды отпустили на берег, и я с несколькими товарищами отправился в город.

Здесь приходится сделать небольшое отступление. Как видно, в те годы аппарат «госбезопасности», сделавшийся вскоре всемогущим, всеведущим и вездесущим, еще не набрал такой силы. Иначе разве могли бы взять в заграничное плавание, с заходом в «капиталистические» порты, да еще отпускать в них на берег такого человека, как я — с моим дворянским происхождением, с моими репрессированными родственниками, да еще с братом, совсем недавно попросту сбежавшим из советской России и притом в ходе тоже заграничного плавания! Вероятно, каким бы странным это ни казалось, на меня тогда еще не было заведено отдельное «досье» в «органах»...

Путь от торговой гавани Копенгагена лежал через валы старинных укреплений, и добраться до города было нелегко. Никто из нас не знал датского языка, а датчане, естественно, не говорили по-русски. Все же нашлись люди, которые показали нам путь и разъяснили, что за валами укреплений нам следует сесть в трамвай. Мы не могли этого сделать, так как нам не выдали валюты, и добрались до города пешком.

А когда вернулись на «Пургу», нас встретили удивленные товарищи и явно недовольный капитан. Оказывается, боль-

шая часть отпущенных на берег моряков так и не смогла добраться до города. По-видимому, стоянка в этой гавани и невыдача нам местных денег были рассчитаны на то, чтобы никто не уходил далеко от судна.

Но через несколько дней, когда мы под вечер подошли к сиявшему огнями Бергену, я с несколькими товарищами опять сошел на берег, зашел на почту и отправил два письма. Одно было маме, другое брату. Переписка мамы с Лидией Дурдиной продолжалась, но, в связи со все усиливавшимися репрессиями, стала опасным делом, угрожала более чем крупными неприятностями. По всей видимости, за границей еще не понимали этого. Написать правду из Ленинграда было нельзя, и я решил воспользоваться представившимся случаем и отправить письмо из Норвегии. Я писал об усилившейся опасности переписки и об арестах в нашей семье. Отправляя письма, я, видимо, волновался и забыл заклеить конверты. По крайней мере, мама получила письмо незаклеенным. Очевидно, брат правильно понял наши опасения, потому что письма от его невесты прекратились. Но ее родные еще некоторое время продолжали переписку, и от них мы изредка узнавали о мсье Бибере и его невесте.

Перед увольнением на берег команде выдали немного денег в кронах, предупредив, что Берген — последний порт, в котором команда будет отпущена с судна. Здесь можно было купить все, — конечно, при наличии денег. Много было и таких товаров, в которых в нашей стране ощущался острый недостаток. В эти годы продовольствие распределялось у нас по карточкам. Зайдя в кондитерский магазин, я съел тут же очень вкусное пирожное с настоящим кремом из взбитых сливок. В другом магазине я купил, рассчитывая привезти домой, сотню апельсинов. Сотня апельсинов, каждый из которых был к тому же завернут в папиросную бумагу с тисненой золотом надписью, стоила здесь одну крону! При этом следует учесть, что подобные вещи доставлялись в Скандинавию из стран, лежащих «за тридевять земель». Покупавшему сразу сотню полагался вдобавок презент в виде перочинного ножика или какой-нибудь другой мелочи.

Наше пребывание в пункте назначения, Мурманске, длилось всего несколько дней. Мурманск тогда выглядел довольно неприглядно. В значительной части он состоял из

деревянных домов, среди которых выделялся каменный полупустой универмаг.

Сдав «Пургу», команда погрузилась в пассажирский поезд и отправилась в Ленинград. Настойчивые предложения новых хозяев «Пурги» остаться служить у них никого не прельстили.

В вагоне я оказался соседом главного механика «Пурги» Александра Ивановича Мока. Мы с ним беседовали, уже не стесняясь служебными отношениями. Проезжая Медвежегорск, я очень волновался. Мне почему-то казалось, что я могу встретить на вокзале дядю Алексея Михайловича. Ведь именно здесь, как я слышал, находился перевалочный пункт для всех, отправляемых в северные лагеря. И хотя я отлично понимал, что такая встреча крайне маловероятна, я не переставал волноваться и не отходил от окна вагона. Александр Иванович обратил внимание на мое волнение, и в ответ на его вопрос я рассказал ему о судьбе дяди. Он промолчал, но я почувствовал, что он понял мое состояние и сочувствует мне.

Прибыв в Ленинград, я немедленно оформил расчет. Весь рейс длился месяц с небольшим, со 2 февраля по 10 марта 1930 года. Больше к работе на флоте я уже не возвращался, хотя, проходя по набережной Васильевского острова, читая названия кораблей и вдыхая запах пара и тросов, я еще долго ощущал тоскливое, щемящее чувство.

Дома меня ожидало печальное известие. Одновременно с письмом от дяди из Соловков, в котором он благодарил меня за помощь семье, мне сообщили о его смерти. Он умер в Соловецком лагере 20 февраля 1930 года.

30 марта у его вдовы родилась дочь. Ее назвали Надеждой, в память матери Алексея Михайловича. Крестили ее в Новом Петергофе, соблюдая религиозный обряд, памятуя религиозность дяди. Я присутствовал при крещении. Обряд производил священник соседнего поселка — отец Николай Посунько. Ассистировали ему два мальчика — его сыновья. Посунько был священник строгий. Когда я хотел передать ему какой-то предмет из привезенных им крестильных принадлежностей, он довольно резко изрёк: «Неосвященными руками не положено трогать священные предметы!» Погружая Надю в купель, он пролил немного воды на пол. Тут же находился

четырнадцатимесячный сын дяди — Юзик. Он уже ходил, но не умел еще говорить. Увидев пролитую воду, малыш хитро осклабился и громко произнес: «Бом а-а!» «Бом» — обозначало священника, виновника колокольного звона, «а-а» — не требует разъяснения.

По возвращении из плавания передо мной вставала проблема устройства на работу по специальности. Так как я считал своей специальностью западное средневековое искусство, то единственным музеем в Ленинграде, в котором я хотел бы работать, был Эрмитаж. Я мог надеяться поступить туда, потому что некоторые из моих профессоров, ведших занятия на Курсах искусствоведения, работали в Эрмитаже и к моим знаниям относились положительно. Но тут возникло существенное препятствие. В Эрмитаже начались аресты. Мои родные и прежде всего мама убеждали меня отказаться от поступления в Эрмитаж, к которому оказалось по какой-то причине приковано внимание карательных органов. Тогда еще не все понимали, что «органы» не нуждаются ни в причинах, ни даже в поводах для массовых арестов.

## *Глава 12. Академический институт «Гипровато» и Артмузей*

Один из моих приятелей, Борис Владимирович Кондоиди, работавший в Академии Наук, посоветовал мне обратиться в Палеозоологический институт, входивший в систему Академии. Там требовались работники для институтского музея. Этот совет заинтересовал меня: мне давно хотелось ближе познакомиться с палеонтологией, так как мои знания в этой области были равны нулю. Кроме того, проникновение «политики» решительно во все области жизни и науки делало палеонтологию еще более привлекательной в моих глазах: я полагал,что она еще долго останется «аполитичной» областью знания. Конечно, при всем этом я смотрел на работу в Палеозоологическом музее как на временное занятие.

Директором института и музея был академик Алексей Алексеевич Борисяк, довольно редко бывавший там. Поэтому при поступлении мне пришлось иметь дело с заместителем директора по научной части — Александрой Паулиновной Гартман-Вейнберг. Я был принят в ПИН (как сокращенно, по моде того времени, именовался институт) на должность препаратора I разряда и 24 июня 1930 года приступил к освоению новой специальности. Через неделю я смог уже работать самостоятельно. Спустя два месяца меня назначили реставратором 2-го, а через год — реставратором I-го разряда.

Институт помещался в одном из зданий, бывших когда-то пакгаузами и построенных в 1826–1832 гг. по сторонам Фондовой биржи (ныне Военно-морского музея) на стрелке Васильевского острова. В обязанности препаратора входило отделение деталей скелета древних ископаемых животных от каменной оболочки. Директор Борисяк, обладавший большими знаниями в палеозоологии, известный своими раскопками так называемой «тургайской фауны», был важной

персоной и осуществлял скорее номинальное руководство институтом. Этот 58-летний в ту пору ученый страдал серьезной болезнью позвоночника, заставлявшей его постоянно носить железный корсет. В свете этих его особенностей, а также вследствие развода в 1932 году с пожилой женой и женитьбой на одной из административно-политических сотрудниц Академии, он, казалось, все более отделяется от института. Соответственно этому истинным руководителем института была в то время Гартман-Вейнберг — палеозоолог с европейским именем. Будучи всей душой предана своей науке, она, к сожалению, обладала некоторыми странностями, из-за которых большая часть сотрудников института относилась к ней недоброжелательно. Общеизвестна была повышенная, выражавшаяся в открытой и порой резкой форме требовательность Александры Паулиновны к «своим» и «чужим» работникам. В отношении посторонних она держалась вообще необычно — в частности, не подавала им руки. Как она сама говорила, это объяснялось тем, что она может пожать руку человеку только при условии, что будет уверена в его порядочности.

В институте пустовало место ученого секретаря, и вскоре мне удалось устроить на него моего приятеля Дмитрия Брониславовича Ловенецкого. Музыкант-пианист, он, конечно, не имел познаний в палеонтологии, но, будучи человеком дельным и интеллигентным в полном смысле этого слова, прекрасно справлялся с обязанностями ученого секретаря.

Препараторы и реставраторы составляли самую многочисленную группу сотрудников института. Хотя они номинально причислялись к научным сотрудникам, среди них были люди, не имевшие никакого образования, т.е. практики. Один из них, Федор Максимович Кузьмин, являлся даже, так сказать, потомственным препаратором — его отец занимал ту же должность в Геологическом институте. Младший Кузьмин был хвастунишкой и вралём, питая к тому же изрядную склонность к выпивке. Александра Паулиновна, одинокая женщина, не имевшая детей, сначала относилась к нему поматерински, пыталась сделать из юного Кузьмина достойного человека, помочь ему получить образование. Ничего из этого не получилось и только вызвало гнусные наветы со стороны некоторых сотрудников и черную неблагодарность самого Кузьмина.

Пожалуй, самым способным из препараторов был в институте Иван Антонович Ефремов, упорно готовивший себе будущее крупного палеонтолога. Он был сыном купца первой гильдии Антипа Ефремова и для благозвучия (а может быть, из соображений маскировки в новом обществе) слегка изменил отчество. Действительно, он сделался видным научным работником, но, получив какую-то болезнь в одной из экспедиций, перестал заниматься палеозоологией и приобрел широкую известность как писатель-фантаст.

Иван Антонович не пользовался любовью окружавших его людей. Высокого роста, широкоплечий, слегка заикающийся, он уже тогда отличался высокомерием. Упорно стремясь сделать карьеру, он женился на дочери известного геолога — профессора Горного института Николая Игнатьевича Свитальского. Эта милая девушка, по имени Ксения, также работала препаратором в нашем институте. Нужно сказать, что, идя рядом, они представляли собой довольно странную пару — огромный Ефремов и крохотная, худенькая его жена.

Отец Ксении в дальнейшем получил пост вице-президента Украинской Академии Наук. В 1937 году он был арестован. О его смерти НКВД давал впоследствии противоречивые справки: по одной, он умер в 1942 году, по другой — в 1944-м. Ефремов заблаговременно развелся с его дочерью — еще в 1934 году. По-видимому, над головой Свитальского уже тогда начали сгущаться тучи, а Иван Антонович обладал редкой интуицией.

При всем том... Ефремов умер в октябре 1972 года, на шестьдесят шестом году жизни, — и сразу же после его кончины Комитет Госбезопасности допросил его бывшую жену, расставшуюся с ним за 38 лет до того, о «связях» покойного с Китаем. Действительно, в свое время Ефремов совершал путешествия в пустыню Гоби и, кажется, в Тибет, производил там раскопки — не оказался ли он в сетях китайской разведки? «Почему же вы не допросите вдову Ивана Антоновича? — недоумевая спросила Ксения Николаевна. — Ей ведь, наверное, лучше известно, чем занимался и куда путешествовал покойный после 1934 года». «Не беспокойтесь, — ответили ей. — Вдовой мы занялись само собою»...

...Два года проработал я в ПИН´е и, может быть, работал бы там и дольше, — однако коллектив этого учреждения

раскололся на два лагеря — сторонников и «противников» методов руководства Гартман-Вейнберг и ее лично. В результате интриг она была освобождена от занимаемой должности и оказалась безработным ученым. Правда, всего через несколько месяцев ей предложили возглавить палеозоологическую лабораторию при Московском университете. Летом 1932 года мы с Димой Ловенецким, как принадлежавшие к сторонникам уволенного руководителя, подали заявления об уходе. Этому решению способствовало то обстоятельство, что Академия Наук по распоряжению правительства переводилась из Ленинграда в Москву, и среди ее учреждений одним из первых был назначен к переводу ПИН.

За время, истекшее после моего возвращения из заграничного плавания, мама и я вновь переменили квартиру. Вышло распоряжение об «уплотнении» жилой площади, разрешавшее лицам, обладавшим «излишками», заселить их, в течение ограниченного срока, по своему усмотрению. Излишки площади, в виде отдельной маленькой комнаты, оказались в квартире, где жил Дима Ловенецкий. Его квартирная хозяйка, Людмила Александровна Фаворская, приехала к нам и просила меня занять эту комнату. Так я и поступил, а комнату в квартире Сигеля, ставшую уже нашей, мы обменяли на меньшую, но более удобную; в результате я перебрался в пятикомнатную квартиру Фаворских на Сытнинской площади, а мама переехала на Преображенскую улицу.

Семья Фаворских, занимавшая три комнаты, состояла из главы ее, бухгалтера Владимира Васильевича, его жены Людмилы Александровны, ее сестры и двух незамужних дочерей — Татьяны и Валерии. Все они были славными и глубоко порядочными людьми. Я с ними прожил дружно до моего выселения из Ленинграда в 1935 году.

Вопрос о подыскании работы неожиданно разрешился очень легко. Навестив мою двоюродную сестру Ольгу Константиновну и рассказав ей о своих делах, я услышал от нее совет: обратиться к ее хорошему знакомому, инженеру Клименко. Она знала его по совместной работе в институте Гипроспецмет, где служила стенографисткой. Леонид Владимирович Клименко был одним из организаторов этого института, занимал в нем пост технического директора, а затем был назначен главным инженером открывшегося ленинградского

отделения Института проектирования автотракторных заводов — «Гипровато». Как раз в этот момент «Ленгипровато» набирало сотрудников. Оля лично переговорила обо мне с Клименко, и тот передал через нее, что может предложить мне место заведующего архивом и библиотекой. Тем же летом я приступил к работе: в такое тяжелое для страны время не приходилось быть особенно разборчивым и добиваться работы по специальности.

«Ленгипровато» помещалось в доме в переулке Домбаля, около Смольного. Помещение было небольшое, так что архив и библиотека занимали только часть комнаты, а в другой половине, отгороженной шкафами, работали инженеры и чертежники. Для библиотеки мне предстояло подобрать работников, прежде всего для перевода поступавшей иностранной литературы. Большая часть инженеров почти или совсем не знала языков, что затрудняло работу.

Директором института был бывший летчик, член партии, участник гражданской войны Павел Иванович Игнатьев. Это был здоровенный мужчина, любитель выпить, бабник и обладатель очень скромной квалификации по автостроению. Фактическим руководителем был Л.В. Клименко, крупный специалист, имевший звание профессора. Он был дельным и осторожным человеком, что спасло его в злополучные тридцатые годы, но, однако, не помешало ему погибнуть в заключении в 1942 году...

Вскоре на работу были приняты четыре девушки-переводчицы; поступление одной из них, Ольги Сергеевны Заботкиной, натолкнулось на сопротивление заведующего отделом кадров, очень неприятного и крайне грубого человека. Как раз в это время директор и Клименко находились в командировке в Москве. После их возвращения и разбирательства Заботкина была оформлена на работу, а «кадровик» за свои интриги и недопустимую грубость получил выговор и более не чинил мне препятствий при оформлении дальнейших сотрудников. Через год, в июне 1933 г., «Ленгипровато» было объединено с заводом «Красный Путиловец» (ныне Кировский завод). Мы все оказались перемещенными на территорию завода, на второй этаж механического цеха, и институт получил наименование «Краснопутилпроект». Еще до слияния с заводом у нас началось проектирование легкового автомобиля

«Л-1». Из США было выписано два одинаковых «бьюика», один из которых подвергся разборке буквально до винтика. Исследовались и копировались как конструкция, так и материал его узлов и деталей, после чего началось изготовление опытных советских автомобилей. Уже летом 1933 года состоялся пробег нескольких наших машин в Москву, показавший хорошие результаты. Администрация завода рассчитывала, что заводу будет поручен серийный выпуск легковых автомобилей (директором завода был тогда Карл Мартович Отс, а главным инженером Тер-Асатуров, вскоре арестованные и погибшие в заключении). Однако высшее начальство решило, что советские легковые автомобили такого класса должны выпускаться в Москве. Наш сотрудник, командированный туда, сдал чертежи и остатки разобранного «бьюика», и на этом история автомобиля «Л-1» закончилась. Одну из этих машин мне довелось видеть спустя почти тридцать лет — в 1961 году. Она принадлежала частному владельцу, была еще на ходу, и жаль, если в дальнейшем она не попала в музей, а была продана на слом... Мне приходилось слышать, что прекращение работ по легковому автомобилю в Ленинграде объяснялось интригами И.А. Лихачева, возглавлявшего автозавод в Москве и желавшего сосредоточить производство машин высокого класса в своих руках. Рассказывали, что в прошлом Лихачев был личным шофером Сталина и пользовался большим влиянием. Что же касается «Автокраснопутилпроекта», то он получил новое задание — спроектировать свекловичный пропашник.

В феврале 1934 года меня назначили заведующим бюро технического обслуживания «Автокраснопутилпроекта». В бюро входили, помимо архива, библиотеки и бюро переводов, также светокопировальная мастерская, фотолаборатория, бюро инспекции чертежей, где работала целая группа опытных инженеров, и ряд других служб. Дело дошло до того, что меня лично обязали ставить на каждом чертеже штамп и подпись в подтверждение правильности выполнения чертежей, хотя я не только не был специалистом, но даже не был в состоянии «читать» чертежи. Возложение на меня этих обязанностей объяснялось просто: наступали времена, когда каждый стремился уклониться от какой бы то ни было ответственности, переложить ее на другого, боясь участившихся

обвинений во «вредительстве» со страшными вытекающими отсюда последствиями.

Как раз в этот период освободилось место заведующего библиотекой. Я решил предложить занять его Нике Тучкову, и тот согласился. Любопытно, что он жил на Захарьевской улице, и его окна выходили как раз на строившийся там, на месте бывшего Окружного суда (сгоревшего в Февральскую революцию), огромный дом. Этот дом должен был стать первым в Ленинграде восьмиэтажным домом, и уже было известно, что он предназначается для НКВД. Многим из нас на протяжении последующих двадцати лет пришлось пройти через его следственные камеры, притом иногда — дважды и трижды. Многие погибли в этом доме, не выдержав страшных истязаний «ежовского» периода.

Ника начал аккуратно ездить на завод и трудиться добросовестно и даже с увлечением. Знание трех европейских языков очень пригодилось ему здесь, и наши инженеры были им очень довольны. Я же надеялся, что Ника отныне уже не будет в глазах властей «человеком без определенных занятий».

Еще в 1933 году Леонид Владимирович Клименко женился на моей двоюродной сестре — Ольге Константиновне (к слову сказать — пренебрегая тем обстоятельством, что ее отец, а мой дядя, Константин Михайлович, находился в то время в заключении — в концлагере). В мае 1934-го его назначили главным инженером на Горьковский автомобильный завод. Уезжая в Горький (Нижний Новгород), он взял с собой нескольких инженеров — ближайших своих помощников, и предложил ехать с ним также и мне. Но я отказался — как показало ближайшее будущее, может быть, напрасно. Я все еще надеялся начать работать по своей специальности, а работа по технической части все более тяготила меня, тем более что она становилась все более небезопасной.

Как-то в самом конце мая я зашел в Артиллерийский музей, находившийся поблизости от моего дома. На вопрос, кто заведует Знамённым отделом, мне ответили, что в 1932 году из этого музея был выделен самостоятельный Военный историко-бытовой музей РККА («Рабоче-крестьянской Красной армии»), в который, среди прочих экспонатов, отошли и знамена. В том же году умер П.И. Белавенец, заведовавший интересующим меня отделом, создатель отечественного

знаменоведения. Но несмотря на формальное выделение нового музея Знамённый отдел помещается там же, где и раньше, — в том же кронверке Петропавловской крепости. Начальником отдела является Тихон Ильич Воробьев.

Знамёна фактически гибли — прославленные знамёна, под которыми русские солдаты сражались при Петре I и его преемниках, знамёна суворовских чудо-богатырей, знамёна, реявшие в Бородинском бою... и, наконец, первые знамёна Красной армии. У меня сжалось сердце, когда я вошел в этот грязный и сырой склад памятников нашей истории. Артиллерийский музей недаром отказался от них — ведь когда был жив Белавенец, только благодаря его самоотверженному отношению к знамёнам что-то делалось для их сохранения и научного исследования. Не стало Белавенца — и знамёна обратились в ненужный интендантский хлам, обременявший «хранителей». Решив избавиться от этого «хлама», они добились отделения Знамённого отдела от Артиллерийского музея. Я увидел даже не склад, а скорее свалку, для отвода глаз названную тоже «музеем». Характерно, как мне рассказал его начальник, что какая-то из сменявшихся администраций Артиллерийского музея дала распоряжение снять со знамён и реализовать золотые Георгиевские кресты, привязанные когда-то на поле боя к навершиям многих знамён особо отличившихся воинских частей. Так считали возможным поступать «хранители», музейные работники.

Интендант 2-го ранга Тихон Ильич Воробьев, начальник Военного историко-бытового музея РККА, сразу же произвел на меня очень хорошее впечатление. Он слышал обо мне и предложил работу в музее. Положение его как ответственного за все это запущенное хозяйство было незавидным. Музею отпускались ничтожные средства, которых едва хватало на оплату немногих сотрудников и на текущие расходы. В штате числились: начальник музея, финансовый работник, два научно-технических сотрудника и два технических. Средств на ремонт помещений, не говоря уж о реставрации и консервации экспонатов, выделено не было.

Воробьев рассказал о себе. Деревенским парнем он вступил в Красную армию и сражался с белыми в гражданскую войну. В партии чуть ли не с 1918 года. После войны учился на археологическом факультете Ленинградского универси-

тета, продолжая служить в армии и заниматься военной историей России. У него дома большая библиотека, преимущественно из книг, содержание которых так или иначе связано с Суворовым. О Суворове он и сам написал несколько книжек.

В облике Тихона Ильича сохранилось многое от деревни. Фуражку он носил глубоко надвинутой на уши. Меня он сразу начал называть «Михайла Федорович». К экспонатам он относился с большой бережливостью, правда, иногда проявляя недостаточную эрудицию. Например, в таком случае:

Среди предметов, переданных ему Артмузеем, было много плакатов, рисунков и репродукций. Большая часть их никогда не проходила инвентаризацию и являлась просто макулатурой. Но Тихон Ильич все это хотел занести в инвентарные книги, силами все тех же двух «научно-технических» сотрудников. Очень часто никто из них троих не знал, с чем имеет дело. Вот, к примеру, Воробьев и девушка-сотрудница музея впились в лист бумаги с фрагментом цветной репродукции: женская нога в чулке, обутая в лакированную туфлю. Внизу надпись латинскими буквами: «УФА-ФИЛЬМ». Языков оба не знают. Тихон Ильич читает девушке нотацию о том, как важен всякий экспонат и как бережно к нему следует относиться. Зовет меня: «Михайла Федорович! Помогите нам описать этот экспонат!». Смотрю и изрекаю смертный приговор «экспонату» — куску немецкого киноплаката...

С 1 июня 1934 года я был зачислен сюда на должность старшего научного сотрудника и заведующего Знамённым отделом.

В эти же дни на заводе меня неожиданно вызвали в отдел кадров. Заведующего отделом я до того не знал. В его кабинете, помимо него, находился еще какой-то мужчина. Между ними и мной произошел такой разговор:

— У вас работает Тучков?

— Да, работает.

— А вы знаете, кто он такой?

— Отлично. Я давно с ним знаком.

— Известно вам, что он бывший помещик и домовладелец?

—Мне известно, что его отец, умерший несколько лет назад, был помещиком и домовладельцем. А Тучков, работа-

ющий в бюро технического обслуживания, родился, как и я, в 1904 году. Когда произошла Октябрьская революция, ему было тринадцать лет. Думаю, что помещиком и домовладельцем он не успел сделаться!

— Да, но после Октябрьской революции он не хотел работать. Органы милиции собирались его выслать как нетрудовой элемент. Но он предъявил справку о работе у вас — и высылка не состоялась.

— Относительно намерения милиции я впервые слышу от вас. Тучков учился вместе со мной, потом он долго не имел постоянного места работы, но периодически работал временно в советских учреждениях. Я помог ему получить постоянную работу, на которой он проявляет себя очень хорошо. Здесь он нашел применение своему знанию иностранных языков.

— Но как вы сами относитесь к тому, что у вас работает человек, отец которого был помещиком, домовладельцем и царским чиновником?

— Абсолютно положительно, если он честно и хорошо исполняет свою работу. Вы отлично знаете, что в нашей стране честно работают немало «бывших людей», и я не вижу в этом ничего плохого. А кроме того, вам должно быть известно, что и мой отец, погибший во время Русско-японской войны, был офицером и имел титул барона!

— Видите ли, вы у нас работаете давно и мы знаем вас и вам доверяем. Но Тучкова мы должны будем уволить. Предлагаем вам поговорить с ним — пусть он уйдет по собственному желанию, во избежание неприятностей.

На этом мы расстались. Я рассказал Нике о разговоре в отделе кадров, но никаких советов ему не давал. Ника подтвердил, что милиция собиралась выслать его из города, и он остался в Ленинграде благодаря работе в «Краснопутилпроекте». Он не говорил мне об этом, не желая меня расстроить, но теперь, раз им так заинтересовались, он подаст заявление об уходе с завода.

Так он и сделал. Я продолжал еще работать на заводе, но все равно — через год и он, и я оказались в ссылке...

Летом 1934 года окончился срок заключения дяди Константина Михайловича. Ему не разрешили жить ни в Ленинграде, ни, как водится, в пределах стокилометровой зоны

вокруг города, и он решил поселиться в Боровичах. Проездом, боясь показываться в Ленинграде, он на несколько дней задержался в Новом Петергофе. Я поехал туда, чтобы повидать его. На мой вопрос о пребывании в лагере дядя ответил, что помнит только хорошее. В Соловках и на строительстве Беломорканала, где закончился срок его заключения, он работал врачом. При этом в Соловецком лагере он был главным врачом больницы для заключенных. Там, на его руках, умер его брат. Смертность там вообще была громадной, что даже вызвало приезд специальной комиссии. Дядя отбыл в Боровичи со своей женой, Людмилой Александровной.

В 1934 году вышло из печати второе издание книги Алексея Силыча Новикова-Прибоя «Цусима». Я, прямо с завода, приехал с этой книгой к маме, и мы до утра просидели с ней, по очереди читая книгу вслух. В этом издании — в отличие от последующих — еще не было упоминаний о моем отце, который шел в одной эскадре с Новиковым-Прибоем. Подробные письма отца с описанием похода хранились у меня; мы с мамой решили послать их автору «Цусимы», который собирал устные и письменные рассказы участников похода. Но нагрянувшие события позволили мне отослать письма не сразу и не из Ленинграда, а с места моей первой ссылки.

## *Глава 13. В кировском потоке*

Остались позади годы расправы с нэпом и «сплошной коллективизации». В стране было голодно и жутко — никто не знал, какая часть населения станет следующей жертвой сталинщины. Я не собираюсь, да и не имею возможности писать историю, исследовать причины и следствия происходивших событий, я пишу только воспоминания. Поневоле приходится рассказывать в них о политических событиях: политика в ее самых неожиданных и чудовищных проявлениях то и дело вторгалась в повседневную жизнь, хотя мне лично она всегда была чужда и, признаться, мало интересовала меня. К тому же я не имел никакого отношения ни к той прослойке людей, которая была порождена «нэпом», ни к почти полуторастомиллионному крестьянству. Я со дня рождения был горожанином. Смешно вспомнить, но живую корову я встретил в первый раз в возрасте шести лет и очень испугался, увидев огромного и вероятно опасного зверя. Никакие деревенские дела меня прямо не касались. Я не мог, конечно, не знать об «издержках» коллективизации — о сотнях тысяч умерших с голоду, о целых вымерших районах на Украине, о чудовищном развитии концлагерей в Сибири, в Казахстане, на Дальнем Востоке, о сотнях тысяч сирот, ставших беспризорниками и ворами, — в дополнение к тем то ли четырем, то ли семи миллионам «беспризорных», что оставила гражданская война, — о безнадежных восстаниях на Дону и на Кавказе. Я мог только не желать знать обо все этом, закрывать — до поры до времени — на это глаза. Но коллективизация ударила и по городам. Призрак голода в очередной раз встал и над Ленинградом. На долгие годы, притом в мирное время, была введена карточная система на продовольствие.

А следующий удар уже непосредственно коснулся меня. Это был прямой удар по Ленинграду. Сталин решил раз и

навсегда расправиться с подозрительным и беспокойным городом. Требовалось обескровить его, разогнать всех петербуржцев, многие из которых втихомолку предпочитали «довоенное», царское время. Пусть всякие старики и старухи, виновные уже в том, что мыслили «не созвучно с эпохой» (как тогда принято было выражаться), поскорее вымрут в глухих, непривычных и сугубо голодных местах.

Сталин, торопясь, каждой своей акцией стремился «убивать сразу двух зайцев». Так было и на этот раз. После семнадцатого съезда партии, о котором пропаганда трубила как о «съезде победителей», Сталину требовалось избавиться от энергичного и популярного конкурента. Им был человек, которого в партийных кругах пока еще называли «ленинградским хозяином», но который завтра мог сделаться хозяином всей страны, сменив Сталина на посту генсека.

1-го декабря 1934 года в здании Смольного, в своей партийной резиденции, был убит выстрелом из револьвера в упор Сергей Миронович Киров. Официально было объявлено, что убийство совершил член ВКП(б), участник оппозиционной группы Николаев. Темное это было дело, — настолько темное, что и по сей день многое в нем не ясно и не подлежит обсуждению. А в 1934–1935 году разговоры о том, как и почему произошло убийство, дойдя до НКВД, карались немедленным расстрелом. К счастью для себя, я не был в то время настолько любопытным, чтобы обсуждать убийство Кирова.

Между тем, в Ленинграде — на Литейном проспекте, и в Москве — на Лубянке, а также, по всей видимости, во многих других крупных городах были построены и ждали своего часа огромные здания политических следственных органов, примыкавшие к тюрьмам. Этот час наступил, сигнал к его наступлению был дан именно убийством Кирова: устранив своего основного соперника в борьбе за власть, Сталин после этого убийства распорядился о проведении генеральной чистки обеих столиц, свалив вину за преступление, как говорится, с больной головы на здоровую. Чистка коснулась не только столиц: по всей стране прокатился этот кировский поток, унося в ссылку или в заключение миллионы людей. Но население Ленинграда пострадало более всех.

Тело погибшего, до перевозки в Москву для похорон, находилось в Таврическом дворце, и массы людей шли туда,

конечно, «в организованном порядке», попрощаться с этим очень популярным человеком. Шел и Кировский завод (тогда еще «Красный Путиловец»), шел и я с заводом, шел с чувством искренней печали по убитому. Мне приходилось видеть Кирова на заводе и разговаривать с ним при показе чертежей проектов. Киров произвел на меня впечатление своей простотой в обращении и полным отсутствием «генеральства».

Вслед за убийством Кирова в Ленинграде начались массовые аресты и отправка в ссылку огромного количества ни в чем не повинных людей, заведомо не имевших никакого отношения к трагедии, которая произошла в Смольном. По городу, особенно поздним вечером и ночью, постоянно двигались черные тюремные машины, прозванные в народе «черными вбронами». Подъезжая к намеченным на эту ночь домам, «черные вброны» обычно не останавливались у подъездов, а продолжали медленно двигаться взад и вперед. Они останавливались только тогда, когда на улицу выводили арестованных — мужчин и женщин, старых и молодых, — сажали в автомашины и увозили. Арестовывали почти в каждом доме.

Меня арестовали 19 марта 1935 года. Вечером в дверь позвонили двое сотрудников НКВД, и один из них предъявил мне ордер на обыск и арест. Мы с Димой Ловенецким в это время беседовали вдвоем у меня в комнате. Обыск был довольно поверхностным. Забрали пишущую машинку и несколько документов и прочих бумаг. В их числе — мое метрическое свидетельство, лежавшее в бюваре на письменном столе, и рукопись одного из рассказов моего отца. В метрическом свидетельстве не только был указан титул отца, но и значились мои номинальные крестные — греческая королева и великий князь. Это было находкой для НКВД, хотя этим документом, удостоверявшим дату моего рождения, я всегда пользовался совершенно открыто.

Осмотрели и чемоданы, стоявшие в кладовой возле кухни. В одном из них лежала масса бумажных солдатиков, нарисованных мной и братом в детстве. Среди них нашлись и крохотные газеты, которые мы в то время для них «издавали». Взяли и эти «газеты». И в то же время обыскивающие не удосужились заглянуть в оттоманку, где было сложено

«оружие»: разобранный японский доспех самурая, фехтовальные рапиры и эспадроны и турецкий ятаган.

Я простился с Димой и попросил его поставить в известность о моем аресте маму. Затем я и сотрудники НКВД вышли на улицу. Подъехал и забрал нас «черный ворон», в котором уже сидело несколько арестованных. По дороге в тюрьму я обменялся несколькими словами и познакомился с одним из них. Это был молодой человек по фамилии Ухтомский. На мой вопрос, не родственник ли он князю Эсперу Эсперовичу Ухтомскому, поэту и журналисту, он ответил, что родственник.

Нас привезли в Нижегородскую тюрьму, около Финляндского вокзала. Раньше эта тюрьма была военной. Если ехать в поезде по Финляндской железной дороге в направлении от Ленинграда, ее мрачное высокое здание возвышается с левой стороны. В дальнейшем тюрьма как таковая была ликвидирована, и в этом здании разместилась лечебница для алкоголиков.

По прибытии в тюрьму нас не обыскивали и сразу же развели по камерам. Даже автоматические ручки не отобрали.

В вестибюле тюрьмы, перед кабинетами следователей, стояли длинные очереди подследственных. Среди них обращали на себя внимание старухи и старики, еще способные передвигаться, в старинных дореволюционных пальто и шляпах.

Меня препроводили в камеру в одном из верхних этажей. Вели по железным мосткам и лестницам вдоль бесчисленных камер. Вся середина здания представляла собой огромный сплошной пролет, затянутый металлическими сетками. Каждый шаг и каждое слово отзывались в этой пустоте громким неприятным гулом.

Осмотревшись, я понял, что нахожусь в одиночной камере. У стены была прикреплена железная откидная койка. Над ней карандашный рисунок — полуобнаженная фигура молодого мужчины. В камере находился один человек — совсем юный студент, сидевший в «одиночке», по его словам, уже давно. Рисунок над койкой, вполне технически грамотный, был сделан им.

Вскоре камера начала заполняться. Поставили еще одну кровать. И в этот же вечер нас набралось в маленькой «одиночке» шесть человек.

Я не помню имен своих товарищей по несчастью. Помню, что один из них был уже старый человек, небольшого роста, с седой, аккуратно подстриженной бородкой, до дня ареста работавший в театре и танцевавший в кордебалете. Он обладал большой подвижностью и стройностью профессионального артиста балета. Фамилия у него была немецкая. Второй был почтенной наружности священник. Борода его еще не успела поседеть, и он был довольно бодрый человек со «светскими» манерами. Третий — неопределенной наружности, малоинтеллигентный, в прошлом работавший где-то на Белом море. Четвертого я просто не помню. Впрочем, за те два или три дня, что я пробыл в Нижегородской тюрьме, состав камеры менялся неоднократно.

На следующий день после прибытия меня вызвали к следователю. В кабинете, куда я попал, сидели два или три следователя и одновременно допрашивали столько же арестованных. Следователь, допрашивавший меня, был уже немолодой человек, выглядевший довольно безобидно. Допрос заключался в составлении протокола, куда заносились на первых порах чисто биографические данные. Только после составления этой анкеты следователь спросил меня примерно так: «Вы, конечно, знаете, что Советский Союз является маяком для народов мира? А если так, то что вы скажете вот на это?» — и он протянул мне... игрушечный «приказ», найденный при обыске в коробке с моими детскими солдатиками.

Ах, это... Когда-то, еще в Саранске, я играл с нарисованными мною же солдатиками. В игре участвовали и наши (вырезанные из бумаги и раскрашенные акварельными красками) советские люди, по ходу игры «распространявшие революционные идеи». Действие происходило будто бы в Индии. Естественно, что вице-король Индии и его английское окружение, также все сделанные из бумаги, «боролись» в ходе игры не только с такими идеями, но и с их бумажными распространителями. Моим вице-королем, то есть, конечно, мною, был издан малюсенький по размерам, написанный — ввиду скудости наших саранских средств — карандашом, разумеется по-русски, приказ. На нем красовалась подпись бумажного вице-короля, фамилия которого была также придумана, но так, чтобы звучала «по-английски». «Приказ»

предписывал бумажной полиции поймать и арестовать бумажных советских агитаторов. В нем упоминались выдуманные имена английских полицейских чинов, которым он, согласно игре, был адресован.

И вот этот игрушечный приказ протягивал мне следователь — настоящий, а не бумажный, в настоящей советской тюрьме.

Я объяснил, в чем дело. Но следователь не верил мне. «А что вы скажете, если фамилии, указанные в приказе, окажутся не вымышленными, а настоящими?» — с угрозой произнес он. Я мог только пожать плечами. Больше к следователю меня не вызывали.

В камере жизнь продолжалась по-старому. От ее быстро меняющихся обитателей я узнавал, что творится в Ленинграде и в других крупных городах нашей страны. Шли массовые аресты. Причем арестованных в тюрьмах долго не держали: арест обычно длился от трех часов (!) до трех дней. Затем арестованные освобождались, и им предлагалось явиться через один-два дня в управление НКВД. Там очень немногим из них предлагали получить обратно паспорта, изъятые при аресте, и оставляли в городе. Большинство же высылали, давая на сборы три-пять дней. По истечении этого времени квартиры и комнаты опечатывались. Высылаемые ехали на место ссылки без конвоя; билеты выдавались «органами НКВД». Тут я впервые узнал термины «минус два», «минус шесть» и т.д. Некоторым разрешали ехать куда угодно, кроме Москвы и Ленинграда, — это называлось «минус два»; «минус шесть» означало «кроме шести крупных городов», и так далее. Основная же масса высылаемых получала направление в строго определенные, обычно глухие, городки, села и деревни, часто находящиеся в Сибири, Казахстане и в других отдаленных местах.

Счастливая особенность нашего народа: арестованные, в большинстве своем, казалось, не унывали. По крайней мере в нашей камере люди держались бодро. Нескончаемым потоком лились рассказы, беседы, анекдоты. Обычно вечером начинался «анекдотный репертуар». Наш «светский батя» перед отходом ко сну просил сокамерников помолчать и дать ему возможность «свершить молитву». Остальные если не замолкали полностью, то, во всяком случае, стихали. И вот

однажды, «свершив молитву», почтенный священник не удержался и рассказал такой скабрезный анекдот, что, как говорится, стены покраснели от стыда.

Батюшку увели. Вместо него впустили нового арестованного. Когда звучно закрылась дверь, перед нами стоял тоже священник. Высокий, плотный старик с окладистой бородой, лицом похожий на Льва Толстого в старости. На его ногах были деревенские смазные сапоги. Я решил, что его привезли из какой-то деревни. Но я ошибся. При ближайшем знакомстве он оказался очень образованным человеком, окончившим Духовную академию и служившим в Ленинграде, в Никольском соборе. Утонченно образованный, несмотря на простецкую внешность, семинарское произношение на «о», он завоевывал симпатию какой-то детски наивной простотой и чистотой.

Помню, я разговорился с «беломорцем» об Архангельске, Мурманске, о рыбаках-поморах. В разговоре мы коснулись белухи. Мой собеседник рассказал о том, что это крупное морское животное помогает рыбакам ловить рыбу. Когда белуха заходит в фиорды, то рыба, которой она питается, в панике целыми косяками устремляется от нее. Рыбаки выходят в море, и улов ошалевшей от страха рыбы получается очень хорошим. Мне никогда не приходилось видеть белуху, но я слышал о ней и раньше. А на священника этот рассказ произвел почему-то сильное впечатление. Он все расспрашивал: «Белуха! А ну-ка, расскажи еще о ней. А ка́ка-така́ она с виду? Ах, ну и белуха!»

Вечером, перед отбоем, когда все укладывались спать, каждый арестованный обычно говорил о том, что бы он хотел увидеть во сне. Большинство хотели увидеть своих близких, оставшихся на свободе и, конечно, волнующихся за мужей, отцов и сыновей, арестованных «органами». А священник, укладываясь на койку, которую я ему уступил, с глубоким вздохом сказал: «А я бы во сне хотел белуху увидеть».

Как я заметил, он почему-то относился ко мне с особенной симпатией. У меня также успело сложиться к нему хорошее отношение. Но, поскольку у нас с ним возникали частые споры по вопросам религии, под конец моего пребывания в камере я почувствовал с его стороны заметную отчужденность. Это было мне очень неприятно, — тем более, что я

уяснил себе причины нашего разногласия. Они объяснялись главным образом разницей в нашем возрасте.

Но вот явился дежурный и велел мне собираться «с вещами». Мои товарищи по камере не сомневались в том, что меня освобождают, чтобы затем выслать из Ленинграда. Мне надавали крохотных записочек с адресами, чтобы я мог рассказать о состоянии арестованных их родным.

Уходя из камеры и прощаясь с остающимися, я больше всего сожалел, что расстаюсь со священником, детски чистым человеком. Мне хотелось, чтобы мы расстались друзьями. Я подошел к нему и сказал: «Батюшка, благословите меня». И тут я увидел на его лице искреннюю радость. Старик прошептал слова благословения, и я приложился к его руке. На душе стало как-то светлее после примирения с этим хорошим стариком.

Но оказалось, что и мои товарищи по камере, и я ошиблись. Меня вывели во двор тюрьмы, где ждал «черный ворон», посадили с несколькими другими арестованными в эту машину и отвезли на Шпалерную (ул. Воинова), в следственную тюрьму. В ней я прошел уже полную процедуру приема: общую канцелярию для заполнения анкеты, крохотную комнатку без окон, в которой можно было только сидеть, но невозможно было лечь, затем распределительную камеру, наполненную заключенными, баню, — и, наконец, меня отвели в большую «общую камеру». В ходе этой процедуры у меня отобрали все, что посчитали лишним для заключенного, вплоть до шнурков из ботинок.

В «общей камере» нельзя было пожаловаться на недостаток жильцов. Заключенные в ней принадлежали к самым различным слоям общества и самым различным профессиям. Были там рабочие и служащие, были и представители духовенства, бывшие царские офицеры, бывшие дворяне, студенты. Среди заключенных находился князь Гедройц, с которым я потом встретился в ссылке. Был там и какой-то бывший унтер, который не скрывал своей радости от того, что ему посчастливилось повстречаться и познакомиться с бывшими царскими офицерами. Духовенство было представлено священником и дьяконом, неподвижно сидевшими и молчавшими и только изредка перекидывавшимися несколькими фразами: «Отец диакон, потрапезуем?» — «Потрапезуем...»

Прочие же заключенные не только не молчали, но даже изредка проводили беседы и устраивали лекции, — разумеется, на нейтральные темы.

Я пробыл здесь несколько дней. Меня два или три раза вежливо допрашивал молодой следователь. Только один раз он задал мне коварный вопрос, который не мог меня не взволновать: «Вам не пришлось встретиться здесь с вашей матерью?» Я старался переносить свой арест просто как очередную житейскую неприятность, и ни минуты не падал духом. Но арест мамы меня бы очень расстроил. Правда, я выразил — очень наивно — сомнение в том, что такая встреча в тюрьме могла бы произойти... На мою просьбу уточнить, что он имеет в виду, следователь ответил, что ничего точно не знает и спрашивает «просто так».

Когда меня в третий раз вызвали на допрос, следователь встретил меня у дверей своего кабинета, находившегося в «Старом Шанхае». Так прозвали заключенные кабинеты следователей, помещавшиеся в старом здании тюрьмы, в отличие от «Нового Шанхая» — кабинетов, расположенных в примыкающем к тюрьме новом здании Управления НКВД. Коридором мы прошли в новое здание и поднялись на лифте. Следователь предложил мне подождать его около двери какого-то кабинета, зашел туда и, выйдя через несколько минут, позвал меня. Мы оказались в маленьком кабинете, выходившем окном на Литейный проспект (в то время проспект Володарского). За столом сидел плотный еврей средних лет. Он указал мне на стул, внимательно посмотрел на меня, потом достал рукопись моего отца, изъятую при обыске, и предложил пояснить, что это такое.

Это была рукопись рассказа отца «Часовой», напечатанного в сборнике «Наши матросы». Цензура долго не пропускала рассказ, и только по ходатайству греческой королевы Ольги Константиновны он появился в этом сборнике, вышедшем в Петербурге в 1904 году.

Я рассказал об этом. Больше вопросов мне не задавали. На следующий день меня вызвали в канцелярию тюрьмы и объявили, что я освобожден и смогу получить обратно свой паспорт.

Итак, я вышел из тюрьмы. Сначала я хотел поехать к маме. Но потом решил сначала заехать домой и привести себя

в порядок. Ведь если мама и была арестована, то сейчас я был бессилен ей помочь. С другой стороны, я имел «тюремный» вид, был небрит и в помятой одежде. Сел в трамвай. Пассажиры смотрели на меня с сочувствием, смешанным со страхом. Все знали о происходящих массовых арестах, и вид человека, явно только что вышедшего из тюрьмы, не мог не привлекать внимания.

По приезде домой, я был встречен Людмилой Александровной Фаворской, обрадованной моим возвращением и сразу начавшей расспросы. Я рассказал ей только о боязни за маму и, пообещав удовлетворить ее любопытство потом, побрился, умылся, переоделся и поспешил к маме.

Приехав на Преображенскую улицу и поднимаясь по лестнице, я встретил управдома и узнал от него, что маму арестовали накануне. Не дойдя до квартиры, я поехал домой.

Дима Ловенецкий уже вернулся с работы. Посоветовавшись, мы решили тотчас вдвоем поехать по тюрьмам и постараться разыскать маму. Захватив с собой продуктовую передачу, прибыли к тюрьме, из которой я только что вышел. Здесь мне сказали, что Жозефины Иосифовны Косинской у них нет. Тогда мы обратились в Нижегородскую тюрьму. Мама оказалась там, но передачу от нас не приняли. Была суббота, а передачу можно было сдать только в понедельник. Мы возвратились домой.

Дима и Фаворские рассказали мне то же, о чем я узнал еще в тюрьме. Арестованы многие наши знакомые, остальные дрожат и ждут ареста. В городе паника. Многие уже отправились в ссылку. На сборы дают пять дней, не более, а затем опечатывают жилье. За пять дней ликвидировать имущество невозможно. На улицах развешана масса объявлений о продаже самых различных вещей, но при такой общей панике на них трудно найти покупателей. Цены, конечно, сильно упали. Громоздкие вещи, как, например, рояли отдают почти, а то и совсем даром. Ведь высылают целыми семьями, со стариками и маленькими детьми.

Итак, люди расстаются со всем своим имуществом, после чего едут в глухое место, где едва ли найдут заработок, чтобы прокормить семью. И это происходит — по повелению властей — в стране, являющейся «маяком для народов мира»!

На следующее утро мама, выпущенная из тюрьмы, приехала прямо ко мне. Ей было предложено, как и мне, явиться в тюремную канцелярию через два дня. Но если мне было сказано, что я оставлен в Ленинграде, что паспорт вернут, то маму ожидала зловещая неизвестность.

Выйдя на работу в Историко-бытовой музей, я был радушно встречен Тихоном Ильичом Воробьевым. Мы с ним решили, что я уйду с завода и полностью посвящу себя работе в музее. На заводе, поговорив с непосредственным начальством, я прошел в отдел кадров. Там сначала категорически возражали против моего ухода, но когда я рассказал о моем аресте, мгновенно согласились. 26 марта 1935 года я был «уволен по собственному желанию, в связи с переходом на научную работу». С завода я направился в канцелярию особоуполномоченного НКВД и подал заявление о возврате мне паспорта.

Посетив нескольких знакомых, я узнал, что некоторые уже высланы, некоторые уезжают в ссылку, некоторые ждут ареста. В числе убывших были и Тучковы: Нику сослали в Иргиз, в Казахстан, а Павла с женой и четырехлетней дочерью — в Уфу.

Должен признаться, что, посещая некоторых знакомых, я чувствовал себя неловко. Почему их высылают, а меня оставили в Ленинграде? Но эта неловкость длилась недолго.

Мама и я явились на Шпалерную. Большая комната была заставлена столами, за которыми сидели сотрудники НКВД. К ним тянулись длинные очереди мужчин и женщин разного возраста. Нашли и мы стол с нашей буквой (т.е. той буквой алфавита, с которой начиналась фамилия). Сотрудник, сидевший за ним, порылся в списках и подтвердил, что я оставлен в Ленинграде, а мама получила «минус шесть». Я пробовал возражать, но чиновник сказал, что от него ничего не зависит и списки составлял не он. Он указал мне на комнату рядом, где находилось начальство.

Пройдя в эту комнату, я увидел большую группу начальственных чинов, настроенных весьма агрессивно. Тут же находилось и несколько просителей. Все они уходили ни с чем. Начальство было неумолимо. Все мои доводы в пользу мамы и насчет нелепости создавшегося положения не имели никакого успеха. Сначала я старался говорить мягко, обращая

внимание на явную нелогичность ситуации, потом, выйдя из себя, на резкий отказ ответил также резкостью. Ничего не добившись, вернулся к маме. Она мудро решила, что «сила ломит и соломушку» и, погадав на пальцах, назвала сотруднику НКВД выбранное ею место ссылки — Пензу. Назвала она этот город только потому, что когда-то мы прожили два года в Пензенской губернии, в Саранске.

Остававшиеся до отъезда пять дней прошли в сборах. У нас ничего не было ценного, и сборы были несложными. Кое-как ликвидировав обстановку маминой комнаты, я и несколько друзей проводили ее на поезд.

Кажется, на другой же день после отъезда мамы я, вернувшись из музея, был встречен перепуганной Людмилой Александровной Фаворской. Она дрожащей рукой протянула мне бумажку и рассказала, что днем приезжали несколько человек в форме НКВД и спрашивали меня. По ее словам, они были разгневаны и велели ей по моем возвращении сразу же передать мне повестку. Эта повестка содержала требование «немедленно» явиться на Шпалерную. Мало того, что слово «немедленно» было напечатано в повестке, — оно еще было крупно написано красным карандашом поперек листка и подчеркнуто.

Не ожидая ничего хорошего от этого вызова, я нисколько не взволновался. Все мы уже начали осваиваться в отношениях с карающими органами. Решил, что явлюсь не сегодня, а завтра.

На другой день я поехал вместе с Димой Ловенецким. На всякий случай мы с ним условились, что он будет меня ждать на улице, и если я не выйду — значит меня арестовали. Но я вышел.

Мне объявили, что меня высылают в Атбасар на пять лет и что через 5 дней я уже должен сидеть в поезде. Вернувшись домой, я разыскал в энциклопедии этот Атбасар, о котором сегодня услышал впервые. Оказалось, что это бывшая уездная станица в Казахстане. Когда-то в ней происходили две ярмарки в год, на которые привозили товары из ряда губерний, Туркестана и Бухары. На этих ярмарках торговали и скотом. Населения в станице насчитывалось около четырех тысяч. Атбасар стоит далеко от железной дороги... (Как выяснилось уже на месте, после революции он обезлюдел и половина его

саманных домов развалилась). Чтобы попасть в него, нужно ехать по железной дороге до Кокчетава и оттуда добираться, в лучшем случае, на автомашине, по бескрайней степи...

Перспектива и в отношении дороги, и в отношении места ссылки была, таким образом, унылой. Но меня, собственно, уже ничего не могло испугать. К тому же я был молод, здоров и полон сил. А от ближайшего будущего здесь, в Ленинграде, нельзя было ждать ничего хорошего.

В числе моих знакомых был Владимир Паулинович Гартман, брат Александры Паулиновны Гартман-Вейнберг, — уже пожилой, болезненный человек. Я познакомился с ним через его сестру и несколько раз навещал его в Лесном, где он жил. Гартман был очень образованным человеком, а его квартира походила на маленький музей. Среди картин, украшавших стены его квартиры, мне особенно запомнился портрет великой княжны Марии Николаевны, дочери Николая I, написанный академиком Неффом. Эта, как говорят, страшная женщина изображена сидящей на камне, на фоне летнего пейзажа. Лицо ее написано очень выразительно, с устремленным на зрителя взглядом холодных русалочьих глаз. Будто бы Николай I, сам обладавший взглядом, которого не мог вынести ни один обыкновенный смертный, говорил про глаза своей дочери, что ее взгляда не выдерживает он сам.

Помимо картин и гравюр, Владимир Паулинович владел превосходной библиотекой, особенно известной среди знатоков собранием книг по россике. Он был прекрасным человеком, чутким и отзывчивым.

Юрист по образованию, он долгое время заведовал ленинградским отделением Общества Красного Креста, во главе которого стояла первая жена Максима Горького, Екатерина Павловна Пешкова. Владимир Паулинович давно уже прекратил свою деятельность в Обществе, прекратил сознательно, так как продолжение ее было не только бесполезным, но и грозило репрессиями. Так ленинградское отделение перестало существовать. В те годы, чтобы ничто не препятствовало беззакониям и не мешало их скрытности, Сталиным были закрыты все консульства иностранных государств, кроме находившихся в Москве, и все отделения каких бы то ни было международных обществ на территории СССР. Общество Красного Креста продолжало функционировать, чисто номи-

нально, только в Москве. Но, несмотря на опасность репрессий, Гартман сам приехал ко мне в связи с несчастьем, обрушившимся на маму, и посоветовал написать заявление на имя Е.П. Пешковой, с которой он продолжал сохранять хорошие отношения. Он наивно надеялся, что, может быть, Общество Красного Креста сможет чем-нибудь помочь, и, намереваясь поехать по каким-то своим делам в Москву, обещал лично передать мое заявление Екатерине Павловне.

О судьбе заявления еще будет речь, но, забегая вперед, нельзя не сказать о судьбе самого Гартмана. Находясь в сороковых годах в концлагере, я познакомился там с одним букинистом, также, разумеется, заключенным, который рассказал мне об аресте и гибели Гартмана. Владимир Паулинович работал экспертом в антикварно-букинистической торговле. Однажды, в середине 30-х годов, к нему в Лесной приехал какой-то гражданин и просил его съездить с ним в «Лавку писателей» (магазин старой книги). По словам этого гражданина, магазин приобрел какую-то редкую книгу, очень нужную этому лицу, но не мог ее ему продать, так как для оценки требовалась экспертиза Гартмана. Владимир Паулинович был болен, но посетитель не мог ждать его выздоровления, так как в этот же день должен был уехать из Ленинграда. Он приехал на такси и обещал доставить Гартмана домой, как только будет произведена экспертиза. Отзывчивый Владимир Паулинович согласился. «Покупатель» отвез его... в тюрьму. Там Гартман и погиб. Кажется непонятным, зачем всесильным «органам» требовались такие мистификации. Однако о подобных случаях приходилось слышать неоднократно и в 30-х, и в 40-х, и в 50-х годах. В этом было что-то от игры кошки с мышью.

Ликвидацией своего имущества я почти не занимался. Вещи, бывшие в моей комнате, я разместил в квартире Фаворских и у Димы Ловенецкого. Самым ценным для меня было несколько картин русских художников и три портрета, написанных моим прапрадедом, а также приличная библиотека. Библиотеку пришлось распродать из-за недостатка места для ее хранения. Я расклеил по городу объявления и просил Людмилу Александровну Фаворскую помочь мне в ее ликвидации. Покупатели все же нашлись. Люди заходили, отбирали книги и платили деньги Людмиле Александровне — кто сколько считал нужным...

Часть книг и такие вещи, как японский доспех и прочие предметы старинного вооружения, приобрели Артиллерийский и Историко-бытовой музеи. В общем у меня набралась порядочная сумма денег, которой должно было хватить на первые месяцы жизни в ссылке.

Дима Ловенецкий сказал мне, что в Атбасар высылают также одного его знакомого вместе с женой. Этот его знакомый, бывший полковник, работавший теперь в Филармонии, Георгий Михайлович Богачев, по словам Димы, был хорошим человеком. Дима считал, что было бы очень удачно, если бы я встретился с ним в Атбасаре.

Перед отъездом мы с Димой зашли в ресторан «Москва», пообедали, выпили. Дима проводил меня на вокзал, мы простились и поезд тронулся. Это был обыкновенный пассажирский поезд, но билет на него мне выдали в НКВД. Вагоны были полны высылаемыми. На вокзале было много провожающих; не обошлось без слез и истерик.

Миновали пригороды. Пассажиры разместились. Среди них я увидел старого мужчину с перевязанными запястьями рук. Этого человека, бывшего морского офицера, я встречал у моего дяди Алексея Михайловича. Фамилия его была Полянский. Одинокий, старый и больной, живший на маленькую пенсию, он заходил порой к дяде перехватить несколько рублей, которые он называл «спасительным буйком» и которые позволяли не умереть с голоду ему и жившему у него старому попугаю с обгорелым клювом. Мне рассказывали еще перед отъездом из Ленинграда, что после ареста беспомощный старик пытался покончить с собой и перерезал вены на руках. Но его спасли и выслали. Теперь он ехал в одном поезде со мной, с забинтованными руками и без своего друга попугая.

В вагоне, под стук колес, я размышлял о судьбе нашей семьи за последние десять-пятнадцать лет. Мой дядя Константин Михайлович, брат отца, неоднократно сидел в тюрьме, а после того, как пробыл пять лет в лагерях, был сослан; дядя Михаил Михайлович сослан в том же 1935 году в Самару (Куйбышев), вместе с сестрой Наталией Михайловной; дядя Алексей Михайлович, арестованный в 1929 году, умер в Соловецких лагерях; та же судьба, вероятно, постигла бы и моего отца, если бы он не был давно уже недосягаем для властей земных, — последние, тем не менее, удалили его портрет из

экспозиции Военно-морского музея — так велика была неприязнь к офицеру императорского флота, отдавшему жизнь за родину; двоюродные братья Георгий и Роман подвергались аресту; моя мать и я сосланы; мой старший брат, сражавшийся в рядах Красной армии, был заключен в лагерь, после чего эмигрировал из России. Кто же и что же является причиной стольких бедствий, обрушившихся на нашу семью, — бедствий, которым не видно конца? Баронский титул, полученный более столетия назад и не принесший никаких материальных благ? Тогда я думал, что в нем главная причина... Но даже если оставить в стороне вопрос о том, в чем же наша собственная вина, — ясно, что я глубоко заблуждался.

## *Глава 14. Зеренда*

Я впервые оказался в Сибири. В Петропавловске предстояла пересадка на поезд, идущий в Кокчетав. И вот, наконец, я вышел на станции в Кокчетаве, окруженной мрачноватыми железнодорожными постройками и отделенной от города морем непролазной грязи. Над низкими, большей частью деревянными домами возвышалась голая сопка.

До города я добрался на попутной телеге. Улицы города, расположенного на берегу неприглядного грязного озера Копа, обратились в это время года в грязнущие протоки, и некоторые из них приходилось просто объезжать, выбирая путь, покрытый менее глубокими лужами. Кокчетав произвел на меня угнетающее впечатление. Более жалкого города мне еще не приходилось видеть. Правда, было начало апреля — самый разгар весенней распутицы.

Возница подвез меня к длинному деревянному одноэтажному дому — «Дому колхозника». Гостиница эта была переполнена отнюдь не «колхозниками», а ссыльными. Все же мне удалось получить койку. Здесь я узнал, что не только «Дом колхозника», но и весь город набит ссыльными, ждущими отправки дальше. Весенняя хлябь сделала все дороги непроезжими. Здешнее управление НКВД распределяет ссыльных по станицам, селам и деревням, но уже не направляет их в Атбасар. Атбасар давно переполнен и жить там негде. У дома, в котором помещается НКВД, — тóлпы народа, ждущего распределения и узнаю́щего о нем: целые семьи, со стариками и маленькими детьми.

Мое пребывание в Кокчетаве продолжалось несколько дней. К концу его, здесь, в толпе у дома НКВД, я увидел пожилого мужчину с умным, интеллигентным лицом и с ним женщину. Я подумал: «А вдруг это Богачёвы?». Подошел

и спросил. Оказалось, это были как раз они; разговорились, и у нас сразу же установились дружеские отношения.

Георгий Михайлович рассказал мне, что уже начинают отправлять ссыльных, но, так как машины еще не рискуют пробираться по грязи дорог (водители опасаются завязнуть), НКВД предлагает пускаться в путь на волах. Некоторые уже уехали, но Богачёвы отказались воспользоваться этим видом транспорта. Им ответили, что в таком случае придется ждать. Люди, не обладающие достаточной энергией, чтобы категорически отказаться, едут на волах; среди таких отправили древнюю даму, везущую с собой попугая и сопровождаемую «девушкой Машей», такой же дряхлой, как и эта дама, но не захотевшей покинуть в беде свою барыню.

Я вернулся в «Дом колхозника» и только хотел прилечь отдохнуть, как прибежал Георгий Михайлович. «Михаил Федорович, едем! Есть попутная машина. Мы за вами заедем, но вам нужно бегом бежать в НКВД и получить направление. Я уже там договорился. Нас направляют в станицу Зеренду, в 60 километрах отсюда!». Поблагодарив Богачёва, я бросился в НКВД. Там выписали мне соответствующую бумажку, и я, опять-таки бегом, вернулся.

К «Дому колхозника» подошел грузовик-полуторатонка, и мы поехали, без всякого сожаления расставшись с Кокчетавом. В машине, кроме шофера, сидели Богачёвы и еще один человек, также ссыльный — Василий Яковлевич Лютц, из Ленинграда. Еще не старый, стройный мужчина с черными бровями и проседью в волосах. Его можно бы было назвать красивым, если бы что-то неприятное не сквозило в чертах его лица. Он тоже получил направление в Зеренду.

Выехали мы уже во второй половине дня. Под хмурым, затянутым тучами небом по сторонам грунтовой дороги, обратившейся в болото, тянулась беспредельная голая степь, которую местами еще покрывал снег. Ни человеческого жилья, ни хотя бы дерева. Начало смеркаться, и в вечерней полутьме край, по которому мы проезжали, казался мрачной пустыней.

Георгий Михайлович и я смотрели на этот пейзаж, среди которого нам предстояло жить, внешне спокойно и даже перебрасывались шутками. Старались подбодрить Марию Петровну, находившуюся в истерическом настроении. Она

плакала и все время повторяла, что нас отправили сюда «на съедение киргизам». Лютц мрачно молчал.

Уже совсем стемнело, когда по сторонам дороги начали мелькать еле различимые постройки. Шофер остановил грузовик около какого-то деревянного дома и вышел из кабины. «Ну, я приехал. Куда вас отвезти?»

Откуда нам было это знать? Ночь, незнакомое селение. Мы сказали это ему. Он ответил: «Я приехал домой. Поговорите с матерью — может, пустит переночевать, а завтра разберетесь». Из дома вышла женщина. Узнав, что мы ссыльные, она сочувственно вздохнула и согласилась пустить нас переночевать. Селение, в котором мы находились, и было той станицей Зерендой, в которой каждому из нас было назначено прожить пять лет.

Мы вошли в дом, занесли наши вещи. В кухне, как водится, русская печь, лавки. Тут же на соломе ворочается только что родившийся теленок. Горит электрическая лампочка. Комната, в которую ввела нас хозяйка, большая, со сравнительно высоким потолком, опрятная. На крашеном дощатом полу — половики. В углу иконы. Сама хозяйка — немолодая, но все еще красивая и стройная казачка. Разговорившись с ней, мы узнали, что Зеренда — бывшая станица Сибирского казачьего войска, 1-го полка имени Ермака Тимофеевича, штаб которого когда-то располагался в Акмолинске. Что станица жила богато, но после того, как казаки подняли восстание против советской власти, жестоко подавленное, положение коренного населения станицы резко ухудшилось. Большая часть взрослых казаков, будто бы, была утоплена в озере, на котором стоит Зеренда. Остались «бабы да малые дети». Скотину забрали в колхоз, часть оставшихся после восстания людей тоже стала колхозниками. Теперь в Зеренде районный центр, районные учреждения, МТС (машинно-тракторная станция). Понаехало много приезжих, много казахов. Земля здесь плодородная, но еще в мае часты морозы по ночам, и озимый хлеб замерзает на корню, — потом все-таки его собирают, но испорченный — «сладкий». Как раз через Зеренду проходит граница между степями и лесами. Рядом со станицей — покрытые лесом сопки.

Хозяйка рассказала и о себе и своей семье. Муж ее погиб во время восстания. У нее несколько сыновей и дочерей. Один

из сыновей работает в Кокчетаве шофером — он-то и привез нас сюда. Хозяйка пообещала найти нам постоянное жилье, пожелала спокойной ночи, и мы улеглись спать в горнице: мужчины на полу, а Мария Петровна на захваченной мной из Ленинграда раскладушке.

Мы проснулись в залитой солнечным светом комнате. Голубое чистое небо и яркое солнце, прозрачный деревенский воздух, мычание коров, крик петухов — все это заставило резво встать и выйти на улицу. Станица тянулась перед нами ровными рядами добротных домов, с базами и палисадниками. Перед ней лежало довольно большое круглое озеро, окруженное сопками.

Хозяйка обрадовала нас известием, что одна квартира уже есть и мы можем туда вселиться. Захватив вещи, мы сразу же перешли к новым хозяевам. Это были очень славные ребята — сироты Таня и Ваня, родственники Спиглазовой, у которой мы провели первую ночь в Зеренде. Они жили вдвоем, в добротном и чистом доме-пятистеннике. Познакомившись с ними и позавтракав, мы решили тут же прогуляться к лесу, окаймлявшему станицу со стороны, противоположной той, откуда мы приехали. Крайние дома стояли уже в лесу.

Посередине станицы, на холме, красовалась еще совсем новая церковь. Улицы были проложены, видимо, по плану и пересекались под прямым углом. Почти все дома, и среди них несколько двухэтажных, были деревянными, солидной постройки. Но мы сразу же обратили внимание на отсутствие табличек с названиями улиц и номеров на домах. Выяснилось, что их, действительно, совсем не было. В письмах, приходивших сюда, на конверте указывались фамилия и имя адресата — и только, что, конечно, было очень неудобно и для почты, и для получателей писем, особенно если принять во внимание, что бóльшая часть коренного населения станицы носила фамилии Спиглазовых и Светличных.

Лютца с нами не было, он куда-то ушел один. Было так тепло, что мы с Георгием Михайловичем сняли пиджаки и рубашки. В черте станицы и в лесу почва была совершенно сухой — это объяснялось тем, что она была песчаной и быстро впитывала влагу. Лес, состоявший в основном из сосны, оказался вблизи величественным и чистым, как парк.

Вернувшись домой, мы обнаружили, что не только загорели, но с непривычки даже обгорели на солнце. При других условиях, говорили мы друг другу, Зеренда была бы прекрасным местом для летнего отдыха. Правда, Мария Петровна, хотя и значительно повеселевшая, все же не разделяла нашего мнения. На обратном пути мы зашли в магазин, почти пустой, и купили кое-какие продукты. Мария Петровна с помощью Тани принялась готовить обед, а я и Георгий Михайлович решили разыскать «начальство» и представиться ему.

Уполномоченного НКВД мы нашли в маленьком домике, расположенном около базарной площади, недалеко от церкви. Это был низкорослый плюгавый субъект в сержантском звании. Он сказал, что мы должны являться для отметки в определенный день, назначенный для явки всех здешних ссыльных, и что отлучаться из Зеренды без его разрешения воспрещается, но работу в Зеренде мы можем искать по нашему усмотрению. Его канцелярия состояла из двух комнат; в проходной комнате стоял стол секретаря, и над ним висела полка с «делами» ссыльных, а следующая комната представляла собой кабинет уполномоченного.

На обратном пути Георгий Михайлович поделился со мной своими соображениями на ближайшее будущее. Он решил предложить председателю Зерендинского райисполкома свои услуги с тем, чтобы дать названия всем улицам, написать и приколотить эти названия и номера домов. Будучи в Кокчетаве, он видел кучу ржавого железа, по-видимому снятого с домов при замене крыши. Он перевезет это железо в Зеренду, нарежет на куски и на них напишет названия и номера. За эту работу он рассчитывал получить порядочную сумму денег, — конечно, если председатель райисполкома согласится и найдет деньги на оплату такого мероприятия.

После обеда мы провели вечер в дружеской беседе. Было решено, что до нахождения себе жилья я буду «гостить» у Богачёвых. Мария Петровна принимала на себя заботу о моем питании.

Наступило время ложиться спать. Богачёвы достали у хозяев кровать, я лег на своей раскладушке. Устал я за день порядочно. Новые впечатления, прогулка по лесу, молодость и здоровье обещали крепкий сон. Но не тут-то было! Я не мог

заснуть всю ночь. Милые, по-настоящему хорошие люди Богачёвы спали беспробудно, но издавали такой убийственный храп, что казалось: они изнемогают в борьбе с душащими их злодеями. До утра я проворочался в постели под хрип, свист, стенанья моих новых друзей.

На следующий день Спиглазова пришла к Богачёвым и сказала, что нашла комнату для меня и Лютца, на одной улице с домом Тани и Вани, но на другом ее конце, ближе к лесу. Пятистенник, в котором сдавали горницу, принадлежал дочери Спиглазовой, Анне Павловне, и ее мужу Ивану Дубовому. Горница оказалась поместительной, но дом был старый и весьма запущенный. Семья состояла из Ивана, долговязого парня, неграмотного и работавшего где-то ночным сторожем, его жены, маленькой хрупкой женщины, и двухлетнего сынишки. Хозяева сказали мне, что у них в маленьком чулане живут еще две сестры — учащиеся сельскохозяйственного техникума, находящегося в Зеренде, но они в ближайшее время уезжают. Впоследствии выяснилось, что наши хозяева, как и все здешние казаки, сочувственно относившиеся к ссыльным, тем не менее пользовались случаем и назначали нам цены за квартиру чуть ли не в десять раз больше, чем это было принято до нашего «наплыва» в Зеренду. Девушки-сестры до моего прихода к Дубовым жили в горнице и платили 5 рублей в месяц, а с меня и Лютца хозяева запросили сорок рублей.

Явился и Лютц. Я расставил раскладушку, а Лютцу хозяева дали кровать.

Однако, прожив вдвоем несколько дней, мы разъехались. Инициатором этого был я. Выяснилось, что в Ленинграде Лютц был знаком с моим товарищем по курсам, очень милой женщиной из исключительно культурной семьи, бывшей замужем за историком и писателем, сочинения которого знала вся Россия. Но подобные знакомства, к сожалению, не сделали моего товарища по несчастью интеллигентным человеком. Как-то я попытался завести беседу об искусстве — Лютц поразил меня своей самоуверенной безграмотностью во всех вопросах, которые мы в тот раз затронули. В другой раз заговорили о балете. Лютц мрачно сказал, что «балета он терпеть не может». Тотчас я спросил его, какие же балеты ему так не понравились. Он ответил, что видел очень немного балетных спектаклей. Но все же?.. Лютц подумал и ответил: «Гибель

богов». Между тем, сам он считал себя человеком культурным, к тому же немцем, и что за вещь «Гибель богов», ему следовало бы знать. Но главное, из-за чего нам пришлось разъехаться, было впереди. С некультурностью, даже тупостью еще можно было примириться, хотя бы с целью сэкономить 20 рублей — половину месячной стоимости жилья.

По ночам Лютц не храпел, но он бредил, громко и отчетливо. И вот однажды ночью меня разбудили с яростной злобой произнесенные слова: «Жиды и коммунисты, выходи!» Лютц во сне расстреливал. Я вспомнил, как он рассказал мне как-то о своей службе в Белой армии, но о своих обязанностях там он, понятно, остерегся упоминать.

Палачей и палачество я презирал от всей души, независимо от их «партийной принадлежности». Наутро мы крупно поговорили и разошлись. С тех пор, как мне передавали, Лютц иначе не величал меня за глаза, как «красный барон».*

В ближайший день явки у конторы уполномоченного НКВД собралась очередь, состоявшая из ссыльных. Я не помню всех, высланных в Зеренду, да со многими и не был знаком. В газетах появилась заметка, гласящая, что из Москвы, Ленинграда и других крупных городов выслано за нарушение правил прописки (?!) столько-то князей, графов и баронов, столько-то крупных капиталистов, жандармов и т.п. Прежде чем продолжать рассказ о моей ссылке, хочу привести некоторые из тогдашних материалов газеты «Ленинградская Правда», с официальной трактовкой причин массовых арестов, высылок и преследований.

На следующий день после моего ареста, т.е. 20 марта 1935 года, в «Ленинградской Правде» появилось такое официальное сообщение:

> В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
>
> За последние дни в Ленинграде арестована и высылается в восточные области СССР за нарушение правил проживания и закона о паспортной системе группа граждан из быв. аристократии, царских сановников,

* Это выражение изобретено не Лютцем: в Первую мировую войну так именовали немецкого аса, барона Рихтгофена, самолет которого был красного цвета. Лютц только переосмыслил его, считая меня «красным» по убеждениям, каким я никогда не был, — как, впрочем, не был в этом смысле и «белым».

крупных капиталистов и помещиков, жандармов, полицейских и др. Среди них: бывш. крупных фабрикантов — 35 чел., быв. крупных помещиков — 68 чел., бывш. крупных торговцев — 19 чел., быв. высших царских сановников из царских министерств — 142 чел., бывш. генералов и высших офицеров царской и белой армий — 547 чел., быв. высших чинов жандармерии, полиции и охранки — 113 чел.

Часть из высланных привлечена к ответственности органами надзора за деятельность против советского государства и в пользу иностранных государств.

При чтении этого сообщения у любого человека не могло не возникнуть массы недоуменных вопросов. Прежде всего, было непонятно: о каких нарушениях «правил проживания» и «закона о паспортной системе» могла идти речь? Ведь каждый взрослый гражданин мог легально проживать в Ленинграде только при условии, что он имел паспорт, выданный как раз на основании действующего закона о паспортной системе, и к тому же был официально зарегистрирован как живущий по определенному адресу — «прописан». Без этого человек — бывший ли царский сановник, потомственный ли рабочий или юноша, родившийся уже после революции, — не только не имел возможности устроиться на работу, но и занимать комнату или хотя бы угол и даже получать продовольственную карточку (в Ленинграде только что была отменена карточная система на продукты питания). Может быть, арестовывались и высылались люди, находившиеся на нелегальном положении, нигде не работавшие, не имевшие паспортов и не прописанные в Ленинграде? Но среди тех, с кем я встречался в тюрьме и ссылке, да и вообще среди моих знакомых, разделивших такую участь или ожидавших высылки, не было ни одного такого человека. А взять нашу семью: мою маму, родных моего отца, высланных в Самару, наконец, меня самого? Никто из нас не нарушал никаких законов и правил, установленных самими же властями. Паспорта с ленинградской пропиской имелись у всех нас вплоть до ареста...

Итак, официальное сообщение было лживым с самого начала. Не приходилось верить и тем цифрам, которые там были приведены, тем более что массовые аресты, за которыми

следовала высылка, продолжались и после опубликования этих цифр. Сообщение НКВД, по-видимому, преследовало только одну цель: замаскировать истинный характер и истинные масштабы этой беспримерной акции — особенно дикой потому, что она проводилась в отношении граждан собственной страны и в сугубо мирное время.

Историк этого смутного времени не пройдет и мимо такой характерной детали: составителями официального сообщения слово «бывшие», упомянутое в нем много раз, сокращалось по-разному — то «бывш.», то «быв.», но с правильным чередованием обоих вариантов. Составители, по-видимому, играли с этим словом. Они забавлялись.

В соответствии с испытанным советским рецептом, за этим сообщением должны были последовать радостные и одобрительные возгласы трудящихся — «народный глас». И они не заставили себя ждать.

Уже 22 марта, под заголовком «Чище стало в нашем славном городе», та же «Ленинградская Правда» поместила известие о митинге, состоявшемся на крупном заводе «Электросила». «Ниточки протягивали к иностранным государствам, шпионское отродье. Не прошел номер! Всех до одного выкурим! — сказал вчера на митинге... токарь тов. Сафронов». К усилению репрессий против ни в чем не повинных людей призывал и «обмотчик тов. Чепельников»: «До единого человека это осиное гнездо должны мы вытравить!» «Отклики трудящихся» продолжали печататься и впредь. Для примера приведу две заметки из той же газеты за 23 марта:

ВЫМЕТЕМ ВСЮ НЕЧИСТЬ

Когда я узнала из газет, — говорит работница Кузьмина, — о высылке из Ленинграда царской челяди, мне хотелось лично написать благодарственное письмо нашему великому вождю товарищу Сталину и вождю ленинградских пролетариев товарищу Жданову.

КТО ОНИ?

Вот они перед нами, ядовитые хамелеоны, пытающиеся принять внешне советский вид. Какие они кроткие, как тонко маскируется сегодня заклятый враг. Кто бы подумал? Бывший барон* — сегодня счетовод фа-

* Типольт, как следует из помещенной тут же карикатуры.

брики-кухни; бывший полицмейстер Омска и Нижнего Новгорода* — техник на заводе; генерал** — скромный преподаватель географии; генерал Спасский — продавец в табачном ларьке... Что они делали 18 послереволюционных лет в пролетарском центре, где шла и идет героическая борьба за социализм, за общество без классов, без эксплуатации и угнетения!»

—патетически вопрошала газета. Я ответил бы так: в массе своей влачили жалкое существование, угнетаемые нищетой и страхом. Это по существу. А о внешних формах их существования поведала несколькими строчками выше сама же газета: «счетовод», «техник на заводе», «скромный преподаватель географии», «продавец в табачном ларьке»...

Но вернемся в Зеренду, в толпу «заклятых врагов», «ядовитых хамелеонов», «царской челяди» и «шпионского отродья» перед крыльцом уполномоченного НКВД в явочный день. Приходится признать, что в этой толпе были-таки титулованные аристократы — бывшие, разумеется, — которые, впрочем, как и все остальные, никаких правил и законов не преступали.

Князь Гедройц с женой, сестрой и детьми. Сестра его, Вера Игнатьевна, пожилая женщина-врач, поэтесса и литератор, ухитрилась издать уже в советское время любопытные мемуары, которые в Зеренде дала мне прочесть.

Второй князь носил славную в истории России и известную в театральном мире фамилию и был, как он говорил, родственником драматурга Владимира Владимировича Барятинского и его жены, известной русской актрисы Лидии Борисовны Яворской, открывших в Петербурге в 1901 году «Новый театр». Барятинский, высланный в Зеренду, был молодым человеком, имевшим весьма непрезентабельный вид. Его выслали вместе с женой, по возрасту годившейся ему в матери, типичной местечковой еврейкой, сохранившей сильный и специфический акцент. Прибыв на место, он сразу открыл мастерскую, в которой чинил примуса, запаивал дырки в кастрюлях и таким путем зарабатывал на жизнь.

---

* Комендантов, согласно той же карикатуре.

** Тюфясев, согласно карикатуре.

Последним из высланных как бы «за титул» был я. Больше князей, графов и баронов в Зеренде не было.

К лицам, имевшим отношение к царскому обер- и штаб-офицерству, принадлежали Георгий Михайлович Богачёв и косвенно — некая Язвина с сыном, бывшая вдовой какого-то царского офицера, а также приехавший позднее Шадурский, у которого офицером был брат.

Георгия Михайловича революция застала в чине подполковника артиллерии. Солдатский комитет выдвинул его (это было при Временном правительстве), и Богачёв получил чин полковника. После Октябрьской революции он был начальником противовоздушной обороны Петрограда. Жена его работала до ссылки медицинской сестрой.

Язвину прозвали за ее неприятный характер «язвой здешних мест». Эта не совсем нормальная старушка когда-то была актрисой. Она считала (естественно, без всяких оснований), что ее скоро должны вернуть из ссылки, поскольку она больна люмбаго в какой-то особенной форме, представляющей интерес для медицины. Сына ее, Мишу Язвина, я встречал в Ленинграде еще в годы нэпа в концертах и на танцевальных вечерах. Это был еще молодой человек, к которому я не чувствовал никакой симпатии. Он редко появлялся в Зеренде, умудряясь разъезжать по области — конечно, с ведома НКВД — по каким-то своим делам. О матери он отзывался очень цинично.

Остальные из примерно сорока семейств, сосланных в Зеренду, не имели уж и вовсе никакого отношения к официальной интерпретации массовых ссылок. Я вспоминаю семью Шавровых, состоявшую из отца, бухгалтера по профессии, матери и двух дочерей, юных девушек, — эти славные простые люди попали в ссылку из Архангельска; мужа и жену Ставских, наивно надеявшихся на заступничество писателя Михаила Зощенко, с которым они были в дружбе; большую семью Ручкиных — мужа, пожилого полуграмотного маленького человечка, его жену и кучу детей мал мала меньше. Ручкин рассказывал, что в годы нэпа он торговал с лотка, чтобы прокормить свою большую семью. Здесь, в Зеренде, он занимался случайной, самой неквалифицированной работой — пилкой дров, подвозом продуктов в магазин и тому подобное и очень нуждался. Кто-то из ссыльных прозвал его «графом Ручкиным» — вероятно, из-за полного несоответствия его

пребывания в ссылке с официальной версией, опубликованной в печати.

Позднее других в Зеренду приехал Николай Борисович Павлов. Это был симпатичный юноша, незадолго перед тем окончивший среднюю школу. Его сослали вместе с отцом-инженером и матерью в Акмолинск. Родители остались там, а Коля был направлен в Зеренду на работу в МТС. Мы с ним подружились, и дружба продолжалась после возвращения в Ленинград.

Вскоре по прибытии в Зеренду я получил денежный перевод от двоюродного брата Романа и письмо от его отца. Оба поступили сообразно своему характеру. Роман просто выслал деньги. Отец его, Константин Михайлович, написал мне, что, дескать, если мне нужны деньги, он мог бы прислать... Конечно, я ответил, что не нуждаюсь в деньгах и благодарю за любезное предложение. Надобно еще принять во внимание, что дядя Константин Михайлович тоже жил в ссылке, да еще после пятилетнего заключения в лагерях.

...Георгий Михайлович не сидел без дела. В исполкоме одобрили его план наименования улиц и нумерации домов. Правда, он забыл, что Зеренда находится в Казахстане и, следовательно, названия должны быть написаны на двух языках — казахском и русском. Но в исполкоме ему в помощь выделили грамотного казаха, Георгий Михайлович вычертил план Зеренды, и они вместе придумали улицам названия, которые были утверждены исполкомом. После этого Богачёву дали, кажется, телегу, он съездил в Кокчетав, привез кучу старых листов железа и засел за работу. Он резал железо на куски — поменьше для номеров, покрупнее для названий улиц, выправлял эти куски деревянным молотком, окрашивал и, когда краска высыхала, наносил названия и номера, заранее заготовив трафареты из газетных листов. К зиме на улицах и домах, где люди жили годами, а то и десятилетиями, не нападая на мысль о необходимости такого культурного нововведения, появились четкие таблички с названиями и номерами. Появились соответствующие обозначения и на письмах, приходивших в Зеренду.

Мы все время питались вместе. Обычно после обеда Георгий Михайлович боролся со сном. «Жорж, — говорила Мария Петровна, — ну зачем же себя мучить! Приляг хотя бы на

часок». Георгий Михайлович вздыхал, жмурил глаза: «Ох, как хочется спать... Но нужно поработать!» И садился за свои трафареты...

Почти в самом центре Зеренды стоял довольно большой сарай. В нем помещался клуб со сценой и длинными рядами скамеек для зрителей. В этом сарае-клубе изредка проводились собрания, но в основном он пустовал. Мне пришло в голову организовать в нем театральный кружок. Богачёв поддерживал меня в этом начинании. Ему хотелось, чтобы в кружке принимала участие Мария Петровна, — он надеялся, что это хоть немного отвлечет ее от мрачных мыслей, время от времени овладевавших ею. Она никак не могла примириться со ссылкой.

Мне часто приходилось бывать в театре, но только в качестве зрителя. С режиссерской работой я совершенно не был знаком. Но идея организации «постановок» захватила меня, а к тому же мне удалось раздобыть несколько номеров издававшегося тогда журнала «Колхозный театр» и прочесть в нем очень доступно написанные статьи о театральной и, в частности, режиссерской работе во МХАТе. Начали мы свои выступления в клубе с маленьких пьес Чехова. «Предложение» и «Медведь» привлекли зрителей. Клуб был полон. Для участия в этих шуточных сценах мы ангажировали одного местного парня Мишу Светличного. Мария Петровна, наша «примадонна», оказалась весьма неспособной актрисой, но театр ее интересовал и она играла хотя и плохо, но с увлечением. А это в тех условиях было главным.

Первые успехи привлекли к нашему начинанию внимание местных властей. Было разрешено организовать уже настоящий, расширенный кружок театральной самодеятельности, и дело пошло. Желающих участвовать в кружке оказалось много. Введена была плата за билеты, и более того — некоторая сумма из этих сборов, правда ничтожная, выплачивалась мне как руководителю кружка и «постановщику». Репертуар я вынужден был ограничивать пьесами, которые удалось достать на месте. Все же за время существования кружка, а существовал он только до осени, мы ухитрились поставить в числе других две пьесы Всеволода Вишневского.

Конечно, наши самодеятельные актеры не только не имели никакого опыта, но очень часто не обладали даже

минимальным развитием. К тому же Мария Петровна вскоре перестала принимать участие в спектаклях. Она начала работать медицинской сестрой, при безграмотном старике-фельдшере, в то время единственном представителе медицины в Зеренде.

Наши бытовые условия кое-как налаживались. У меня еще сохранялись деньги, привезенные из Ленинграда, и меня пока что не беспокоил грошовый заработок от руководства кружком. Мария Петровна кормила нас с Георгием Михайловичем, у нас выпадали свободные часы, когда мы имели возможность отдыхать на берегу озера, загорать и купаться. Я почти совсем не плавал, и Богачёв старался научить меня этому искусству. Сам он умел, без преувеличения, делать все, у него были буквально золотые руки и прекрасные природные способности, ум в сочетании с народной сметкой.

Местное население, особенно старшего возраста, не купалось. Молодежь тоже редко появлялась на озере. Но многие ссыльные использовали и его воды, и песчаный пляж, окаймляющий берег. Среди посетителей пляжа был и Лютц. Обычно он подходил к группе, в которой были Богачёвы и я. «Михаил Федорович, угостите папиросой», — просил он. И если оказывалось, что у меня нет папирос, он не очень огорчался: «Ну, ничего, — в таком случае я закурю свои»... И он закуривал «свои».

Привыкнув еще на флоте стирать свое белье, я не очень страдал от отсутствия прачечной. Правда, стирать белье в той части озера, где купались и загорали, я стеснялся. Поэтому я шел туда, где стирали местные жители, — на берегу, непосредственно примыкавшем к станице. Там всегда стояло много лодок и от берега тянулись специально построенные мостки. Мое занятие обычно вызывало сочувствие местного населения. Собирались несколько казачек, старых и молодых, и жалели меня. «Ах, милый! Да как же ты сам-то стираешь?» «Бабы-то у тебя нет? Сам и стираешь!» «Вот, что делает неволя с людьми! Такой молодой и сам стирает...» Ахи, охи и чуть ли не слезы. Вот ведь какие сердобольные были казачки! За полтора года моего пребывания в Зеренде ни одна из них не предложила свою помощь. Видно, так уж устроен свет!

Летом последовало радостное событие, надолго утешившее не только меня, но и Богачёвых. В отпуск из Ленинграда

приехал Дима Ловенецкий. Мы почувствовали себя как-то ближе к родному городу. Гость — молодой, веселый и остроумный — оживил нашу атмосферу. Он прогостил у меня месяц и уехал обратно. На станцию железной дороги, в Кокчетав, я поехал его провожать. На прощанье нам хотелось побыть вдвоем. Как всегда, находилось еще многое, о чем хотелось откровенно поговорить. Но, приехав на машине в Кокчетав, мы, на беду, встретили Язвина. Он увязался за нами и до отхода поезда не покидал нас, высказывая Диме различные просьбы и поручения...

Через несколько дней в клубе состоялось общее собрание жителей Зеренды, связанное с предстоящим закрытием местной церкви. Народу собралось много, преимущественно женщин и стариков. Среди последних был и «дед-трубач», как его здесь называли, — маленький юркий старикашка с бородой, ёрник и враль, служивший когда-то трубачом в зерендинской казачьей части.

Власти поставили на собрании вопрос о закрытии церкви в этом районном центре. Большинство собравшихся, — может быть, потому что на собрание пришли в основном те, кому судьба этой церкви не была безразлична, — были явно против готовившегося мероприятия. Но работники станичного совета не стеснялись в методах. Всех пытавшихся протестовать они тут же демонстративно записывали, напоминали станичникам их прежние «грехи» против советской власти, зловеще угрожали им репрессиями. Не нашлось никого, кто бы бесстрашно и открыто вступил в принципиальный спор с властями. Выкрики с мест были робкими либо несерьезными — это упражнялся в остроумии «дед-трубач», стремившийся любой ценой обратить на себя внимание. В такой атмосфере на вопрос «кто против закрытия церкви» поднялось всего несколько рук. Судьба церкви была решена.

А тем временем в моей личной жизни произошло еще одно событие, иллюстрирующее сталинскую законность. Я получил по почте открытку-бланк, в который от руки были вписаны моя фамилия и адрес. Международный Красный Крест ставил меня в известность о том, что, в ответ на мое заявление, Главным Управлением милиции СССР послано в Петропавловск распоряжение о выдаче мне паспорта.

В моем положении наличие или отсутствие паспорта, в сущности, ничего не меняло. Разница была чисто моральной — сосланные, да еще лишенные паспортов, мы чувствовали себя до последней степени бесправными. И я отправился с полученным извещением к уполномоченному НКВД. Посмотрев на извещение, он сказал, что никакого распоряжения он не получал и, следовательно, нужно ждать.

Прошли месяцы. Уже кончилась зима, когда я вновь зашел в контору уполномоченного по тому же вопросу. В первой от входа комнате, на месте секретаря, сидел новый человек. Он сказал, что уполномоченного сейчас нет, а он — новый секретарь. Я показал ему то же самое извещение и объяснил, что уполномоченный и я ждем специального отношения из Петропавловска. «А вот мы сейчас посмотрим», — сказал секретарь. Он достал с полочки мое дело и раскрыл его. На самом верху, над прочими бумагами, лежало неподшитым отношение из Петропавловска с распоряжением областного управления милиции о выдаче мне паспорта! Дата, стоявшая на нем, указывала, что оно поступило несколько месяцев назад...

На другой день я пришел опять, надеясь увидеть самого уполномоченного. Он был в своем кабинете. Я спросил его, как обстоит дело с выдачей мне паспорта.

— Все еще нет распоряжения.

— Но я сам видел его в моем деле...

— Не может быть!

— Посмотрите в моей папке, там оно лежит!

Уполномоченному пришлось взять папку. Отношение лежало так же, как накануне. Тогда он, нимало не смутившись, заявил мне, что должен еще раз запросить, и только после получения подтверждения имеет право выдать мне паспорт. Так я и не получил паспорта до самого своего освобождения из ссылки. Мне уже было совершенно ясно, что законы - законами, но существует еще стоящая выше всяких законов власть — власть НКВД, «сталинский закон».

Осенью 1935 года вышел указ о введении новых воинских званий. Я прочел его в газете первым, — ни Георгий Михайлович, ни Мария Петровна его еще не знали. Когда Богачёв пришел домой, я приветствовал его: «товарищ полковник!»

Тогда такое словосочетание звучало странно. Он засмеялся и спросил, отчего это мне пришло в голову назвать его так? Я ответил, что убежден в скором появлении у нас не только полковников, но и генералов. У нас завязался спор, закончившийся тем, что я протянул Георгию Михайловичу газету. Георгий Михайлович был ошеломлен, а я торжествовал.

После того, как на улицах появились названия и на домах номера, исполком предложил Богачёву произвести топографическую съемку станицы и ближайших окрестностей. Был заключен формальный договор между исполкомом, с одной стороны, и Богачёвым и мной, как его помощником, с другой. Мы старательно излазили сопки и окрестные леса и поля. Произвели съемку, вычертили и сдали топографический план. Он был принят и одобрен, но тут исполком отказался оплатить работу, ссылаясь на отсутствие средств. Георгий Михайлович отнесся к этому без всякого возмущения. Я настаивал на иске в суд. Богачёв считал, что это обычное жульничество, особенно понятное при нашем полном бесправии, и не в наших интересах затевать конфликт с начальством. Хоть я и держался иной точки зрения, но Георгий Михайлович был основным исполнителем работы, а я только его подручным, и мне оставалось махнуть рукой на все это дело. Положение ухудшалось тем, что со ссылкой на то же отсутствие средств исполком перестал платить мне и те гроши, что я получал за руководство театральным кружком. Продолжать работать бесплатно я не мог, так как привезенные с собой деньги подходили к концу. Пришлось отказаться от продолжения занятий, как ни жаль было кружковцев, полностью включившихся в увлёкшее их дело, и искать какой-нибудь оплачиваемой работы.

В это время парторганизация МТС (машинно-тракторной станции) предложила мне взять на себя организацию драмкружка у них на станции. Я принял это предложение, исходившее непосредственно от секретаря партийной организации Брыкина. Был он, по его словам, москвич. Человек в расцвете сил, любящий театр и даже занимавшийся в Москве в каком-то театральном училище. Разумеется, когда кружок начал действовать, Брыкин сам выбирал себе роли по вкусу. В остальном он был скромным и дружелюбно настроенным человеком, старавшимся создать для кружка все возможные

условия. В Зеренду он привез с собой молодую жену и жил с ней в отдельном доме, недалеко от меня. Но если сам он, как человек, знакомый с театральным искусством, действовал при распределении ролей в пределах разумного, то его жена явно злоупотребляла своим положением «дамы-патронессы». Все роли молодых и красивых героинь должны были принадлежать ей, хотя она не обладала ни соответствующей наружностью, ни сценическими способностями. Была она белёса, худощава и упряма до крайности.

За осень и зиму, в течение которых существовал кружок, мы поставили три спектакля в Зеренде, а также вывозили их в окрестные колхозы и на Айдабульский спиртовой завод, километров за двадцать.

С наступлением осени вечера стали непроницаемо темными. Улицы в Зеренде не освещались. Помню, как-то, выйдя от Богачёвых и направляясь домой, я заблудился в темноте и долго искал дорогу, хотя жили мы на одной улице. Потом пришла зима с крепкими, поистине сибирскими морозами.

Мама все время переписывалась со мной. Ей было очень тоскливо жить одной в Пензе, без родных и знакомых. Тосковала она и по мне, и в начале зимы стала писать, что хотела бы переехать в Зеренду. Я был бы этому рад, если б меня не смущала еще более далекая ссылка, добровольно принимаемая на себя мамой. Все-таки Пенза — какой-никакой, а город, и менять его на деревню, к тому же в Сибири, казалось неосторожным. Но мама настаивала, и я согласился.

В тот день, когда она должна была приехать, стоял сильный мороз. Накануне мне привезли дрова, и я попросил хозяев хорошенько натопить печь в комнате. Встал я рано утром и на грузовике, принадлежавшем МТС, поехал в Кокчетав. Ожидая поезда на перроне, я, конечно, волновался.

Вот, наконец, подходит поезд, останавливается. Вышли пассажиры, но мамы среди них нет. Я бегаю по платформе, забыв о сильном морозе. Поезд трогается, набирает ход и исчезает вдали. Мамы нет, и я пытаюсь объяснить себе ее отсутствие. Если бы она неожиданно заболела, или что-нибудь помешало ее отъезду из Пензы, она, конечно, известила бы меня телеграммой. Может быть, она почему-либо не смогла сесть на поезд в Петропавловске?

И вдруг я вижу плетущуюся по перрону, съежившуюся от мороза, закутанную в платки фигурку. Она тащит на веревке чемодан, который волочится за ней по обледенелым доскам платформы. Я бросаюсь навстречу. Да, это мама. Как она съежилась, какой стала маленькой, — вот почему я не узнал ее!

Мы обнимаемся, она плачет от радости. Мороз жмет. Хватаю чемодан, мама занимает место в кабине грузовика, я лезу с чемоданом в кузов. И вот мы дома. Здесь тепло, мы спокойно беседуем. Мама быстро нашла общий язык с хозяйкой — Анной Павловной. Эта молодая женщина вела очень примитивное хозяйство. Питание семьи составляли хлеб, молоко, какой-нибудь приварок. Недостаток денег и деревенская неприхотливость заставляли большинство коренных жителей питаться кое-как. Но меня больше всего удивляла их вечная апатия. Например, Иван Дубовой, мой хозяин, молодой еще парень, долговязый и здоровый, отличался равнодушием ко всему на свете. Он работал ночным сторожем, получая гроши, и целыми днями спал на полу, на грязной шубе, или сидел на завалинке, щелкая семечки или просто покачивая длинной ногой, перекинутой через другую. Случалось, я говорил ему: «Иван, ты бы взял топор, исправил крыльцо и дверь. Ведь все разваливается, позаботился бы о собственном доме!» Иван лениво отмахивался, не меняя позы...

Мама взяла на себя заботы о нашем питании. Включилась она и в руководимый мной драмкружок МТС — начала бесплатно суфлировать на спектаклях. Но вскоре драмкружок перестал существовать. Я поссорился с «дамой-патронессой», претендовавшей на очередную роль, которая, на мой взгляд, несравненно более подходила другой женщине из нашего драмкружка. Жена Брыкина была возмущена тем, что какой-то ссыльный «буржуй» осмеливается ей перечить — ей, члену партии и жене секретаря партийной организации. Я упорствовал, и мне пришлось уйти. Брыкин принял сторону жены, хотя и дал мне почувствовать, что делает это только из нежелания внести разлад в свою семейную жизнь.

С начала лета я поступил на работу в райземотдел. В этом учреждении работало только два человека: заведующий — славный простой парень, любитель выпить, относившийся ко мне с большой теплотой, и я — статистик. На мне лежали

обязанности, связанные с учетом работы, в частности, колхозов, находившихся в районе. Я без большого труда овладел искусством счета на арифмометре, а грамотных людей в районе было мало.

Если русские колхозники получали на «трудодень» ничтожные гроши, то в казахских колхозах нашего района — и того меньше: одну копейку, а иногда и менее копейки. Это объяснялось, по-видимому, тем, что казахи испокон веку занимались отгонным скотоводством. Принудительный перевод их на оседлое земледелие означал, по крайней мере на первых порах, полное экономическое оскудение.

Мне приходилось разъезжать по колхозам, собирая и проверяя различные отчетные показатели их деятельности. Однажды в начале лета 1936 года я, как обычно, сел в телегу, запряженную упрямой лошадью, принадлежащей земотделу, и отправился на объезд колхозов. Дорога лежала через поля, усеянные отдельными деревьями, — примерно так я представлял себе тропическую саванну. Земля и деревья покрыты свежей зеленью трав и листвы. Приятно лежать в телеге, вдыхая их нежный запах, приятно преодолевать вброд разлившиеся с наступлением весны речки. Я побывал в двух или трех колхозах, а последним пунктом моего маршрута был Айдабульский спиртзавод, где я уже как-то был с выездным спектаклем. И вот опять — разбросанные сооружения завода, поселок вокруг, кисло-сладкий запах спиртовой барды. В этом поселке, в доме старой одинокой женщины, я заночевал. Дом стоял на окраине, и перед ним расстилалась уходящая вдаль дорога среди полей. Старая женщина присела рядом со мной на завалинке. Она рассказывала мне в ответ на мои расспросы, что здесь родилась, здесь и вышла замуж. Муж давно умер, и она доживает свой век в одиночестве. Я спросил, были ли у нее дети. Она тяжело вздохнула.

— Было двое сыновей. Одного убили в германскую войну, а младший ушел из дому в гражданскую. И с тех пор ни слуху, ни духу...

Ранним утром я запряг лошадь в телегу, простился со старухой и поехал домой. Дорога была совершенно пустынна. Лежа в телеге, вспоминая вчерашний разговор, наши невеселые дела, я размышлял о том, что вот эта женщина прожила всю свою жизнь на одном месте. Ее никто не сажал в тюрьмы,

не ссылал, ее дети ушли из дому сами, и она, доживая свой век, едва ли знает, что одного царя заменил другой...

Думал я и о своей жизни. Скоро мне исполнится тридцать два года, но у меня до сих пор нет своего угла, своей семьи. Я уже сидел в тюрьме, пребываю в ссылке. Имею так называемое высшее образование — на что оно мне тут? За что именно на меня обрушилась несправедливость? С тринадцати лет я начал работать. Был грузчиком, конторским работником, матросом, препаратором и реставратором, заведовал отделом крупного завода и отделом в музее. Если прочесть перечень моих «должностей» и «профессий» до ссылки, да еще прибавить актерскую и режиссерскую деятельность здесь, в Зеренде, — может сложиться впечатление, что речь идет не только о «летуне», но и, пожалуй, о крупном мошеннике. А если добавить такие факты моей биографии, как «увольнение по чистке», пребывание в тюрьме и ссылке, то в справедливости такого впечатления явно не останется никаких сомнений.

Кто поверит, что я честно работал и учился? Честно и не так уж плохо, — это могут засвидетельствовать все мои товарищи по работе. К контрреволюции я не имел никакого отношения. Да меня и не пытались в этом обвинять. Тогда в чем же дело?

Я в то время не знал, что это были еще, как говорится, «цветочки». «Ягодки» ожидали не только меня, но и наш народ впереди, в недалеком будущем. Повторю: я не знал, какие ужасы ожидают меня и многих из нас, но что репрессии в отношении меня лично будут продолжаться — я нисколько не сомневался. Нетрудно понять, в каком настроении я возвращался в Зеренду в это чудное весеннее утро. Хмуро смотрел я на сопки, покрытые густым лесом, на сверкающее под лучами солнца озеро, на колокольню зерендинской церкви и стройные станичные улицы...

Въехав в станицу, я встретил одну из ссыльных. Увидев меня, она подбежала к телеге и сообщила радостную весть: меня возвращают в Ленинград, это стало уже известно всем ссыльным!

Я заехал в исполком, в котором находилось помещение райземотдела, отчитался перед заведующим о своей поездке, распряг лошадь и поставил ее в стойло, а сам побежал домой.

Мама, до которой дошла новость, конечно, волновалась. Мы с ней пошли к Богачёвым. Они были тоже взволнованы. Выяснились некоторые подробности. Оказывается, незадолго до того в Москве проходил съезд колхозников. На нем выступил какой-то тракторист, жалуясь, что, несмотря на добросовестную работу, кое-кто из односельчан до сих пор попрекает его отцом, который был в свое время то ли сослан, то ли «раскулачен». Он бы работал еще лучше, да вот ему не дают ходу... И тут Сталин, сидевший в президиуме съезда, неожиданно буркнул: «Сын за отца не отвечает!»

Как известно, никакие советские законы не устанавливали ответственности детей за их родителей, но на практике и до, и после этой сталинской фразы тысячами и тысячами репрессировались целые семьи. С другой стороны, — так же, как спустя четверть века в маоцзедуновском Китае, — нашлись люди в самых «верхах», которые из подхалимских чувств или соображений самосохранения либо карьеры начали раздувать значение этой реплики Сталина, превозносить ее как проявление гениальности «вождя», его гуманности и т.п., — в этих условиях случайная реплика приобрела статус «указания», «предначертания» свыше, с самого верху, — и карательные органы поспешили показать, что они неукоснительно следуют мудрым разъяснениям диктатора. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 2 апреля 1936 года моя ссылка была отменена. В то же время моя мама должна была остаться вне Ленинграда, поскольку из ссылки возвращали только детей неугодных отцов, но не жен или вдов неугодных мужей. «Органы», держащие нос по ветру, конечно, не решались обратиться к «мудрейшему» за соответствующим разъяснением, а сам он был, по своему обыкновению, весьма лаконичен и ничего к приведенной реплике не добавил.

Я пошел к уполномоченному НКВД, и он сказал, что я свободен. Мне полагался даже бесплатный проезд обратно в город, откуда меня сослали. Но сержант-уполномоченный заявил, что нет у него бесплатных билетов. Если я не хочу ехать за собственный счет, то мне придется ждать, когда у него появятся билеты. Тогда я решил, что мы с мамой купим билеты только до Петропавловска, а там обратимся в областное управление НКВД. Денег у нас было в обрез. Я еще раз

порадовался тому, что после приезда мамы не счел нужным поставить НКВД в известность, что она была выслана из Ленинграда. Это позволяло мне надеяться, что она сможет беспрепятственно уехать со мной в качестве «члена семьи ссыльного». Так и получилось.

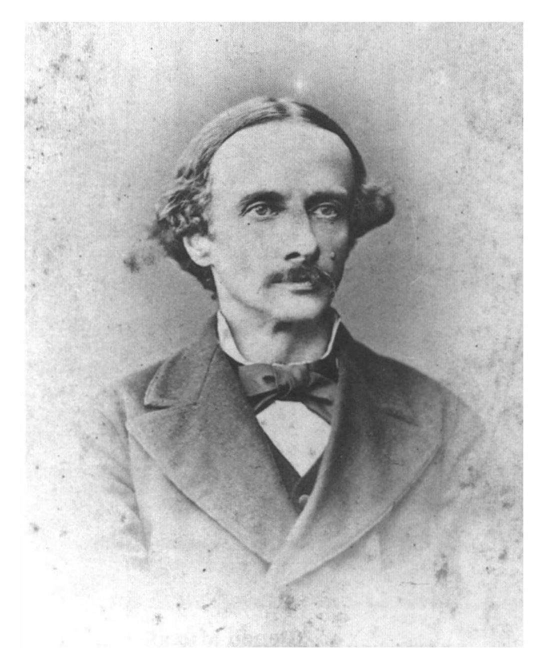
Мы отбыли в начале июля. Зеренду мы покидали с радостью, но эта радость была омрачена прощаньем с Богачёвыми. Мы привыкли друг к другу. Больше того, мы расставались, как родные. Вместе переживали мы и невзгоды ссылки, и редкие случавшиеся радости. Но вот меня освободили, а они оставались — бесправные, зависящие в повседневных бытовых делах от любого безграмотного и часто враждебно относящегося к ссыльным субъекта, а в официальных делах — от органов и их чиновников, жертвами которых они стали. Даже Георгий Михайлович, всегда умевший взять себя в руки, на этот раз выглядел очень расстроенным. Когда машина, увозившая нас, тронулась, Богачёвы отделились от группы провожающих и побежали за ней, прощально махая нам. Машина набрала ход, и бегущие фигуры плачущей Марии Петровны и расстроенного, с растрепавшимися от ветра седыми волосами Георгия Михайловича скоро остались позади.

Менее чем через два часа мы приехали в Кокчетав. На вокзале взяли билеты и сели в поезд. НКВД находилось в Петропавловске недалеко от вокзала, и мы попали туда еще до конца рабочего дня. В коридоре управления НКВД нам неожиданно встретился зерендинский уполномоченный. Пройдя к какому-то начальнику, я изложил ему свою претензию. Он выразил недоумение по поводу того, что нас не снабдили бесплатными билетами в Зеренде. Тогда я сказал ему, что зерендинский уполномоченный здесь. Его вызвали в кабинет, и начальник резко спросил его, почему он не выдал нам билеты. Уполномоченный был явно смущен и начал что-то говорить в свое оправдание. Отправив меня получать билеты, начальник задержал его в кабинете.

Поистине, все шло как по маслу в этот день: этим же вечером нам удалось уже выехать из Петропавловска!



ихаил Иосифович Косинский (1839-1883), дед автора. Конец 60-х – начало 70-х гг.



Михаил Иосифович в последние годы жизни



ıадежда Владимировна Конюхова, 60-е гг.



Надежда Владимировна, начало 10-х гг.

Федор Михайлович Косинский, отец автора, среди матросов парусного крейсера «Разбойник». Атлантический океан, 1898 или 1899

Федор Михайлович и Жозефина Иосифовна Косинские с командой миноносца № 17. Октябрь 1901



Алексей Михайлович Косинский. 1914



Наталья Михайловна Косинская.
Первые годы XX в.

М. Ф. Косинский в готическом доспехе
XV в. из собрания Эрмитажа. 1937





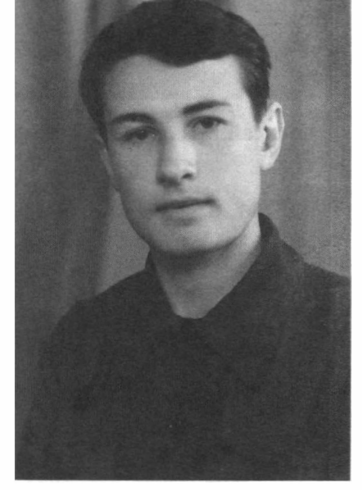
Ольга Константиновна Клименко
(урожд. Косинская). 10-е годы



**Мл. сержант М. Ф. Косинский.**
**Начало 1945 г.**



**М. Ф. Косинский с товарищами по штабу батальона.**
**Рядом с ним в очках — ефрейтор И. С. Непомнящий.**
**Начало 1945 г.**



**Иосиф Алексеевич Косинский. 1947**



**Эрмитаж, 1946**

## *Глава 15. Возвращение в Ленинград. Эрмитаж*

Проезжая через Москву, мы задержались в ней на один день. Надо было посетить Екатерину Павловну Пешкову, чтобы поблагодарить ее за помощь и рассказать о невыполнении распоряжения Управления милиции СССР о выдаче мне паспорта, а главное — передать ей заявление Георгия Михайловича и подкрепить его своей просьбой. А у писателя Новикова-Прибоя я хотел лично взять назад пересланные ему письма моего отца, касавшиеся похода эскадры Рожественского на Дальний Восток и Цусимского боя.

Сначала мы поехали в Красный Крест. Условия, в которых эта организация влачила свое существование, были очень красноречивы. Мы поднялись по лестнице жилого дома, в котором, судя по адресу, размещался Красный Крест, — и очутились в кухне коммунальной квартиры. Очевидно, мы попали в нужную нам квартиру с «черного хода». На кухне шумели примуса, и жильцы квартиры, каждый за своим примусом, стряпали на них еду. В одной из комнат квартиры мы нашли Екатерину Павловну Пешкову. Эта комната, за столами которой сидело несколько сотрудников Красного Креста, служила и приемной, и кабинетом Пешковой. Мы рассказали ей историю моего заявления и передали заявление Богачёвых. Она сказала, что едва ли ей удастся что-нибудь сделать и что судьба нашего собственного заявления доказывает ее бессилие. Но заявление приняла. Мы поблагодарили Екатерину Павловну и поехали к Новикову-Прибою.

Писателя не было дома. Его жена Мария Людвиговна достала письма моего отца и передала мне, сказав, что всем, что писатель счел нужным, он успел воспользоваться. Она вручила мне также экземпляр третьего издания романа Новикова-Прибоя «Цусима» с дарственной надписью автора.

В тот же вечер мы сели в поезд и утром были в Ленинграде. Нам пришлось приехать на квартиру Фаворских, так как свою «жилплощадь» мы потеряли. И хотя позднее нас поставили на очередь для получения комнаты, сейчас мы оказывались вновь в самом затруднительном положении. Та комната, в которой прежде жил Дима Ловенецкий, была уступлена им семье из трех человек, а сам он ко времени моего приезда занимал бывшую мою комнату и предложил мне поселиться с ним. Так я и сделал, но маме на первых порах пришлось очень трудно: она скиталась по родственникам и, наконец, сняла комнату.

По возвращении я сразу был восстановлен в Историко-бытовом музее на должности старшего научного сотрудника — заведующего Знамённым отделом. На работу в музей удалось пригласить опытного реставратора тканей — Николая Николаевича Семенóвича. В то же время я продолжал научную обработку материалов отдела. Среди знамен были целые группы, требовавшие определения. Мне удалось написать работу, посвященную одной из таких групп, для чего пришлось обратиться к архивным и печатным источникам. Статья «Знамёна бурятских родов» была закончена в 1937 году и предназначалась для сборника трудов Артиллерийского музея. Мой арест 1938 года помешал появлению в печати этой первой моей научной работы.

Переписка с Богачёвыми продолжалась; меня мучило то, что оставалось какое-то время невыполненным еще одно поручение Георгия Михайловича. У него был брат, живший под Ленинградом, в бывшем Царском Селе (в 1936 году этот городок назывался Детским Селом, а с 1937, когда отмечалось столетие смерти Пушкина, получил имя великого русского поэта, который в начале прошлого века провел там юношеские годы, обучаясь в лицее). Этого брата репрессии не коснулись, он благополучно существовал и хорошо зарабатывал. Судя по рассказу Георгия Михайловича, брат его был человеком эгоистичным, сухим и, как многие тогда люди, жил в постоянном страхе перед неприятностями свыше. Тем не менее Георгий Михайлович решил обратиться к нему за материальной помощью. Георгий Михайлович понимал, что, несмотря на предприимчивость и золотые руки, на случайный заработок ему, старому человеку, и его жене просуществовать в

ссылке невозможно. Он писал брату, но тот ему не ответил. Письмо от репрессированного человека уже само по себе могло навлечь беду, но риск еще более возрастал, если адресат отвечал на такое письмо, то есть вступал в переписку (то же относилось к переписке с лицом, находящимся за границей). Не получив ответа, Георгий Михайлович попросил меня съездить в Детское Село и поговорить с братом.

Приехав туда, я разыскал дом брата Георгия Михайловича. Позвонил у двери. Мужской голос спросил меня: «Кто звонит?» — и стоящий за дверьми человек долго мне не открывал. Я ответил, что имею поручение от Георгия Михайловича. Когда дверь, наконец, открылась, передо мной стоял плотный мужчина, не имевший, как показалось, никакого сходства с Георгием Михайловичем. Он сказал, что он и есть брат Богачёва. Разговаривал он со мной очень сдержанно, по-видимому, боясь, что общение с братом может принести ему неприятности. Но все же он ввел меня в комнату, сплошь заставленную стильной мебелью красного дерева с бронзой. Мебель стояла так тесно, что создавалось впечатление склада, магазина, но не жилого помещения.

Богачёв выслушал меня, не проронив ни слова, сухо поблагодарил и коротко обещал помочь брату.

После этой встречи я написал Георгию Михайловичу. Вскоре наша переписка прервалась. Возвратившийся из ссылки Коля Павлов рассказал, что в Зеренде начались аресты ссыльных. Первым арестовали Лютца. Потом забрали Георгия Михайловича и увезли в тюрьму в Кокчетав. Мария Петровна поехала за мужем. Больше я ничего о них не слышал. Думаю, что их жизнь окончилась скоро и трагично, иначе они бы сообщили мне о себе.

...Как ни интересна была работа со знаменами, меня больше влекло к себе старинное западноевропейское оружие, в том числе рыцарские доспехи и холодное оружие того же периода. Некоторое количество таких предметов вооружения хранилось в Артиллерийском музее. Заинтересовавшись ими, я вынужден был обратиться в Эрмитаж для выяснения некоторых деталей. Эрмитаж имел превосходное собрание оружия и богатую библиотеку, в которую входило много изданий по оружиеведению.

Придя в этот крупнейший в стране музей, я встретил Рахиль Моисеевну Хай, с которой мы вместе учились на Высших курсах искусствоведения. Лотта (как все ее почему-то называли) Хай была одним из самых способных работников музея. Прекрасно образованная, с на редкость тонким умом, она отличалась смелостью и даже резкостью суждений. Хотя многие побаивались ее острого языка, она пользовалась любовью окружающих. Лотта рассказывала мне как-то, что она родилась в семье ученого раввина и с детства была окружена произведениями искусства и атмосферой, способствующей его пониманию. Эта женщина внешне была некрасива, худощавая, с резкими чертами лица, но Дима Ловенецкий, знавший ее, говорил: «Лотта безобразна до такой степени, что ее наружность становится интересной и даже привлекательной». Товарищем она была превосходным, и дружественные отношения с ней сохранялись у меня до самой ее смерти в 1949 году.

Рахиль Моисеевна, встретив меня в Эрмитаже и узнав, что меня туда привело, рассказала мне следующее. Профессор Александр Александрович Автономов, ведавший в музее западноевропейским оружием, был арестован и содержался в концлагере на Дальнем Востоке. Его заменил Всеволод Викторович Аренд (а дальнейшем тоже арестованный и погибший в заключении), но лишь на короткое время: он чем-то не понравился директору Эрмитажа академику Орбели и вынужден был уйти из Эрмитажа в Артиллерийский музей, где работал ученым секретарем, вкладывая много труда и знаний в экспозицию этого музея. Отвлекаясь, замечу, что Аренд заслужил немилость директора Эрмитажа по непонятным причинам. Он был не только очень образованным, но и исключительно деликатным человеком. Возможно, что Орбели не нравились его элегантность и манера хорошо одеваться. Орбели этого не любил и о людях элегантных всегда отзывался с язвительной насмешкой. Но может быть и так, что причиной опалы явилось сотрудничество Аренда в иностранных оружиеведческих журналах. Так, несколько работ о древнерусском оружии он поместил в «Zeitschrift für historischen Waffen-und Kostümkunde» — немецком журнале, выходившем с 1897 по 1944 год. Сотрудничество в зарубежном издании, тем более немецком, сделалось с начала 30-х годов

крайне нежелательным в глазах властей и попросту опасным фактом.

Так или иначе, богатейшее собрание оружия, которым владел Эрмитаж, находилось, по словам Лотты Хай, в катастрофическом положении. Специалистов по западноевропейскому оружию в стране не имеется, хранилище оружия давно опечатано, и Эрмитаж нуждается в человеке, который мог бы принять на себя заведование Отделением оружия, входящим в Отдел западноевропейского искусства, и отвечать за него. Она уговаривала меня перейти из Военного историко-бытового музея в Эрмитаж, предлагая уладить этот вопрос с дирекцией. И уговорила. Ведь я отлично понимал, что с переходом в Эрмитаж исполнилась бы моя давнишняя мечта, я получил бы возможность работать с материалами, которые меня очень интересовали и были богато представлены в собрании Эрмитажа. Кроме того, работа в крупнейшем коллективе искусствоведов нашей страны должна была дать мне очень много в отношении знаний, между тем как в Историко-бытовом музее я могу рассчитывать только на себя.

Директора Эрмитажа, академика Иосифа Абгаровича Орбели, в это время в музее не было. Он находился в Москве. Его замещала Татьяна Львовна Лиловая, вальяжная дама. Отделом Запада заведовал Владимир Францевич Левинсон-Лессинг, с которым в дальнейшем меня связала искренняя дружба. Я его тогда еще на знал, но был знаком с его отцом, академиком-геологом Францем Юльевичем, встречался с ним в период работы в Академии Наук.

Даже отсутствие директора не задержало моего оформления: слишком необходим был Эрмитажу сотрудник моего профиля. Единственным препятствием являлось то, что я не считал себя вправе бросить на произвол судьбы знамена. Однако и это удалось уладить. 16 августа 1936 года я был зачислен в Эрмитаж на должность старшего научного сотрудника Отдела Запада и назначен заведующим Отделением оружия и его хранителем. Мне была предоставлена возможность работать по совместительству в Военном историко-бытовом музее с выделением на эту работу нескольких дней в месяц.

Я не только с радостью отдавал работе свои силы, не считаясь со временем: теперь, засыпая ночью, я с воодушевле-

нием предвкушал удовольствие от служебных занятий, предстоящих на завтра...

Эрмитаж — музей-гигант. В нем хранится около двух с половиной миллионов экспонатов, он занимает четыре здания. В 30-х годах число его сотрудников — научного и технического персонала — значительно превышало тысячу человек. Среди них были ученые с мировым именем. Эрмитаж организовывал собственные экспедиции, пополнявшие новыми памятниками его баснословные коллекции. Он продолжает делать это по настоящее время.

В Отделении оружия хранилось с середины 30-х годов около 7500 предметов старинного русского и западноевропейского оружия. Оно содержалось в левой башне здания Нового Эрмитажа, построенного по проекту архитектора Лео фон-Кленце и законченного в 1850 году. В башне вьется металлическая лестница, а вокруг нее располагаются семь комнат разного размера. В одной из них был кабинет заведующего отделением, в другой — мастерская для чистки оружия, в третьей — библиотека отделения. Остальные комнаты занимал «запас» — то есть оружие, не находившееся на экспозиции. Экспонируемое же оружие занимало самый большой зал Зимнего Дворца — Гербовый зал, бывший Большой тронный зал и примыкавший в нему Аполлонов зал.

Была назначена комиссия по приему мной собрания оружия, поскольку отсутствующий не по своей вине А.А. Автономов не может передать мне собрание, как положено. Комиссия, в состав которой входил и я, поднимается по лестнице, ведущей в Отделение, снимает печать с входной двери, начинает обход комнат — и в библиотеке натыкается на груду оружия, громоздящуюся на полу и почти сплошь покрытую ржавчиной. Ржавчина не только проступает на металлических частях оружия, но и широким пятном расплывается под ним на паркете! Это уже чрезвычайное происшествие, требующее принятия срочных мер.

Когда комиссия удаляется, в Отделении остаемся мы, его сотрудники, в числе трех человек: старушка Дарская, которая впредь будет заниматься составлением описей, служитель Николай Федорович Денисов и я. Консервационные мероприятия, опись всех имеющихся в наличии предметов собрания — это наши первейшие, неотложные задачи (без со-

ставления описи приемка Отделения не может считаться завершенной). А затем придется без промедления приступить к колоссальной работе, — детальной инвентаризации всех вещей, хранение которых поручено мне. Такая же работа идет и во всех других отделах музея — это очередное, плановое мероприятие.

В принципе в Эрмитаже существует единый инвентарь. В отделе учета и хранения, на полках, тянущихся вдоль стен, в несколько рядов стояли сотни толстых инвентарных книг в кожаных переплетах. В них, в порядке поступления, заносились все экспонаты. Но такая система учета ценностей в музее, хранящем два с половиной миллиона предметов искусства, давно уже сделалась чистой фикцией. Поэтому было отдано распоряжение провести кропотливейшую работу по составлению новых инвентарных книг, с «привязкой» всех предметов искусства к местам (отделениям, комнатам и даже шкафам) их хранения. С этой целью всем отделениям музея были присвоены соответствующие шифры, и каждый экспонат описывался, обозначался шифром отделения и порядковым номером в пределах этого отделения, а уже после этого вписывался в инвентарную книгу последнего.

Николай Федорович Денисов, в обязанности которого входила чистка оружия, был человеком своеобразным. Небольшого роста и плотного сложения, он носил усы, придававшие ему сходство с котом. Он принадлежал к числу старых дворцовых служителей; некоторое количество их еще сохранилось в Эрмитаже вплоть до конца 30-х годов. В этом здании Денисов прослужил около сорока лет. Сотрудники не любили его, и от них постоянно можно было слышать: «Что ж вы идете по такому-то делу сами, — пошлите Денисова!» «Велите сделать то-то и то-то Денисову...» и т.п. Но я жалел старика, тем более, что к своей работе он относился очень ревностно, был на редкость аккуратен и не только хорошо чистил оружие, но и в Отделении поддерживал чистоту и порядок. Он являлся на службу задолго до официального начала рабочего дня и ни минуты не сидел без дела.

Но были у него и неприятные мещанские черты. Сотрудники рассказывали мне, что, когда они вместе с Денисовым пребывали в доме отдыха, он ухаживал там за какой-то женщиной и она показывала им записки, полученные от Николая

Федоровича и подписанные «Аполонт»... Ну что ж, это, конечно, смешно, но и старик с лицом кота тоже мог увлекаться.

Любил он и похвастаться. Мне он показывал старый фотопортрет какой-то высокопоставленной дамы, в мехах и бриллиантах, и говорил, что это его покойная жена. Рассказывал он также, что его сын окончил перед революцией Академию генерального штаба и теперь служит в Красной армии большим начальником, а дочь — «ведущий инженер»...

Уборщиц, приходивших в Отделение, он буквально съедал, выговаривая им за качество уборки. Они постоянно плакали и жаловались мне и более высокому начальству. Однако в его придирках был резон. Больше всего мы боялись коррозии, этого самого страшного врага металла. Сотрудники Отделения работали с оружием только в перчатках. А уборщицы, к тому же часто менявшиеся, обычно оставались глухи к инструктажу. Придет такая женщина и сырой тряпкой начинает обтирать пыль с клинков и прочих металлических частей оружия. Николай Федорович часами сидит над сложной работой чистки экспонатов и сам заботится о том, чтобы на них не было пыли. А тут вся его работа пропадает. В конце концов пришлось отказаться от помощи уборщиц. Мне удалось выхлопотать Денисову дополнительную оплату, и он, приезжая очень рано, до начала рабочего дня занимался уборкой помещения. Вскоре я добился назначения Денисова на должность реставратора.

Но «на каждую старуху бывает проруха». Как-то раз я задержался в Отделении оружия допоздна. Рабочего дня никогда не хватало для выполнения неотложной работы. Мозг занят, и я, не замечая этого, курю папиросу за папиросой. И тут оказалось, что вышли все спички. Поискав их и не найдя, я прошел в комнату, в которой Денисов чистил оружие. Он давно уже ушел, но у него была электрическая плитка, которой он пользовался и при чистке оружия, если требовалось подогреть какой-нибудь состав, и при кипячении любимого им «явского» чая. В этой же комнате находились старинные, сделанные еще при Николае I, полки с суконными занавесками. На них Денисов складывал очищенное оружие.

Подхожу к тумбочке, где на каменной подставке обычно стоит плитка. Ее нет, но я вижу провод, который тянется от электрической розетки к полке, под занавеску. У меня на лбу

выступил холодный пот. Бросаюсь к полке. На ней стоит включенная плитка, над которой уже пузырится смола, выступившая из сухой верхней полки! Опоздай я на несколько минут — и вспыхнул бы пожар, от которого могла бы сгореть половина Эрмитажа, забитого экспонатами и мебелью.

Так привычка много курить за работой спасла и Эрмитаж, и меня. Пожар имел бы для меня лично фатальные последствия. Я никому не сказал об этом происшествии, кроме Денисова. Но он мне не поверил. Он был убежден, что не мог допустить такой оплошности — оставить плитку включенной...

Когда в Отделении оружия началась инвентаризация, стало ясно, что силами штатных сотрудников не обойтись. На временную работу, связанную только с инвентаризацией и оплачиваемую сдельно, были приглашены еще три человека, в том числе — мой большой друг, Вера Васильевна Чернова. С Верой меня познакомил Дима Ловенецкий. Это была красивая, много пережившая женщина. Она два раза выходила замуж и дважды развелась. У нее был маленький сын Никита. Вера нуждалась в заработке, и работа по переписке экспонатов с карточек в инвентарную книгу ее устраивала, тем более что для этого не требовалось придерживаться строгого служебного расписания. Однако после моего ареста в 1938 году Вере пришлось расстаться с Эрмитажем. Ее вызвала заведующая отделом кадров Эрмитажа, противная особа, типичная «сталинистка», несмотря на то (или, может быть, именно потому), что ее отец был крупным хозяйственным служащим Зимнего Дворца при царе, и заявила: «Вы ставленница врага народа Косинского и должны уйти!»

Рассказывая о первых месяцах моей работы в Эрмитаже, не могу не упомянуть об одном из собраний и о научно-производственной конференции.

Вскоре после моего поступления в Эрмитаж состоялось общее собрание сотрудников, посвященное «текущему моменту». Тогда такие собрания проводились повсюду и были обычным явлением. Вел собрание парторг, вскоре после этого арестованный, что также, увы, в те годы никого не удивляло: всюду выискивались и изымались так называемые «враги народа» — с целью устрашения этого самого народа и «в назидание другим». Мне запомнились выступления на собрании заведующей Отделением скульптуры Отдела Запада Жанет-

ты Андреевны Мацулевич и заместителя директора Татьяны Львовны Лиловой, незадолго до того принимавшей меня в Эрмитаж. Как и большинство выступавших, они старались всячески показать свою приверженность к сталинщине. В своем очень эмоциональном выступлении Мацулевич перешла к событиям шедшей тогда гражданской войны в Испании и, говоря о зверствах испанских фашистов, разрыдалась. Дело было, конечно, не в испанских фашистах — просто нервы у всех были до крайности напряжены. Лиловая тоже плакала, стараясь обелить себя ввиду тут же сделанного ей упрека: кто-то из сотрудников прозрачно намекал на ее близкие отношения с одним музейным и партийным работником, уже арестованным карательными органами. Арест означал, что об этом человеке уже следовало говорить не иначе как о «враге народа». В августе 1937 года Лиловая была уволена из Эрмитажа по распоряжению Комитета по делам искусств, которому подчинялись все музеи.

В заключительном слове на этом памятном собрании парторг начал грубо обвинять сотрудников в том, что они «льют крокодиловы слезы», в то время как от них требуется на деле доказывать свою преданность великому вождю и партии. Я откровенно не понимал, чего от нас всех хотят, но атмосфера шантажа, угроз и террора чувствовалась на этом собрании вполне явственно. Поэтому собрание произвело на меня очень тяжелое впечатление.

Научно-производственная конференция отличалась более деловым характером. Она проходила в помещении эрмитажного театра и заняла несколько дней. Выступали многие, но самое большое впечатление произвел на меня академик Орбели, с которым до того я, собственно, не был знаком. Он говорил умно и смело. Он открыто осудил одного из сотрудников Эрмитажа, который проник в кабинет своего коллеги в отсутствие последнего и обнаружил там черновик рукописи, где упоминалось искусство современной (т.е. нацистской) Германии. Последовал донос, в результате которого органами НКВД был арестован крупный специалист по западноевропейскому искусству Валентин Фридрихович Миллер (два года спустя он погиб в заключении).

Говоря о методах экскурсионного дела, Орбели осудил «времена покойного политпросвета», когда пропаганда искус-

ства подменялась такими приемами, как, например, показ уборной, в которой умерла императрица Елизавета Петровна. В ответ на выступление заведующего «просветчастью» музея (тоже вскоре арестованного), который говорил, что в недалеком будущем экскурсоводы будут обслуживать не только экскурсии, но и отдельных посетителей, Орбели выразил сомнение в полезности такого нововведения. Часто, говорил он, в Эрмитаж приходят люди, знающие и любящие искусство, чтобы наедине полюбоваться его памятниками. И вдруг к ним приблизится недостаточно грамотный, наспех подготовленный экскурсовод и начнет просвещать их. По этому поводу директор вспомнил и поведал присутствующим анекдотическую историю, происшедшую здесь же, в стенах Зимнего Дворца, во время первой мировой войны.

Как известно, тогда в Зимнем Дворце был устроен лазарет для раненых воинов. Кроме врачебного персонала, в этом лазарете работало много светских дам, окончивших медицинские курсы. Вот одна из таких дам ухаживает за тяжелораненым солдатом. Он страдает от раны и докучливые услуги сердобольной дамы только увеличивают его страдания. Наконец, он не выдерживает и, когда дама вновь подходит к нему со словами:

— Бедный солдатик, может быть ты хочешь, чтобы я написала письмо твоим родным в деревню?

Он со стоном, едва сдерживая себя, отвечает:

— Сударыня, я приват-доцент Московского университета, я сам могу написать письмо! Умоляю вас, оставьте меня в покое!

Орбели коснулся также вопроса о сверхурочных работах, которые не оплачивались, но широко применялись в Эрмитаже. Он подчеркнул, что такие работы запрещаются. Кстати, этот запрет также был связан с особенностями того времени, когда каждый гражданин должен был постоянно находиться на глазах у «коллектива» — у своих сотрудников на службе, у жильцов своей коммунальной квартиры — во внеслужебное время. Всякое уединение казалось подозрительным.

А между тем я постоянно вынужден был работать сверх обычного служебного времени, вечерами, и только поэтому Отделение оружия успешно выполняло план инвентаризации. Это обстоятельство заставило меня выступить на эрми-

тажной конференции; но Иосиф Абгарович ответил мне, что я совмещаю работу в Эрмитаже с работой в Военном историко-бытовом музее и поэтому не укладываюсь в официально установленные служебные часы. Вообще же запрет на сверхурочные работы не может быть отменен для отдельного сотрудника, этот запрет касается всех.

На следующий день я передал Левинсон-Лессингу, соблюдая субординацию, заявление на имя директора Эрмитажа, в котором объяснял причину совместительства и, коль скоро оно оказывалось невозможным ввиду полученных разъяснений, просил освободить меня от работы в Эрмитаже. Владимир Францевич усиленно отговаривал меня от подачи заявления. Мне самому было очень тяжело расставаться с Эрмитажем, но долг не позволял мне, единственному специалисту-знаменоведу, оставить беспризорными знамена в жалком музее.

Тогда Орбели вызвал меня. Он принял меня любезно и даже ласково и объяснил, что накануне я неправильно его понял: он сказал как раз обратное тому, о чем я пишу в заявлении. Он будто бы сказал, что «для отдельного сотрудника, конечно, может быть сделано исключение». После этой беседы я взял свое заявление обратно, не скрыв перед директором своей радости по этому поводу.

В стенографическом отчете конференции, который я читал потом, было написано так, как сказал Орбели при объяснении с ним наедине. Что делать! директору крупнейшего музея страны, академику, в эти странные времена приходилось быть дипломатом даже в сущих мелочах...

Может показаться непоследовательным и непонятным, что так изменилось мое отношение к работе в Эрмитаже. Ведь совсем недавно — в 1930 году — меня отговорили от этого, испугавшись арестов, которые тогда уже начались в этом музее. Но теперь я понимал окружающую обстановку несравненно лучше, чем тогда. Я уже определенно знал, что сталинский террор зависел не от происхождения людей, не от их преданности своей родине или режиму, не от партийности, не от участия в революционной борьбе и тем более не от работы в том или ином учреждении. Я знал это по собственному опыту и по тем фактам, которые происходили и множились вокруг. Система террора наиболее эффективна, когда она

дополняется бессистемностью: только тогда никто не чувствует себя в безопасности, что, в сущности, и является целью кампаний террора.

С 1930 года аресты в Эрмитаже не прекращались. За это время были арестованы и подверглись репрессиям очень многие его сотрудники: член-корреспондент Академии Наук Алексей Алексеевич Ильин, профессор Александр Александрович Автономов, его помощник Эмилий Оскарович Линдроз, около десяти лет состоявший директором Эрмитажа Сергей Николаевич Тройницкий, Валентин Фридрихович Миллер, Николай Григорьевич Зенгер, Алексей Павлович Келлер и многие другие, а в конце 1937-го и в последующие годы, когда «органы» особенно развернулись, пострадало еще много сотрудников Эрмитажа.

Для характеристики караемых «преступлений» приведу два примера. Об одном из них я знаю со слов И.А. Орбели. Арестовали А.А. Ильина, члена-корреспондента Академии Наук. Это был древний старик (Ильин родился в 1858 году), согбенный временем и постоянно придерживающий рукой отвисающую челюсть, но сохранивший свежесть ума, один из самых известных нумизматов в Европе. Он проработал в Эрмитаже более двадцати лет, заведовал отделом нумизматики. Орбели поехал в Управление НКВД хлопотать за Ильина. Начальник, к которому он обратился, вознегодовал: «А вы знаете, за кого вы вступаетесь?! Ильин был тайным советником царя Николая II!» Ильин, действительно, имел гражданский чин тайного советника, но к царю не имел никакого отношения. Орбели объяснил, что тайных советников в России было очень много и этот чин вовсе не означал, что они что-то доверительно, «втайне от народа», советовали царю. Ему удалось отстоять старика. Ильин умер во время блокады Ленинграда в возрасте 84 лет.

Второй пример относится к тому времени, когда Харьков (а не Киев, как впоследствии) был столицей Украинской ССР. В Отделение оружия, которым тогда заведовал А.А. Автономов, поступила просьба Харьковского Государственного Музея о передаче ему нескольких предметов старинного вооружения. Существует официальный порядок передачи экспонатов из музея, который в силу «избыточности» своих коллекций не имеет возможности экспонировать многие из

хранящихся в нем ценностей, в музей, нуждающийся в пополнении своей экспозиции. Сначала последний обращается с соответствующей просьбой к музею-хранителю, а уже затем, в случае его согласия, посылает перечень просимых экспонатов в министерство культуры (в 30-х гг., когда этого министерства не существовало, — в комитет по делам искусств). Это ведомство отдает приказ о передаче экспонатов, и они поступают в заинтересованный музей. В случае, о котором идет речь, вся эта официальная процедура была проделана, и в Харьков поступили из Эрмитажа несколько двуручных мечей шестнадцатого (!) века и другие предметы старинного вооружения.

А вслед за тем были арестованы Автономов и его помощник Линдроз. Их обвинили в снабжении оружием украинских националистов и отправили в концентрационные лагеря. Автономов, по-видимому, там и погиб, а Линдроз, отбыв срок заключения, работал где-то лесничим.

...Военный историко-бытовой музей вступил в полосу новых преобразований. Начальник его, Т.И. Воробьев, начальник Артиллерийского музея полковник Ян Фрицевич Куске и большинство ведущих сотрудников обоих музеев, среди которых был и я, пришли к общему заключению, что отделение Историко-бытового музея от Артиллерийского было явным недоразумением и эти музеи надо бы снова объединить. Оба начальника и несколько их сотрудников, в том числе В.В. Аренд и я, были приняты начальником политуправления Ленинградского военного округа в помещении бывшего Генерального штаба на Дворцовой площади (она тогда называлась «площадь Урицкого»). После доклада о желательности слияния музеев и последующей непродолжительной беседы вопрос был решен положительно. Вскоре появился приказ о преобразовании Историко-бытового музея в Исторический отдел Артиллерийского музея. Начальником отдела назначался Т.И. Воробьев, а я — ученым хранителем этого отдела. Приказ о таком воссоединении был подписан заместителем наркома обороны Яном Борисовичем Гамарником.

Кажется, на другой день после получения приказа из Москвы я обратился к Тихону Ильичу с просьбой дать мне прочесть приказ «товарища Гамарника». Воробьев, с печалью в глазах и грустью в голосе, произнес: «Михайло Федорович,

Гамарник нам больше не товарищ». И объяснил мне, что этот деятель покончил жизнь самоубийством накануне своего ареста как «врага народа». Гамарник застрелился 31 мая 1937 года, а приказ, подписанный им, поступил к нам уже в июне.

Летом 1937 года мы с Димой решили навестить его родных, живших в Башкирии, в Стерлитамаке. До того времени я был знаком только с одной из его сестер, Ниной Брониславовной Проницкой, жившей на Урале и приезжавшей как-то к Диме в Ленинград.

По дороге я хотел повидать моих тетю Наталью Михайловну и дядю Михаила Михайловича. Они жили в Самаре (переименованной к тому времени в город Куйбышев), куда были сосланы после убийства Кирова. Переписываясь, мы условились, что дядя и тетя выйдут на перрон самарского вокзала к приходу нашего поезда.

Во время высылки им оказал денежную помощь наш общий друг, известный ученый, член-корреспондент Академии Наук, заведующий кафедрой в Военно-морской академии Петр Федорович Папкович. Этот человек сам испытал смертельную опасность после Кронштадтского восстания. Никакого отношения к восстанию он не имел, а просто попал в число заложников, которых большевики в панике нахватали в Петрограде. Заложников тысячами топили, вывозя с этой целью в баржах с раскрывающимся дном, которые предназначались для транспортировки песка. Папкович спасся так: его погрузили в баржу вместе со многими офицерами старого флота, жившими в Петрограде, и хотели вывезти в море, но в последний момент баржа была задержана. Отобрав, кажется, несколько нестроевых офицеров, бывших особенно ценными специалистами, в том числе и Папковича, их вернули на берег.

Спустя двенадцать лет, в 1933 году, Папкович был избран членом-корреспондентом Академии Наук, в 1940 году получил звание контр-адмирала (революция застала его в чине полковника), в 1944 — звание заслуженного деятеля науки и техники, в 1946 — Сталинскую премию первой степени. Известный теоретик кораблестроения, он считался крупнейшим авторитетом в области механики корабля после смерти академика А.Н. Крылова. Но все это не могло оградить его близких от сталинского произвола. Сын его первой жены, горный ин-

женер Вознесенский, был арестован в 1937 году, брат второй жены — расстрелян в том же году, а отец ее умер в ссылке. Да и сам Петр Федорович не мог чувствовать себя застрахованным от подобных «невзгод», безотносительно к сыпавшимся на него «благодеяниям». Его жизненный путь кончился так: в том же 1946 году, возвращаясь домой из Военно-морской академии, он упал на набережной недалеко от дома. Его подняли и принесли домой уже мертвым. Диагноз врачей гласил: сердечный приступ. Крупный ученый и прекрасный человек, умерший в 59-летнем возрасте, не выдержал испытаний сталинского режима и пал его жертвой.

...Поезд пришел в город, куда были сосланы мои дядя и тетя, с большим опозданием. Шел второй час ночи, и на вокзале царила тишина. Я уже думал, что не увижусь в этот раз с родными, — но вдруг за окном вагона услышал голос тети. Дима и я вышли на перрон и увидели там обоих стариков. Встреча была трогательной. Время стоянки поезда позволило нам переговорить о многом. Я хотел передать тете Наташе некоторую сумму денег. Но она отказалась принять их, ссылаясь на то, что деньги у них есть, а мне они понадобятся в Стерлитамаке, и даже вручила мне какую-то вазочку в качестве подарка для матери Димы, с которой она не была знакома. Немного спустя, воспользовавшись тем, что тетя Наташа занята разговором с Димой, я предложил деньги дяде. Он шепотом ответил мне, что денег у них нет, что тетя просто стесняется их принять, и взял деньги. Поезд отправлялся дальше. С тяжелым чувством я смотрел вслед уходившим в темноту фигурам моих стариков. Больше я их никогда не увидел. Наталья Михайловна умерла в Куйбышеве после войны, в 1946 году, а Михаил Михайлович — там же, в тюрьме, в 1938-м.

В Уфе нам предстояла пересадка на поезд, который должен был доставить нас в Стерлитамак. Мы провели в Уфе два дня: остановившись в гостинице, осмотрели город, побывали в музеях. В одном из них работал бывший директор Эрмитажа Сергей Николаевич Тройницкий, отбывавший в этом городе ссылку.

Стерлитамак оказался почти полностью деревянным городом, зеленым и пыльным. Родные Димы произвели с первого же дня очень приятное впечатление. Его отец Бронислав

Иванович происходил из польской семьи Топор-Ловенецких, родился в Могилевской губернии в 1860 году и получил агрономическое образование. Всю жизнь он работал агрономом. Когда я познакомился с ним, это был глубокий старик с седой бородой и прекрасно сохранившимися зубами, еще крепкий и бодрый. Он все еще работал. Бронислав Иванович дожил до 83-летнего возраста и умер в 1943 году. С ним и с матерью Елизаветой Антоновной жила старшая дочь Ольга; ее десятилетний сын Вова был любимцем всей семьи. Он стал постоянным нашим спутником в прогулках по городу и по купанью в реке Стерле.

Месячный отпуск пролетел быстро. По возвращении в Ленинград начались новые неприятности, — впрочем, было уже ясно, что им едва ли наступит конец. Осенью 1937 года в Артиллерийский музей прибыл из Москвы некий военный и, вызывая поочередно сотрудников музея, чинил им форменный допрос. В этот день я торопился в Эрмитаж и попросил принять меня вне очереди. В кабинете начальника музея, с глазу на глаз, он начал допрашивать меня, задавая вопросы, не имеющие никакого отношения ни к музейным делам, ни к моей работе. Прервав его, я сказал, что совершенно излишне допрашивать меня наводящими вопросами. Я честно работаю, а что до моих «недостатков», то могу перечислить их сразу, в виде перечня. Он согласился, и я перечислил: баронский титул, ссылку, эмигрировавшего за границу брата. Тем не менее, следуя, видимо, данной ему инструкции, он вскользь спросил меня еще о планах моей научной работы, — и мы простились. Было совершенно ясно, что мне не дадут впредь работать в военном учреждении (каким в известной степени мог считаться Артиллерийский музей) и в ближайшее же время уволят. К этому времени самым влиятельным лицом в музее оказался язвительно-добродушный, цепко присматривающийся ко всем рядовой солдат, назначенный заместителем начальника музея по политической части («замполитом»). Всеволод Викторович Аренд был арестован, Тихон Ильич исключен из партии за обнаруженную в его библиотеке книгу, в которой упоминался кто-то из участников Октябрьской революции, расстрелянных при Сталине. Правда, Воробьев отделался легко: его оставили на службе и даже восстановили в дальнейшем в партии.

Я решил переговорить с ним о своей судьбе и сказал ему, что учиненный допрос наверняка повлечет за собой мое увольнение из Артмузея, так что мне лучше самому подать заявление об уходе. Тихон Ильич возражал и в конечном счете настоял на том, чтобы я, уходя, все же составил договор с музеем, который позволил бы пользоваться моими услугами как внештатного сотрудника.

7 октября начальник музея полковник Куске подписал приказ о моем уходе по собственному желанию. А еще дня через два Воробьев сказал мне, что я был прав: из Москвы пришло — теперь уже запоздалое — распоряжение уволить меня из музея.

Кончался 1937 год. Среди поверхностных, неглубоких «разоблачений» сталинщины, которыми ознаменовался относительно недолгий период правления Хрущева, спустя четверть века, этот год многократно фигурировал как «период нарушений социалистической законности». Однако было бы неправильно связывать ужасы коммунистического режима с каким бы то ни было отдельным годом или даже периодом. Одним из принципов сталинщины, впоследствии прекрасно усвоенных в маоцзедуновском «красном Китае» и в других странах,был принцип перманентного террора. Только последний время от времени усиливался «разовыми» кампаниями, вроде коллективизации и «раскулачивания» в конце двадцатых и начале тридцатых годов, вроде свирепой чистки вооруженных сил во второй половине тридцатых, вроде кампании подавления нэпа и изъятия у населения золота и других ценностей. В период непосредственно перед войной с Германией особое внимание «органов» устремилось на только что присоединенные области — Западную Белоруссию, Западную Украину, Молдавию, Прибалтику. Их же — а заодно с ними и все края, побывавшие под немецкой оккупацией, — усиленно «советизировали» в послевоенные годы. В какой-то мере это уменьшало интенсивность репрессий в собственно России, но никогда не означало их прекращения.

В стране нечем было дышать уже задолго до 1937 года. Страшному давлению, небывалой цензуре подвергалась литература, хирело и вырождалось искусство — от архитектуры до театра. Счастливы поистине писатели и поэты, умершие до «расцвета» советской литературы — начиная от Короленко и

кончая Андреем Белым и Максимилианом Волошиным. «Поколение, промотавшее своих поэтов», — так назвал нас критик Роман Якобсон, на свое счастье отбывший вскоре после революции в Чехословакию и назад не вернувшийся. Действительно, воздух советской России оказался губительным не только для Есенина или Мандельштама, но и для Маяковского, Корнилова, Цветаевой. Этот перечень загубленных невероятно длинен и не заканчивается предвоенными годами. Бодряческая, пустопорожняя поэзия и проза тридцатых годов была страшной — потому что не была литературой, вместе с тем претендуя на это название и вытесняя настоящую литературу. Редко-редко на этом безрадостном фоне проблескивали талантливые вещи — выскочил, например, будто пьяненький, шалый, но задорный и какой же русский мотив «Песни о встречном» — эту песню, написанную Шостаковичем на слова Бориса Корнилова, пела чуть ли не вся страна — пела даже и после того, как ее автор был арестован и погиб в тюрьме, а слова «стали считаться» «народными» (так и указывалось в песенниках — «музыка Шостаковича, слова народные»). Этого показалось мало — и песню вовсе изгнали, погасили. Сколько было таких случаев!

Я старался жить интересами музейной работы, уходил в прошлое от безрадостного и страшного настоящего. Но и я не мог не видеть, что будто паровой каток катится по моему родному городу — то закроется книжный магазин, то исчезнут бесследно дорогие мне люди, то еще раз даст себя знать запрет написать за границу, получить оттуда письмо, прочитать статью в иностранном журнале по своей специальности...

Приблизительно в это время мне позвонил по телефону племянник Всеволода Викторовича Аренда. Я с ним не был знаком, но он пояснил мне, что живет в квартире своего дяди, после ареста которого осталось много книг, и Аренд написал ему из места заключения, чтобы он обратился ко мне с предложением купить для Эрмитажа книги, которые сочту нужным, по истории оружия. Понятно, я был рад помочь Аренду, оказавшемуся в беде, и в то же время это предложение устраивало и Эрмитаж. В Эрмитаже была великолепная библиотека, в частности богатая книгами по оружию, но последние поступления таких книг, изданных за границей,

относились к началу 20-х годов. Впрочем, и таких было мало. Основные поступления в фонд оружиеведческой литературы имели место еще при хранителе Отделения средних веков и эпохи Возрождения Эдуарде Эдуардовиче Ленце, умершем в 1919 году. Поэтому более новые заграничные издания по истории оружия, бесспорно имевшиеся в библиотеке Аренда, явно представляли интерес.

Переговорив с заведующим библиотекой Эрмитажа, я побывал на квартире Аренда и отобрал довольно много книг. Оценка, приобретение и доставка их в Эрмитаж были произведены сотрудниками библиотеки.

Вскоре после этого я встретил в библиотеке заведующую Отделением скульптуры Отдела Запада Жанетту Андреевну Мацулевич. Она очень возбужденно начала упрекать меня в помощи «врагу народа». Ее муж, ученый-византолог Леонид Антонович Мацулевич, молча присутствовал при этой сцене. Я выслушал Жанетту Андреевну и ограничился тем, что, не оправдываясь, довольно сухо объяснил ей, почему приобретенные книги представляют ценность для Эрмитажа.

А жизнь города шла своим чередом. Люди привыкли к непрочности своего положения, к атмосфере неуверенности и страха, к тому, что вчерашний друг, муж, знакомый вдруг оказывался «врагом народа», ко всеобщей подозрительности, к угрозе собственного ареста. «Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили...»*

Мама продолжала работать машинисткой и жила в снимаемой ею комнате. Тетя Наталья Михайловна и дядя Михаил Михайлович прозябали в ссылке. Как ссыльный существовал в Боровичах и дядя Константин Михайлович. Его старший сын Георгий работал в Ленинграде, а младший, Роман, был врачом в Вологде, где с ним жила жена и восьмилетняя дочь Таня. Старшая сестра Георгия и Романа, Ольга, с мужем Леонидом Владимировичем Клименко, в то время профессором Ленинградского Политехнического института, и трехлетним сыном Володей, благодаря должности, занимаемой Клименко, оказались в привилегированном положении. Их семья занимала квартиру в «профессорском доме» — в Лесном, рядом с институтом, они ни в чем не нуждались. Старший

* Евангелие от Луки, гл. 17, с. 28.

сын Ольги Константиновны: Всеволод учился в Политехническом, а его отец Георгий Михайлович Тырышкин все еще находился в концлагере. Дети покойного дяди Алексея Михайловича, Иосиф и Надежда, жили в Ленинграде с матерью, бабушкой и ее сестрой и готовились к поступлению в школу.

Мама часто приезжала ко мне, и я навещал ее. У меня (я все еще жил в комнате Димы Ловенецкого) часто собирались друзья по Кировскому заводу и по Эрмитажу. Из эрмитажников бывали: Лев Львович Раков с женой, Михаил Михайлович Дьяконов с женой, Антонина Николаевна Изергина, Рахиль Моисеевна Хай с мужем Михаилом Михайловичем Семёновым.

Навещавшая меня бывшая моя сотрудница по Кировскому заводу рассказала мне по секрету от других, что ее вызывали несколько раз в НКВД и поручали слежку за мной, и что она отделывалась слезами.

В начале лета 1938 года в Эрмитаже приступили к подготовке выставки «Военное прошлое русского народа». Коллективу авторов было поручено написать очерк-путеводитель по выставке. Возглавлял этот коллектив ученый секретарь Эрмитажа Л.Л. Раков. Он и научный сотрудник Лидия Сергеевна Пискунова писали исторический очерк о России XVIII-XIX веков. Я писал о России до XVIII века и об оружии вообще. Профессор Александр Михайлович Розенберг работал над освещением нашего военного противника — Запада. Над очерком мы работали, как правило, вечерами. Часто присутствовал академик Орбели.

Для выставки ряд ценных предметов был куплен у Тучковых. Павел Николаевич Тучков с женой и дочерью был возвращен из ссылки в Ленинград, как и я, но его старший брат и мой товарищ Ника был почему-то оставлен и погиб в Казахстане. Среди вещей, купленных у Тучковых, находилась и попала на выставку, в частности, табакерка, принадлежавшая Кутузову; миниатюра на ее крышке изображала фельдмаршала, сидящего перед портретом Суворова.

В июле я и Дима Ловенецкий поехали в Вологду, где решили провести очередной отпуск. Здесь жил мой двоюродный брат Роман, давно приглашавший нас побывать у него. Он жил с семьей — женой Екатериной Владимиров-

ной и единственной дочерью Таней — в отдельном домике из двух комнат. Осмотрели город, побывали в больнице, где работал Роман. С ним всегда было весело, он не унывал ни при каких обстоятельствах, был бодр и жизнерадостен. А между тем, его самого и его жену ждала трагическая смерть.

В Вологде мы посетили жившую там в ссылке старушку Кондоиди, мать моего приятеля художника Бориса Владимировича Кондоиди, когда-то способствовавшего моему поступлению в Академию Наук. У его матери мы застали еще одну мою знакомую, тоже ссыльную даму, сын которой находился в концлагере. Эта дама, некогда богатая и принадлежавшая к светскому обществу, была очень религиозна. Она рассказала о своей поездке в Москву, где она хлопотала за сына и умудрилась пробиться на прием к прокурору СССР Вышинскому. Перед этим она молилась и посещала различных духовных лиц. Войдя в кабинет Вышинского, обращаясь к этому зловещему человеку, она совершенно непроизвольно начала так: «Отец Вышинский, отец Вышинский!» Ее рассказ произвел очень тяжелое впечатление. Как горе лишает людей рассудка!

15 июля 1938 года коллектив авторов очерка-путеводителя по выставке «Военное прошлое русского народа» задержался в Эрмитаже очень долго. В этот день работа над текстом путеводителя была завершена. Работали мы в просторном кабинете ученого секретаря. Когда мы — Раков, Пискунова, Розенберг и я — уже собирались разъехаться по домам, в кабинет вошел Иосиф Абгарович Орбели. Он был доволен нашим трудом (хотя к научной работе последний не имел никакого отношения) и, так как там неоднократно упоминались гусарские полки, шутливо сказал, что в молодости мечтал служить в гусарах. Я принял это за правду. Чем черт не шутит, всякое могло быть в те давние времена. Через семь лет я напомнил Иосифу Абгаровичу эту его фразу. Он вспомнил давний разговор и сказал, что тогда пошутил. Мне показалось, что «цепкость» моей памяти неприятно удивила его, — ведь если я так долго помнил этот по существу малозначительный эпизод, то мог помнить и массу других, не всегда благоприятных для директора Эрмитажа. Поэтому я пояснил, что тот вечер так врезался в мою память оттого,

что сразу же за ним последовали события совсем другого порядка, на много лет оторвавшие меня от музея и от любимого дела.

Было уже поздно. Наступала ночь. Мы простились «до завтра». Я вызвал по телефону такси и уехал вместе с Александром Михайловичем Розенбергом. Водитель такси должен был отвезти Александра Михайловича на Выборгскую сторону, на улицу Комсомола, где он жил в доме, непосредственно примыкающем к тюрьме «Кресты», а меня по дороге «забросить» на Сытнинскую площадь, домой.

Мы прощались «до завтра», а это завтра наступило через семь долгих лет.

## *Глава 16. Новый арест и «следствие»*

Дима был дома. Только мы принялись за ужин, как раздался звонок. Открыли. Перед нами стояли два человека в форме НКВД. Они предъявили мне ордер на обыск и арест. У меня уже был «опыт», но не могу сказать, чтобы я не волновался. Дима был совершенно расстроен. «Опять! Сколько же это может продолжаться! Лучше б арестовали нас обоих, чем мне волноваться за тебя...» И тут прозвучал опять звонок. Вошел милиционер и принес ордер на арест Димы, выписанный, видимо, «вдогонку», ибо сотрудники НКВД сбивались с ног в эти месяцы, — и еще раз на обыск той же самой комнаты, теперь уже в связи с Димой. Так мгновенно исполнилось неосторожно высказанное им желание.

Этот «двойной» обыск начался и длился довольно долго. Ничего компрометирующего кого-либо из нас не нашли. Отобрали несколько фотографий и писем, документы. Составили акт обыска и сказали: «Собирайтесь!»

В квартире к этому времени все проснулись и взволнованно забегали по комнатам. Один из приехавших за мной работников «органов» был, видимо, следователем, второй — рядовым солдатом. Мне понадобилось пройти в уборную, солдат сопровождал меня. Остановившись в дверях уборной, он тихо сказал мне, что сейчас в тюрьме очень плохо, обращение с заключенными жестокое. Что я мог ответить на это? Я молча принял сказанное к сведению. Мы простились с вышедшими в переднюю перепуганными Фаворскими, и я попросил Людмилу Александровну известить маму о нашем аресте. Комнату, в которой все было перевернуто вверх дном, опечатали, и мы спустились по лестнице.

Подъехал «черный ворон», пустой, и нас посадили в него. Недолгий путь — и мы во дворе тюрьмы при «Большом доме», на проспекте Володарского. Там стояло еще несколько

только что подъехавших машин, из которых выгружались арестованные. Началась длительная процедура приема в тюрьму. Нас с Димой разделили. В большой комнате принимали по нескольку человек одновременно. Работник, заполнявший мою анкету, записал, что я уже сидел в тюрьме, и, взглянув на меня с явным сочувствием, сказал: «Раз вы уже через это прошли, может быть, это облегчит вам положение заключенного...» В следующей комнате отбирали все, что не полагалось хранить при себе, все металлические предметы, подтяжки, вынимали шнурки из ботинок, срезали пуговицы с пиджаков и брюк, так что их приходилось с этого момента поддерживать руками... Еще одна комната — полутемная: здесь снимают отпечатки пальцев. В промежутках между этими процедурами вталкивали в крохотный чуланчик без окна.

Наконец, меня отвели в «карантинную камеру» с двухэтажными нарами, на которых расположилась масса народу. Отсюда заключенных направляли в баню, и только после этого они разводились по камерам. В карантинной камере мы опять встретились с Димой. Мы положили наши вещи рядом на нары и только начали обсуждать наше положение, как дежурный подошел к решетке, отделявшей камеру от коридора, и выкликнул мою фамилию: «Косинский, к следователю!» Мы простились с Димой «на всякий случай», и я последовал за «цириком». Так заключенные почему-то называли охранников, — вероятно, из-за того, что заметная часть их принадлежала явным образом к желтой расе, а по-монгольски «цирик» означает — солдат.

Мы спустились в первый этаж. Длинные коридоры, в которые выходили двери следовательских кабинетов. Я обратил внимание на узкие шкафы, расставленные у стен между дверей: раньше их не было. Цирик ввел меня в один из следственных кабинетов и ушел. Я огляделся. У самой двери, в углу, стоял маленький круглый столик и стул при нем. У окна — письменный стол. Там и сям без явного порядка было расставлено еще несколько стульев. За столом сидел пожилой следователь, указавший мне на стул у двери. Он вынул из ящика стола несколько листов бумаги и начал задавать мне вопросы. Эти вопросы, задаваемые спокойным, вежливым тоном, в сущности говоря, были повторением анкеты, которую уже заполняли с моих слов по прибытии в тюрьму. Составив

анкету, следователь предложил мне расписаться на каждом листе, положил листы в папку, убрал ее в ящик стола, повернулся к окну и стал молча в него смотреть. Я сидел и ждал, что будет дальше. Прошло несколько тягостных минут, затем дверь открылась и вошли трое молодых людей. Следователь вышел, оставив меня с ними. Больше я его не видел.

Парни минуту разглядывали меня. Затем один из них крикнул: «Встать!» Я тоже смотрел на них. Обыкновенные здоровые парни, я мог встретить таких на работе и вообще вне тюрьмы, приятельски разговаривать с ними, не думая ни о каких неприятностях. Но здесь было место *их* работы.

Странно, — я ни капли не был напуган, хотя их тон не предвещал ничего хорошего. Понимая, что это представители власти, и не желая давать повода для еще более грубого обращения, я поднялся со стула. Все трое вплотную приблизились ко мне.

— Признавайся, сволочь, в своей контрреволюционной деятельности!

— Мне не в чем признаваться. Контрреволюционной деятельностью я не занимался.

В ответ раздалась изощренная брань и на меня посыпались удары. Я постарался оказать пассивное сопротивление. Защищал руками лицо, отскакивал, уклоняясь от ударов, и несколько минут мы вертелись вчетвером по небольшой комнате. Но их было трое и все обладали недюжинной силой и «спортивным» здоровьем. Я же был один и физической силой не обладал. Понятно, что не прошло и десяти минут, как я падал от слабого удара. Им, конечно, ничего бы не стоило тут же меня прикончить, но это, очевидно, не входило в их задание.

Пытаясь безуспешно защищаться или, вернее, прикрываться руками, я кричал, наивный человек, чтобы вызвали какое-нибудь начальство.

— Ах ты, блядь, хочешь начальство! Сейчас получишь его.

На минуту они оставили меня в покое. Один из них вышел и быстро возвратился в сопровождении какого-то юноши, почти мальчика, одетого в форму НКВД.

— Вот тебе начальство, жалуйся!

Кем был этот юноша? Он с ужасом смотрел, как они вновь начали заученными приемами меня избивать и, ни слова не проронив, повернулся и вышел из кабинета.

Уже ночь сменилась днем, мои «следователи» сменялись, вместо первых пришли трое таких же парней, их заменили еще трое. Я пробыл в кабинете следователя около трех суток. Меня привели в совершенно безобразное состояние. При этом стояла жаркая погода и мне все время хотелось пить. Я уже плохо понимал, что происходит вокруг. Иногда они, по-видимому устав, отдыхали. Иногда выходили все вместе и тогда выбрасывали меня в один из узких шкафов, стоящих в коридоре, и запирали его на ключ. Но и там я вынужден был стоять, так как шкаф был настолько узок, что опуститься в нем на пол было нельзя. Иногда меня выпроваживали в уборную и там совали мою голову под кран. Тут я с жадностью пил воду. Как же я, находясь в полусознании, все же мог запомнить, что пробыл «на допросе» около трех суток? Потому, что два раза меня кормили обедом. Прекращалось избиение, «молотобойцы» то ли куда-то исчезали, то ли рассаживались на стульях тут же рядом. В кабинет входила женщина в белом халате и на подносе приносила обед из трех блюд, очевидно из служебной столовой. Оба раза я не мог есть. Но я делал вид, что ем, стараясь протянуть время передышки. Женщина вновь появлялась и уносила почти нетронутый обед. Истязатели, как будто очнувшись и неожиданно вспомнив обо мне, вновь приступали к своему делу.

На третьи сутки цирик выволок меня из кабинета следователя, буквально выволок, так как я еле держался на ногах и опирался о стену, чтобы не упасть. Цирик сопровождал свою помощь отборной бранью — впрочем, едва ли искренней. Скорей она была для него средством показать свою исполнительность. Он довел меня до той же карантинной камеры, где мы расстались с Димой. Она по-прежнему была полна арестованных, — но это были уже другие люди. Димы в камере не было. Мои вещи лежали на месте, и в них была засунута пайка хлеба и три кусочка сахара.

Отсюда, пройдя баню, я попал в общую камеру. В камере, рассчитанной на одиннадцать человек, сидело более двухсот. Так же были переполнены и другие камеры этой тюрьмы. Здесь, при «Большом доме», сидели только «враги народа». Так называемые б ы т о в и к и (т.е. арестованные за «бытовые», неполитические преступления) содержались в «Крестах», женской тюрьме и других местах заключения.

Итак, «политическая» тюрьма на улице Воинова была переполнена. Проходя по коридору тюрьмы, мимо больших, отделенных от коридора решетками арок, позволяющих дежурным надзирателям видеть всю внутренность камер, я наталкивался взглядом на массы людей, толпившихся за решетками, как звери в зоологическом саду. Камеры были слабо освещены — электрическими лампами, так как окна были закрыты снаружи железными козырьками, доходившими почти до самого верха и пропускавшими недостаточно света. Это была новость. Козырьки, шкафы возле кабинетов следователей, как и самые методы следствия были, возможно, заимствованы у гитлеровских тюрем. Или гитлеровцами — у сталинских тюрем? История разберет.

Чтобы уложить на ночь набитых в камеру людей, сооружался второй этаж «спальных мест» из деревянных щитов. Пол камеры и этот щитовой настил заполнялись лежащими впритык людьми. На день щиты убирались, и вся масса людей, не имея места присесть, беспрерывно циркулировала по камере, наподобие того, как циркулируют зрители по фойе театров в антракте.

«Свежие» заключенные, прибывшие с воли, входили в камеру и, приткнувшись в сторонке, с ужасом смотрели на «старожилов». В помятой, затасканной одежде или в одном белье, в майках, потому что на улице и в переполненных камерах стояла жара, обросшие бородами люди, непрерывно кружащиеся по камере, казались непривычному глазу настоящими бандитами и убийцами.

Входит, бывало, такой «новенький» и жмется в углу, боясь шелохнуться. Приближается к нему обросший бородой тип, в грязной майке, в истрепанных брюках:

— Здравствуйте, Петр Иванович!

Петр Иванович со страхом вглядывается и вдруг узнает в свирепом оборванце коллегу из того же «вуза», в котором он сам преподавал... до вчерашнего дня.

— Боже! Иван Семенович!

Такие встречи были не редкостью. А после первого допроса Петр Иванович уже и сам «обвыкает» и становится мало отличимым от старожилов камеры.

Понять принцип «репрессий» было нелегко. В камере я увидел пожилого пьяницу, постоянно валявшегося на тро-

туаре возле Сытного рынка, недалеко от дома, где я жил. Там встретил я и профессора Ленинградского университета, и уличного чистильщика сапог — айсора, и познакомился с симпатичным бывшим пожарным Вализером, инвалидом, с которым мне довелось потом лежать в тюремной больнице...

Некоторые сидели давно. Большинство же быстро заканчивало свой тюремный стаж и переходило на лагерный — часто после первого допроса. Помню, появились в камере два партийных работника с одного и того же предприятия. Сначала они, как и многие арестованные, уверяли, что их арестовали по ошибке, что вот только выяснят эту ошибку — и их выпустят на волю. Узнав о методах следствия, они утверждали, что никто и никогда не сможет заставить их признать вину, которой за ними нет. В тот же вечер их вызвали к следователям. Через несколько часов оба вернулись подавленные и потрепанные. На вопрос товарищей по несчастью они объявили, что «все подписали». Но как же так, ведь они ни в чем не повинны и их взяли по ошибке? Оказывается, следователи внушали им, что «сознаться и разоружиться» необходимо: это требуется партии, вот они и исполнили свой партийный долг. Вид возвратившихся в камеру деятелей красноречиво свидетельствовал о том, каким был этот «партийный долг».

В каждой камере были староста, его помощник и члены «кассы взаимопомощи». Староста признавался администрацией тюрьмы и обычно обладал наибольшим тюремным стажем и опытом, нередко накопленным не только благодаря данному аресту, но и из предыдущих столкновений с советской тюремно-лагерной системой. Его помощник заведовал раздачей пищи, а «касса взаимопомощи» занималась отчислением с выписываемых продуктов и папирос в пользу заключенных, не имеющих денег на тюремном счете. В этот период никакие передачи заключенным не разрешались, но можно было переводить на их счет деньги, что давало возможность выписывать продукты и папиросы из тюремной лавки.

По установившемуся в тюрьме порядку, всякий новоприбывший должен был представиться камере и рассказать последние новости с «воли».

Тюрьму тогда заполняли крики. Многие заключенные пытались кричать в окна о том, что их избивают, провоцируют, очевидно рассчитывая, что их услышат родные и знакомые,

также сидящие в тюрьме. Очень часто приходилось слышать крики людей, протестующих против методов следствия и называвших следователей «фашистами». Забавно, что кличка «фашисты» в послевоенное время сделалась употребительной в отношении советских политзаключенных. Так их называли товарищи по несчастью, отбывавшие наказание по другим, не политическим статьям, — «бытовики»...

В нашей камере никто не кричал, но я помню одного молодого инженера, который по нескольку часов в день упражнялся в приемах самозащиты, очевидно готовясь к встрече с «молотобойцами».

В самом худшем положении были женщины — арестованные, как правило, попросту заодно с мужьями, испытывающие на себе каждодневный ад такого же следствия и совершенно беззащитные против него. Одна из моих знакомых, совсем молодая женщина, исчезла в застенках еще до того, как арестовали меня. Она уцелела. Спустя много лет, уже после Хрущева, на улицах Москвы можно было услышать ее возбужденный голос, почти крик, убеждающий всех в превосходстве сталинского правления. По тротуару двигалась скорым шагом, то и дело оборачиваясь назад и выкрикивая отрывистые фразы, фигура, почти потерявшая человеческий облик. Оживленно жестикулируя, энергично обращаясь за поддержкой к прохожим, она повторяла, собственно, одно и то же: «При Сталине такого безобразия не было! Не допускали такого безобразия! При Сталине...» Прохожие потупляли глаза; многие замедляли шаг, тщетно рассчитывая отстать, некоторые смущенно бормотали: «тише, тише!» Но куда там! — ей нужна была аудитория, и долго еще издалека доносилось: «При Сталине!.. При Сталине!..» Кто знает, что с ней делали на «допросах», — только действительность перевернулась в ее сознании. Почитание Сталина ей *вбили в голову* пожизненно...

Как правило, допросы производились ночью. В первую же ночь после моего возвращения в камеру с «допроса» меня вновь отвели в следовательский кабинет, где меня ожидали «молотобойцы», и все повторилось снова.

Длилось это более полутора месяцев. Правда, избиения теперь производились только по ночам, а днем мне давали передышку. Кроме того, иногда вместо троих истязателей

действовало двое, а порой и один. Но если учесть, что я с каждым днем становился слабее и приобрел тяжелую болезнь почек в результате этих профессиональных избиений, — ясно, что и одного человека, выделяемого для меня, было более чем достаточно.

Мне отбили почки. Сначала отекли ноги, потом отек распространился выше. Мошонка отекла так сильно, что стала размером с голову ребенка. К врачу меня не допускали. Находившийся в нашей камере доктор-заключенный ничем не мог мне помочь, но все-таки умудрился сделать мне подобие суспензория из моей рубашки, который я и носил, прикрывая мошонку, так как в брюки она уже не могла поместиться.

Я никогда не был сильным, но обладал чертовской выносливостью. Тяжело больной, я держался на ногах и выносил непрекращавшиеся избиения. Даже больше того. Во мне росла злоба и заставляла держаться гордо и ни в коем случае не сдаваться палачам. Но когда меня вели на допрос, мною владели только две мысли: или произошло бы чудо, которое бы заставило прекратить избиения, или меня бы прикончили на очередном допросе.

У меня начались галлюцинации. В кабинете следователя мне казалось, что стены его изгибаются, приближаясь к овалу. Однажды, стоя и глядя себе под ноги, я с удивлением обнаружил, что паркетный пол кабинета сделан из дощечек, служивших ранее какому-нибудь художнику для этюдов. Потом листы фанеры разрезали и сделали паркет, сохранив на нем написанные маслом этюды. Как сейчас помню: как раз на том месте, где я стоял (а постоянные «стойки» изводили не меньше избиений), две паркетины были сделаны из разрезанной вдоль дощечки, на которой масляной краской был написан носорог. Но паркетчик прибил их так, что ноги носорога пришлись над его головой и спиной. Несколько раз я попадал в этот кабинет и, не веря себе, проверял, так ли это. И всякий раз видел этого носорога с ногами, расположенными над спиной.

Однако случаю было угодно, чтобы к нам в камеру привели как-то молодого архитектора. Оказалось, что он принимал участие в постройке «Большого дома», жертвой которого теперь сделался сам. Я рассказал ему о носороге и спросил, как это могло получиться. Он, как и следовало ожидать,

ответил, что это чистейшая галлюцинация на почве избиений, так сказать «мираж следствия».

И все же я сохранял разум и находил в себе силы сопротивляться. Хотя это было невероятно трудно, — и не только из-за моего собственного физического состояния.

Находясь в кабинете следователя, я как бы присутствовал при пытках и истязаниях других заключенных. В соседнем кабинете я слышал глухие удары и отчаянный крик молодого, судя по выговору, китайца или корейца: «Бóллино!.. Бóллино!» И в мозгу рождалось представление о том, как его колотят головой о стену.

Другой раз я слышал голос следователя или молотобойца: «Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!..» и быстрый топот женских туфель под этот счет. Затем женский плач, звук падающего тела и брань: «Вставай, сволочь! Вставай, блядь!» И снова счет: « Раз, два, три четыре!..» и топот женских ног...

Меня мучили, били, но сознание, что так же мучают других, не приносило мне облегчения, не заставляло «покориться судьбе», а наоборот, еще больше обостряло озлобление против палачей и давало силы для сопротивления. Драма заключалась в том, что все это происходило с нашими гражданами, в своей, а не иностранной тюрьме. Как ни странно, многие, испытывавшие то же, что испытал я, все еще цеплялись за какие-то остатки надежды и веры: верили, внушали себе, что Сталин здесь ни при чем и не знает о происходящем. Я не принадлежал к числу таких.

Я тогда понял, что человек в состоянии перенести страшные мучения и выжить, но сама жизнь в этих условиях стала для меня обузой.

Два раза, когда избиения было особенно трудно перенести, я пошел на сознательный обман моих палачей. В разгар избиений я крикнул, что согласен «писать о своих преступлениях». Каждый раз «молотобойцы» немедленно прекращали бить, сажали меня за круглый столик, давали мне лист бумаги, чернильницу и перо. И тут возникала короткая комедия с трагическим концом. Сев за стол, я говорил, что не знаю, о чем писать. Я предлагал им продиктовать мне текст. Сначала они ругали меня, кричали, что я их провоцирую, а потом соглашались и диктовали текст «признания». Я его

писал как можно медленнее, стараясь продлить передышку. И оба раза разные «молотобойцы» диктовали мне один и тот же текст, очевидно заранее подготовленный на случай, если от меня удастся добиться «признания».

И конец сцены совпадал — до единого слова:

— Ну как, написал? (передышка кончилась).

— Читай, что ты написал! — Проверяют.

— Теперь подпиши.

Зная, чем это окончится, я, смотря в лицо палачам, говорю:

— Но это же ложь. Вы диктовали, вы и подписывайте.

Тут они, как звери, набрасывались на меня, избивали, а бумагу, на моих глазах, рвали в клочья и бросали.

Более года спустя, при окончании следствия, следователь предъявил мне эти листы. Они оказались целехонькими и даже не помятыми.

Два раза за эти полтора месяца я видел «начальство». Однажды я стоял в следственном кабинете. Была белая ночь. На этот раз на диване боролся со сном только один молодой еврей. Очевидно, он не выспался, ругал клопов в диване и меня:

«Вот сволочь! Стоит, как белогвардейский офицер на допросе!» Едва ли он лично сталкивался с «белогвардейскими офицерами», — всего вероятнее, ему пришли в голову кадры из какого-нибудь фильма 30-х годов, где эти гордые офицеры на допросах очень быстро увядали, становились жалкими и приниженными и давали какие угодно показания, дрожа от страха перед следователем. Но, действительно, я старался стоять прямо, не сгибаясь, как бы это ни было для меня тяжело. Я смотрел в окно и видел, как на другой стороне узкого двора, за раскрытым окном кабинета, спортивного вида человек в форме НКВД инструктировал целую группу молодых людей. Очевидно, это был очередной набор «молотобойцев». Инструктор показывал им приемы избиения заключенных.

Дверь отворилась и вошел пожилой высокий мужчина в штатском костюме, но со значком «почетного чекиста» на лацкане пиджака. Мой мучитель вскочил с дивана и отрапортовал начальству, что допрашивается такой-то и что он, то есть я, еще не сознался в своих преступлениях.

Начальник подошел ближе и в вежливой форме стал меня уговаривать. Он говорил, что я зря упорствую и не хочу признать свою вину, что я молодой ученый и все еще у меня впереди, а мое упорство плохо кончится. Если же я подпишу признание, то меня отправят в лагерь на небольшой срок.

«А в лагерях у нас люди за честную работу ордена получают!»

Эту фразу об орденах моим родным — двоюродной сестре, арестованной в годы войны и отправленной в лагеря на десять лет, и двоюродному брату, арестованному много позже и получившему такой же «срок», — приходилось слышать на допросах, происходивших уже не в 30-х, а в 40-х и 50-х годах. Да, тупость человеческая и подлость человеческая живуча!

Я отвечал, что не знаю за собой никаких преступлений, и что если я дам следствию ложные показания, то это действительно будет антигосударственным поступком.Он сказал еще несколько общих фраз и вышел.

Второй раз дело было так. Примерно около часу ночи дежурный вызвал меня на очередной допрос и повел из здания тюрьмы в примыкавший к ней спереди «Большой дом». Кабинеты следователей, находящиеся в старом здании тюрьмы, носили у заключенных прозвище«Старый Шанхай». Они славились особенной жестокостью методов следствия. Кабинеты в «Большом доме» назывались «Новым Шанхаем», и считалось, что там допросы не так страшны. Возможно, это происходило потому, что окна многих кабинетов «Нового Шанхая» выходили на улицу, а не во внутренний двор тюрьмы. А может быть, «органам» не хотелось пачкать кровью свежий паркет и стены недавно построенного здания, где помещалось ленинградское управление НКВД.

Сопровождаемый дежурным, я прошел по длинному коридору, соединяющему тюрьму с «Большим домом»; мы поднялись на лифте и вошли в кабинет, уютно освещенный лампой, стоявшей на письменном столе. Перед столом — мягкое кожаное кресло. Из-за окон, задернутых шторами, доносился шум ночного города. По-видимому, они выходили на проспект Володарского (Литейный).

За столом сидел изящный молодой человек в штатском костюме. Отпустив «цирика», он указал мне на мягкое кресло, осмотрел меня и воскликнул:

— В каком вы виде?! Что с вами?

Я ответил, что хотел бы это узнать от него.

— Вам необходимо лежать, подставив под задние ножки кровати что-нибудь, иначе вы не избавитесь от своего отека.

— Но в камере не позволяют лежать днем...

— Я дам дежурному записку, чтобы вам разрешили лежать днем.

Затем он начал меня уговаривать «признать вину», иначе меня убьют во время следствия, попросту забьют досмерти. А у меня еще жизнь впереди, и в случае признания меня ждет относительно небольшой срок заключения в лагере, после которого я смогу продолжать работать по специальности.

Он говорил также, что методы следствия продиктованы необходимостью, что они очень дорого обходятся самим следователям, что многие из них будто бы сходят с ума. Я отвечал ему то же, что и персоне со значком «почетного чекиста».

Продолжая меня уговаривать, следователь неожиданно протянул мне какой-то листок.

— Вот список польской группы националистов, которую вы возглавляли. Подпишите его, и вас сразу перестанут мучить.

Я пробежал список. В нем было около тридцати фамилий, явно польского характера, но принадлежащих совершенно неизвестным мне лицам. И среди них только одна знакомая фамилия — Ловенецкий Дмитрий Брониславович.

«Ну и подлец же ты», — подумал я, глядя на следователя. А вслух сказал:

— Никого из этих людей я не знаю, кроме Ловенецкого. За честность его я готов поручиться.

— Советую вам подумать. Вы можете, если хотите, написать, что не вы организатор этой группы, а Ловенецкий. Не торопитесь, подумайте. Я оставлю вам список и бумагу. Через час я вернусь, а вы хорошенько подумайте и напишите.

— Я не напишу ничего. Вы хотите, чтобы я признал себя не только контрреволюционером, но и подлецом.

— Не торопитесь, спокойно подумайте и взвесьте все, — повторил он. — Через час я вернусь, — сказав это, он вышел из кабинета и закрыл за собой дверь.

На письменном столе осталась лежать раскрытая папка с моим делом. Ее содержимое, конечно, очень меня интересовало. Но в то же время я был уверен, что за мной следят, и продолжал неподвижно сидеть в кресле. Побоями от меня не добились ничего. Неужели теперь это позади и мои мучители решили сменить тактику?

Вдруг до меня донеслись отдельные фразы из кабинета, расположенного, как мне казалось, под той комнатой, в которой я был оставлен. Следователь допрашивал какого-то, судя по голосу, мальчика, по тому, что я слышал, сына крупного партийного работника. Мальчик отрицал обвинения по адресу своего отца и самозабвенно защищал его. Прислушиваясь к этому допросу, я не заметил, как прошло время.

Вошел молодой хозяин кабинета. Увидев, что передо мной лежит чистый листок, он произнес:

— Ну что ж, не хотите писать. Советую вам еще подумать. Завтра я вызову вас опять.

Я спросил его, как он решился оставить меня одного в кабинете, да еще с моим делом, лежащим на столе.

— Что вы! Я же знаю, с кем имею дело. Вы же порядочный человек, а не какой-нибудь бандит. Я уверен, что вы не прикоснетесь к не принадлежащим вам вещам. Да, кстати, я обещал вам написать записку... — он взял бумагу и, написав несколько слов, отдал ее пришедшему за мной «цирику». Действительно, мне разрешили лежать днем.

Когда я рассказал в камере об этой беседе, нашлись люди, которые знали этого изящного молодого человека. Они рассказали, что он начальник какого-то следственного отделения и мой тезка. Заключенные называли его «Мишенькой».

Больше я его не видел.

Как ни странно, заключенные были хорошо информированы о событиях, происходящих в стране. Это в известной мере объяснялось тем, что все время прибывало пополнение, и от него мы получали свежие новости. Но вот что поразительно. Многие события делались известными в камере намного раньше, чем они попадали в печать. Так, слухи о смещении Ежова с поста наркома внутренних дел и о замене его Берией проникли к нам раньше официального объявления об этом факте. Вдобавок в официальном сообщении отставка Ежова объяснялась болезнью: как было сказано в газетах, враги на-

рода, хорошо зная непримиримость к ним этого «сталинского наркома», боясь новых разоблачений, опрыскали ядом шторы и портьеры в его кабинете и таким образом извели верного сталинца. Мы же с самого начала услышали, что Ежов смещается в виде наказания. Много позже (уже в 60-х годах) стало известно — из полуофициальных источников — о том, что вскоре он был расстрелян по указанию Сталина: очередной «мавр» сделал свое дело и должен был уйти в небытие.

Нам эта замена ничего не принесла.

Где-то около 1 сентября я был так сильно избит, что потерял сознание. Меня притащили с «допроса» в камеру. Камера зашумела. Двести с лишним человек требовали врача. «Цирики» забегали. При помощи воды — единственного средства, бывшего в его распоряжении, заключенный врач привел меня в сознание, но шум в камере не прекращался. Тогда дежурные отвели меня и еще нескольких больных в тюремный врачебный пункт. Там находилось два или три врача. Молодой врач осмотрел меня и прочел мне диагноз: «Нефрозо-нефрит почек на почве механического воздействия». Когда нас выводили из врачебного пункта, я шел последним и почувствовал явно дружеское похлопывание по лопатке. Оглянулся. За мной шел осматривавший меня врач.

В тот же вечер меня в тюремной санитарной машине отвезли в тюремную больницу при «Крестах».

Это спасло меня. Я пробыл в больнице год и этому врачу обязан жизнью.

В этот период, — не знаю, как в дальнейшем, — для сохранения тюремной тайны, то есть для сокрытия происходивших зверств, администрация НКВД помещала больных, госпитализация которых требовалась немедленно, в тюремные больницы, находившиеся при других тюрьмах, нежели те, в которых заключенный содержался до госпитализации. Но это очень мало способствовало сохранению тайны. Во-первых, больных и умиравших в результате жестоких методов следствия было слишком много. Во-вторых, по окончании следствия содержавшихся в следственной тюрьме вообще старались поскорее отправить оттуда, потому что эта тюрьма, предназначенная для политических заключенных, была чрезвычайно перегружена.

## *Глава 17. В тюремной больнице. Окончание следствия*

После камеры на Шпалерной больница при «Крестах» казалась настоящим раем. Чистота, кровати со свежим бельем, еда, разносившаяся на чистых тарелках, отсутствие истязаний, окна без решеток, тишина, заботливое лечение, человечное отношение персонала... Окна уборной выходят в сад какого-то учреждения и частью на улицу, по которой ходят трамваи и вольные люди. Даже следствие, продолжавшееся в больнице и производившееся во врачебных кабинетах, носило более мягкий характер. Да и велось оно только по отношению к некоторым ходячим больным.

Но нельзя забывать, что сюда привозили уже почти обреченных людей: либо покалеченных во время следствия, либо тех, кого, в силу весьма преклонного возраста или состояния здоровья еще до ареста, просто нельзя было держать в тюрьме. Многие умирали, причем кровати с умирающими, перед самым их концом, выносились в коридор. Почти каждый вечер к «крестовской» больнице подъезжал фургон, запряженный лошадью, и в него грузили покойников.

Из «Шпалерки», между тем, до нас дошло известие о некотором улучшении положения со следствием. Подследственных будто бы почти прекратили истязать, — безусловно, по указанию свыше. В 1937 году волна арестов принесла столь обильный «улов», что руководители «органов» оказались перед задачей во что бы то ни стало поскорее переработать его и разгрузить тюрьмы для следующих этапов. Вот и пошли в дело «молотобойцы». Стандартное обвинение, выдуманное небогатой фантазией следователя, несколько сеансов физической обработки — и огромное большинство людей подписывали то, что от них требовали...

Что касается меня, то хотя, затягивая следствие, я едва не распрощался с жизнью, но многое и выиграл. Прежде всего,

я не оказался подлецом и никого не оговорил. Кроме того, подписав что-либо, я наверняка получил бы десять лет срока, и если бы даже пережил их в концлагерях в условиях военного времени, то освобождение ждало бы меня только в 1948 году, а в том году вовсе невыгодно было освобождаться: в ближайшие месяцы, в лучшем случае через год или два (притом проведенные обязательно в ссылке!) меня арестовали бы снова. Я же, не подписав никаких ложных «признаний», никого не подведя, в силу явного недостатка материала для проведения суда, был заочно «пропущен» через так называемое Особое Совещание, которое в ту пору давало стандартные пять лет заключения. Правда, опасность «приговора», вынесенного Особым Совещанием, заключалась в том, что по окончании тюремно-лагерного срока он мог быть так же заочно продлен. Со мной, к счастью, этого не случилось. Но об этом позже.

Итак, сентябрь 1938 года, больница при ленинградской тюрьме «Кресты»...

«Цириков» мы видели редко, за исключением одного, постоянно дежурившего в нашем коридоре и одетого в белый халат. Его прозвали «Ваня-барабанщик» — потому что он, выводя в уборную ходячих больных, подходил к двери палаты и выбивал по ней дробь. Сравнительно молодой еще парень, он разнообразил тягучие часы своих дежурств довольно невинно: после возвращения заключенных в палату он любил на пороге открытой двери читать им нотации. В уборной разрешалось курить. И если он находил там брошенный на пол окурок, — следовала лекция о том, как с брошенного окурка начинается путь преступлений, который привел нас в тюрьму...

Наутро при приезде, при обходе главного врача, я спросил его, есть ли у меня надежда остаться в живых. Он ответил:

— Положение ваше тяжелое, но молодость может вам помочь.

Через несколько дней этого врача сменили — не знаю, по какой причине, — и на его место назначили доктора Титову.

Я навсегда сохранил в душе благодарность тюремному врачу Титовой. Да, наверное, и не я один. Немногословный, казалось бы сухой человек, Титова заслужила самую горячую признательность заключенных. Многие просто обязаны ей

жизнью. Рискуя стать сама жертвой сталинского режима, она не только проявляла заботу о лечении больных, но и умела уберечь их от посягательств следствия.

В 1959 году один мой знакомый* встретился с ней и напомнил ей обо мне. Оказывается, Титова, все еще продолжавшая работать в больнице при «Крестах», хорошо помнила прошедшее. Когда мой знакомый выразил удивление, как она сохраняет в памяти столько людей, лечившихся у нее в те уже далекие годы, она ответила, что забыть этого нельзя.

В больнице приняли срочные меры к тому, чтобы привести меня в состояние, пригодное к продолжению следствия. Прошло десять или пятнадцать дней, и с меня согнали отеки. Меня перевели в палату, где лежали выздоравливающие. Назначили общую диету. И тут состояние моего здоровья сразу ухудшилось. Меня вернули в палату для тяжелобольных, и я провел в ней много месяцев.

Мой перевод из тюрьмы в больницу не мог не взволновать маму. Она потом рассказала мне следующее (это было на свидании в больнице Пересыльной тюрьмы, через полтора года после моего ареста). В городе уже отлично знали, отчего заключенные довольно скоро после ареста попадают в больницы при тюрьмах. В то же время администрация никаких справок на этот счет не давала. Получив квитанцию в переводе денег на мой тюремный счет со штампом не «Шпалерки», как обычно, а «крестовской» больницы, мама пришла в отчаяние и сразу бросилась в Кресты.

У ворот тюрьмы ей сказали, что посетителей в нее, конечно, не пускают. Но мама была в таком состоянии, что не могла думать о своей собственной безопасности и требовала, чтобы к ней вызвали какое-нибудь начальство. По-видимому, ее состояние подействовало на охрану, потому что вызвали помощника начальника Крестов. Тот отнесся к ней очень грубо, заявил, что арестует маму, отобрал у нее паспорт и повел в тюрьму. Но так как у него не было ордера на арест, дело кончилось тем, что он отвел ее в кабинет начальника тюрьмы, которым был тогда некто Леонтьев. Начальник отнесся к маме совершенно иначе. Он приказал возвратить ей паспорт

* Дм. Ловенецкий, ближайший друг автора воспоминаний. В конце 50-х он попал в «Кресты», будучи арестован на этот раз по случайной и нелепой «бытовой» статье. (И. К.)

и не задерживать ее в тюрьме. Его власти было недостаточно, чтобы устроить свидание матери с сыном в тюремной больнице, однако он расспросил ее, постарался успокоить, пообещал узнать о состоянии моего здоровья и сообщить маме. Этого он не сделал, но не по своей вине: в самое ближайшее время его самого арестовали.

Примерно в это же время кто-то из заключенных, лежавших со мной в одной палате, рассказал мне историю Леонтьева. Этот разговор возник в связи с арестом начальника тюрьмы, о чем нам стало известно.

История такова. Ленин, сидя в «Крестах» (или в «Шпалерке»?), пользовался услугами одного из дежурных по тюрьме для общения с волей. Многие надзиратели брали у политических заключенных подобные поручения, но, прежде чем их выполнить, передавали письма и записки начальству, которое использовало их в сыскных целях. А надзиратель Леонтьев не принадлежал к числу таких осведомителей и честно выполнял поручения Ленина. Когда произошел Октябрьский переворот, он пробился к Ленину в Смольный и попросил выдать ему «охранную грамоту». В то время арестовывались не только бывшие министры, но и бывшие городовые и тюремные служители. Узнав Леонтьева, Ленин предложил ему должность начальника «Крестов».

Не знаю, насколько достоверна эта история. Что до Леонтьева, то его арестовали в 1938 году, обвинив в связи с заключенными. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Итак, год я пробыл в больнице. Лечили меня добросовестно и лекарствами, и физиотерапией, и, что было самым неприятным, бессолевой диетой. Когда я стал поправляться и сделался «ходячим больным», началось следствие. Я говорю «началось», потому что до того следствия как такового не было, а было только выбивание признания отсутствующей вины явно неквалифицированными «молотобойцами». Хотя и теперь следствие велось явно тенденциозно, но все же следователями, а не палачами, и без применения «физического воздействия». Да и трудно было бы его применять — не было подходящих для этого условий, не то что в «Шпалерке». Вместе с тем бросалось в глаза, что мне почему-то было оказано исключительное внимание. Только меня одного в больнице допрашивали регулярно. К остальным заключенным,

бывшим в больнице, следователи если и приезжали, то очень редко. За время пребывания в больнице со мной «работали» два следователя. Первый, фамилии которого я не знаю, держал себя достаточно прилично. Его быстро заменили другим, считавшимся, вероятно, более способным.

Помню, что первый следователь зачитал мне показания инженера Михаила Коврова. Эти показания имели поразительное сходство с тем, что диктовали мне «молотобойцы», избивавшие меня в тюрьме. Я потребовал очной ставки.

Миша Ковров, молодой инженер, находившийся в дружеских отношениях с моим двоюродным братом Романом, два раза побывал у меня дома за несколько лет до нашей встречи в тюремной больнице. Это был симпатичный молодой человек, отец которого, тоже инженер, заведовал городской водонапорной станцией и давно уже был арестован. Сын все время опасался ареста, и мне было понятно, что его путем шантажа и угроз заставляли давать ложные показания. На одного ли только меня?

На очной ставке Ковров выглядел удрученно и не поднимал на меня глаз. Судя по тому, как он был одет, становилось очевидно, что еще не арестован.

Давая показания, Ковров стал заикаться и вдруг замолк. Следователь начал кричать на него и требовать, чтобы он продолжал («Не хотите помочь следствию?!»). «Свидетель» порылся в кармане, достал бумажник, вынул оттуда какой-то листок и стал читать по нему продолжение своих показаний. Я, дождавшись окончания чтения, обратился к следователю и потребовал, чтобы этот факт был занесен в протокол, иначе я не распишусь в протоколах очной ставки. Тогда следователь, которого, естественно, ни тот, ни другой вариант не устраивал, велел Коврову повторить те показания, которые он давал, еще не заглядывая в шпаргалку. Смущенный Ковров рассказал, что когда он был у меня дома, я крайне непочтительно отозвался о Сталине. Я попросил разрешения у следователя задать свидетелю вопрос и спросил, присутствовал ли кто-нибудь еще при этом разговоре. Ковров назвал несколько имен. Понятно, что «отзываться непочтительно» о Сталине, да еще в компании, тогда было очень опасно и ни один нормальный человек не стал бы этого делать. Я потребовал подтверждения этой заведомой лжи теми лицами, которых

перечислил Ковров. Тот еще более смутился и неожиданно заявил, что не помнит, я или кто-нибудь другой тогда дурно отозвался о Сталине...

Второй следователь, Галанов, был на редкость несимпатичным субъектом. Лгун и провокатор, он из кожи лез вон, чтобы оправдать доверие начальства, выслужиться. Такие прохвосты существуют издавна. При старом режиме он, возможно, нашел бы себе дело в полиции, а при сталинском режиме таким людям, как он, нашлась особенно обильная работа. Наружность у него была малоприметная. Небольшого роста, худощавый, с лицом заурядного шпика. Со мной держался грубо, как, вероятно, со всеми заключенными, но изредка, когда это казалось ему выгодным, заискивающе. Даже в условиях больницы он пытался однажды избить меня, но это ему не удалось. Да, по существу, какая была в этом необходимость? Для подавляющего большинства заключенных (я имею в виду «политических») суда не существовало: «Особое Совещание» штамповало приговоры заочно. Так получилось и со мной. Но об этом позднее.

Итак, следствие началось снова. Опять началось с анкеты. Копаясь в ней и стараясь найти что-нибудь меня компрометирующее, Галанов заговорил о моем брате. Я ничего «ценного» не мог, да и не хотел ему сказать. Впрочем, я действительно ничего не знал о судьбе брата. Только спустя много лет, в 1970 году, я получил о нем достоверные сведения и узнал, что он был убит во Франции, сражаясь в рядах польских войск с немцами, 14 августа 1944 года. А Галанов мне безапелляционно заявил:

— Ваш брат убит при попытке перейти советскую границу с диверсионным заданием!

Я реагировал на его слова так:

— По-видимому, вам лучше знать. Но я этому не верю.

Перебирая моих родных, знакомых и сослуживцев (из которых Лев Львович Раков, как вскоре мне стало известно, уже также сидел в тюрьме), следователь постарался меня обрадовать:

— Вашего двоюродного брата (речь шла о Романе) и всех этих Раковых, Дьяковых (очевидно, имелся в виду мой сослуживец по Эрмитажу Михаил Михайлович Дьяконов) мы тоже посадим.

На что я ему ответил:

— Да сажайте всех! «Куча мала»!

Галанов провел две очные ставки со свидетелями. Первая очная ставка была с некоей Ниной Семеновной Усит, с которой я был знаком еще в 20-х годах и с тех пор не видел.

В 20-х годах моя двоюродная сестра Ольга Константиновна с мужем и маленьким сыном поселилась в части квартиры какого-то состоятельного поляка, уехавшего в Польшу. Он, по-видимому, выехал поспешно, так как в его квартире осталась вся обстановка, от рояля до книг. Уезжая, он поселил в своей квартире двух девушек — сестер Зину и Нину Усит, доверив им сбережение своего имущества. Потом квартиру «уплотнили», то есть заселили, но девушкам оставили на двоих самую большую комнату.

Зина была славным человеком, но не отличалась привлекательной наружностью. Ее младшая сестра, напротив, была прехорошенькой и пользовалась большим успехом. Ею увлекался мой двоюродный брат Роман. У сестер Усит часто собиралась молодежь — танцевали, пили, ухаживали. Потом мое знакомство с ними само собой прекратилось в связи с тем, что мои родные переехали из дома, где жили сестры.

Галанов где-то разыскал сестер Усит, — возможно, впрочем, их не требовалось специально разыскивать. И, хотя наше знакомство прекратилось чуть ли не за двадцать лет до того, они показали, будто бы я состоял в группе, занимавшейся... свержением памятников вождям революции! Я настоял на очной ставке. Нина Семеновна Усит явилась в больницу.

Выяснилось, что теперь она член партии и политработник какого-то завода. Трудно было сомневаться в том, что она является тайным осведомителем «органов». Усит подтвердила свои показания. Я спросил ее, какие же именно памятники были свергнуты. Она ответила, что этого точно не помнит. Тогда следователь зачитал показания ее сестры, которая писала, что слышала от Нины, будто группа свергла целый ряд памятников, и перечислила, кому они были поставлены.

И тут я совершенно отчетливо вспомнил, что, будучи слушателем Высших государственных курсов искусствоведения, я с группой товарищей присутствовал на выступлении работника горкома партии в «Доме искусств», на Невском проспекте. Он говорил о решении снять, как антихудожественные,

целый ряд памятников историческим деятелям, установленных в городе в первые послереволюционные годы. Они были изготовлены из глины и других непрочных материалов, сильно обветшали и порой рушились даже от сильного ветра. Стремление оправдаться, чувство смертельной опасности особенно обострило мою память. Я даже смог перечислить, о чьих памятниках тогда шла речь, — и оказалось, что именно о них и пишет Зинаида Семеновна Усит.

Тогда Галанов спросил «свидетельницу», что еще она может показать по моему делу. Усит, говорившая до этого очень уверенно, теперь казалась явно смущенной. Она стала говорить о том, что я еще отзывался пренебрежительно об одном нашем общем знакомом — называл его вследствие «простого происхождения» «какой-то Николаев» и противопоставлял ему другого моего товарища — «графа Тучкова», о котором отзывался с почтением. Обратившись к следователю, я сказал, что достаточно обратиться к любому дореволюционному справочнику типа «Весь Петербург» — и станет ясно, что Тучковы никогда не имели графского титула. Может быть, мне и случалось назвать моего приятеля «граф Тучков», но только в шутку, а не из «почтения». Наконец, я спросил Нину, какие основания заставляют ее считать меня участником банды разрушителей памятников. Она ответила: «Я и не утверждаю, что именно вы участвовали в свержении памятников!»

Галанов был очень недоволен результатом этой очной ставки. А я понимал, что следователь бывает доволен только тогда, когда следствие дает материалы для обвинения заключенного.

Зато вторая очная ставка, проведенная им, была огорчительной для меня, — не потому, что принесла какие-нибудь серьезные показания, а потому, что происходила с сыном моей двоюродной сестры, Всеволодом Тырышкиным, в то время студентом Политехнического института. Следователь зачитал мне его показания. Там говорилось, будто бы я, неоднократно присутствуя на «сборищах» у его отца, «восхвалял царский военно-аристократический режим».

Отец Всеволода, Георгий Михайлович, как я уже писал, много пил и был классическим лгуном, так сказать, по призванию. Моя двоюродная сестра Оля разошлась с ним из-за этих и других подобных качеств. Он сидел в лагерях по при-

чинам, не связанным с политикой. Арестовали его в 1930 году, когда Всеволоду было двенадцать лет.

А в 1936 году я, вместе с профессором Лукомским, консультировал по просьбе Московского Художественного театра постановку спектакля «Анна Каренина». Тогда же я, рассказывая Оле об этой работе, говорил, в частности, что установка режиссуры МХАТа состояла в том, чтобы показать в этом спектакле «драму человеческих чувств на фоне военно-аристократического режима». При этом разговоре мог присутствовать и ее юный сын.

Когда Галанов вызвал его для дачи показаний по моему делу, он написал их в той редакции, которую ему подсказал следователь. На очной ставке он подобострастно подтверждал интерпретацию следователя.

Я спросил его, о каких «сборищах» у его отца, на которых я присутствовал, он гозорит. Ведь его отец уже давно отсутствует и давно не имеет возможности кого бы то ни было приглашать в гости. Может быть, воспоминания Всеволода относятся к последним годам, когда я приходил в гости к моей двоюродной сестре, его матери? Он ответил, что, собственно, именно это и имел в виду. Тогда, под крики Галанова, запрещавшего мне говорить, я предупредил племянника, чтобы он был осторожнее в формулировках, иначе посещения мною его матери, уже обращенные следователем в «контрреволюционные сборища», могут повредить не только мне одному.

В ответ на неистовую брань я категорически заявил следователю, что не подпишу ни одного листа дела, если будет сохранена ложная редакция показаний свидетеля. Последовал новый взрыв перебранки, но кончилось тем, что Галанов все же переписал протокол очной ставки, в гневе или в спешке ломая перья. Племяннику пришлось задержаться в моем обществе. Он сидел молча, потупя глаза...

В сентябре (если не ошибаюсь) 1939 года Галанов снова приехал в больницу и привез полностью мое «дело». Сказал, что следствие закончено и нужно подписать акт об его окончании. «Дело» представляло собой объемистую папку с вложенной в нее рыхлой кучей неподшитых бумаг. Я сказал ему, что в таком виде ничего не буду подписывать. Разве «дело» не должно быть приведено в порядок, то есть все листы

пронумерованы, подшиты и скреплены печатью? Разгневанному Галанову ничего не оставалось, как сказать, что он приедет еще раз с приведенным в порядок делом. Однако тут же он вновь настаивал, чтобы я признал свою вину, и объявил, что все равно я уже два раза, на следствии во Внутренней тюрьме, подписал свое признание. Я задал вопрос, почему же этого подписанного мной признания нет в деле. Он ответил, что думал, что я окажусь умней, но раз я сейчас не подписываю протокол об окончании дела и не признаю своей вины, то он подошьет эти бумаги к делу...

Я привык ко лжи следователя, но все-таки меня обеспокоили его слова. Два раза я ведь действительно соглашался писать под диктовку «молотобойцев», и меня избивали, когда я отказывался подписать «признание». Я помнил это хорошо, но помнил также и свои галлюцинации в то время. И начал бояться, — а вдруг, в том состоянии, в каком находился, я подписал эти бумаги?

На другой день следователь прибыл опять. Он привез мое дело, приведенное в порядок, и сказал, что дело Димы Ловенецкого (которого, как и меня, пытались обвинить в организации одной и той же «банды польских националистов») отделено от моего. В моем деле по-прежнему не было этих злополучных бумаг. Я напомнил о них. Тогда Галанов вынул из портфеля два листа бумаги и издали показал их мне. Я увидел написанные моей рукой показания... без подписи. У меня сразу отлегло от сердца. Любопытно, что оба листа не были даже помяты. А ведь «молотобойцы» при мне рвали их на куски...

— Почему вы не подшили их в дело?

— Видите ли, — голос следователя сделался слащавым и заискивающим, — на них нет вашей подписи. Подпишите их, и я присоединю их к делу.

— Пожалуйста, — ответил я, — только я напишу, что, действительно, они написаны моей рукой под диктовку следователя.

Куда девался его заискивающий тон! Он в ярости кинулся на меня, но я схватил его за руки, и несколько секунд мы стояли вцепившись друг в друга. За полуоткрытой дверью слышались шаги медицинского персонала больницы.

Видя, что припадок ярости миновал, я отпустил Галанова и сказал ему:

— Потрудитесь присоединить бумаги к делу. Иначе я подпишу его только после приписки, что следователь отказался включить в него эти бумаги.

— Я не могу включить неподписанных бумаг, — заявил он в ответ, и мы расстались.

Почему я настаивал на присоединении этих листов к моему делу? Потому, что написанное в них, слово в слово, повторялось в показаниях Коврова, прочитанных им по шпаргалке. А вдруг дело мое будут читать, пересматривать? Тогда эти бумаги покажут, откуда заимствованы его показания.

Я рассуждал очень наивно. Прошло более пятнадцати лет, прежде чем умер Сталин, его место занял Хрущев и невинно репрессированные люди — те немногие, которым удалось пережить все эти страшные пятнадцать лет, — были реабилитированы; до того я мог тысячу раз погибнуть — от голода и болезни в заключении, на фронте да и просто в силу той или иной случайности, и мне было бы уже все равно, что стало с моим «делом», пересматривает ли его кто, сверяет ли показания. А когда началась кампания массовой реабилитации жертв сталинщины и досталинщины, — реабилитировали и тех, кто с опасностью для жизни боролся за каждое слово в протоколе следствия, и тех, кто в страхе сразу же признал все выдуманные обвинения. Разницы тут не было, так как власти прекрасно знали, отчего невиновные люди охотно и бодро «сознавались в своих преступлениях». Но будущего своего никто знать не мог, не знал его и я и поэтому так цеплялся за каждую строчку толстенного «дела».

...На другой день, при обходе палат главным врачом, я заявил ей о попытке следователя применить «физическое воздействие». Титова, наклонившись ко мне, тихо спросила:

— Но вы ничего ему не подписали?

— Ничего...

Тогда она выпрямилась и громко произнесла:

— Не волнуйтесь, больше это не повторится.

Приблизительно в эти же дни я встретился в палате со студентом, сидевшим в одной камере с Димой Ловенецким. Он рассказал мне, что следствие у Димы давно закончено и

его перевели в «Кресты». Тогда же я узнал, что Лев Львович Раков также «сидит». Арестован и Павел Павлович Дервиз, ученый секретарь Отдела Запада Эрмитажа.

Вскоре, в связи с улучшением здоровья, меня перевели опять во Внутреннюю тюрьму. В камере на этот раз было гораздо меньше народа. Выводили даже на прогулку, выдавали книги из тюремной библиотеки. Один из товарищей по камере взял читать «Историю партии», и в ней оказались заклеенными портреты многих деятелей революции и гражданской войны...

Меня только один раз вызвали отсюда к Галанову. Он был приторно любезен и вновь предложил подписать протокол об окончании следствия, дав понять, что Дима Ловенецкий содержится в «Крестах» до окончания моего следствия, тогда как в интересах нас обоих было бы поскорее попасть из тюрьмы в концлагерь. В моем «деле» появилось, между тем, дополнение, состоящее из показаний моего двоюродного племянника Всеволода Тырышкина. Он написал, что, судя по фамильному серебру и посуде, герб Косинских — польский. Было не очень понятно, что́ подобные показания давали следствию. Ведь я не скрывал своего польского происхождения и только был против того, чтобы ставился знак равенства между понятиями «поляк» и «участник националистической антисоветской банды». Будучи допрошен по существу показаний Всеволода, я написал, в полном соответствии с истиной, что не существует ни серебра, ни посуды с изображением нашего герба. Признаться, мне надоела эта бесконечная галиматья, и я подписал протокол об окончании следствия, решив — «будь, что будет».

Еще в больнице мной была написана доверенность на получение зарплаты из Эрмитажа за последние проработанные там дни. Я просил Галанова переслать ее маме. И вот в этот раз он сказал, что вызывал маму и передал ей лично доверенность, что теперь ей «будет чем заплатить защитнику», так как мое дело будет рассматриваться в суде. Все это оказалось ложью. Зачем ему нужно было лгать о суде и о передаче доверенности, непонятно. Очевидно, по подлости натуры. Много позже, на свидании в больнице пересыльной тюрьмы, мама сказала, что никакой доверенности не получала и никакого следователя не видела.

Пребывание во Внутренней тюрьме привело к рецидиву болезни. Меня опять отвезли в ту же больницу в «Крестах», и я лежал в ней до декабря 1939 года. В декабре целый ряд моих товарищей по палате вызывали в кабинет рентгенолога для объявления приговоров, вынесенных по стандарту того времени не судом, ибо суда не было, а Особым Совещанием. Вызвали и меня. Какой-то человек в форме НКВД объявил мне постановление Особого Совещания: пять лет лагерей (с зачетом времени со дня ареста) по пункту «АСА» («антисоветская агитация»). Сказал, что меня направляют в Талаг, в Архангельской области, и я имею право на трехкратное свидание с родными. Спросил адрес родных, чтобы сообщить им. Я дал адрес мамы.

На следующий день меня должны были перевезти в больницу при пересыльной тюрьме. В тюремных больницах заключенным не полагалось выписывать за свои деньги продукты из ларька. Но врач Титова устроила мне продуктовую выписку. Сестры упаковали продукты. Простившись с людьми, оказавшими мне столько трогательного и небезопасного для них самих внимания, я поздним вечером был перевезен в больницу при пересыльной тюрьме.

Садиться в машину мне помогал дежурный охранник. Подсаживая меня, еле передвигавшего ноги, он прошептал:

— Желаю вам всего, всего хорошего!

Я оглянулся, пораженный. Это был совсем еще молодой человек. Мне показалось, что это тот же юноша, которого молотобойцы, в ночь моего ареста, вызывали в качестве «начальника».

Из «Крестов» мы ехали по затемненным улицам города. Это было в разгар «финской войны».

Не могу не вспомнить некоторых заключенных, с которыми сидел вместе в тюремной камере и лежал в палате крестовской больницы. О большинстве из них у меня сохранились самые теплые воспоминания, о некоторых — неприятные.

В больнице я познакомился с Яном Яновичем Янковским. Латыш, корабельный инженер, он знал моего дядю Алексея Михайловича, так как принимал участие в ремонте миноносца «Забияка», которым командовал дядя («Забияка» подорвался во время первой мировой войны на немецкой плавучей мине). Янковский был симпатичным и хорошим человеком,

высоким, крепким, сильным духом, хотя иногда и злым, но злым той злостью, которую вызывают ложь и несправедливость. Он был старым членом партии и до ареста командовал крейсером «Киров».

Его брат, остававшийся за границей, в Латвии, сидел там в тюрьме как коммунист...

Ян Янович мужественно держался на следствии. Его избивали. Били по голове и спине тяжелым томом дореволюционного справочника «Весь Петроград» и повредили ему мозжечок. В результате избиений он умирал на наших глазах. Вначале он еще ходил, но постепенно обращался в дряхлого старика. Под конец он исхудал, сделался совершенно седым, стал заикаться, не мог уже вставать с кровати и мучился от сильных головных болей. Но в нем, одновременно с угасанием жизни, росла ненависть. Он говорил мне: «Старик (имелся в виду Сталин) сошел с ума!» Или: «Вот бы забраться на гору и отстреливаться от этих мерзавцев!»

В конце 1938 года он находился в таком состоянии, что мы ждали с минуты на минуту, что его вынесут вместе с кроватью в коридор, как это делалось в тюремной больнице со всеми умирающими. Вдруг приехал следователь. Он при нас, потому что Янковского уже нельзя было «вызвать» в отдельное помещение, составил протокол, из которого было совершенно ясно, что его должны освободить. Следователь ушел, и Янковского вынесли из палаты. Умер он в коридоре, или его успели переправить в «гражданскую» больницу, — этого мы не знали.

К числу симпатичных, образованных и милых людей принадлежал инженер Винблат, специалист по турбостроению. Сидел он в тюрьме более двух лет. Прошел все этапы следствия и от цинги потерял все зубы. Но ничего не подписал. По-видимому, он погиб в тюрьме.

В больницу после «допросов» попал и профессор Ленинградского университета Выгодский. Его избивали безжалостно. Вырывали волосы на голове. Спустя более десяти лет я познакомился с его семьей, которая ничего не знала о его дальнейшей судьбе. Его жена — известная детская писательница. Сын — студент-юрист — спился из-за того, что ему не давали возможности работать по специальности после окончания университета.

В больнице запомнился мне и известный ленинградский ученый, профессор Захар Григорьевич Френкель. Славный старик и большой любитель цветов.

Одновременно со мной сидели в тюрьме поэтесса Ольга Берггольц и будущий маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Правда, я его не видел. Мне привелось лежать в палате с двумя военными, служившими вместе с Рокоссовским и арестованными вместе с ним и со всем его штабом. Это были полковник Семен Петрович Зыбин и майор Ехохин. С Зыбиным у нас сложились хорошие дружественные отношения. Ехохин все время старался молчать, а если и говорил, то лишь заимствованными из газет фразами.

Встретился я в больнице и с несколькими моряками, служившими еще в царском военном флоте. Один из них, фамилию которого я не помню, был арестован вместе с женой, преподавательницей английского языка. Ей, как тогда выражались, «клеили» шпионаж. Этот моряк был награжден в первую мировую войну Георгиевским крестом, что, как я уже упоминал, было очень редким случаем на флоте. На очной ставке с женой он, которого избивали страшным образом, смалодушничал и подтвердил ее желанную для следствия «вину». Она же, несмотря на то, что на очную ставку она пришла со сломанным «молотобойцами» носом, ничего не подписала. Рассказывая об этом, он не мог удержаться от слез.

Ввиду предстоящего лагеря их положение еще ухудшалось тем, что у них не было детей и близких и в их квартире осталась одна домработница, которая не сумела или побоялась перевести им на тюремный счет остававшиеся дома деньги. В пересыльной тюрьме я снова встретился с этим моряком. Он все еще не мог наладить связь с домом. Арестовали их с женой летом, и на этап они вынуждены были отправляться одетыми по-летнему. А зима 1939-40 года была очень суровой. На свидании в пересыльной тюрьме с мамой я попросил ее помочь этим людям и дал их адрес. Мама побывала в их квартире, повидалась с домработницей и помогла передать им деньги и зимние вещи. На этапе я оказался в одном вагоне с женой этого моряка. Через решетку женского купе я познакомился с ней.

К числу симпатичных людей, с которыми я находился в крестовской больнице, принадлежал и старый коммунист,

работавший еще при царе мастером-печатником, а в момент ареста возглавлявший ленинградский полиграфический трест. Его арестовали за обнаруженное у него дома письмо крупного партийного работника, репрессированного при Сталине. Это письмо, по его словам, было написано еще до Октябрьской революции и относилось к совместной партийной работе. Высокий и статный, этот человек почти беспрестанно ходил по палате, и когда его спрашивали, почему он, как в камере, все время находится в движении, отвечал:

— Готовлю грудь для орденов! Следователь мне говорил, что у нас заключенных в лагерях награждают орденами за честную работу!

Помню еще некоего Гордести, интеллигентного человека, приветливого и веселого, но страдавшего сердечной болезнью. Вслед за мной и его перевезли в больницу при пересыльной тюрьме. Он был приговорен Особым Совещанием только к ссылке. Может быть, потому, что был серьезно болен. Следствие еще более отразилось на его здоровье. В крестовской больнице он еще держался. Когда я повстречался с ним в больнице пересыльной тюрьмы, его дела были совсем плохи. Болезнь приковала его к кровати, он исхудал и сердечные приступы повторялись беспрестанно.

Хороших, честных людей в тюрьме сидело очень много. Всех и не припомнишь. Невольно приходила на ум фраза Льва Толстого, сказанная по поводу вечных российских несправедливостей: «Сейчас в России единственное возможное место для каждого честного человека — тюрьма».

Сидели и дети. В крестовской больнице, в одной палате со мной, находились два мальчика лет по двенадцать-тринадцать. Один из них — сын ленинградского ответственного работника, посаженный вслед за отцом, и притом, совершенно очевидно, за «грехи» последнего (хотя сталинская «юстиция» к тому времени уже давно понизила возраст уголовной ответственности до двенадцати лет; быть может, не всем известно, что одним из горячих приверженцев и пропагандистов этого варварства был «незабвенный Мироныч» — С.М. Киров). Другой мальчик — эстонец из Тарту по имени Анну, привезенный в Ленинград из тюрьмы в Пскове. Он почти не говорил по-русски. История его такова. Он и его товарищи по классу, вместе с учителем, с красным флагом в руках,

перешли границу, отделявшую буржуазную Эстонию от социалистической, свободной России. Их приняли с почетом и отвезли... в псковскую тюрьму. Еще в Пскове Анну познакомился с методами сталинского следствия.

Конечно, в тюрьме сидели и трусы, и подхалимы, и слабые духом люди, и осведомители «органов». В основной массе арестованные были самыми обыкновенными обывателями со всеми недостатками, свойственными этой категории людей.

Пословица говорит: «о мертвых — либо хорошо, либо ничего». Это пословица неверная и лживая. В частности, не могу не рассказать об одном типе, которого давно уже нет на свете.

В крестовской больнице я оказался в одной палате с Александром Петровичем, если память мне не изменяет, Александровым, комиссаром Военно-морской академии. Его настоящая фамилия, как мне говорили, была Бар, и отец его в прошлом владел мельницей в Николаеве. Этот человек был в свое время комиссаром у Котовского, чья загадочная гибель вызывала в 20-е и 30-е годы немалые споры и, кажется, не прояснена до сих пор. На следствии, как рассказывал сам Александров, его били и вследствие избиений перевели в больницу.

Был ли он таким от роду, или избиения «перевоспитали» его, но он проявлял себя ярым сталинистом. Он, конечно, уверял, что сидит по ошибке, а всех других заключенных считал «врагами народа». Так как большинство умело давать отпор, он избрал совершенно беззащитного человека, на свою беду оказавшегося в одной палате с этим негодяем, и постоянно провоцировал его, чтобы потом издеваться над ним. Объектом травли был некто Визе, архитектор, неоднократно бывавший за границей, считавший себя утонченным эстетом, восхищавшийся памятниками искусства, но наивный и недалекий. Спровоцировав Визе на невинный рассказ об Италии либо какой-нибудь другой западноевропейской стране, Александров тут же нападал на рассказчика, доказывая, что он враг народа и шпион. Бедный Визе терялся и молча переносил эти издевательства. По отношению к другим своим невольным соседям комиссаришка также непременно находил что-нибудь, чтобы уколоть их, подводя подо все политическую основу. Он находил криминал и в пуантах балерин — «пережитке угнетательского режима», и в накрашенных губах женщин: у кого жена или дочь красят губы — это, стало быть,

проститутки, а их мужья и отцы сознательно потворствуют антисоветским привычкам.

Меня он старался уколоть тем, что я работал в Эрмитаже. «Всем известно, — говорил он, — что старушки, работающие смотрительницами залов в Эрмитаже, самый удобный элемент для шпионских явок». В ответ на подобные инсинуации я применял единственный метод, могущий заставить провокатора замолчать. Метод очень неприятный для меня, но действенный: на выходки Александрова я отвечал самой грубой бранью.

Как-то раз, когда нас выводили в уборную, я отозвал Александрова в сторону и предупредил его, сказав, что он, комиссар Военно-морской академии, партиец, сподвижник одного из героев Гражданской войны, сам вынуждает меня применять к нему такой метод воздействия. Пусть выбирает: или он прекратит провокации, или я буду вынужден еще усилить этот способ воздействия на него.

Хоть частично, но подействовало: Александров стал меньше провоцировать заключенных. Вскоре его перевели обратно в следственную тюрьму. Впоследствии от одного из знакомых моряков я узнал, что Александров был освобожден и восстановлен на службе. Во время войны с гитлеровской Германией он летел куда-то на самолете и погиб.

Однажды в дверь палаты крестовской больницы дежурный надзиратель впустил нового заключенного. Вошел высокий старик с седой бородой, явно профессорского вида. Представился. Профессор Артур Александрович Брок, директор Института иностранных языков. Следствие закончено.

Лежавший в палате инвалид Вализер, услышав это имя, разволновался, и у него начался сердечный приступ. Я был тогда уже ходячим больным. Вализер подозвал меня и стал умолять, чтобы я попросил главного врача перевести его в другую палату:

— Этот человек посадил меня в тюрьму!

— Значит, вы его знаете?

— Нет, в первый раз вижу. Но он показал, что я состою в «немецкой пятой колонне»!

Мое знакомство с Броком состоялось в больнице, но слышал я о нем и раньше. Слышал не только как о крупном специалисте в области немецкой литературы, но и как о

человеке, воспитавшем большого ученого, Оскара Фердинандовича Вальдгауэра, заведовавшего в Эрмитаже Отделом античной культуры. Оскар Фердинандович умер в 1935 году, и Брок с женой приютили у себя его дочь Дитту. Все это говорило в пользу Брока. Но в условиях следствия он проявил себя безвольным трусом.

Он сам рассказал мне, что несколько дней следствия посвятил составлению списка «пятой колонны». Когда он вписал в него всех известных ему лиц, у которых была немецкая фамилия, — а он, конечно, знал таких немало, — следователь не удовлетворился количеством и дал ему для включения в список совершенно неизвестных Броку лиц, в числе которых оказался и Вализер. Брок послушно вписал и их. В той части списка, которую составил сам Брок, он упомянул среди других и моего товарища по Курсам искусствоведения Бориса Эдуардовича Гана. Скромный и глубоко порядочный Ган, проучившись на курсах года два, решил изменить специальность и работал преподавателем института, директором которого был Брок.

Конечно, охота за людьми, носившими немецкую, польскую или иную «подозрительную» фамилию, в те годы приняла в Ленинграде небывалый размах, и Ган, как и многие другие, мог и, более того, должен был стать жертвой сталинщины и без помощи Брока. Но и в этих условиях меня глубоко возмутил непорядочный поступок старика, и я это откровенно высказал ему. Брок дрожащим голосом ответил:

— Но они... хотели меня бить!

Потом он несколько раз печально спрашивал:

— Михаил Федорович, скажите, вы очень осуждаете меня?

И я отвечал: «Очень! Вы находитесь в таком возрасте (Броку шел восьмой десяток), что вам осталось жить недолго и особенно дорого сохранить честное имя. А испуг — перед чем? ведь жить вечно никому не дано, — заставил вас потерять его!»

Любимым поэтом Брока был Гейне. Он любил цитировать его. В палате лежал старый летчик, преподававший в Гатчинском авиационном училище, которое сам он окончил еще до революции. Однажды, когда Брок увлеченно цитировал Гейне, летчик глубокомысленно заметил:

— А все-таки, Артур Александрович, Гейне был порядочный бабник!

Брок искренне возмутился:

— Что вы?! Гейне — это мой идеал!

Страх довел идеалиста до предательства.

В больнице я познакомился и с несколькими обитателями ленинградского «Дома политкаторжан», старыми революционерами. Этот Дом представлял собой серое массивное здание конструктивистского стиля, с небольшими, как у крепости, горизонтальными окнами, построенное после революции для ветеранов подпольной работы, царских тюрем и ссылок. Для этой постройки было выбрано прекрасное место — на Неве, вблизи от главного проспекта Петроградской стороны. Но «политкаторжане» царского режима немного спустя начали исчезать из этого дома, чтобы объявиться в прежнем своем качестве уже в советских концлагерях. Мне приходилось встречаться именно с этой категорией, поскольку «на воле» знакомств среди ветеранов революции у меня не было.

Лежал в тюремной больнице и старик-эсер Быховский, бывший министр эсеровского правительства в Сибири. Его привезли в Ленинград из какого-то глухого сибирского городка, где он жил в ссылке, — привезли, чтобы назначить более суровую кару (это называлось «за добавкой»): ссылка показалась властям недостаточным наказанием для бывшего эсера. Болезнь позвоночника позволяла ему передвигаться только в металлическом корсете и на костылях. И то и другое в тюрьме отобрали, — не для того, разумеется, чтобы усугубить страдания старика, а чтобы лишить его и его соседей по камере возможности превратить эти предметы в орудия самоубийства. Без этих необходимых для него вещей Быховский вынужден был лежать в больнице. Формально он давно порвал с эсеровской партией, но фактически оставался убежденным эсером. Он с упоением рассказывал о своих спорах с Лениным на каком-то съезде в Лондоне и о том, как он, также на каком-то съезде, настаивал на физическом уничтожении всех дворян в России.

Будучи совершенно беспомощным, он постоянно обращался ко мне. Как-то раз я, смеясь, сказал ему, не то подавая воду, не то подставляя «утку»:

— Благодарите судьбу за то, что ваша идея об уничтожении дворян не была проведена в жизнь! Что бы вы теперь делали без помощи потомственного дворянина?

В больнице при пересыльной тюрьме, где я провел около месяца, обстановка резко отличалась от следственной тюрьмы и даже от больницы при «Крестах». Двери палат были открыты, и заключенные свободно разгуливали по территории больницы. Здесь в палатах находились вместе и политические заключенные, и «бытовики», среди которых бóльшую часть составляли юные воры, бандиты и мелкие «урки». Нужно сказать, что эта категория заключенных, которых политические очень опасались, жила по собственным законам, довольно строго их соблюдая. Меня интересовали эти люди. Многие из них отличались сообразительностью и смелостью — качествами, необходимыми для их «профессии» (и, к слову сказать, почти атрофировавшимися у русской интеллигенции в результате событий ее печальной истории XX века). Еще одна черта занимала меня в них: необыкновенная любовь к устным рассказам. Они очень любили и умели слушать, и ценили людей, доставлявших им это нехитрое удовольствие.

И в то же время, годами общаясь с этой категорией заключенных, я пришел к убеждению, что в основной массе они, с точки зрения закона, неисправимы и очень часто, едва отбыв срок наказания, вновь совершают самые гнусные и свирепые преступления.

...Наиболее крупным событием за этот месяц было мое первое со времени ареста свидание с матерью. Мы не виделись полтора года. И вот меня вызывают на свидание. Небольшая комната, перегороженная решеткой. Я волновался. И вот в дверь, по ту сторону решетки, вошла мама. Нас было только трое в комнате — третьим был дежурный надзиратель. Мама тоже была взволнована и с трудом сдерживала слезы. Я старался сохранить как можно более бодрый вид. Говорили о здоровье, о делах... Мама рассказала мне о смерти моего любимого двоюродного брата Романа и его жены. Сначала погибла жена Романа — неожиданно и при таинственных обстоятельствах: «при вскрытии у нее в желудке был обнаружен мышьяк», говорила мама, причем очень сильная доза. Это было тем более странно и необъяснимо, что она оставила сиротой свою маленькую дочь Таню. Через три с половиной месяца Роман, летевший на санитарном самолете из Вологды, где он работал врачом, погиб при авиационной катастрофе. Тане было девять лет, и ее взяла к себе старшая сестра Романа — Ольга

Константиновна Клименко. Рассказывая об этом, мама не могла больше сдерживаться и заплакала. О Диме Ловенецком мама ничего не знала...

Она сказала, что приехала в больницу с Верой Васильевной Черновой, моим большим другом, очень помогавшей маме, мне и Диме все это и последующее время. У Веры Васильевны хватало забот и без нас. Ее сестра, Варвара Васильевна, тоже потеряла своего (второго) мужа, Василия Ивановича Андреева, директора завода в Москве, инженера и коммуниста, в прошлом рабочего. Он был арестован и погиб в тюрьме. Дима Ловенецкий рассказывал мне потом, что он встретился в тюремной камере с первым мужем Варвары Васильевны, инженером Сопельковым.

В этот же период у Веры Васильевны и ее сестры умерли родители — сначала отец, а вскоре за тем и мать. И, несмотря на все разом свалившиеся несчастья и заботы о сестре с маленькими детьми, Вера Васильевна еще смогла уделять внимание и заботу Диме и мне...

Русские женщины! Их подвиг, воспетый Некрасовым, бледнеет в сравнении с тем, что им пришлось пережить в годы бесправья, именовавшиеся «сталинской эпохой». Они провели бессчетные годы по тюрьмам и лагерям, теряли мужей, отцов и сыновей, их избивали и убивали. И все же они находили в себе силы и мужество не только жить, но и оказывать моральную и материальную поддержку, далеко не всегда безопасную в тех условиях, своим близким. Величие их подвига ни с чем не сравнимо!

...Вскоре большую группу заключенных построили и пешком, по улицам города, отвели в пересыльную тюрьму. В их числе находился и я.

Возвращаясь памятью к своим детским годам, я систематизировал воспоминания по тем петербургским квартирам, в которых жила наша семья. Теперь же приходилось делать это по местам заключения. Такова ирония судьбы.*

* Мне приходилось выше неоднократно упоминать о той или иной из ленинградских тюрем, называя ее одним из бытовавших тогда названий. Тюрьма на улице Воинова, бывшей Шпалерной, официально именовалась «внутренней тюрьмой НКВД» или следственной тюрьмой, но ее называли также «тюрьма при Большом доме». С дореволюционных времен она сохранила неофициальное название «Шпалерной» или «Шпалерки». Порой ее называли в мое время «Старым Шанхаем», а следствен- →→→

Приведя под конвоем в пересыльную тюрьму, нас продержали первую ночь в каком-то тюремном коридоре и только на следующий день развели по камерам. В нашей группе находился маленький, лет двенадцати, «урченок», небольшой рост и худоба которого делали его на вид еще моложе. Но он был настоящим зверенышем. Он нервно, чтобы не сказать злобно, набрасывался на всякого, кто обращался к нему с самыми обычными словами. Трудно судить, были причиной этого донельзя натянутые нервы маленького существа или же сознательная тактика защиты от всяческих вопросов. Некоторые из ночевавших в коридоре людей, жалея маленького хилого мальчика, хотели проявить к нему участие, но из этого ничего не получилось, и они вынуждены были оставить его в покое.

В «пересылке» у́рок и «бытовиков» держали отдельно от «политических». Но порядка в ней было мало. Некоторые урки «посещали» нас, надеясь чем-нибудь поживиться. Это удавалось так. Заключенных выводили на прогулку сразу из нескольких камер. Возвращаясь с прогулки, некоторые старались попасть не в свою камеру, а в соседние, например в те, где сидели их знакомые. Потом кричали дежурному надзирателю, что попали не в свою камеру, и тот водворял их на место.

С мамой у меня было еще два свидания, происходивших в пересыльной тюрьме. Помещение для свиданий было переполнено заключенными и их родственниками. На первом из этих свиданий я попросил маму передать мне зимнее пальто. Однако накануне второго свидания объявили об этом этапе. Я думал, что уже больше не увижу маму. Но как раз в день этапа меня вызвали на последнее свидание. Маме тут же позволили обменять мое осеннее пальто на зимнее, и она, с помощью Веры Васильевны, передала мне еще высокие сапоги, ряд теплых вещей и большую продуктовую передачу. В подкладку пальто, в разных местах, мама вшила деньги.

Больше я маму никогда не видел. Прощание наше, среди крика и шума людской толпы, происходило кое-как. И, может быть, это было к лучшему.

---

ный сектор собственно «Большого дома» (ленинградского Управления НКВД) — «Новым Шанхаем». Кроме того, у меня упоминаются еще тюрьма «Кресты» на Выборгской стороне и пересыльная тюрьма, помещавшаяся за Александро-Невской лаврой и позднее, при Хрущеве, закрытая. Во второй половине 50-х годов ее здание передали научно-исследовательскому (Котло-турбинному) институту.

## *Глава 18. Лагерь*

Вернулся я в камеру, когда принесли последний перед этапом обед. Пока я его проглатывал, товарищи, не назначенные вместе со мной на этап, поспешно сшили мне огромный заплечный мешок, в который кое-как, вперемешку, сложили принесенные мамой и Верой Васильевной продукты. Я с трудом, продев руки в лямки, взвалил его на спину. Партию отправляемых заключенных погрузили в машины и отвезли на станцию Москва-товарная, где посадили в переполненный «столыпинский» вагон, стоявший на запасном пути. Это происходило в начале февраля 1940 года.

На запасном пути мы простояли неделю. Купе старых «столыпинских» вагонов,* отделенные решетками от коридора для охранников, были переполнены. Заключенные спали только на верхних полках, чередуясь с сидевшими на нижних. В одном из купе, в конце вагона, помещались женщины. Кормили нас «сухим пайком», состоявшим из хлеба, сахара и селедок, вызывавших немилосердную жажду. Я почти не употреблял казенного пайка: до самого конца двухмесячного этапа мне хватило продуктов, принесенных мамой и Верой Васильевной. В каких очередях им пришлось выстоять, чтобы купить мне эти продукты! Ведь шла финская война, и в городе были введены жесткие ограничения на отпуск продовольственных товаров: их отпускали «в одни руки» настолько ограниченное количество, что приходилось занимать очередь по нескольку раз. Это и создавало огромные очереди в продовольственных магазинах.

Но так или иначе, обо мне позаботились, и я еще имел возможность делиться продуктами с товарищами по купе, многие из которых не получили передачи.

---

* Официальное советское наименование — «вагонза́к» (вагон для перевозки заключенных).

Охрана в нашем вагоне состояла из четырех солдат войск НКВД. Эти славные молодые люди держали себя с заключенными хорошо, и в дальнейшем, в течение долгого пути, умудрялись покупать этапникам на станциях папиросы и кое-какие продукты. Очень часто, дежуря в коридоре по одному, они подходили к решеткам и беседовали с этапниками, спрашивали нас, чем объяснить, что им приходится конвоировать такую массу неплохих и образованных людей. Но стоило появиться кому-нибудь из их товарищей, и они сразу обрывали разговор.

В одном купе со мной оказалось два сокамерника по «Шпалерке». Оба молодые люди, не вызывавшие у меня особенной симпатии. Один из них, врач-кардиолог Гентер, окончил уже после революции знаменитую немецкую школу в Петрограде — Анненшуле. Человек из обрусевшей немецкой семьи, сохранивший типичную немецкую обывательскую психологию, аккуратный во всем, он так же аккуратно старался выполнять порученное ему неблаговидное дело. НКВД поручил ему слежку за школьным товарищем, и Гентер старательно исполнял это задание. Это не уберегло его самого от судьбы политзаключенного, и теперь он сам спокойно рассказывал о деталях сомнительного поручения. Второй товарищ по несчастью — молодой шофер «Интуриста» Бондаренко, судя по его словам, происходил из богатой украинской семьи, эмигрировавшей во Францию. Сам он остался в России, женился и жил в Ленинграде. Был он человеком недалеким и очень легкомысленным.

Наше «сидение» на запасных путях товарной станции кончилось тем, что нас подцепили к пассажирскому поезду, и дорога в неизвестное началась.

Доехав до Вологды, заключенных высадили на пассажирской станции. Приказали сесть. Мы сидели на досках перрона, окруженные охраной с собаками, а вокруг, поглядывая на нас, ходили «свободные люди» — быть может, наши завтрашние сотоварищи. Наконец, подъехали «черные вброны», и нас набили в них так, что люди, вплотную прижатые друг к другу, могли ехать только стоя. Привезли в старинную тюрьму и поместили в камерах, расположенных под землей. Отсутствие окон возмещалось электрическими лампочками. Воздух поступал сюда по длинным трубам с внутреннего двора тюрьмы.

В вологодской тюрьме нас продержали дня три. На второй день по прибытии я попросился к врачу. Меня провели вверх по лестнице, и я оказался в тюремном медицинском пункте. Узнав мою фамилию, осматривавший меня врач спросил, не родственник ли я Роману Константиновичу Косинскому, и, получив подтверждение, рассказал мне подробности гибели жены Романа и его самого.

Из тюрьмы нас опять доставили на вокзал, посадили в «столыпинские» вагоны, и этап продолжался. Поезд шел медленно. Вагоны с заключенными часто отцепляли и подолгу держали в тупиках каких-то станций. Бывали случаи, что мы стояли двое и трое суток. Вскоре, в довершение беды, я обнаружил, что меня везут не по назначению. Вагон шел не на север, к Архангельску, а на восток, по ветке железной дороги на Молотов (так тогда называлась Пермь) и Свердловск. Я заявил старшему охраны и получил ответ: они знают, куда меня надо везти.

Наконец, мы прибыли в Свердловск. На «черных вóронах» нас доставили в тюрьму. Большая камера была переполнена «ýрками», «бытовиками» и «политическими». Здесь царили урки. Староста камеры был вор и бандит. Мы сгрудились посередине камеры и организовали дежурство для самозащиты.

Первое, что нам бросилось в глаза, это стройный парень, стоявший совершенно голым. Оказалось, что он проиграл с себя все, вплоть до подштанников, в карты. Кто-то из нашей группы кинул ему рубашку.

У одного из наших товарищей ловко стащили мешок с вещами. Мы потребовали от старосты, чтобы мешок был возвращен. Староста будто бы принял меры, и мешок нашелся, но... пустой. Наша группа стала требовать возвратить вещи. Тогда староста заявил, что мешок украл «милиционер». Воры подняли крик: «Милиционер! Милиционер! Сволочь, вылезай!» Из-под нар вылез молодой парень, одетый в рванье. Его лицо выражало смертельный ужас. Под крики и брань потешавшихся ýрок он шептал: «Я не брал... Я не брал...» Староста, издевательски, изощренно ругаясь самыми непотребными словами, продолжал уверять, что украл «милиционер». Нам стало жаль несчастного, забитого парня и мы прекратили эту сцену. «Милиционер» опять скрылся под нарами.

Мы провели в камере ночь. Двое наших дежурных сменялись каждые два часа. На другой день всех нас вывели с вещами и часть поместили в другие камеры, а часть отвезли на вокзал, посадили в «столыпинские» вагоны и отправили обратно в Вологду. Оказалось, что я был прав: часть заключенных завезли в Свердловск «по ошибке».

В вагоне к нам присоединили еще одного товарища по несчастью, бывшего матроса. Он рассказал, что нам повезло. В эту ночь староста и прочие урки решили нас «раскурочить», то есть ограбить до нитки.

Из Вологды меня отправили в Архангельск. Долго, долго тянулся этот путь! Бесконечные заснеженные леса время от времени расступались, и мы видели бараки, обнесенные колючей проволокой, и вышки для часовых. Впрочем, такая картина не один раз открывалась нам и на пути от Вологды до Свердловска. Вся Россия, в особенности ее северная часть, была покрыта лагерями.

Задержка в пути объяснялась войной с финнами. Нам все время приходилось пропускать эшелоны с разбитой военной техникой, шедшие с фронта, и с воинскими частями, идущие на фронт.

В Архангельск меня привезли в апреле 1940 года. Поместили в палатке. В палатках ожидало этапа множество направляемых в лагеря, — это был так называемый «пересыльный пункт». Среди заключенных запомнились мне летчик, воевавший в Испании, здоровенный немец-боксер, ездивший по России с выступлениями, наш торговый представитель в какой-то зарубежной стране, арестованный на вокзале сразу же по возвращении из-за границы. На пересыльном пункте было много и женщин.

Поздно вечером в палатку пришел высокий старик, одетый в зимнее пальто, с шапкой-ушанкой на голове, с шахматной доской в виде ящика под мышкой. Староста палатки, молодой парень, накинулся на старика и начал ему выговаривать: «Опять где-то трепался со своими шахматами, старый черт! Садись ужинать. Проголодался, наверно. Ешь, пока ужин не остыл!» И в его тоне слышались ласка и забота о старике. Старик оказался профессором из Воронежа. Фамилия его была Велихов. Бывший кадет, гвардейский офицер, шахматист, он не унывал в лагере, — лишь были бы партнеры. В лагерь с

пересыльного пункта он попал вместе со мной. Не работал, так как был инвалидом, и все время отдавал шахматам. Потом он помог посадить нескольких своих приятелей и умер, когда началась война с Германией.

Лагерь располагался километрах в десяти от пересыльного пункта. Нас пригнали туда пешком. В этапе шли женщины и старики, едва тащившиеся по глубокому снегу. Было начало апреля, и снег лежал еще повсюду и не собирался таять. Помню, как длинной растянутой колонной, почти цепью, этап двинулся в путь. Я шел в первом ряду. Перешли Северную Двину, вошли в город.

В Архангельске я был три раза в связи с моей работой на флоте, — последний раз в 1930 году. Город мало изменился с тех пор. Я узнавал улицы, дома, церкви. Прохожие не обращали на нас внимания — лагерей вокруг Архангельска было очень много, и город давно привык к этапам заключенных.

Через несколько часов — так медленно двигался этап — мы увидели слева от дороги высокие, обширные северные избы. Это было село Талаги. За ними, пройдя меньше часа, мы увидели группы одноэтажных бараков, огороженных колючей проволокой, с вышками для часовых. Это и был лагерь, где мне предстояло пробыть три с половиной года.

Нас временно поместили в один из бараков, причем урки, прибывшие с этапом, сразу же принялись за картежную игру. Один из них, пожилой, с изрытым оспой лицом, вскоре проигрался и начал просить денег у присутствующих. Я дал ему три рубля и пожелал удачи. И действительно, ему повезло. Он не только отыгрался, но и выиграл некоторую сумму денег. Возможно, что этот случай, преувеличенный лагерной молвой, послужил уркам основанием, чтобы причислить меня к «шулерам».

Вскоре меня вызвали и привели к начальнику лагеря, — его служебный кабинет находился в одном из бараков. Меня встретил пожилой мужчина в форме НКВД (его фамилия была Филиппов), предложил сесть и довольно любезно начал расспрашивать о моей работе «на воле», об Эрмитаже. Он пояснил, что после революции был кем-то вроде комиссара по делам искусств в Ленинграде, чем и объяснялся его интерес к Эрмитажу. Он милостиво побеседовал со мной, сказал, что в лагере есть художественная мастерская, где я

буду работать, а поместят меня в «техническом бараке», где живет лагерная аристократия. Так, совершенно неожиданно для себя,я очутился в привилегированном положении. Я был зачислен в художественную мастерскую без обычного «испытательного срока» на общих работах, поселен в бараке, где жили художники и низовая лагерная администрация из заключенных, сразу же получил лучшее питание, не ограниченное скудными нормами, обязательными для других. Потому, вероятно, и выжил.

Да и лагерь, в который я попал, безусловно, сильно отличался от огромного большинства бессчетных лагерей нашей страны. Он скорее походил на крупное крепостное хозяйство, разделенное, впрочем, на мужскую и женскую зоны. В мужской зоне находились управление лагерем, клуб с небольшой библиотекой, столовая с кухней, пекарня, больница с амбулаторией, изолятор (карцер) и некоторые другие хозяйственные точки. Лагерь считался инвалидным. В женской зоне — мастерские: художественная, вышивальная (изготовлявшая вышитые «украинские» рубахи), портновская, сапожная, столярная и какие-то другие. Позже была построена керамическая мастерская с печами для обжига изделий. В женской зоне находились и ясли для детей, родившихся у заключенных женщин. Дети содержались там до отправки в детские дома.

Бараки, довольно добротно построенные, были сооружены «спецпереселенцами» (высланными в начале 30-х годов крестьянами, зачисленными в «кулаки») с Украины. В дальнейшем, когда создавался лагерь, бараков оказалось недостаточно и число их пополнили новыми. Кроме бараков, в лагере стояло много палаток, обитаемых и летом, и зимой.

Существовали в лагере и драмкружок, и женские хор и джаз-банд, ставившие спектакли и устраивавшие концерты в клубе, где довольно часто демонстрировались также кинофильмы. Среди заключенных были и профессиональные артисты, и просто талантливые люди. Мне тоже пришлось побывать и актером, и режиссером. На «представлениях» и концертах, в первых рядах, всегда присутствовало лагерное начальство. В бараках были установлены громкоговорители, иногда появлялись газеты.

Вокруг лагеря простирались огороды, обрабатываемые заключенными. В некотором отдалении стояли дома, где проживало начальство.

Существовал еще целый ряд отделений лагеря, разбросанных по Архангельской области. В них заключенные занимались, главным образом, лесоповалом и сплавкой леса. Вроде бы странно для лагеря, считавшегося инвалидным, но понятие «инвалид» в заключении было весьма условным. На этих лагерных пунктах работали заключенные, считавшиеся относительно здоровыми, или же посылавшиеся туда в виде наказания.

Эти штрафные лагерные пункты окружены холмиками, под которыми, как мне рассказали, покоятся целые этапы заключенных, — в основном прибывавшие зимой и вынужденные сами сооружать себе жилье и обносить его колючей проволокой и вышками. Немногие выдерживали — и оставались в этих новосооруженных «лагпунктах», остальные уходили в безымянные братские могилы.

Здесь, за колючей проволокой, отделявшей нас от внешнего мира, не утихала вечная борьба за минимально привилегированное положение. Так называемые «придурки» — заключенные, которым уже повезло в этом отношении, — не жалея сил и совести, старались, часто за счет угнетения своих же товарищей, закрепить этот успех, выдвинуться в глазах начальства, избежать тяжелой работы, получить лучшее питание. Ими руководило просто естественное желание уцелеть, как-то пережить годы заключения, и средствами они обычно не стеснялись. Если живя «на воле» эти люди вынуждены были скрывать свои отрицательные качества, то здесь беспощадная борьба за существование обнажала их.

Но и здесь находились люди с высокой и чистой душой, которых не мог изуродовать лагерный быт.

Одним из первых впечатлений от лагеря был показательный суд, происходивший в клубе. Судили нескольких урок. Дело в том, что прежде урок содержали отдельно от прочих заключенных, в теперешней женской зоне. Но вот из Архангельска прибыл огромный, человек в пятьсот, женский этап, и разделение зон было произведено по новому признаку: на женскую и мужскую. А до такого разделения воры и бандиты, хозяева своей зоны, вели себя настолько сме-

ло и агрессивно, что работники охраны опасались появляться там иначе как большими группами. В зоне господствовали порядки, характерные для ее уголовного населения.

Среди урок находился «полудомашний» мальчишка, которого урки уличили в том, что он, будучи арестован, на допросах был вынужден кое-что рассказать, и из-за него было арестовано несколько воров, которых он выдал, — т.е., на их языке, он «ссу́чился». Его казнь растянулась надолго. Сначала над ним издевались, заставляя выполнять самые гнусные требования, а под конец затащили на крышу барака, куском листового железа отрезали голову и сдали ее охране — вероятно, в назидание другим «су́кам».

Работники НКВД арестовали, однако, нескольких участников преступления, увезли на следствие, и вот теперь, после следствия, доставили в лагерь, чтобы судить показательным судом. Не могу вспомнить, к чему приговорили этих изуверов, но это дело — характерный пример того, на что способен уголовный мир.

Вероятно, по этой причине и решено было ликвидировать особую зону для бандитов и воров. Прибытие этапа, состоящего из одних только женщин, ускорило это мероприятие.

Этап состоял из жен, матерей и дочерей, осужденных Особым Совещанием по пункту ЧСИР («член семьи изменника родины»). В сталинской юриспруденции была и такая статья. Арестовывали крупных, преимущественно партийных, работников: дипломатов, военных, руководителей предприятий и прочих, приговаривали их к заключению «в режимном лагере без права переписки». Судя по тому, что почти никто из этой категории не уцелел и не пережил Сталина, осуждение на «режимные лагеря» являлось проформой. Подавляющее большинство «режимников» расстреливалось. За ними арестовывали и членов их семей, которых то же Особое Совещание приговаривало к заключению по категории «ЧСИР» и отправляло массами в лагеря. И вот женщины из двух лагерей — Тотьминского в Вологодской области и Карагандинского в одноименной области, — перебрасываемые в другие места заключения, по обычаю НКВД постоянно «перетасовывать» заключенных, составили огромный этап, следующий в лагеря, созданные на севере, вокруг Воркуты. Тогда еще не была построена существующая теперь (благодаря опять-таки

заключенным: Сталин иначе строить не умел) железная дорога Котлас-Воркута, поэтому этап доставили в Архангельск и оттуда начали перевозить на судах через Белое, Баренцево и Карское моря.

Женщин отправляли партиями, составлявшимися по первой букве фамилий. Подошла зима. Навигация прекратилась. Большинство уже было переправлено, и в Архангельске оставались «последние буквы» и больные, которых пришлось поместить в наш лагерь. Тут они и остались, потому что началась война и высоким инстанциям стало не до них.

Среди женщин, попавших в наш лагерь, было много образованных и интеллигентных, молодых, среднего возраста, старых. Значительная часть до ареста состояла в партии. Они представляли почти все народы, входящие в советское государство. Но были также немки, польки и француженки.

Следует воздать по справедливости этим женщинам. Они были лучшими работниками в лагере, трудились очень добросовестно и даже, можно сказать, с энтузиазмом. Быть может, им помогало сознание, что и здесь они участвуют в строительстве социализма? Впрочем, к тому времени социализм в стране, по уверению Сталина, был уже построен...

Женщины, прибывшие в наш лагерь, были первыми не только в работе, но и в культурных мероприятиях. Женские хор и джаз были организованы именно ими. Они принимали самое активное участие в спектаклях, ставившихся драмкружком, а в концертах выступали с пением и танцевальными «номерами».

Еще одно было характерно для них. Они всегда старались поддерживать опрятный и даже нарядный вид. А между тем, сколько горя пришлось на их долю! Их близких частично уничтожили, частично посадили, и сами они сделались жертвами сталинского режима. Бесспорно, им помогала взаимная солидарность, сплоченность, развитое чувство собственного достоинства, подкрепляемое у многих большой личной смелостью.

С одной из этих женщин, молодой и интересной москвичкой, у меня сложились романтические отношения, — в связи с которыми, к слову сказать, я попал на штрафной участок. Молодость, даже в лагерных условиях, брала свое. Оказалась в этом этапе также старушка Фельтен, предком которой был

известный архитектор. Она рассказала мне, что у нее дома сохранилась моя детская фотография, — Фельтен была знакома с нашей семьей еще в начале столетия. В лагере же я познакомился с Ниной Дмитриевной Румянцевой, дружеские отношения с которой сохранились до ее смерти в Ленинграде, в 1967 году. Судьба этого человека сложилась странно и нелепо. Когда-то Нина Дмитриевна училась в том же институте, который окончила моя мать. После революции, закончив обучение на романском отделении Ленинградского университета, превосходно зная несколько европейских языков, Нина Дмитриевна выходит замуж за инженера, назначаемого на пост директора какого-то крупного комбината на Алтае, и уезжает с ним. Но семейная жизнь сложилась у нее неудачно. Нина Дмитриевна рассталась с мужем и вернулась в Ленинград. Перед арестом она, как и я, работала в Эрмитаже. В это время арестовали ее бывшего мужа (он погиб в «режимном лагере»), а затем и Нину Дмитриевну. Ее сослали в Тотьминские лагеря по пункту «ЧСИР», откуда она и попала в Талаги.

В художественной мастерской работала седая женщина, одетая всегда в черный костюм. Это была родственница маршала К.Е. Ворошилова. Его сын, живший в Ленинграде, был женат на ее дочери...

Руководил мастерской Вениамин Израилевич Гордон — уже старый человек с наружностью местечкового еврея: маленький рост, типичные черты лица, украшенного горбатым носом, маленькие глазки, выпяченные слюнявые губы, в которых вечно торчала потухшая трубка. Говорил он с характерным еврейским акцентом: «Н-но, Михаил Федорович, *ви* мне говорите и то-о и сё-о. Ну-у, я обещал, дал слово. Но ви же понимаете, человек должен быть хозяином своего слова. Я вам его дал, я и беру его обратно!»

Он был из эмигрантской семьи, окончил в Германии институт со званием архитектора по интерьеру. Жил в Харбине. По словам жен работников Китайско-Восточной железной дороги, знавших Харбин и теперь находившихся среди заключенных, он занимался там широкой благотворительной деятельностью. Приехал в СССР по контракту, в качестве иностранного специалиста, но затем принял советское подданство и работал главным архитектором Свердловска — пока не был обвинен в шпионаже.

Гордон был хорошим человеком и хорошим специалистом. Он был очень способным художником и, кроме того, отличался большой деловитостью. В лагере он создал художественную мастерскую, в которую отобрал из числа заключенных художников-профессионалов, любителей и людей, которых просто пожалел. В мастерской занимались «живописью», то есть копированием маслом с репродукций, изготовлением передвижных календарей и детских игрушек из дерева.

Картины маслом находили сбыт у лагерной администрации, причем заказчики обычно требовали изменять сюжет по своему усмотрению. В копию особо популярной картины Шишкина «Утро в сосновом бору» вводилась фигура охотника и другие отсутствующие в оригинале детали. В целом художественная продукция не обладала высоким качеством.

После того, как Гитлер и Сталин поделили Польшу и военные действия в этой несчастной стране закончились, в лагерь поступило большое количество военнопленных поляков. Среди них были и офицеры, которые, кстати, вполне разумно (как выяснилось впоследствии) выдавали себя за рядовых солдат. Поляки требовали обращения с ними как с военнопленными и протестовали против содержания в концлагерях вместе с бандитами и ворами. Их претензии не всегда удовлетворяли, но они держались очень дружно и порой кое-чего добивались. Еще больше поляков было дальше к востоку, в Коми АССР, где они использовались на строительстве железной дороги Котлас-Воркута. Когда началась германо-советская война, им предложили идти на фронт. Подавляющее большинство заявило, что они согласны драться с немцами, но не рядом с русскими. Таких «принципиальных» собирал в свою армию генерал Андерс, и эта армия вскоре после сформирования покинула нашу страну.

Но я забежал вперед. Шли последние предвоенные месяцы, и мы знали, благодаря радио и газетам, об успехах немцев в Европе. Многие заключенные прекрасно понимали, чтó происходит. Некоторые связывали свои надежды на лучшее будущее с нападением Гитлера на нашу страну, — надо же на что-то надеяться! А в близости этого нападения не сомневался, помнится, никто.

От мамы я часто получал письма и посылки. Но, так как лагерное питание было для меня в ту пору вполне доста-

точным, я просил маму, располагавшую очень небольшими средствами, не тратиться на обильные посылки. Писали мне также некоторые друзья и Дима Ловенецкий, находившийся в одном из лагерей той же Архангельской области, но в худших условиях, чем я.

В январе 1941 года начальник лагеря Филиппов назначил меня на довольно неприятную работу — бракёром мастерской. На складах мастерской скопилось много нереализованной продукции. Мне поручалось проверить пригодность ее к реализации. Особенно много было там детских игрушек, резанных из дерева и раскрашенных масляными красками. Они изображали медведя и крестьянина с молотами в руках. Если двигать расположенными под ними планками, они начинали поочередно стучать молотами по наковальне. Такие игрушки были мне знакомы с детства, — правда, тогда их не раскрашивали. Беда заключалась в том, что в мастерской не было лака. Игрушки были прилично сделаны, но из-за отсутствия лакового покрытия и от сырости воздуха, характерной для весьма прохладного приморского архангельского климата, игрушки, сложенные штабелями, слиплись и сделались абсолютно непригодными для продажи. Мое положение оказалось сложным: признать игрушки годными было никак нельзя, а любое иное заключение грозило неприятностями Гордону. Но в июне разразилась война, и это страшное событие выручило нас обоих.

## *Глава 19. Встречаю войну в лагере*

Как только война началась, радио выключили, газеты перестали давать заключенным. Но кое-какие скупые вести все-таки доходили до нас.

Сразу ухудшилось питание. Начали даже около лагеря возводить дзоты, — едва ли опасаясь немецкого десанта, скорее как меру на случай восстания заключенных. В мастерской прекратилось обычное производство, — только несколько человек еще занимались «живописью», в том числе и я. Но писали уже не копии с репродукций, а свои сюжеты. Я написал небольшую патриотическую картину «Гибель Сусанина». Пейзаж на ней получился неважно, фигуры же Сусанина и поляков были написаны довольно живо. Картина являлась заказом одной из начальствующих персон.

Мастерская перешла на изготовление мундштуков для армии. Отсутствие хорошего материала заставило делать их из плохого дерева — к тому же нормы выработки были установлены очень жесткие, и я, в погоне за пайкой хлеба, перешел на сверление отверстий в мундштуках. Это делалось электросверлами, но столь несовершенными, что я все время ходил с забинтованными руками. Однако перевыполнял нормы и получал сносный паек.

От мамы пришел денежный перевод. Это была последняя весточка от нее. Всякие сношения заключенных с внешним миром вскоре прекратились. Из лагеря мы наблюдали несколько раз налеты немецкой авиации на Архангельск, взрывы бомб и разрывы зенитных снарядов. Многие мои товарищи злорадствовали.

В лагерь доставили большой этап: пешком были пригнаны люди, ранее заключенные в лагерях Карелии. В этапе нашлись знакомые люди. Борис Эдуардович Ган, мой товарищ по Курсам искусствоведения, которого арестовали много времени спустя после того, как профессор Брок вписал его в реестр «немецкой пятой колонны». Потом я узнал, что Борис

Эдуардович был расстрелян как «немецкий шпион». Алексей Павлович Келлер, работавший в свое время в Эрмитаже и арестованный еще в 1933 году. Его освободили только после окончания войны 1941-1945 гг. Сейчас он живет и работает в Ереване.

В августе 1941 года большую группу заключенных, и меня в их числе, перевели в Архангельск на лесозавод, носивший тогда имя Молотова. Участок лагеря при заводе был небольшим и располагался на территории самого завода. Работы там производились очень тяжелые: в пять часов утра заключенных выводили пилить лес ручными пилами, выкалывать его из льда реки Кузнечихи (когда наступила зима) и выкладывать в штабеля. Были установлены нормы выработки, совершенно непосильные для большинства заключенных. Здесь я познал трех легендарных лагерных китов: «мат, блат, туфта». «Туфтили», то есть занимались очковтирательством, все, ибо без «туфты» заключенных ждала попросту голодная смерть. Например, выколотый из льда реки лес складывали в огромные штабеля, все время росшие ввысь. Поздно вечером штабеля обходил приемщик, который замерял проделанную работу и ставил на бревнах зарубку. «Туфта» сводилась к тому, чтобы перед обходом приемщика перенести предыдущую сделанную им зарубку ниже на несколько рядов бревен, а действительную отметину затереть. Только в таком случае «вырабатывалась» скудная пайка хлеба.

Голод царил на участке. Полученная при помощи туфты пайка хлеба и жидкая ржаная баланда составляли всю пищу заключенных, занятых на тяжелых работах. За первые военные осень и зиму несколько человек повесились, не выдержав голода и изнурительной работы. Возвращаясь в лагерные бараки, мы на руках приносили ослабевших товарищей и мертвецов. Половина заключенных была поражена «куриной слепотой».

В конце зимы новое бедствие постигло лагерь. Люди стали гибнуть от пеллагры. С конца зимы 1941-42 гг. и до середины лета 1943 года в лагере и его отделениях («участках») умерло от пеллагры более трех тысяч заключенных. Половина лагерных построек была приспособлена под больницы.

Зиму эту я еще продержался. Мне помогло то обстоятельство, что начальник так называемой «культурно-воспи-

тательной части» (КВЧ) участка часто использовал меня для составления текста статей и иллюстрирования стенной газеты. Это был невзрачного вида пожилой мужчина — командир службы НКВД, живший в Архангельске. Фамилию его я не помню, но заключенные прозвали его «Мартышкой» за наружное сходство с этим животным.

Мы работали с ним вдвоем в его кабинете, помещавшемся в одном из бараков. Он занимался своими делами, а я стенгазетой. «Мартышка» оказался неплохим человеком. В городе жила его семья, которая, как и большинство населения нашей страны в те годы, голодала. Он рассказывал мне о делах на фронтах, приносил часто газеты, рассказывал о голоде на воле. Помню, как с досадой он однажды поведал мне о происшедшем с ним несчастье. Он нес из столовой суп для своей семьи, упал и пролил его. А дома ждали голодные жена и дети.

Заключенные очень страдали от отсутствия табака. Оставаясь один в кабинете, я не один раз излазил его под шкафами и столами в поисках брошенных начальством окурков. Высыпая из них остатки табака и свертывая цыгарки, я курил с великим наслаждением.

Вскоре на участок начали поступать заключенные нового типа — «указники». Сталин еще до войны, в 1940 году, ввел порядки, по которым людей судили и отправляли в концлагеря за прогулы и даже небольшие опоздания на работу. Теперь с такими «преступниками» расправлялись еще свирепее — «по законам военного времени», как было принято выражаться в официальной прессе, а на самом деле — по самому лютому, беззаконному произволу. Но это не помогало. Дела на фронте шли все хуже и хуже. Наши армии беспорядочно отступали, попадали в окружения, несли невероятные потери. Дисциплинированная и привыкшая к победам немецкая армия продвигалась вперед так неслыханно быстро и безостановочно, будто на многих участках фронта она имела дело с условным противником, как на маневрах. Видимо, жестокий урок, который преподала нам злополучная финская кампания, оказался слишком запоздавшим и за полтора года — с начала сорокового до середины сорок первого — преодолеть слабость вооруженных сил не удалось. Наше правительство не провозглашало лозунг «Пушки вместо масла!», как это сделал в Германии, кажется, Геринг, но долгие годы на деле

следовало этому принципу. И вот было произведено много тысяч самолетов, летавших якобы «выше всех, дальше всех и быстрее всех», и много тысяч танков, которые должны были обеспечить выполнение ворошиловской похвальбы: «воевать будем малой кровью, на чужой земле!» — а в действительности годились только на то, чтобы побросать их на дорогах от Бреста до Подмосковья. Воевать было некому. Все способные к военному искусству маршалы и генералы были уничтожены Сталиным или в лучшем случае тянули лямку заключенных в лагерях, не чая оттуда выйти иначе, как на тот свет (что в 1941-42 году и произошло почти со всеми). Во главе армий и фронтов стояли по большей части случайные люди — некоторым из них Сталин в том же сорок первом году отомстил за наши военные неудачи, расстреляв их, некоторые предпочли сами пустить себе пулю в лоб, нежели попасть в руки «генеральной линии партии» и после всяких издевательств быть застреленными в тюремных подвалах.

Среднее офицерство в основном выполняло свой воинский долг, но сколько офицеров в 1941 году погибло от пуль в затылок, выпущенных своими же солдатами! Эти солдаты, в большинстве вчерашние крестьяне, еще хорошо помнили затянувшуюся пытку «коллективизаций», защищать Сталина и колхозы они вовсе не хотели. Потери пленными неожиданно оказались настолько чудовищны, что и по сей день их боятся признать. Ко всему этому население Литвы, Латвии, Эстонии, да и Украины тоже, встречало немцев как освободителей. Даже на Смоленщине, как мне приходилось слышать, выносили им в эти первые недели войны хлеб и соль. Чего же ждали русские от немцев? Освобождения от террора, роспуска колхозов? Или, может быть, просто считали, что в любом случае уж хуже-то не будет после всего, что натерпелись от «своих», от родной советской власти? Но немцы всерьез считали русских варварами, которые и разговора не заслуживают. Совершенно не готовые к приему миллионов пленных, не желавшие их кормить, отрывая для этого кусок от себя, оккупанты сплошь и рядом просто загоняли их за колючую проволоку, поспешно натянутую обычно среди голой степи, под открытым небом, и предоставляли им, в сущности, умирать голодной смертью. Когда эти импровизации уступали место настоящему немецкому порядку, то есть для военно-

пленных изыскивались помещения и производилось разделение на солдат и офицеров, — оказывалось, что все живое до последней травинки в пределах ограды выщипано голодными людьми, а многие из них уже отправились на тот свет. Оставшиеся в живых не верили ни в Сталина, ни в Гитлера, ни в человека вообще, ни в черта, ни в дьявола.

Шло время, и к осени сложилось и окрепло русское народное мнение: лучше кровожадный тиран, да свой, чем иноземное нашествие! Надо начинать войну заново. И в труднейших условиях, не на чужой территории, а в глубине своей страны, огромной кровью началась теперь уже настоящая война, то есть борьба не на живот, а насмерть, в которой поражения сменялись победами и наоборот. Не удержались за гриву, но как-то сумели удержаться за хвост. Что ж, «умом Россию не понять, аршином общим не измерить»...

Как-то раз я услышал слова заключенного, бывшего командира-пограничника, в которых звучало явное злорадство, если не ликование: «Москва н а к р ы л а с ь!»* Тяжело было это слышать от русского человека...

А мне хотелось сражаться за свою родину. Как глупо было сидеть в заключении, «отбывать срок», когда мои соотечественники миллионами умирали за нее! Пример моего отца, отдавшего за нее жизнь, все время не давал мне покоя. Пример дяди Алексея Михайловича, одного из героев Порт-Артура и первой «германской» войны, стоял перед глазами. Эти мысли не оставляли меня. Я тогда еще не знал, что мой старший брат, эмигрировавший в 1928 году, уже сражается с немцами.

Но меня часто, очень часто, во сне будоражили и иные видения. Мне очень часто снилось, что мне непременно нужно явиться на работу в Эрмитаж, а я не могу. Там я необходим, меня ждут, Орбели досадует на меня за мою непунктуальность, — а что-то не пускает меня. Снилось собрание оружия, в котором я работал с таким увлечением...

Я заболел пеллагрой. В январе или феврале 1942 года меня забрали в больницу — в отгороженную часть нашего же барака, и три месяца я пролежал там. Меня лечил отличный врач, работавший прежде, кажется, в Кремлевской больнице

---

* То есть пропала, погибла. Лагерное выражение (впрочем, понятное многим и за пределами лагерей, ибо лагерный жаргон ввиду огромного количества «сидевших» стал достоянием всей России).

и, как это обычно бывало с кремлевскими врачами, осужденный за мнимые преступления особого рода — за покушение на подрыв драгоценного здоровья «вождей». Я забыл его имя, — а между тем ему я обязан жизнью. Ему удалось где-то раздобыть тюлений жир, оказавшийся как раз тем лекарством, которое нужно. А люди кругом все-таки умирали. Они были обречены заранее — у всех была пеллагра в тяжелой форме, «легких случаев» не было. Смерть была повальной, и то, что я выжил, выглядело чудом. Доктор говорил мне потом, что своим выздоровлением я обязан самому себе: ведь когда меня хотели перевести на «здоровый стол», состоявший в основном из тех продуктов, которые и вызывали заболевание, я отказался и больше недели оставался на пайке, состоявшем из 40 граммов сухарей (то есть одного сухаря) в день и куска тюленьего жира.

Мне оказал помощь и один из товарищей, с которым я подружился еще до болезни, — молодой, очень красивый моряк, посаженный «по указу». Его отец был офецером старого, а затем и советского флота. Этот юноша говорил мне во время наших бесед о войне, что его отец, в дни наших самых тяжких поражений, верил в окончательную победу над гитлеровской Германией. Он и я рассуждали точно так же, и мнение его отца еще более увеличивало нашу веру в конечную победу. Во время моей болезни этот друг ухитрился где-то достать большой пакет клюквы (в те времена даже клюква, даже в Архангельской области, где ее всегда была уйма, сделалась вожделенной редкостью!) и передать его мне... Доктор говорил, что эта передача немало помогла моему выздоровлению.

Помню такой случай, очень характерный для пеллагры. Я лежал на койке в больничном отделении барака. Санитар-заключенный привел нового больного и уложил его на койку. Больной был крепким на вид парнем, у которого далеко зашедшую пеллагру определили, как это постоянно делалось, по покраснению, рыхлости и болезненности слизистой оболочки рта. Как только санитар вышел, он налил в кружку воды из бачка, достал пайку хлеба и принялся закусывать. Я окликнул его:

— Что ты делаешь?! Ты губишь себя, тебе же нельзя есть хлеб!

Он посмотрел на меня с хитрым видом.

— Не беспокойся! Я сам знаю, что мне можно, а чего нельзя.

Проснувшись наутро, я увидел, что два санитара привязывают бирку к большому пальцу ноги этого парня и выносят его из палаты. Он был мертв.

Как бы то ни было, но я выздоровел. Правда, из больницы я вышел таким, какими обычно представляют узников фашистских лагерей; я исхудал до предела. Слабость была ужасная. Чтобы подняться на три ступеньки, ведшие в барак, я вынужден был опускаться на колени и медленно, помогая себе руками, вползать по этим ступенькам...

И опять доктор пришел мне на помощь. Через несколько дней после выписки он вызвал меня. У него находилась дочь начальника лагеря Филиппова, также служившая в лагере и приехавшая на наш участок в связи с угрожающим ростом заболеваний пеллагрой. Филиппова знала меня по предвоенным месяцам как режиссера, актера и художника, сохранявшего даже в лагере относительно элегантный вид. Она ужаснулась, увидев перед собой лагерного «доходягу». На другой день, в возке, привозившем хлеб, меня доставили с участка в лагерь.

Заболев пеллагрой и будучи уверенным, что это уже конец, я переслал Нине Дмитриевне Румянцевой письмо, в котором попрощался с нею и попросил, если она выйдет на волю, передать моей матери прощальный привет. В связи с этим письмом в лагере распространился слух о моей смерти. Когда я вновь появился там, знавшие меня заключенные, а таких нашлось немало, были искренне удивлены. Как, я остался живым, да еще пережил пеллагру! Люди приветствовали меня, называли воскресшим из мертвых и сулили мне на этом основании, согласно народному поверью, долгую жизнь.

В «основном» лагере также свирепствовала эта болезнь. Половина лагерных построек была превращена в больницы, где отлеживались — и где многие навсегда отлежались от жизни — пеллагрики.

Вскоре после моего возвращения, относящегося к апрелю 1942 года, произошло временное улучшение питания заключенных. Оказалось, что резко ухудшилось питание из-за отсутствия транспорта: на пристани в Архангельске скопились груды продуктов для лагеря, но их нечем было перевезти.

Причиной этого была война. Ведь в Архангельск прибывали целые караваны судов, доставлявших из Англии и США военное снаряжение. Его переброска из Архангельска шла день и ночь. Даже оленьи упряжки были мобилизованы на эту работу.

И вот администрация лагеря решилась на рискованный шаг. По льду, сковавшему Кузнечиху, почти без охраны потянулись сани-розвальни, с великим трудом влекомые кучками доходяг-заключенных. Дотащив сани до Архангельска, доходяги нагружали их продуктами. Эти продукты громоздились на пристани в мешках, ящиках под открытым небом и только кое-где были прикрыты брезентом. Еще медленнее совершался обратный путь. Десять километров, разделявшие город и лагерь, еще более удлинялись из-за проталин, уже появившихся там и сям во льду.

Но зато администрация добилась разрешения свыше использовать на питание заключенных продукты, полагавшиеся в свое время всему лагерному контингенту. Теперь он сильно поредел, и живым достался «задним числом» паек мертвых.

Понемногу я втянулся в работу мастерской, где все еще изготовлялись мундштуки для армии.

Последний год в лагере тянулся мучительно долго. Как и многие мои товарищи, я считал дни, оставшиеся до окончания срока. Правда, этот счет мог оказаться неверным. Мы уже знали о распоряжении задерживать заключенных в лагерях «до особого распоряжения», — то есть по крайней мере до окончания войны, конца которой не было видно. События на фронте волновали очень многих, но вызывали различное отношение. Часть заключенных, к которым принадлежал и я, мечтала о том, чтобы принять непосредственное участие в защите родины. Но немало было и рассуждавших иначе. Они, наоборот, надеялись, что их поостерегутся выпускать из заключения до конца войны, и надеялись также, что здесь все же больше будет шансов уцелеть, чем на фронте. Были и такие, кто уповал на крах советского государства и был готов погибнуть во имя этого краха.

В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Начали доходить скудные вести из родного города. Но от мамы писем не было. Я послал запрос в Бугуруслан, где находилось центральное бюро по эвакуации населения. Мне

ответили: «В списках эвакуированных не числится». Тогда я написал в ленинградский адресный стол. Ответ я получил днем, во время работы в мастерской. Я сидел за резкой мундштуков рядом с Ниной Дмитриевной, когда мне передали извещение. Адресный стол сообщал, что Косинская Жозефина Ивановна умерла 12 апреля 1942 года...

Нам время от времени показывали кинофильмы. Среди них «Ленинград в борьбе» — после войны, как я слышал, запрещенный на долгие годы. Этот фильм был страшен. Но он заставлял гордиться мужеством населения Ленинграда. Смотря его, ужасаясь, я все время думал о моей дорогой маме...

15 июля 1943 года кончался срок моего заключения. По причинам, о которых я уже говорил, я не был уверен в своем освобождении. Но если бы оно состоялось, я должен был пройти через призывную комиссию в военном комиссариате, так как постановление (приговор) Особого Совещания не лишало гражданских прав после отбытия срока заключения, — в том числе и права защищать свою страну в случае войны. Правá эти, конечно, никто не принимал всерьез — высшее «право» принадлежало «органам».

Товарищи по заключению заранее позаботились обо мне: в портняжной мастерской сшили костюм, правда, из старого материала, но я был тронут такой заботой.

14 или 15 июля произошел небольшой пожар в одной из мастерских. Начальству в связи с этим было не до меня и моего освобождения. Но 16 июля я был вызван к начальнику лагеря. Он принял меня в новом помещении лагерного «штаба», находившегося в женской зоне. Кабинет был отделан Гордоном и его художниками с большим вкусом, но выглядел довольно мрачно. Филиппов усадил меня на стул и сказал, что я должен получить документы и продукты на несколько дней: меня «полностью оформляют» как выходящего на свободу. Но я должен поступить так: в Соломбале (район Архангельска) явиться в районный военный комиссариат (военкомат), пройти там призывную комиссию, а затем возвратиться в лагерь. В лагере я буду работать вольнонаемным сотрудником до получения особого распоряжения о моем окончательном освобождении. Он меня назначает заведующим художественной мастерской, а жить я буду на частной квартире, вернее снимать комнатушку в одной из талагских

изб. Взглянув на выданный мне новый лагерный костюм, в котором я предстал перед ним, — черное рабочее платье с желтыми почему-то нашивками на локтях и коленях, Филиппов сделал вид, что остался недоволен им: «В таком костюме вам работать нельзя. Я отдам распоряжение сшить вам приличный костюм». Я поблагодарил его за внимание и добавил, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не возвращаться в лагерь. Он усмехнулся: «Я вас понимаю, но вы не сможете ничего сделать. Вас вернут сюда!» Мы простились, и я прошел в свою зону. Прощаясь со мной, товарищи уговорили взять в дорогу сапожный нож. Они считали мой путь в одиночку в Архангельск небезопасным. Дорога шла лесом, а в лесу можно встретить и «ýрок», бежавших из лагеря, и прочих бродяг.

На следующий день, рано утром, я взвалил на плечи довольно объемистый мешок с вещами и, пройдя через караульное помещение, «вахту», вышел на дорогу. В караульном помещении очень небрежно осмотрели содержимое моего мешка.

Отойдя от лагеря метров на триста, я сел на большой камень при дороге. Отсюда мне хорошо были видны обе зоны лагеря, бараки, обнесенные колючей проволокой, вышки с часовыми и длинный ряд столбов с перекладинами и натянутой на них проволокой — телефонная линия, идущая вдоль дороги в Талаги.

Я хотел испытать то наслаждение свободой после пятилетнего заключения, о котором мне рассказывали в тюрьме бывшие заключенные царских тюрем. Но увы, — я не знал, свободен я или нет. Я сидел один. Вокруг меня не было ни охраны, ни сторожевых собак, ни ограды из колючей проволоки. Все вроде бы оставалось там, позади. Передо мной лежал свободный путь в Архангельск. Но ведь меня предупредили, что из Архангельска мне придется вернуться сюда же, в лагерь, и ждать «особого распоряжения». Такая «свобода» мне не улыбалась. Наоборот, она была сопряжена с ранее неизвестными тяготами: придется работать среди моих товарищей-заключенных, которые будут невольно смотреть на меня чужими глазами. Для них я обращусь в одного из надсмотрщиков.

Я поднялся с камня и зашагал по дороге, не сулившей ничего хорошего в будущем.

## *Глава 20. Архангельские треволнения*

Путь мой лежал лесом. Утро было солнечное, пригожее. Мне пришлось переправиться через небольшую речку на лодке, стоявшей у берега. Речка была покрыта почти сплошь сплавным лесом, перебраться было нелегко. Пришлось лавировать между плывущими бревнами, отпихивать их веслом. Преодолев это препятствие, я увидел женщину с туесами и корзиной, ожидавшую лодку на другом берегу. Мы обменялись несколькими приветливыми словами, женщина вошла в лодку и бодро и умело стала переправляться через речку.

Когда я подошел к Архангельску и переправился через Кузнечиху, день уже был в полном разгаре. Я оказался рядом с заводом имени Молотова, с которым у меня были связаны столь неприятные и тяжелые воспоминания. Здесь удалось остановить грузовую машину, и на ней я доехал до Соломбалы, где находился райвоенкомат, куда мне надлежало явиться.

Соломбальский райвоенкомат. Две комнаты, разделенные перегородкой с окошком. За ним сидит молодой военный с «кубиками» лейтенанта. Больше никого. Я достал из кармана направление и кое-какие документы. Он прочитал, задал мне несколько вопросов. День уже клонился к вечеру. В Архангельске был введен комендантский час. Лейтенант дал мне адрес поликлиники: «Вам нужно пройти медицинскую комиссию. Только торопитесь, рабочий день кончается! Пройдете комиссию и возвращайтесь сюда!»

Я попросил разрешения оставить в военкомате вещи и побежал. Поликлиника была недалеко, но, не зная как следует города, мне пришлось потерять время, чтобы ее найти. Нашел наконец. Двери одноэтажного дома закрыты. Я стал стучать в них. За дверьми послышался голос: «Что стучите?! Поликлиника закрыта. Все ушли!» Я прошу, умоляю: «Откройте,

пожалуйста!» Дверь приоткрывает старушка. Я объясняю ей мое положение: пешком пришел из лагеря, знакомых в городе нет, военкомат послал меня на комиссию. Старушка смягчается: «Милый, да ведь врачи ушли. Остался один только главный врач. Ну, да я спрошу...» Закрывает дверь и через несколько минут возвращается: «Главный врач тебя примет, проходи, милый».

Я вхожу за ней. В комнате за столом сидит женщина в белом халате и что-то пишет. Объясняю ей. Она отвечает: «Хорошо, хорошо, я вас приму. Только подождите немного». Сажусь на стул за дверью и жду; минут через двадцать врач произносит: «Войдите!» Не вставая из-за стола, она спрашивает, окинув меня взглядом:

— Как себя чувствуете? Болели чем-нибудь?

— Отлично. Не болел ничем, кроме насморка, — лгу я. — Да и то редко!

— Ну, руки-ноги в порядке. Прекрасно. Я напишу: «годен к строевой службе».

— Благодарю вас.

Она берет мое направление из военкомата и пишет на нем: «Годен к строевой службе». Подписывается и ставит печать, так и не вставая из-за стола. Еще раз благодарю ее и бегу в военный комиссариат.

— Все в порядке, — говорит лейтенант. — Теперь возвращайтесь в лагерь и ждите особого распоряжения.

Я взмолился. Я долго убеждал его не посылать меня обратно в лагерь. Я говорил о своей любви к родине, о том, что именно сейчас, когда стране нужны защитники, я могу доказать ей свою преданность. Лейтенант смотрел на меня смягчившимся взглядом.

— Поймите, ведь это не от меня зависит. Я выполняю распоряжение...

— Но от кого же это зависит?

— Изменить распоряжение может только военный комиссар города Архангельска. Но я вам даже не советую к нему обращаться. Если вам даже удастся добиться у него приема, он вам все равно не разрешит!

Лейтенант видел мое огорчение, граничившее с отчаянием, и вдруг произнес: «Хорошо! Я пошлю вас в армейский

пересыльный пункт. Но вы дайте мне честное слово, что не перейдете на сторону врагов!»

Конечно, такое условие, поставленное мне, может показаться и странным, и неумным. Что стоило бы дать честное слово для человека, решившего изменить своей родине! И дело тут, конечно, не в «честном слове». Я думаю, лейтенант просто понял человека, стоявшего перед ним, и поверил в мою искренность. А раз он поверил человеку, то он верил и его честному слову и хотел подчеркнуть это. Может быть, конечно, что дело обстояло и проще: он действительно посочувствовал мне — едва ли часто приходилось военкому видеть людей, рвущихся на фронт из тыла! — но, приняв решение, столь круто расходившееся с первоначальной позицией, не хотел показать этого и для виду обставил этот поворот добавочным условием.

К сожалению, я не знаю имени лейтенанта из Соломбальского райвоенкомата и только могу здесь еще раз высказать ему мою глубокую благодарность и подтвердить, что данное ему честное слово я сдержал.*

Итак, я дал ему честное слово. Тогда лейтенант заявил мне: «Сегодня суббота. Скоро наступит комендантский час. Вам следует, пока не поздно, получить место в гостинице. И мне пора уходить. Завтра военкомат не работает. В понедельник приходите сюда, и я оформлю документы, с которыми направлю вас в армейский пересыльный пункт». Я поблагодарил его, и мы попрощались до послезавтра.

---

* Прошло более четверти века с этого дня. Но здесь я впервые рассказываю о том, как все произошло в действительности. Не боясь за себя, но опасаясь подвести этого человека, который рискнул ослушаться распоряжения свыше, и навлечь на него всякие беды, — ибо срока давности по политическим делам в СССР не существует, а «органы» вездесущи, — я все двадать пять лет рассказывал друзьям и близким такую безопасную для него версию: этот лейтенант будто бы направил меня все же к военкому Архангельска, тот кричал на меня, оскорблял: «мерзавец, я тебя насквозь вижу, ты хочешь к немцам перебежать!», а я будто бы отвечал, что он волен оскорблять меня как угодно, но не вправе отказать в моем праве защищать родину. И, наконец, устав кричать, он выписал мне направление на армейский пересыльный пункт. Прошу здесь прощения у всех, кого я своим рассказом вводил в заблуждение, и у незнакомого мне архангельского военного комиссара, которого я поневоле очернил.

Я вышел на улицу. Казалось бы, все шло хорошо. Но до понедельника все могло перемениться в обратном направлении...

Гостиница находилась тут же в Соломбале. Помещалась она в сравнительно новом здании, — по крайней мере, вестибюль произвел на меня хорошее впечатление. Но на вопрос об отдельном номере или хотя бы кровати в общем номере мне ответили, что свободных мест нет. В вестибюле висел телефонный аппарат. Я стал звонить в другие гостиницы. Один и тот же стереотипный ответ: мест нет нигде.

Выйдя на улицу, я стал думать, что же мне делать. Решил обратиться к частным гражданам. Вот айсор — чистильщик сапог, расположившийся на панели, собирает свои приспособления и хочет уходить: его рабочий день тоже кончился. Я подошел к нему и попросил пустить переночевать за плату. Он окинул взглядом мой лагерный костюм с роскошными желтыми нашивками и категорически заявил, что у него нет места. Тогда я подошел к какой-то старушке. Опять взгляд на костюм и отказ. Действительно, кто пустит к себе ночевать человека, вышедшего из лагеря, — может быть, закоренелого вора или бандита?

После ряда таких неудачных попыток я решил, что мне остается одно — обратиться в милицию. Увидев милиционера, я подошел к нему и объяснил свое положение. Он сказал, что я поступаю правильно. «В милиции и переночуете. Я как раз иду в отделение». Отделение милиции находилось неподалеку — небольшой деревянный домик. Мы вошли в комнату, разделенную аркой. За столом сидел другой милиционер и писал — составлял протокол на двух мальчишек, задержанных на базаре за кражу.

Мой спутник подошел к товарищу: «Вот,— сказал он,— я задержал на улице человека из лагеря».

Я запротестовал, но милиционер, сидевший за столом, указал на деревянный диван за аркой: «Сейчас разберемся. Вот только кончу с этими», — и продолжал составлять протокол. Милиционер, приведший меня, остался в комнате.

Стемнело. Зажгли единственную электрическую лампочку, свисавшую с потолка над столом. За аркой, там, где я сидел, была полутьма. Мне нечего было бояться. Если меня задержат, то, наверное, только до наведения справки в

военном комиссариате... И тут я вспомнил про сапожный нож, лежащий у меня в мешке. Какую я сделал глупость, что, совершенно забыв о нем, не выбросил его, подходя к городу! Ведь его могли посчитать оружием, за ношение которого, узнав, что я не сапожник, мне могли присудить новых несколько лет заключения, особенно сейчас, «по законам военного времени».

Мысль работала быстро. Я сделал вид, что переобуваюсь. Полутьма способствовала моему замыслу. Я снял ботинок, развязал мешок, засунул туда руку, на ощупь нашел нож, наклонился и вложил это плоское лезвие в ботинок. Если меня захотят обыскать, то, вероятно, ограничатся мешком и карманами. Я немного успокоился: во всяком случае, я сделал все что мог.

Прошло много времени. Стало уже совсем темно за окном. Милиционер все еще составлял протокол, а мальчишки, хныча, давали ему показания. «Задержавший» меня сотрудник поклевывал носом, сидя на стуле.

Дверь отворилась, и вошел третий милиционер. Вероятно, он был начальником отделения, так как оба находившихся в комнате сотрудника встали. Один из них доложил о допросе воришек, а другой — о задержанном им гражданине из лагеря. Начальник отделения повернулся ко мне:

— А вы что скажете? Почему вас задержали?

Я встал, вышел в освещенную часть комнаты и объяснил, как было дело. Начальник опять обратился к милиционеру:

— Это верно, что он сам подошел к тебе?

— Да, он подошел ко мне, а я его задержал.

— Но гражданин правильно обратился к тебе. Раз ему негде было ночевать, ему больше ничего не оставалось делать.

Он сказал мне, что позвонит в гостиницы сам, и подошел к телефону. Всюду ему отвечали, что свободных мест нет. Тогда начальник взял кусок бумаги, что-то написал на нем, сложил листок и подал мне.

— Вот, — произнес он, — пойдете по этому адресу. Это совсем рядом. Пройдете два квартала налево. Дом на углу. Там и переночуете. Записку передайте женщине, которая откроет вам дверь. Если встретите патруль, то покажите записку.

Я поблагодарил его. Дойдя по ночной улице до первого пустыря, я снял ботинок, вынул нож и забросил его в кусты. Только тогда я вздохнул спокойно.

Дом на углу, перед которым я остановился, был обыкновенным пятистенником довольно невзрачного вида. На стук вышла женщина средних лет. Прочитав записку, она ввела меня в кухню с русской печью, деревянными лавками, очень бедно обставленную, и, указав на пол, сказала: «Устраивайтесь. Здесь и переночуете». Оставив меня в темной кухне, она ушла в комнату.

В этот день я много ходил и много пережил самых противоположных терзаний. Естественно, я страшно устал. Хоть не ел с утра, но даже не вспомнил о еде. Спать, спать! Я достал из мешка зимнее пальто, постелил на пол и, не раздеваясь, сняв только ботинки, лег на него и заснул мертвым сном.

Но, по-видимому, я спал очень недолго. Меня разбудило неприятное ощущение во всем теле. Зажег спичку и с отвращением увидел клопов, которые двигались на меня тучами. Никогда в жизни я не видел их в таком количестве. Я был весь покрыт ими. Пришлось вступить в борьбу с этим новым врагом. Тщетно я уничтожал их до самого рассвета — появлялись все новые и новые. Когда забрезжил рассвет, я отказался от сопротивления и уснул, предоставив себя в их распоряжение. Уже засыпая, я увидел, как открылась наружная дверь. В кухню вошел начальник отделения и проследовал в комнату. Я понял, что ночевал в его доме.

Когда я проснулся, солнце уже заливало лучами кухню, и от этого она выглядела еще бедней. Мои ночные враги отступили и скрылись. Остались только трупы, свидетельствовавшие о жаркой ночной схватке...

Я составил себе план того, что должен сделать сегодня. С утра — в баню. Смыть с себя усталость вчерашнего дня, следы ночной битвы, смыть лагерь, смыть все неприятности и беды. Солнечное утро вливало бодрость и желание верить, что все самое худшее осталось позади. А если и случится тот зигзаг судьбы, возможность которого пугала меня вчера, то хоть сегодня я буду свободным.

Потом на базар. «Загнать» все свое барахло, освободиться от тяжелого мешка, также связанного с лагерным прошлым. Солдату ничего не нужно: в армии оденут и накормят. А вы-

ученных грошей хватит на то, чтобы безбедно прожить сегодняшний день.

Третья задача на сегодня состояла в том, чтобы найти ночлег. Было бы очень неделикатно злоупотребить гостеприимством моего случайного хозяина. Тем более, что у меня было письмо из лагеря. Очень славный юноша, сидевший за то, что его отец служил когда-то в царской полиции, просил меня зайти к его родным, жившим в Архангельске, и передать им письмо.

В кухне появилась хозяйка. Мы разговорились. Разглядев меня при свете дня, она прониклась ко мне доверием, поставила самовар, напоила меня чаем и с женской словоохотливостью выложила свои недуги.

Главная беда — муж. Хороший человек, добрый, но уж очень «принципиальный». «Смотрите, как живем, — говорила она. — Начальник отделения, а живем хуже любого милиционера. Сыну нечего надеть в школу. Живем хуже нищих!» Я вспомнил ее мужа. Высокий, стройный, с запоминающимся лицом, он, вероятно, был «белой вороной» среди своих сослуживцев. Своим вчерашним отношением ко мне он доказал свою доброту и справедливость. Такой человек достоин уважения, но понятно, что порядочность в условиях советской провинции военного времени мешает его благополучию.

Мне хотелось хоть как-то отблагодарить своих хозяев.

— Извините меня, но вот этот костюм, хотя и неважный, но совершенно новый. Я иду в армию, мне ничего не нужно. Если вы отпорете желтые заплаты, то он может пригодиться вашему мальчику. Позвольте мне отдать его вам.

— Ну что вы, зачем! Он вам самим еще пригодится...

Но долго уговаривать не пришлось, и она с благодарностью взяла костюм.

Вымывшись в бане, я пришел на базар. Он был очень оживленным. Среди шумящей, кричащей толпы бродили английские и американские матросы, продававшие сигареты и жевательную резинку. Я быстро опорожнил свой мешок. Я не торговался, продавал за первую предложенную мне цену, и все же выручил что-то. С наслаждением дымя отличной английской сигаретой, я вернулся в «дом на углу».

Хозяин был дома. Мы побеседовали, я сообщил ему, что ухожу, и поблагодарил за все, что он сделал для меня, совер-

шенно незнакомого человека и к тому же вчерашнего заключенного. Он откровенно сказал, что, действительно, ему, в силу его положения, неудобно предоставлять мне дольше приют, и посоветовал проехать в «Дом колхозника», который, кстати, находится рядом с армейским пересыльным пунктом.

Простившись с хозяевами, я сел в трамвай и поехал в «Дом колхозника». Там, к моему удивлению, оказались свободные кровати. Я предъявил свой документ — справку из лагеря. Проходя по коридору в назначенную мне комнату, я увидел целый ряд комнат с незанятыми аккуратно застеленными кроватями. Войдя в свой многоместный («общий») номер, я нашел там только незастеленные кровати, с лежащими на них грязными матрацами, и вернулся к кассе. Девушка, сидевшая там, совершенно спокойно заявила мне: «А что вы хотите? Вы из лагеря, а ваш брат лагерник и кровать вынесет, не то что подушку и одеяло». Побеседовав с ней, мне удалось завоевать ее доверие, и она переменила номер.

Успокоившись насчет кровати на ночь, я разыскал дом, в котором жили родные Сережи — того юноши, который просил меня передать письмо. В квартире, занимаемой его семьей, я застал только его старую няню. Передал письмо, рассказал о ее питомце и возвратился в «Дом колхозника». Было уже поздно; закусив бывшими у меня продуктами и напившись чаю, я лег спать. В номере стоял десяток кроватей, но, кроме меня, не было ни одного постояльца.

Наутро я сел в трамвай и поехал в военкомат. Сейчас я узнаю свою судьбу. Опасения на этот счет очень волновали меня. В военкомате я увидел худощавого, низенького подростка, выглядевшего совсем еще мальчиком. Где-то я видел уже его, — вероятно, в лагере среди «урок». Сдерживая волнение, я подошел к окошку. За ним сидел лейтенант. Он ответил на мое приветствие, и, протягивая запечатанный пакет, проговорил: «Все готово. Эти документы сдадите на пересыльном пункте. Тут документы на вас и на... (он назвал незнакомую мне фамилию). Этот гражданин из вашего лагеря, и вам поручается доставить его и с д а т ь. Желаю вам успеха!» Я взял пакет, расписался, еще раз поблагодарил, — все заботы, все опасения, терзавшие меня, вроде бы окончились.

По дороге к остановке трамвая подросток сказал, что знает меня по лагерю. Оказалось, что ему уже более восемнадцати

лет и после окончания срока заключения его как осужденного не по политической статье сразу призвали в армию. На вид я дал бы ему лет четырнадцать, не больше, — таким он казался хилым и слабым. По прибытии в запасной полк он заболел и умер. Говорили, что, наголодавшись в лагере, он сразу съел все продукты, выданные ему «на дорогу» в связи с освобождением...

День выдался жаркий. Сойдя с трамвая, мы увидели очередь у ларька, где продавали подкрашенную и подслащенную сахарином воду. Хотелось пить, и я встал в очередь, а парнишка вертелся около ларька. Предстояло долгое ожидание. Вдруг мой подопечный появился возле меня с двумя поллитровыми банками в руках (стаканов не было, и вместо них воду пили из стеклянных банок для овощных консервов). Я сразу заподозрил его в краже. «Ловкость рук и никакого мошенства!» — подмигивая мне, сказал этот воин. Мне ничего больше не оставалось, как постараться поскорее сдать его на пересыльный пункт.

На территории пункта бродили толпы мобилизованных. Нас разместили в полуподвальном помещении. Когда я уходил из лагеря, товарищи посоветовали мне разыскать на пересыльном пункте Михаила Емельяновича Удалеева — художника, ранее работавшего в художественной мастерской лагеря, после освобождения призванного в армию и пристроившегося по своей специальности на пункте. Мне, по существу, ничего от него не было нужно, но, в безделии слоняясь по пункту, я набрел на него. Он и еще несколько человек работали в большой комнате, писали лозунги, портреты и плакаты. По-видимому, эта работа была настолько важной, что надежно ограждала от фронта. Удалеев сразу же предложил похлопотать за меня перед начальством и очень удивился, когда я отказался от его протекции и сказал, что хочу поскорее попасть в действующую армию. (Несколько лет тому назад он разыскал меня в Ленинграде, в Академии Художеств, где я работал, и мы вспомнили с ним эту мимолетную встречу).

К вечеру из подвала, в котором нас разместили, стали вызывать желающих поработать на кухне. Уже узнав о трех заповедях солдата — «торопись медленно, не попадайся на глаза начальству и не отставай от кухни», — я отправился помогать в кухонных работах в тот самый «Дом колхозника»,

в котором провел предыдущую ночь. Работу мне дали самую неквалифицированную — чистить картофель, но на большее я и не мог претендовать. Зато накормили ужином.

Часа через три, когда уже начало темнеть, на кухню пришел сержант. Он вызвал нескольких человек, в том числе и меня: «Быстро строиться и на отправку!» Прибежали на пересыльный пункт, откуда по уже темным улицам Архангельска большую группу солдат повели на пристань, посадили на маленькие пароходики и переправили через Двину. Затем строем же отвели на станцию и рассадили по вагонам пассажирского поезда. Вскоре поезд тронулся. Я был доволен. Прощай, Архангельск, прощайте, лагеря!

В вагоне были и гражданские пассажиры — и среди них один ленинградец, возвращавшийся из командировки. Я разговорился с ним. Это был человек еще молодой, упитанный, так что не верилось, что он пережил блокаду, как он сам рассказывал. Правда, он говорил, что после прорыва блокады Ленинград ожил и питание населения значительно улучшилось. В армии наш спутник не служил, а работал в каком-то гражданском учреждении.

Дорогой, на станциях, продавали кое-какие продукты. Я купил свежей лесной земляники и ел ее — в первый раз за пять лет.

Но вдоль железнодорожного пути часто попадались бараки, колючая проволока, вышки с часовыми. Они напоминали о призрачности свободы, напоминали о сталинском режиме...

На следующий день, к вечеру, поезд подошел к вологодскому вокзалу. Нас построили и провели через город в 34-й запасной стрелковый полк 29-й стрелковой бригады. Полк был размещен на обширной территории какой-то недостроенной фабрики, на окраине города, где стояло несколько больших кирпичных зданий, бараков и палаток. Наутро все новоприбывшие предстали перед распределительной комиссией, которая направила меня в роту 50-мм минометов. Выдали чистое, но старое и разношерстное обмундирование. Так 21 июля 1943 года начался новый период моей жизни: служба в армии.

## *Глава 21. Солдат Великой Отечественной*

Подготовку мы проходили весьма ускоренную: почти не было строевой подготовки, уставы не изучались вовсе. Учебная стрельба из винтовки и штыковой бой проводились только один раз. Но зато ежедневно мы выходили в рощу за пределы полка и там занимались материальной частью 50-мм миномета и обращением с ним. После нескольких первых занятий наши командиры, лейтенанты и сержанты, по приходе в рощу ложились вздремнуть, а занятия с личным составом поручали грамотным товарищам из нашего числа. Меня лично от этих занятий часто отвлекал парторг роты, чтобы сочинять и иллюстрировать ротную стенную газету.

Среди моих товарищей по роте, очень разных по возрасту, были такие, кто старался всячески увильнуть от отправки на фронт. Были также «урки» и «бытовики», только что окончившие срок заключения в лагере. Именно из них в роте образовалась целая шайка, занимавшаяся кражами у своих же товарищей и у гражданского населения.

Как-то меня угораздило здесь простудиться, так что с неделю я пролежал в полковой больнице. К концу этой недели в палату пришел один из товарищей по роте. Он рассказал, что сегодня большая отправка на фронт и, поскольку отправляют и нашу роту, он пришел проститься со мной. Меня это взволновало, — я ведь надеялся поскорее попасть в действующую армию. В тот же день при обходе врача я начал настаивать на выписке. Я уже чувствовал себя здоровым, несмотря на несколько повышенную температуру, и рассказал врачу, что сегодня моих товарищей отправляют на фронт. Старик-врач ответил на это смехом. «Вот чудак, — произнес он, — другой бы радовался, оставшись в запасном полку еще на месяц!» И добавил тоном приказания: «Лежите, пока я вас не выписал! Убить вас еще успеют».

Доктор вышел, а я, не говоря ни слова товарищам по палате, вскочил и в больничном халате прошел в отдельный домик, где хранилась наша одежда. Там работали две миловидные девушки, с которыми я уже успел пофлиртовать при поступлении в госпиталь. Через пять минут я уже бежал в казарму роты.

В казарме я не искал начальства. Уже поздно было к нему обращаться. Я понимал, что единственный человек, могущий все устроить, это ротный писарь. Найдя его, я изложил свою просьбу. Он сначала, так сказать для приличия, заявил, что уже, дескать, поздно, что был смотр и принятие присяги (!) и что в данный момент отправляемые уже переодеваются на плацу в новую форму. Потом он выразил удивление моему желанию присоединиться к ним, ибо многие стараются задержаться в запасном полку, и под конец сказал, что если я уж так настаиваю, то я должен скорее идти на плац, найти там такого-то из нашей роты, сказать ему, чтобы он немедленно явился к писарю. А я, надев на себя выданное ему обмундирование и сдав старое, должен стать в строй для отправки. Но ничего не докладывать начальству — «он сам доложит все, что надо».

Указанный мне человек уже переодевался на плацу, заполненном солдатами. Не пытаясь скрыть свою радость, он тут же отдал мне новую шинель и прочее обмундирование, надел снова старое и, забыв даже попрощаться, заспешил в канцелярию роты. Обмундирование, состоявшее из американской шинели и американских же ботинок желтого цвета, а также прочей одежды отечественного производства оказалось мне впору.

Нас построили в длинную колонну, поротно, и повели на вокзал. Много народу вышло провожать нас на улицы города. Вероятно, были и те, кто провожал своих родных или знакомых. Но большая часть горожан просто провожала вообще бойцов на фронт. Женщины плакали. Даже теперь при воспоминании слезы навертываются на глаза. Люди провожали своих защитников как близких родных. Все знали, что многие из нас больше не вернутся.

Приходится признаться, что мне очень не хотелось воевать на северных фронтах. Этот север с его болотами и холодами осточертел мне в лагере, — и как ни приятно было бы защи-

щать, скажем, родной город, я все же предпочел бы какой-либо из южных фронтов.

Маршрут эшелона сохранялся в тайне. Мы ехали долго, останавливаясь на путях, довольно-таки удаленных от вокзалов. Но как-то, проезжая мимо крупного города, я прочел на фронтоне его вокзала надпись: «Ярославль». Отсюда я сделал вывод, что попаду, наверное, на Центральный фронт.

И вот эшелон остановился в лесу. Был теплый день. Всех высадили, поезд ушел. Вокруг не было никакого жилья — только красивый лес и железнодорожный путь. Нас проверили по спискам, разожгли огонь в походных кухнях и накормили всех горячей едой, потом построили, приказали скатать шинели и походным маршем повели в глубину леса. Стоустая молва уже успела оповестить, что нас высадили в Воронежской области и ведут в лес потому, что в нем расположилась для пополнения часть 28-й армии Южного фронта. И вот — обширная поляна с несколькими палатками. Перед ними группы офицеров и солдат. Нас построили на поляне и после приветствия, произнесенного кем-то из командования, стали вызывать артиллеристов, минометчиков, саперов и пр. Я попал в роту 120-мм минометов. Уже в значительно меньшем числе нас, минометчиков, повели в полк той же лесной дорогой.

Службу в действующей армии я начал подносчиком мин в 990-м стрелковом полку 230-й стрелковой дивизии. Помню, что нас обильно кормили, и я, после лагерных голодных лет, никак не мог удовлетворить свой аппетит. Первое время мне неоднократно удавалось съедать почти по два котелка каши за один присест.

Спустя дней десять полк снялся с места и по железной дороге, мимо сильно разрушенного Воронежа, передислоцировался в какой-то город на Северском Донце. Проведя в нем одну ночь, мы переправились через реку и двинулись в наступление на Донбасс. Пехота передвигалась «своим ходом», то есть пешим порядком, полковая артиллерия использовала лошадиные упряжки. На минометные расчеты полагалось по одной повозке, запряженной парой лошадей. Расчет следовал за повозкой пешком, и только в исключительных случаях все шесть человек расчета вскакивали на повозку, где лежали миномет, плита, двуногий лафет, несколько ящиков с мина-

ми. Пехотинцы были вооружены трехлинейными винтовками, минометчики — карабинами.

Наше соединение формировалось в Астрахани, и его гужевая рота состояла из пароконных повозок, в которые впрягались кони и верблюды. Верблюдов не стало только уже когда мы наступали в Западной Белоруссии. Они подорвались на минах или были убиты немцами при обстрелах, и только один из них дошел до самого Берлина.

От всего пребывания на войне у меня сохранилось впечатление о быстром наступлении или, во всяком случае, постоянном продвижении наших войск. Задержки, остановки почти не запечатлелись в памяти. Вот чем я это объясняю. Всякое перемещение, да еще при тех несовершенных транспортных средствах, какие мы имели, требовало от солдат большого напряжения сил. Отсюда и постоянная усталось, еще более увеличиваемая вечным недосыпанием.

Лето было сухое и жаркое, на листве деревьев лежала густая пыль. Особенно в дневное время двигаться было тяжело. К счастью немецкие самолеты редко появлялись в воздухе. Над нами часто кружился только разведывательный самолет немцев, прозванный бойцами «рамой».* Мы проходили города и села Донбасса, все еще не вступая в бой — передовые части очищали от врага лежавшую впереди местность.

Первые месяцы в действующей армии были для меня очень тяжелыми. На счастье, до заключения я всегда много ходил пешком, пронес эту привычку через лагеря и теперь сравнительно легко переносил длительные пешие переходы. Но, странное дело, когда в редких случаях подавалась команда сесть на повозку, у меня это просто не получалось, тем более, что, принимая во внимание боевые условия, садиться приходилось на ходу. Даже во время особенно утомительных переходов, когда разрешалось по очереди прилечь рядом с минометом, в то время как лошади шли шагом, я старался принять по возможности бодрый, молодцеватый вид и отказывался от этой роскоши, чтобы не показать товарищам свою слабость. Вскочить на повозку даже на тихом ходу было для меня много труднеи, чем продолжать путь пешком.

Но особенно тяжело мне было копать землю, — опять-таки сказывалось недавнее тюремное и лагерное прошлое.

* Двухфюзеляжный разведчик «Фокке-Вульф-189».

Напряжение ослабевшего тела в согбенном положении причиняло страшную боль, особенно в пояснице. А между тем минометчикам приходится копать очень много: при каждой перемене позиции нужно отрыть «профиль» для миномета и ячейку для себя. Сплошь и рядом, едва расчет выроет «профиль», по связи приходит команда перенести позицию на 100 или 50 метров левее или правее. Приходится покидать отрытый профиль и готовить новый...

По уставу полагалось рыть щели для расчета раньше, чем профиль. Но у нас это не соблюдалось никогда. Сначала рыли профиль и устанавливали в нем миномет, а затем уже принимались за щели. Да это и понятно: огонь по врагу нельзя было задерживать. А я использовал такое неизбежное нарушение устава в личных целях. Ведь, окончив с товарищами рытье профиля, я уже был не в состоянии рыть щель для себя. Если дело было к ночи и не требовалось сразу же открывать огонь, я заворачивался в шинель и ложился под какой-нибудь куст, не обращая внимания на обстрел со стороны противника. Сначала товарищи считали мое поведение проявлением бесстрашия, не зная истинной его причины. Потом, постепенно привязавшись ко мне, стали бранить меня за неразумное пренебрежение опасностью. Но должен сказать не хвастаясь: страху у меня действительно не было. Слабость — результат пятилетнего пребывания в тюрьмах и лагерях, перенесенных истязаний и болезней, страшного голода — делала меня неполноценным солдатом. Но, может быть, отчасти именно по этим причинам, повидав страшного очень много, перенеся многое, но не согнувшись под этими муками и испытаниями, я не чувствовал страха перед открытым врагом и его средствами подавления. Ни разу не охватило меня и стадное чувство паники. Только позднее, когда я перешел в пехоту, я один раз испытал неприятное ощущение. Меня вызвали в штаб полка, чтобы объявить о включении в список солдат, бывших в заключении и теперь подлежащих снятию судимости за участие в боевых действиях. Возвращаясь в окопы по открытому полю, я услышал визг пуль, которые все плотнее ложились вокруг меня. Я понял, что фигура одинокого солдата сделалась мишенью для немецких снайперов. Это происходило в декабре 1943 года. Поле было покрыто чередующимися квадратами скошенной пшеницы и полеглого подсолнечни-

ка. Неприятное ощущение кружащей рядом смерти заставило меня изменить способ движения, делать перебежку через квадраты сжатой пшеницы с остановками в полёгшем подсолнечнике...

В октябре Южный фронт был переименован в 4-й Украинский. В октябре же я был контужен при взрыве противотанковой мины, на которую наехала повозка нашего расчета. Лошади были убиты и далеко отброшены, ездовой тяжело ранен. Меня хотели отправить в госпиталь, но я остался в расчете.

В начале ноября армия вышла к низовьям Днепра. К Днепру мы подходили сплошным потоком. На грейдере перемешались пехота, артиллерия и повозки с минометами. От реки слышался гул орудийных залпов. На берегу мы вошли в большое село, установили в нем минометы и били из них по немцам, занимавшим противоположный берег.

Село, повторю, было большое, с садами и многочисленными улицами. Населения в нем осталось много. Я обратил внимание на некоторые хаты, стоявшие полуразрушенными, без кровель, с оплывшими стенами, и спросил у старика, местного жителя, неужели за два года войны эти хаты, явно не разрушенные снарядами, могли прийти в такой вид. «Та ни», — ответил он и объяснил, что хаты разрушены временем. Хозяев их «забрали» задолго до войны, и с тех пор они стали необитаемыми. Я вспомнил лагерь. Сколько в нем находилось украинцев! И бараки на неприветливой северной земле, построенные высланными с Украины, «раскулаченными» семьями...

После форсирования Днепра армию, или может быть ее часть, перебросили на Никопольский плацдарм, чтобы ликвидировать клин на левом берегу реки, удерживаемый немцами для обеспечения вывода войск из Крыма. Как раз в это время в пехоте ощущался острый недостаток людей; у меня сложились скверные отношения с командиром расчета — старшим сержантом (молодой еще парень, он не отличался порядочностью, злоупотреблял своей властью над расчетом, да и к населению освобожденных нами мест относился вымогательски), мне удалось «отпроситься» в пехоту, и я был назначен в нашем же полку командиром отделения. В нашем взводе насчитывалось всего около двадцати штыков, то есть

меньше половины штатного состава. Постоянно поступало пополнение — каждый раз несколько человек — за счет внутренних ресурсов полка: поваров, писарей и прочих. Но фактически количество штыков не увеличивалось из-за почти ежедневных потерь в людях.

Для ликвидации Никопольского плацдарма немцев командование явно не имело достаточных сил. Наше положение осложнялось тем, что распутица не допускала какого-либо передвижения артиллерии и транспорта вообще. Даже стрелковые части были вынуждены сами подносить из тыла ящики с патронами. Пища также доставлялась нам в наплечных термосах пешим ходом. Но самым неприятным для нас, солдат, было то, что мы не мылись в бане и не раздевались, так как враг мог в любое время атаковать нас. И его союзники, вши, развелись и досаждали нам не меньше немцев.

У немцев было то преимущество перед нами, что их части, расположенные в окопах на передовой позиции, периодически сменялись. Но все же это им не помогло. Когда я уже лежал в госпитале, поступавшие туда с передовой рассказывали о наступлении наших частей и ликвидации Никопольского плацдарма. Получив пополнение людьми, наши войска двинулись без артиллерийской подготовки, смяли немцев и отбросили их за Днепр.

Я пробыл на плацдарме немногим меньше месяца. За этот месяц мы время от времени, разными ротами на разных участках, вели ложное наступление, чтобы, поддерживая нажим на противника, не дать ему почувствовать нашу слабость. Во время одной из таких ложных атак, в декабре 1943 года, я был ранен осколком мины в правое колено. С поля боя меня доставили в полевой передвижной госпиталь, где я пробыл до 15 апреля следующего года. Госпиталь стоял в большом украинском селе к востоку от Днепра. Около полутора месяцев я лежал в палате, устроенной в большом сарае, а затем пребывал в команде выздоравливающих.

Начальником госпиталя был пожилой здоровенный мужчина, бывший военный фельдшер царского флота, — один из тех типов, про которых ходила поговорка: «Нет больше сволочей, чем генералы из врачей». Начальник госпиталя с неприязнью относился к людям интеллигентным, да впрочем и ко всем окружающим. В палаты он ни разу не зашел — по

крайней мере за время моего пребывания там, — зато много времени уделял преферансу. При нем состояли девушка-ленинградка и собственный сын призывного возраста, — считалось, что они занимают какие-то должности в госпитале.

Здесь произошло событие, воспринятое обитателями нашего госпиталя по-разному, — я говорю о появлении нового государственного гимна. Личный состав госпиталя и выздоравливающих обучали его исполнению. Многие высказывались в таком духе, что, дескать, новый гимн чем-то напоминает «Боже, царя храни». Действительно, его тягучая мелодия не шла в сравнение с энергичным ритмом «Интернационала», бывшего советским государственным гимном более двадцати лет и для всех привычного.

Пришло время, когда фронт ушел вперед и госпиталь также передислоцировался — в какую-то усадьбу с каменными домами, к западу от Херсона. Отсюда меня выписали в армейский запасной полк. Мне придали еще пять человек из команды выздоравливающих, выдали необходимые бумаги и продуктовый аттестат на всю группу. Запасной полк стоял в нескольких километрах, и мы пешком по полям направились туда. Проблуждав часа три, мы разыскали полк, но нас не приняли, поскольку он как раз передислоцируется и никому не до нас. Отправили обратно в госпиталь... Но, вернувшись, мы нашли знакомые дома пустыми. Их собиралась занять другая часть. Какой-то офицер сказал, что 28-ю армию перебрасывают срочно на север, так что госпиталь надо искать на ближайшей железнодорожной станции.

Поплелись туда. Время близилось к вечеру, а когда мы добрались до станции, уже начало темнеть. Там стояло несколько эшелонов, в которые грузились части нашей армии — пехота, пушки, танки. Госпиталя нашего не было. Мои спутники держались совершенно пассивно: я старший, мне и отвечать за них.

Я обратился за помощью к военному коменданту станции — разыскал его и доложил положение, в котором мы оказались. Он посоветовал мне догонять госпиталь и сказал, что не имеет права сообщить, куда перебрасывается армия, но может дать мне «аннушку», то есть указать название одной из промежуточных станций в направлении пути эшелонов. Я впервые услышал этот термин (кстати, по сей день не знаю,

откуда он происходит). Нам следовало добираться до Полтавы, а там спросить «аннушку» уже у полтавского станционного коменданта.

Так мы и сделали. Сели на платформу, груженную каким-то интендантским имуществом, и довольно долго ехали по только что восстановленной железной дороге.

Прибыли в Полтаву, получили продукты по аттестату и на другой день явились к коменданту станции. Он сообщил нам «аннушку» — Бахмач, и с одним из воинских эшелонов мы добрались туда.

В нашей компании, состоявшей из сравнительно молодых ребят, находился пожилой солдат, в котором не было ровно ничего военного. До армии он был портным. Теперь он стал приставать ко мне с просьбами отпустить его домой: он, мол, доберется без всяких документов. Я понимал, что толку от такого солдата нет, но все же боялся, что он дезертирует независимо от того, «отпущу» я его или нет. Однако просто сбежать без моего, так сказать, позволения он не решался, хотя легко мог это сделать. Так и путешествовал с нами этот убеленный сединами портной, досаждая мне слезливыми просьбами.

В Бахмаче «аннушка» была дана нам до города Новозыбкова, находившегося уже в Брянской области. Туда мы доехали в пассажирском поезде, составленном из жестких вагонов, битком набитых мирными жителями. Поезд пришел в Новозыбков ночью. Мои подопечные улеглись на полу переполненного народом вокзала и заснули мертвым сном. Вдруг я увидел наряд железнодорожных войск, относящихся к системе НКВД. Наряд был занят проверкой документов у скопившихся на вокзале людей. Подойдя ближе, они потребовали документы и у нас. Не будя товарищей, я предъявил направление в запасной полк, другие бумаги и аттестат. Они требовали командировочное предписание, которого не было, и я объяснил причину его отсутствия. Тогда старший наряда объявил, что мы задержаны, и велел будить товарищей.

Я сообразил, что мы влипли в историю. Но мне было известно, что между армией и частями НКВД существовал антагонизм, и глупо было бы не попытаться им воспользоваться. Я отказался будить ребят и потребовал, чтобы меня сначала отвели к военному коменданту станции, который

помещался тут же, рядом с залом ожидания. Расчет оказался правильным. Выслушав мой доклад и проверив документы, военный комендант приказал старшему наряда оставить нас в покое. Когда тот вышел, комендант сказал, что мы прибыли на место. Госпиталь находится в Новозыбкове, и утром мы должны его разыскать. Наутро, когда моя команда проснулась, я объявил о конце нашего путешествия, и мы пошли по незнакомому городу разыскивать госпиталь.

Новозыбков был типичным для России районным городком. Несколько его церквей и каменных домов возвышались среди деревянных домиков с садами и палисадниками. Кое-где попадались разрушения, причиненные войной. Пройдя немного, мы двинулись вдоль длинного побеленного кирпичного забора. В одном месте в нем зияло отверстие, по-видимому, пробитое снарядом. Проходя мимо, мы увидели в отверстии улыбающееся лицо госпитальной поварихи. Так кончились наши скитания.

В запасном полку, куда я попал из госпиталя, меня хотели отправить на курсы по подготовке младших лейтенантов, но я воздержался. 18 мая меня «продали» в 13-й трофейный батальон 28-й армии, в котором я пробыл до конца войны. Батальон не только собирал трофеи, для чего с передовыми частями наших войск входил в оставленные немцами населенные пункты, но и принимал порой непосредственное участие в боевых операциях, а также занимался разминированием захватываемых местностей. Командовал батальоном майор Борис Гаврилович Костенко, а когда под Берлином, в самом конце войны, он был ранен, его поочередно заменяли начальник штаба капитан Скоморохов, замполит майор Задов и майор Мореплавцев.

Вместе со мной среди нового пополнения батальона находился молодой красноармеец — Николай Васильевич Шмелев, с которым мы стали потом друзьями. Меня с самого начала назначили командиром отделения — самого мелкого из существующих в нашей армии подразделений. Ближайшим моим начальником был лейтенант Михаил Егоров, командир взвода — парень неплохой, но малокультурный. В этом же взводе числился техник-лейтенант Николай Васильевич Антонов, ленинградец, умный и деликатный офицер, с которым у меня установились дружеские отношения,

продолжающиеся по сей день. Это единственный сейчас мой товарищ по армии и войне, что, вероятно, объясняется тем, что мы с ним живем в одном городе.

Батальон покинул живописное село под Новозыбковом, где располагался в день нашего прибытия, и в составе армии выступил на запад. Не доходя до Гомеля, я заболел малярией, которой страдал в детстве. Температура у меня доходила до сорока градусов, но я держался и не покидал свое отделение. Перед нашими глазами проходили города и села Белоруссии, только что освобожденные от врага.

В одном селе, куда мы вошли вместе с передовыми частями, на земле лежали многочисленные трупы немецких солдат вперемежку с тяжелоранеными. Внезапно распространился слух, что немцы нас окружают. Тогда находившийся рядом замполит Задов отдал распоряжение добить раненых немцев. Лейтенант Егоров приказал взводу исполнять это жестокое и противоречащее законам войны повеление. Лежавшие на земле тяжелораненые — те из них, что находились в сознании, — умоляли знаками наших солдат стрелять в самое сердце, чтобы прикончить быстрее.

Я заявил лейтенанту, что не хочу быть палачом, и отказался от этой чудовищной работы. Отказ от выполнения приказа командира, да еще в боевой обстановке, чуть ли не на поле боя, грозил расстрелом. До сих пор не понимаю, как это сошло мне с рук...

Вспоминаю один любопытный случай, относящийся к тому же периоду. Однажды мы остановились на хуторе и простояли там два дня. Пришел один из моих товарищей и стал рассказывать, что около хутора отдыхают пленные немцы и среди них «красивая баба». Я не поверил, зная, что немцы стараются не держать женщин на передовой позиции. Пошел посмотреть. На окраине хутора сидели конвоир и трое пленных, вокруг которых собралась кучка наших солдат. Двое пленных, обыкновенные немецкие деревенские парни, совсем юные, с тупым безразличием смотрели вокруг. Третий — юноша лет 16–17, одетый в форму младшего командира, но босой, с нервным, тонким лицом и длинными волосами, которые и заставили наших бойцов принять его за женщину. В то время на Западе молодые щёголи уже начинали носить длинные волосы, но у нас эта мода, получившая теперь широкое

распространение, тогда еще не существовала. Я стал свидетелем спора между зрителями. Одни уверяли, что это женщина, другие — что это парень, но только очень «смахивающий на бабу».

Так как в нашей роте, а скорее всего и в батальоне, я был единственным, кто знал в известной степени европейские языки и начальство прибегало к моей помощи, когда требовалось что-либо перевести, то меня и попросили выяснить вопрос о поле пленного.

Я спросил по-немецки. Юноша, по-видимому не желая вступать в разговор, ответил по-французски: «Я француз!» Тогда я перешел на лучше знакомый мне французский язык. Выяснилось, что пленный — эльзасец и служил, тем не менее, в немецкой армии. Мои товарищи попросили сказать ему, что союзники только что высадились во Франции, началось ее освобождение от оккупантов, и этому юноше еще не поздно понять, на чьей стороне он должен сражаться. Однако мой собеседник устало вздохнул и произнес: «Мне это теперь безразлично». Он, видимо, уже привык к мысли, что для него война, слава Богу, окончена.

Конвоир и пленные поплелись своей дорогой. А нас ожидали новые бои, многих — ранения и смерть.

В лесах под Бобруйском мне впервые довелось увидеть зловещую картину разгрома немецких частей. Здесь перемешались автомашины, тягачи, пушки, повозки, люди и кони. Все это было мертво, исковеркано, разбито снарядами нашей артиллерии и бомбами с наших самолетов. Такая впечатляющая картина в дальнейшем еще не раз повторялась на нашем пути.

Во время марша вперед мы как-то остановились на обочине шоссе. Подъехали на машинах и вышли командир батальона и замполит. Между ними завязался спор, — вероятно, о том, двигать ли нас дальше. Мы сидели в кузовах грузовиков и не слышали слов. Но вдруг майор Задов выхватил из кобуры пистолет и, потрясая им в воздухе, закричал, что он поведет нас в бой. Майор был великолепен в эту минуту.

Этот человек среднего роста, довольно тучный, с бритым лицом, походил, вообще говоря, на заслуженного артиста еврейского театра в Москве. Говорили об его прошлом по-разному: одни — что до войны он был начальником лагеря для

заключенных, другие — что хозяйственным работником. Человек недалекий, он очень любил позу. На плохого актера он походил и сейчас, драматически потрясая пистолетом, когда враг был еще далеко впереди.

По-видимому, он переубедил командира батальона, и, влезши в грузовик с бойцами, «повел нас в бой». Мы помчались по шоссе, обгоняя вяло тянущуюся пехоту. Перед нами открылось поле ржи и за ним — большое село, как выяснилось позже, Ляховичи. Пехотинцы передовых частей перебежками двигались по сторонам шоссе, а мы, оставляя их позади, быстро приближались к залитому солнцем селу. Должно быть, майор считал, что оно уже оставлено немцами, иначе было бы абсурдом въезжать в него на машине с кучкой слабовооруженных людей. Но вдруг из села началась ружейная стрельба по нашему грузовику. Водитель развернул его и вырвался в поле. Заехав в густую рожь, он остановил машину. Люди выскочили и залегли во ржи. Майор Задов, перепуганный, побледневший, старался втиснуться в межу, из которой торчал его толстый однофамилец. Паника усугублялась тем, что в эти мгновения над полем проскочил немецкий самолет, с которого, разумеется, все было видно как на ладони.

Пехота заняла село, выбив из него остатки немецкой части. Водитель вывел машину обратно на шоссе, мы опять забрались в нее и поехали назад. По счастью, никто из нас не был даже ранен. Остановились на хуторе невдалеке от села, и майор Задов сел писать политдонесение. Это был первый раз, когда мне пришлось, согласно его распоряжению, писать под его диктовку. Я слушал текст, произносимый очень веско и с пафосом, но совершенно неграмотный, и писал, отыскивая более приемлемую форму.

С этого дня замполит обратил на меня свое благосклонное внимание. Когда в батальон приезжало какое-нибудь начальство, он, увидев меня, подзывал к себе: «Вот ленинградец, прекрасный солдат, герой. Он мне жизнь спас!» И рассказывал о нашем участии во взятии Ляховичей, которые мы, как ясно из моего рассказа, не брали... Мне приходилось молчать — замполиту очень уж хотелось изображать себя героем, чудом избежавшим смертельной опасности. А между тем почти любой солдат попадал в переделки, подобные той, в какую Задов втравил всех нас по глупости, не один раз: война

есть война. И очень мало кому приходило в голову считать себя и окружающих на этом основании героями.

Недалеко от Барановичей, на небольшой железнодорожной станции, где прошел довольно сильный бой, мы захватили два эшелона с зерном. Отсюда батальон двинулся на Брест. На беду, я не вовремя попался на глаза начальству, и меня с одним солдатом оставили на этой станции. Я должен был охранять эшелоны и сдать их, когда подойдут «тылы».

Мы с напарником, фамилию которого я не помню, по имени Иван, устроились в одном из вагонов. Иван был глух, но отлично играл на баяне и по движению губ собеседника понимал все, что тот говорит. Мы пробыли на станции около недели. Завели дружеские отношения с населением поселка, особенно с молодежью. К нам относились хорошо, но и молодые и старые в этих местах очень боялись советской власти, а именно колхозов. До войны эта область принадлежала Польше; дурная слава колхозов, как известно, уже тогда распространилась далеко за пределы нашей страны.

Вдоль железной дороги стоял густой лес. На его опушке, километрах в трех от станции, лежали сотни расстрелянных — мужчины, женщины и дети. Это были обитатели барановичского гетто, которых пригнали оттуда на расстрел, когда немцам пришлось отступить и оставить Барановичи.

Земля возле станции была изрыта воронками от снарядов. В этих воронках жители пристанционного поселка погребли трупы немцев, убитых в бою за станцию. Среди убитых был офицер вермахта, владелец овчарки. И во все время нашего пребывания на станции она лежала на могиле своего хозяина, отлучаясь только для того, чтобы раздобыть себе где-нибудь пищу. Когда кто-нибудь приближался к могиле, она свирепо рычала, ощетинив шерсть. Иван хотел пристрелить ее, но я его отговорил. Такая преданность пса хозяину тронула меня.

Сдав «трофейное» зерно, мы отправились на поиски нашей части. В Бресте удалось узнать, что батальон находится уже в Седлеце, на территории Польши. Седлец оказался красивым городом, на улицах встречалось много народу, среди прохожих часто попадались поразившие нас монахини в черных одеждах и высоких головных уборах.

Однако наша рота стояла еще дальше — в Минске-Мазовецком. Когда я добирался туда из Седлеца, мне поручили доставить в роту одного солдата — пожилого, тощего и бородатого азербайджанца Тамирова, по какой-то причине отставшего. Мне всегда было обидно за этого почти старика, из которого товарищи и начальство сделали ротного шута. Начальство неумно оправдывало это тем, что у солдат следует поднимать настроение. Жалкого пожилого человека заставляли танцевать и смеялись, когда он делал вид, что танцует лихой азербайджанский танец, кое-как шевеля худыми ногами и взмахивая кулаками. Он, конечно, понимал, что играет роль шута, но считал, видимо, что в армии так легче прожить. Очень плохо говоря по-русски, он часто обращался к замполиту с дурацкими вопросами, под дружный хохот товарищей:

— Товарищ майор, а баришня можьно?

— Ни-ни, Тамиров, ни в коем случае нельзя!

— Ай-яй-яй. А немецкий баришня можьно?

— Вот, дойдем до Берлина, тогда можно.

На родине у него осталась семья — жена и дети. И если кто-нибудь из товарищей начинал прохаживаться насчет их нравственности, Тамиров набрасывался на шутника с кулаками. В Минске-Мазовецком он неоднократно просил меня писать письма домой под его диктовку. Эти очень длинные письма состояли только из стереотипных фраз: «Фатма поклон, Хасан поклон...» и т.д. Приходилось от себя приписывать о его здоровье и солдатском быте.

К «минско-мазовецкому» периоду относится мое столкновение с ближайшим начальством.

Уже раньше у меня сложились плохие отношения со старшиной роты, ведавшим вопросами питания солдат. Следует сказать, что с хозяйственной деятельностью на фронте не все и не всегда обстояло благополучно. Частенько люди, ведавшие питанием солдат, допускали злоупотребления. Боевая обстановка и уставы не позволяли нам поднимать этот вопрос.

Еще когда я служил в 990-м полку, солдаты постоянно были недовольны и жаловались друг другу на старшин, ведающих продуктами. Те особенно не утруждали себя соблюдением установленных норм довольствия. Помню, на-

пример, что при выдаче табака мерой была горсть старшины. В госпитале, в команде выздоравливающих, были обнаружены злоупотребления в снабжении сухим пайком при передислокациях.

А теперь, в нашем 13-м батальоне, произошел такой случай. Как-то еще в Белоруссии бойцы батальона были направлены в лес, где находился склад снарядов, и занимались погрузкой их в машины автороты для доставки на передовую. Я со своим отделением тоже грузил снаряды. При погрузке находился тот же старшина, с которым я теперь встретился в Минске-Мазовецком. Три дня мы работали в лесу и ни разу не получали за это время не только горячей пищи, но даже хлеба. Пришлось питаться кто как мог, — главным образом за счет населения ближайшей деревни, в которой мы ночевали. В той же деревне расположились старшина и кое-кто из офицеров батальона. Голодные солдаты видели, что начальство кормится, как говорится, «от пуза», но когда кто-нибудь рисковал задать старшине вопрос насчет питания, тот разводил руками и уверял, что продукты вот-вот подвезут. Надо сказать, что таких спрашивающих было очень мало. Считали, что «на войне как на войне», понимали, что снаряды необходимы фронту, боялись вызвать недовольство начальства. По уставу, жалобы можно было подавать только по инстанциям, причем коллективные жалобы при Сталине вообще не полагались и могли вызвать совсем противоположный результат, то есть расследование, кто является «зачинщиком» жалобы, вместо расследования злоупотреблений, о которых в ней говорится.

Я поступил в том случае так: в жалком рукописном «Боевом листке» нашего взвода появилась заметка, где в приподнятом тоне сообщалось о погрузке снарядов, о лучших отделениях, назывались фамилии бойцов, особенно отличившихся на этой работе, — словом, стандартная заметка из категории тех, которые, по мнению начальства, должны были поднимать дух бойца. И только в самом конце ее было сказано, как бы между прочим, что бойцы самоотверженно работали несмотря на то, что, по независящим от начальства причинам, оно не смогло обеспечить их питанием. Разразился в некотором роде скандал, старшине влетело, а он, понятно, озлобился на меня.

В Минске-Мазовецком этому же старшине было поручено проводить с бойцами политзанятия. Но что это были за политзанятия! Член партии, но базграмотный человек, он порол такую чушь, что сами слушатели, которых он должен был просвещать, смеялись над ним. Оставаясь с ним вдвоем, я пытался помочь ему. Но он принимал мое вмешательство как личную обиду.

Как-то в роту приехал парторг батальона старший лейтенант Анцибор и с ним другой офицер — политработник от командования армии. Собрали офицеров и сержантов и провели инструктаж, темой которого было отношение наших воинов к «братьям-полякам», освобождаемым от нашего общего врага. Говорилось о том, что совершенно недопустимо обижать их, посягать на их собственность, что они наши братья и союзники. Всякие акты несправедливости в отношении польского населения только на руку польским реакционерам, которые хотят поссорить наши народы и вызвать вражду к нашей армии-освободительнице.

Проведя такую беседу, офицеры уехали. В ту же ночь мы были разбужены дежурным. Предстояла очередная вылазка в польские огороды.

Это походило на скверный анекдот. Я спросил дежурного, по чьему приказанию он нас поднимает. «По приказанию старшины», — ответил дежурный. Я сказал, что хотел бы видеть самого старшину. «Он сейчас придет». Явился старшина. Я заявил ему, что его приказание противоречит инструктажу, на котором мы сегодня оба присутствовали, и спросил, согласовано ли оно с парторгом батальона. Старшина ничего мне не ответил, а только со злобой в голосе скомандовал: «Отставить!» Мы снова улеглись.

На другой же день меня вызвал командир роты и напустился на меня за то, что я посмел не выполнить приказание, которое, как всякому понятно, исходило не от старшины, а от него. Он распорядился отправить меня из Минска-Мазовецкого — «с глаз долой!» — в расположение нашего взвода, который разместился в селении Духнов, недалеко от Праги (предместья Варшавы).

И вот к дому, где я находился, подъехала телега. В ней сидел командир нашего взвода лейтенант Егоров. Когда мы с ним отъехали от расположения роты, он пояснил: «Прика-

зано забрать вас для исправления!» — и рассмеялся. В Духнове я встретился со знакомыми бойцами и техником-лейтенантом Антоновым. Офицеры — Егоров и Антонов — квартировали в большом одноэтажном доме с садом и двором, окруженным хозяйственными постройками, в которых помещался взвод. Среди товарищей я почувствовал себя дома. На нашем участке фронта царило затишье. Изредка доносился звук пушечных выстрелов из Варшавы.

Зажиточные хозяева усадьбы жили в том же доме. С ними жил и их работник, вполне интеллигентный поляк — магистр философии. Окончив высшее учебное заведение, он не смог найти работу по специальности и вынужден был поступить, в сущности в качестве батрака, к сельскому хозяину. Он изъяснялся по-русски, и когда мы с Егоровым выразили недоумение по поводу его положения, высказался в том смысле, что и его многое у нас удивляет. Вот, например: в советской армии среди простых солдат встречаются весьма интеллигентные люди, в то время как многие командиры прямо-таки поражают своей некультурностью. Пришлось ограничиться ответом только на вторую часть его вопроса, притом объяснить это демократическим строем нашей страны, тем, что многие наши командиры — бывшие рабочие и крестьяне, получившие возможность учиться только после Октябрьской революции. Притом, то, что он называет «некультурностью», не лишает людей таких достоинств, как смелость, мужество, военные способности. При этом я сослался на исторические примеры и, в частности, на выдающегося наполеоновского полководца маршала Нея, начавшего службу рядовым в революционных войсках.

Егоров остался очень доволен моими объяснениями. Мало того, что они были, как принято выражаться, «политически выдержанными», — они также польстили ему лично. Ведь он сам начал службу солдатом и получил офицерское звание. Получалось, что и он еще мог уподобиться славному французскому маршалу.

Дни моего пребывания в Духнове совпали с печальным для меня событием, о котором я узнал только спустя четверть века. 14 августа 1944 года погиб мой старший брат Мстислав — во Франции, сражаясь с немцами в составе польского бронедивизиона генерала Мачека. Брат был убит в Норман-

дии, будучи канониром 1-го полка зенитной артиллерии этого дивизиона, и похоронен на поле боя. Ему было сорок с небольшим лет.

Пребывание в Духнове кончилось очень скоро. Весь взвод перевели в Седлец, где наш 13-й батальон задержался еще на некоторое время. И вдруг здесь со мной произошел приступ невероятной, безрассудной любви к Польше, — настолько сильный, что я всерьез подумывал «бросить все» — то есть, собственно, дезертировать — и остаться на этой польской земле, невзирая на последствия, какие будет иметь этот отчаянный шаг.*

Происходя из обрусевшей польской семьи, три поколения которой были русскими патриотами, беззаветно преданными своей российской родине, не зная польского языка, попав в Польшу впервые в жизни уже немолодым человеком, я не чувствовал, тем не менее, себя здесь иностранцем. В нашей семье такие «атавистические» проявления обнаруживались не только у меня. Родные рассказывали, что мой отец, отдавший жизнь за Россию, в ранней молодости проявлял полонистические тенденции. Мой старший брат Мстислав также в ранней юности «страдал полонизмом». После кризиса, который он перенес — в советское время — в отношениях со своей родиной, он перешел в католичество и нелегально эмигрировал во Францию вслед за неудачной попыткой официально перейти в польское подданство. А меня чувство родства с землей моих предков охватило впервые, когда я стоял на этой земле, — ночью, в Седлеце, в карауле, при охране каких-то складов батальона. Быть может, мне так мучительно захотелось остаться в Польше и начать, если это вообще возможно, жизнь как бы сначала потому, что я понимал: моя настоящая родина, Россия, а вернее тот режим, который создал в ней Сталин, не обещает мне ничего хорошего по возвращении с войны.

---

* Наше пребывание в Минске-Мазовецком и Седлеце совпало с днями безнадежного Варшавского восстания, которому Сталин совершенно сознательно не хотел оказывать помощь. И — кто знает? — может быть, его свирепое подавление, трагедия и боль Варшавы, фактически стертой немцами с лица земли, неисповедимыми путями передавшись мне через линию фронта и десятки километров, разделявшие нас, как раз и вызвали во мне эту вспышку нерассуждающей любви к стране и народу, к которому принадлежали мои предки.

Но кончился ночной караул — и с ним прошел мой приступ полонизма.

Из Седлеца нас перебросили назад к советской границе — под Кобрин. Здесь мы получили пополнение и приступили к занятиям строевой и боевой подготовкой. При этом вскрылись кошмарные обстоятельства. Выяснилось, что бойцы и даже многие офицеры батальона не знали многочисленных должностей, какие занимал «гениальный вождь и полководец товарищ Сталин». Политические руководители забили тревогу. Нам, младшим командирам, было приказано срочно обучить этому солдат, выделив для занятий «словесностью» время за счет боевой и строевой подготовки. Но это оказалось весьма трудной задачей. Особенно тяжело было с солдатами нерусской национальности (так называемыми «нацменами», то есть представителями «национальных меньшинств» нашей страны) и с пожилыми, которых в батальоне было много. Так, собственно, и не удалось выправить положение со знанием или, вернее, незнанием сталинских должностей, тем более что времени на это оказалось не слишком много: батальон вскоре снялся с места и тронулся в путь.

## *Глава 22. На немецкой земле*

Армия перебазировалась через всю Белоруссию и Литву к границам Восточной Пруссии. Этих границ она достигла в первых числах ноября 1944 года. Около двух месяцев нашему батальону пришлось простоять в прусском городке Эйдкунене. Вступление в него напомнило мне старинные предания о рыцарях Круглого стола короля Артура. Рыцарь Парсифаль въезжает в заколдованный город, где не видно жителей. Все они охвачены сном в своих домах. В Эйдкунене мы тоже двигались по совершенно безлюдным улицам. Здесь, правда, не оставалось ни единой живой души и внутри домов, — мы видели только картины, говорящие о паническом бегстве мирного населения. Часто даже постели оставались в спальнях неубранными. Немецкое командование до последнего часа убеждало население в том, что русские войска будут остановлены вермахтом. И только перед самым отступлением оно приказывало жителям уходить.

За все время пребывания в Эйдкунене я видел только двух немцев, да и то мертвых. А между тем, батальон прочесывал все дома города, так как были подозрения, что в них еще прячутся немцы, корректирующие огонь артиллерии и подающие сигналы своим самолетам.

Наша рота, которой теперь командовал лейтенант Рыбалко, расположилась в каменном двухэтажном доме. Пехотинцы собирали металл и прочие «трофеи» и грузили их для отправки на наши заводы. Минеры с той же целью подрывали неподвижно стоящие там и сям танки и самоходные орудия: страна очень нуждалась в металле. Замполит Задов, инструктируя командиров и бойцов, приказывал «брать металл» всюду, где толко возможно, не щадя домов.

В ноябре в батальон поступило новое оружие и нам наконец-то заменили трехлинейные винтовки отличными

автоматами отечественного производства. Выдали нам и зимнее обмундирование. Надвигалась зима — похоже, последняя зима этой войны.

Операция по взятию Гумбиннена, особенно памятная мне потому, что наш батальон вступил в город одновременно со штурмовыми частями, закончилась 21 января 1945 года. Город сравнительно мало пострадал при штурме, но сразу же после нашего прихода начались пожары. В Гумбиннене оставались немногие жители, было выловлено и несколько солдат вермахта. Возможно, что именно они и занимались поджогом жилых домов, но, с другой стороны, и наши бойцы не щадили чужих городов и были случаи поджога ими. Эти случаи они объясняли «священной местью за сожженные немцами города и села нашей страны». Так или иначе, пожары начали опустошать город. Когда мы покидали Гумбиннен, нам пришлось проходить мимо королевского замка, построенного в XVII веке и господствовавшего над городом. При занятии города замок еще стоял нетронутым. Но теперь и он был охвачен пламенем.

Вступив во Фридлянд, мы расположились на территории сыроваренного завода. В этом же городе нами был занят и крупный молочный комбинат. Восточная Пруссия была богатым сельскохозяйственным районом Германии. Особенно она была богата скотом, который огромными стадами бродил по местностям, покинутым жителями. Захватывая скот, мы передавали его специально прибывавшим колхозникам, а те уже перегоняли его через нашу границу. К сожалению, белые с черным немецкие коровы были очень изнежены, и при перегонке гуртами много скота гибло в пути.

Фридлянд тоже был почти цел при нашем вступлении, но и тут сразу же начались пожары... Осматривая длинные подвалы молочного комбината, в которых хранилась готовая продукция, мы обнаружили в одном из них немцев — старика и двух старух. Старик, по его словам, был учителем, с ним была его жена и еще одна древняя старуха. Они бежали откуда-то в страхе перед приближением советской армии, добрались до Фридлянда и здесь застряли. Увидев меня и бывших со мной солдат, они смертельно испугались. Наши ребята не очень-то деликатничали с немцами. Когда я обратился к этим беженцам с вопросами на плохом, но все-таки их род-

ном языке и притом вежливо, они сразу же стали искать у меня защиты. Древняя старуха, лежавшая на полке, где стояли ряды банок со сгущенным молоком, протягивала ко мне тощие руки и умоляла о спасении. Конечно, этих старых людей нельзя было счесть за врагов. В городе всех обнаруженных мирных жителей сосредоточили в ратуше. Я вывел стариков за ворота комбината и поручил одному из бойцов отвести их в ратушу.

Командование батальона приказало прочесать занимаемые нами районы города. Для прочесывания были сформированы группы, состоявшие каждая не менее чем из трех человек. Прочесывая рабочую окраину города, я и два приданных мне бойца вошли в один из домов и увидели лежащую на кровати старую женщину — по всей видимости, мертвую, со сморщенным, высохшим и пожелтевшим лицом. Уже выходя из помещения, я обернулся и увидел, что она повернула к нам голову и смотрит на нас широко открытыми глазами. Приказано было забирать только «дееспособных» немцев. Мы ушли, а ночью весь этот рабочий квартал сгорел.

Проходя мимо ратуши, я увидел толпу стариков и старух, окруженных хохочущими бойцами. Увы, в армии было немало хулиганов. Один с хохотом облапил старую женщину, с трудом двигавшуюся, опираясь на палку. И вдруг эта женщина, вырываясь, ударила его палкой по голове. Я хотел вмешаться, боясь, что сейчас начнется расправа над нею, но в это время подошел пожилой офицер и разогнал зевак. Я слышал, как он резко отчитывал хулигана, неожиданно получившего отпор от старой женщины.

Из Фридлянда наш батальон двинулся к Прейсиш-Эйлау, под которым в это время шел ожесточенный бой.

Командованию батальона стало известно, что в Прейсиш-Эйлау, на железнодорожных путях, стоит эшелон с заводским оборудованием, вывезенным немцами с оставленной ими территории. Мне было приказано проникнуть за линию фронта и уточнить наличие и местонахождение этого эшелона. У меня до сих пор хранится листок из блокнота, на который я перенес с карты ряд населенных пунктов в этой местности, дороги и железнодорожные линии. Для этой разведки мне был придан боец по имени Хомич. За нами следовала оперативная группа, а за ней батальон.

Я и Хомич двинулись пешим порядком по шоссе в направлении Прейсиш-Эйлау. У усадьбы Зохнен, в которой мы переночевали, свернули с шоссе и по проселочной дороге вышли на другое шоссе, ведущее на Прейсиш-Эйлау от Мюльхаузена. Звук орудийной пальбы, доносившийся от Прейсиш-Эйлау, становился все ближе и, по мере того как мы подходили к железной дороге, пересекавшей шоссе, делался все более слитным, непрерывным. За железной дорогой находился Шмодиттен — последний населенный пункт перед Прейсиш-Эйлау. Он уже находился в наших руках. Но в нем царил настоящий ад. Разрывы немецких снарядов все более обращали его в груду развалин. Нельзя было сделать несколько шагов без того, чтобы перед вами не обвалился угол какого-нибудь дома или целиком стена. Местного населения здесь вовсе не оставалось; попадались отдельные наши бойцы, осторожно, перебежками, как и мы, продвигавшиеся по улицам.

Я разыскал командный пункт какой-то пехотной части, расположившийся в подвале каменного дома. Там нам разрешили временно обосноваться. При нас отдавались распоряжения по связи, принимались доклады, принимались тактические решения. Из подвала нельзя было показать носа, не то что заняться поисками эшелона в Прейсиш-Эйлау. Так мы провели тут два дня. Но вот из переговоров по связи мы узнали, что нашими частями занят еще один населенный пункт, находившийся несколько ближе к нашей цели, хотя и невдалеке от Шмодиттена, и решили пока что выбраться в него, тем более что там находился спиртовой завод, также представлявший интерес для нашего батальона.

С трудом, ежеминутно рискуя жизнью, мы выбрались из Шмодиттена и через час добрались до этого поселка. Что там творилось! Он, видимо, был захвачен нашими частями так внезапно, что население не успело его покинуть. Наличие в нем спиртового завода и населения, главным образом женщин, послужило причиной полнейшего падения дисциплины среди наших солдат. Улицы были переполнены пьяными солдатами, устраивавшими форменную охоту на немок, забывшими чувство долга, потерявшими человеческий облик. Спиртовой завод пылал ярким пламенем.

Мы возвратились в Шмодиттен. Там выяснилось, что немцы атаковали населенный пункт, в котором мы только

что были. Выбили из него наших с большими потерями. Срочно пришлось снять части с других участков фронта, создать «кулак» и, опять-таки ценой немалых потерь, вновь захватить этот небольшой населенный пункт.

На третий день нашего пребывания в Шмодиттене здесь появился старшина и с ним несколько бойцов из оперативной группы нашего батальона. Старшина передал мне, что командир роты недоволен нашей медлительностью в выполнении задания. Я не стал оправдываться, а вместо этого предложил старшине вместе со мной проникнуть за передовую линию наших частей. Когда стемнело, мы попытались это сделать в составе всей группы. Немцы отогнали нас сильнейшим огнем. Старшина и бойцы поспешно вернулись на командный пункт, где мы укрывались все эти дни. Там старшина вынужден был признать, что выполнить поставленную перед нами задачу пока невозможно, и вместе со своими бойцами немедленно ретировался из Шмодиттена.

На следующий день огонь немцев начал вроде бы ослабевать. Почувствовав это, я предупредил Хомича, что ближайшей ночью мы отправимся в Прейсиш-Эйлау. Следовало пробираться полями, потому что дороги интенсивно обстреливались, а ведущее прямиком к цели шоссе было наверняка заминировано. Сплошных линий окопов ни с нашей стороны, ни у противника здесь не было. Мы давно уже, еще перед Гумбинненом, миновали сильную линию укреплений с окопами в несколько рядов и долговременными огневыми точками.

Нам было известно, что железнодорожная станция находится на западной окраине Прейсиш-Эйлау; мы двигались по полевым тропинкам с таким расчетом, чтобы выйти к ней, и наконец различили в темноте длинные цепи вагонов и вышли на железнодорожные пути, за которыми смутно угадывались очертания города.

Вагоны были пустыми. Так как рельсы шли в несколько рядов, стало ясно, что станция уже где-то рядом. Но направо ответвлялся рельсовый путь, который вел к четырем очень высоким зданиям наподобие башен. Поскольку мы не обнаружили в вагонах никакого заводского оборудования, ради которого нас с риском для жизни посылали сюда, Хомич стал настаивать на возвращении. Начинал брезжить рассвет,

и оставаться дольше на территории, занятой немцами, было опасно.

Но я приготовился огорчить своего спутника. Мое внимание привлекли вагоны, стоявшие под «башнями». Непростительно было бы не узнать, что в них. Подойдя ближе, при свете занимавшегося дня мы увидели, что это — элеваторы, не показанные на наших картах, а значит и на моем листке. Вагоны начали грузить зерном из элеваторов, но почему-то прекратили погрузку. Зерно было удачной находкой, вполне оправдывавшей нашу разведку.

За оградой элеваторов проходило шоссе, ведшее, по-видимому, на Шмодиттен. На станции слышались шум и голоса немцев, но здесь, на территории элеваторов, не было ни души. Похоже было, что немцы отступают из Прейсиш-Эйлау.

Неожиданно мы услышали шум поблизости. Около одного из элеваторов остановился грузовик, и несколько немецких солдат, соскочив на землю, грузили в него какие-то ящики из полуподвального этажа. Немцы очень спешили. Мы открыли по ним огонь, они вскочили в машину и помчались, сделав несколько выстрелов в нашу сторону. Два солдата остались лежать на земле. Мы продолжали стрелять, но машина скрылась за элеватором. Оказалось, что в ящиках, часть которых немцы не успели погрузить, были бутылки с вином.

Я понимал, что наши передовые части могут вот-вот появиться здесь, на окраине Прейсиш-Эйлау. Задача состояла в том, чтобы сохранить элеваторы и, что представляло особенную трудность, склады вина в их подвалах до прибытия оперативной группы нашего батальона. Следовало одному из нас остаться здесь, а другому срочно добираться до этой группы. Но у нас не было никакого транспорта.

И вдруг мой взгляд упал на велосипед, прислоненный к стене элеватора. Я бросился к нему. Он был исправен, за исключением одной детали: у него была только одна педаль. Я велел Хомичу пулей лететь назад, доложить в оперативной группе о занятии элеватора и о том, что я прошу прибыть как можно скорее. Хомич перенес велосипед через полотно железной дороги и помчался по той тропинке, которая привела нас сюда из Шмодиттена. Я остался один в еще не занятом городе.

Но вот на шоссе появились минеры с миноискателями. За ними пехота. С первыми пехотинцами рысью ехала пароконная повозка с сидящими в ней людьми, сопровождаемая несколькими велосипедистами, в одном из которых я еще издали узнал Хомича. Пехотинцы, вступив в предместье города, сразу рассредоточивались. Некоторые подходили к воротам, в которых я стоял с автоматом в руках, и, узнав, что квартал уже занят нашим батальоном, продолжали свой путь мимо. В тот же день нашу добычу осмотрел командир батальона. Немного спустя меня назначили начальником охраны элеваторов, а батальон двинулся дальше. Меня огорчило это назначение. Я вынужден был застрять в тылу, а кроме того мне пришлось теперь воевать уже с бойцами наших проходящих частей, покушавшимися на наши «трофеи».

В Прейсиш-Эйлау оставалось много жителей, но сразу же запылали целые кварталы города.

Наконец, меня сменили. Некоторое время я опять командовал отделением. В административном корпусе элеваторов разместили штаб батальона. И тут меня подстерегла новая неприятная нелепость. В штабе произошел скандал между замполитом и старшим делопроизводителем. Ходили слухи, что последний, пожилой офицер, в нетрезвом виде угрожал майору Задову пистолетом. Но толком никто ничего не знал, по крайней мере среди солдат. По-видимому, была какая-то вина и Задова, потому что в результате этого скандала убрали обоих.

Сначала уехал Задов. И тут меня вызвал начальник штаба батальона капитан Скоморохов. Это был еще совсем молодой офицер, по наружности, да и по характеру совсем мальчишка, но энергичный и напористый. На беду, меня считали в батальоне не только бывалым солдатом, но и грамотным человеком и неоднократно использовали и на политической, и на штабной работе. Вот и теперь, вызвав меня, Скоморохов приказал мне принять дела от злополучного офицера — старшего делопроизводителя. Я заявил капитану, что ничего не смыслю в делопроизводстве. «Хорошо, — сказал тот старшему делопроизводителю, — передадите другому. Но Косинский останется на работе в штабе. А вы, — обратился капитан ко мне, — садитесь за пишущую машинку!» В мирной жизни у меня всегда была машинка, но я ответил, что абсолютно не

знаком «с этой штукой». «Садись, пиши!» — закричал Скоморохов. «Есть писать, товарищ капитан!» Я сел за машинку и начал медленно «давить клопов», сосредоточенно водя глазами по клавиатуре. Скоморохов, отлично понимавший, что я могу, но не хочу работать в штабе, всё же еще раз подтвердил свою непреклонность: «Хоть по букве, да научитесь!» Спустя много времени он признался мне, что именно тогда он стал мне симпатизировать.

Штабные дела принял старший лейтенант Шарипов, бывший учитель, но уж очень падкий на слабый пол. В штабе работало несколько человек, среди которых выделялись старший сержант Василий Григорьевич Морозов и ефрейтор Иван Семенович Непомнящий — очень неплохой молодой человек, до войны бывший сотрудником какой-то газеты в Краснодаре. Он носил очки, был маленького роста и совершенно не имел воинского вида. Медлителен он был до крайности. Например, письма домой писал по нескольку строчек в день. Я прозвал его «Мéшканцевым», и это прозвище так подходило к нему и так утвердилось за ним, что даже начальство вызывало «Мешканцева». При своей сугубо гражданской наружности он любил увешивать себя оружием, полагавшимся и не полагавшимся ему по должности. Непомнящий состоял при начальнике финансовой части батальона.

Замполитом, вместо майора Задова, был назначен парторг батальона старший лейтенант Анцибор.

В конце марта 1945 года мне в составе батальона пришлось участвовать в Кёнигсбергской операции. Я никогда не забуду страшную картину уничтожения немецких войск, скопившихся на берегу залива Фришес Гафф и пытавшихся перебраться на косу Фрише Нерунг. По этой косе немцы рассчитывали отвести свои войска к Данцигу. Отступавшие войска вместе с тылами и беженцами подверглись массированному обстрелу с земли и с воздуха. То, что здесь происходило, напомнило мне картину Верещагина «Утро после Бородинского боя», только было еще более кошмарным.

В марте командование представило меня к награждению медалью — «за захват элеваторов в Прейсиш-Эйлау». Мне было также присвоено звание младшего сержанта, так что на моих погонах появилось по две «лычки» — поперечных ленточки.

После взятия Кёнигсберга разнесся слух о переброске нас на другой фронт — на Дальний Восток, для участия в предстоящих боевых действиях против Японии. Ехать на Восток, понятно, никому не хотелось. Ведь здесь, в Европе, конец войны был уже ощутим, а там пришлось бы «начинать сначала». Но опасения оказались напрасными. Напротив, нас в составе всей 28-й армии перебросили под Берлин.

В апреле в нашем штабе был получен приказ по армии, подписанный командующим — генерал-лейтенантом Александром Александровичем Лучинским, о награждении меня в числе многих других медалью «За боевые заслуги». В это время мы уже двигались форсированным маршем на запад. Мы ехали по отличному шоссе с короткими остановками в полупустых городах и селах. Я жадно осматривался кругом. Видел старинные кирхи, в которых находились высеченные из камня надгробия рыцарей и дам, видел многочисленные холмики над могилами неизвестных солдат. Встречались свежие следы ожесточенных схваток наших передовых частей с немецкими войсками. Проехав Коттбус, Цоссен и другие населенные пункты, штаб остановился в предместье Берлина — Глазоф. Роты же нашего батальона уже находились в самом «логове фашистского зверя». Там же успел получить ранение командир батальона майор Костенко, и его отправили в тыл. В командование вступил капитан Скоморохов, а начальником штаба вместо него был назначен пиротехник лейтенант Иван Григорьевич Пидорец.

По мере приближения к Берлину все чаще и чаще встречались и все больше росли толпы людей, попадавшиеся нам навстречу. Это были военнопленные и угнанные на работу в Германию жители всех стран Европы. Среди них встречалось много и советских граждан. Немало было женщин и детей. Многие ехали на велосипедах, на повозках, запряженных лошадьми, шли пешком, везя свой скарб на ручных тележках и в детских колясках. Обычно они группировались по национальностям и несли плакаты на своем языке и флаги своей страны. В окрестностях Берлина были созданы пункты, куда мы направляли этих людей для дальнейшей отправки на родину, но многие не хотели ждать, не понимали назначения этих инстанций и пытались добраться до дому сами.

Во время остановок в частных домах, покинутых жителями, мое внимание привлекали книги, — конечно, не ради комплектования личной библиотеки. Да и редко встречались интересующие меня издания по изобразительному и прикладному искусству. Но почти в каждом доме, на видном месте, лежали книги, посвященные Гитлеру, и его собственная — «Майн Кампф». Часто встречались иллюстрированные издания, состоящие из фотографий последнего периода истории Германии. На одной из таких фотографий, повторяющейся во многих подобных книгах, фигурировал приказчичьего вида фюрер, пожимающий руку маститому Гинденбургу.

Однажды я долго возил с собой толстый том без упоминания имени автора и без иллюстраций, на французском языке, под названием «Портрет Сталина». То, что я успел прочитать в этой книге, довольно верно отражало характер и роль Сталина в жизни нашей страны. Книга была, очевидно, написана кем-то из видных членов партии, лично знавших Сталина и очутившихся в годы его власти за границей. Конечно, мне приходилось тщательно скрывать эту книгу от окружающих и читать ее урывками: если б ее обнаружили у меня, моя песенка была бы спета. Так мне и не привелось дочитать этой книги. Пришлось ее уничтожить.

Из Берлина в Глазоф пришла группа итальянцев. Они держали путь домой. По дороге один из итальянцев заболел, и ему требовалась медицинская помощь. После объяснений в нашем штабе на ломаном французском языке я отвел заболевшего в госпиталь. Собираясь двигаться дальше, итальянцы пригласили меня в дом, где остановились. В их числе была очень красивая девушка. Я получил от начальства разрешение присутствовать на их прощальном вечере. Они позвали и двух французов, бывших военнопленных, раздобыли где-то вино, а с собой у них был изрядный запас шоколада, так как в Берлине они работали на кондитерской фабрике. Французы оказались очень кстати, так как большинство итальянцев знало французский язык, а я по-итальянски не умел говорить.

Во время этой вечеринки в дверях появился наш боец и вызвал меня. На улице стоял техник-лейтенант Пидорец, наш начальник штаба. Он осведомился, как мы веселимся, а затем тоном приказания сказал, чтобы я вывел ему молоденькую итальянку. Было уже темно; в голосе моего начальства

звучали пьяные ноты. Да и обратился он ко мне на «ты», хотя я с ним в приятельских отношениях не состоял. Я ответил ему, что «выводить девушек не является моей обязанностью», и получил в ответ угрозу: «Ну запомни, ты у меня еще будешь бедным!» Я вернулся к итальянцам, закрыв за собой входную дверь.

Этот случай не имел для меня никаких последствий: «бедным» я не стал. Мне удалось, служа в армии, завоевать определенное уважение и знавших меня командиров, и моих товарищей-солдат, что в известной степени охраняло от подобных случаев самодурства.

Двое французов, присутствовавших при прощании итальянцев, оказались симпатичными людьми. Один из них, сержант Валанс, старший по возрасту, был из французской провинции; другой, Баяр, совсем еще молодой, до войны работал комиссионером в Париже. У меня с ним завязался оживленный разговор, причем на прощанье мы с Баяром даже обменялись адресами (чем черт не шутит, быть может мне после войны доведется попасть во Францию!). Не имея домашнего адреса, я дал ему адрес Эрмитажа.

Французы познакомили меня с тремя голландцами, также вывезенными на работы в Германию, — девушкой и двумя молодыми людьми. Все трое обладали на редкость красивой наружностью и бросающимся в глаза здоровьем. Они удивительно походили друг на друга — настолько, что их можно было принять за близнецов, хотя они и не состояли между собой ни в каком родстве. Девушка отправилась на сборный пункт, решив, что так надежнее, а парни решили пробираться на родину самостоятельно, на свой страх и риск.

В армии со стороны многих людей я встречал дружественное отношение. В тот период, о котором идет речь, самые дружеские отношения связывали меня с комсоргом батальона Сергеем Александровичем Никитиным. Этот младший командир был очень порядочным человеком и одаренным художником. Квартировал Никитин вместе с парторгом батальона Анцибором, ставшим после отбытия майора Задова замполитом.

Старший лейтенант Анцибор производил впечатление сдержанного, справедливого, всегда вежливого человека, чем он выгодно отличался от майора Задова. Но у него была

черта, которую я встречал у многих людей того времени. Он был — или старался казаться — ярым сталинистом. Это явилось причиной того, что Анцибор, как мне стало известно, не раз выражал недовольство дружбой Сергея со мной — человеком, проведшим ряд лет в сталинских тюрьмах и концлагерях.

Когда сопротивление немецких войск в Берлине было уже сломлено, Сергей предложил мне проехать с ним на мотоцикле в город, чтобы познакомиться с его достопримечательностями. Нас с ним особенно интересовали сохранившиеся памятники искусства. Прежде я никогда не бывал в Берлине, но по книгам был знаком с его архитектурными и иными художественными памятниками. Мне удалось раздобыть план города.

Берлин был сильно разрушен, проезд по многим улицам затруднен. Мы осмотрели ряд зданий и памятников, проехали по Унтер-ден-Линден к Бранденбургским воротам. Мне очень хотелось зайти в Цейхгауз на этой улице, где хранилось богатое собрание старого оружия. Но пора было возвращаться, а перед этим еще посмотреть на здание Рейхстага. Впоследствии все наиболее интересное из упомянутого собрания оружия я увидел в Историческом музее в Москве, куда оно было перевезено и где хранилось 12 лет, вплоть до возвращения Германии в 1957 году.

По полуразрушенным залам Рейхстага мы ходили с толпой наших офицеров и солдат: это здание было объектом многочисленных экскурсий.

На одной из улиц наше внимание привлек мерно шагающий верблюд, запряженный в двуколку, на которой громоздилась бочка с водой. Жители города, особенно дети, провожали его глазами. Это был верблюд из гужроты (гужевой роты) нашего батальона, сформированного в свое время в калмыцких степях. Единственный оставшийся в живых из числа многих своих собратьев по роте...

После возвращения в Глазоф старший лейтенант Анцибор выговаривал Сергею за поездку со мной в Берлин и за дружбу с «врагом народа», подвергавшимся репрессиям. Сергей ответил ему, что он меня достаточно знает, верит мне и не считает врагом, и не перестанет со мной дружить.

8-го мая 1945 года батальон, перебрасываемый в Чехословакию, где теперь оказались сосредоточены наиболее боеспособные силы немцев, сделал остановку в городе Лёбау. В тот день представителями германского верховного командования был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Известие о нем сразу дошло до нас, вместе с несколько запоздавшим сообщением о самоубийстве Гитлера. И в тот же день, хотя наше правительство еще почему-то мешкало с сообщением о наступлении мира, огромная радость охватила войска, находившиеся в Лёбау. Вино лилось рекой, началась пальба в воздух из всех видов оружия. Утром 9-го мая я проснулся в кабине одной из автомашин нашего батальона, совершенно не представляя, как я там оказался.

## *Глава 23. Война кончилась*

Батальон прошел город Габель и углубился в Чехию. Штаб расположился в каком-то местечке, в благоустроенном доме, а роты занялись обработкой окружающей местности — подрывом выведенных из строя танков, сбором оружия и снарядов, которыми были забиты немецкие склады. Часть батальона была направлена в Прагу.

Техник-лейтенант Антонов поехал на поиски трофеев и взял меня с собой. Мы объехали большой район живописной Чехии и очутились перед парком, окружавшим замок, занятый какой-то нашей частью. Это был знаменитый замок Рейхштадт, в котором когда-то жил недолгое время сын Наполеона. Я ходил по комнатам замка, сохранявшим еще часть старинной обстановки, по парку, и в моей памяти оживали сцены драмы французского поэта Ростана — «Орленок», посвященной этому рано умершему юноше...

Неожиданно в штаб приехал майор Задов, на время излечения майора Костенко назначенный командиром батальона. История, происшедшая с ним в Прейсиш-Эйлау, почему-то озлобила его на командный состав батальона и даже на солдат.

В мае майору Задову кто-то доложил, что около города Даубы находится много трофейных книг, вывезенных сюда из Берлина. Задов призвал меня и мы решили, что нужно поехать туда и отобрать книги, вывезенные из нашей страны, если таковые имеются. Мне дали грузовик и группу бойцов. Не доезжая немного до Даубы, я разыскал замок Перштейн, в котором находились книги, захваченные немцами в оккупированных странах. Когда мы приехали в замок, там как раз начал размещаться госпиталь, и книги выбрасывали из окон в сад, под открытое небо. Мне удалось прекратить это варварство. Среди фондов, оказавшихся в замке, я обнаружил ценнейшие издания и архивные документы. Например, часть

библиотеки министерства внутренних дел Франции, включавшую официальные указы-ордонансы, подписанные французскими королями, часть библиотеки Сейма и Сената Польши, библиотеки Великого Востока в Брюсселе, Французского общества и Французского института в Варшаве, Общества израэлитов в Вене... Из наших книг в замке удалось обнаружить ценнейшую библиотеку дворца-музея, вывезенную немцами из города Пушкина (Царского Села). Я отобрал 55 ящиков книг этой библиотеки — редких изданий ряда столетий. Для их перевозки в Габель пришлось отправить туда бойца с просьбой прислать еще одну грузовую машину.

В конце июня батальон был передислоцирован в Саксонию и разместился в городе Лёбау, уже встречавшемся на его боевом пути. Отсюда мы с товарищами время от времени ходили в поселок Киттлиц, очень живописный и славящийся прекрасным пивом — намного лучшим, чем подавали в пивных Лёбау. В Киттлице находились две помещичьи усадьбы. Дом одной из них был наглухо заколочен, а в другой только что возвратилась помещица фон Пайме с двумя мальчиками. Землю у нее уже отобрали, но дом пока что оставили. Должен сказать, что меня очень интересовало отношение немцев к гитлеризму и тем делам, которые творились в Германии при Гитлере. Соответствующие вопросы я задавал крестьянам, рабочим и вообще городским жителям. «Культ фюрера» был очень развит у немцев, но они находили этому оправдание в одной стандартной фразе:«При Гитлере нам жилось хорошо...» И вот теперь мне представлялась возможность задать тот же вопрос представительнице немецкого юнкерства, издревле кичащегося своими традициями, своим «рыцарством». И я решил посетить дом фон Пайме. Зашел туда с Непомнящим.

Нам открыла дверь сама хозяйка. Это была еще молодая блондинка, хрупкая и небольшого роста. Она извинилась за беспорядок в доме и пояснила, что как раз старается привести его в приличный вид после разгрома, который застала тут по возвращении. Провела нас в гостиную на втором этаже. Очевидно, она поняла, что имеет дело с интеллигентными людьми, и поэтому встретила нас любезно и без тени страха или недоверия. Дом ее напомнил мне дома наших русских помещиков среднего достатка, какими они были в предреволюционные годы. Мебель, кое-какие картины и вообще

вся обстановка показались мне очень знакомыми, вплоть до старинных английских часов в длинном высоком футляре, стоявших на полу.

В гостиной она познакомила нас с высоким стариком в гольфах — как она сказала, это был ее родственник, также помещик, но из Силезии. Предложила нам сигареты, и мы разговорились. Непомнящий, не зная иностранных языков, скромно молчал.

Оказалось, что моложавая внешность хозяйки ввела меня в заблуждение относительно ее возраста: кроме двух мальчиков, о которых я упомянул, у нее был также сын призывного возраста, служивший на Западном фронте. Она давно не имела от него вестей.

Я задал ей тот же вопрос — об отношении, на сей раз, немецкого дворянства, к Гитлеру и его режиму и, в частности, к жестокостям этого режима. Неужели ей не было известно об уничтожении, например, евреев, независимо от возраста и пола? Поскольку мне трудно было изъясняться на немецком языке, я перешел на французский, и это создало почву для более откровенной беседы.

В ответ на мой вопрос фон Пайме задумалась и ответила также вопросом: «Скажите, а как русские относятся к евреям?»

Тогда еще в нашей стране не было той антисемитской кампании, которая началась незадолго до смерти Сталина. Но я прекрасно знал, что юдофобство существовало в России очень давно и было широко распространено. И хотя революция отмела даже самую возможность таких вещей, как, скажем, еврейские погромы, — отрицательное отношение к евреям сохранялось у многих людей, независимо от их политических убеждений и партийности. Этим предрассудком были заражены различные общественные слои, и только у по-настоящему интеллигентных людей он не находил отклика. Что касается нашей семьи, то в ней юдофобство осуждалось, считалось дурным тоном, — и все же у некоторых членов семьи оно порой проявлялось, правда, в самой минимальной и мягкой степени — в виде добродушной насмешки над национальными особенностями известной части евреев.

Но я не забывал, что разговариваю с представительницей народа, запятнавшего себя чудовищными зверствами по от-

ношению к евреям. И я ответил фон Пайме не совсем искренне, однако так, как того, по моему разумению, требовал долг советского солдата. Я выразился в общем так: после Октябрьской революции вопрос национальной неприязни перестал, дескать, существовать в нашей стране. В подтверждение этого я привел ряд имен евреев — крупных ученых, артистов и других представителей интеллигенции, пользующихся у нас всеобщим уважением и любовью. На нее это, по-видимому, произвело впечатление.

— Я окончила университет в Мюнхене, — сказала она, — и там, действительно, среди профессуры были не только ученые, но и очень симпатичные евреи. Но если бы вы знали берлинских евреев! Это такие неприятные люди! Вы бывали в Берлине?

— Не далее, как в этом году. Но там я не встретил ни одного еврея...

— Действительно, этот народ очень у нас пострадал... Вообще в Гитлере нас многое возмущало и со многим мы были не согласны. Но, вы знаете, мы — немцы — жили при Гитлере очень хорошо.

Опять тот же стандартный ответ. Конечно, «своя рубашка ближе к телу», но ведь это благополучие, притом чисто материальное, достигалось за счет завоеваний, за счет ограбления целых народов. Провожая нас, фон Пайме сказала: «Я думаю над тем, о чем мы говорили. Вы, вероятно, в чем-то правы... Но все-таки, я должна вам сознаться совершенно откровенно, я никогда бы не вышла замуж за еврея».

Последний месяц моей службы в армии прошел в Шпремберге — городке, расположенном в Бранденбурге, на реке Шпрее, недалеко от границы Саксонии. Здесь наш батальон занимался демонтажом крупной электростанции Траттенгоф и отправкой ее демонтированных узлов в Советский Союз.

В Шпремберге с майором Задовым случилась беда. Он вечером куда-то ехал, и в темноте шофер не заметил опущенного шлагбаума. Каким-то образом шофер остался невредимым, а майор получил удар по голове. Его отправили и в госпиталь.

23 июня 1945 года в нашей стране был опубликован указ о демобилизации. Мой возраст подлежал увольнению из армии в одну из первых очередей, — поскольку, к счастью, я не был офицером. В августе я должен был демобилизоваться.

И вот 15 августа я сдал автомат, револьвер и прочее, что полагалось сдать, получил документы и продукты, а вечером у меня собрались наиболее близкие друзья и мы, согласно русскому обычаю, выпили на прощанье.

Николай Васильевич Антонов подарил мне маленький пистолет тульского завода с запасом патронов к нему. Он предупредил, что в пути через Германию и Польшу пистолет может мне пригодиться, так как бывают случаи нападения на наших военных. Командование части наградило меня рядом «трофейных» вещей «за долгосрочную и безупречную служ-бу в Красной армии — в период Отечественной войны», как гласила выданная по этому поводу справка. Наиболее ценной из них был радиоприемник марки «Саба». В дальнейшем мне пришлось огорчиться, убедившись, что с его помощью в Ленинграде не принимаются передачи западных радиостанций на русском языке — приемник имел только диапазоны длинных и средних волн.

16 августа батальон построили для прощанья с уезжавшими товарищами. Нас — «стариков» — ехало около двадцати человек. Так завершился армейский, военный период моей жизни. Он был связан для меня с большим душевным подъемом, особенно после тяжких тюремно-лагерных переживаний. На фронте, где все мы каждодневно рисковали жизнью, сталинщина ощущалась значительно слабее, чем в «мирной жизни». Помимо прочего, здесь, в боях с противником, не приходилось кривить душой, не требовалось во что бы то ни стало искать «врага» в собственных рядах, каяться в своих личных, притом мнимых, грехах и т.д. К тому же все мы надеялись, что впереди, после великой и дорого обошедшейся победы в войне, страну ждет лучшее будущее. Увы, это оказалось не так.

На двух грузовиках мы доехали до Дрездена и высадились около вокзала. Для нас был предназначен товарный вагон, который через несколько часов, вечером, должны были прицепить к поезду, идущему в Берлин.

Поезд шел всю ночь, и на каждой станции его атаковали толпы людей. Утром, уже вблизи Берлина, нам стали попадаться навстречу пригородные поезда. На одной из подберлинских станций мы видели, как из вагона пригородного поезда железнодорожные служащие выводили

двоих парней. Это были русские «урки», пробравшиеся в побежденную Германию и грабившие мирных жителей, пользуясь их страхом перед победителями.

Вот и Ангальтский вокзал. Много военных в форме союзных войск. Пришлось побегать, прежде чем наш вагон прицепили к поезду, идущему до Герцогсвальде, где узкая европейская колея железной дороги уже перешита на широкую русскую и где мы должны пересесть на поезд, идущий в Россию.

Лагерь для демобилизуемых в Герцогсвальде занимал большую площадь, застроенную деревянными бараками, среди которых было два-три каменных дома. Люди в бараках, ожидая эшелона, ютились очень скученно, — например, спали прямо на полу, один подле другого. Моим соседом был солдат, служивший в нашем батальоне, весьма пожилой и благообразный старовер. Он попал в батальон в Германии, после освобождения из лагеря военнопленных. Ему предстояло и впредь быть моим попутчиком, так как я направлялся в Ленинград, а он возвращался в свою деревню в Псковской области.

За недельное пребывание в лагере я познакомился со многими новыми для меня людьми. Лагерь имел крайне непривлекательный вид проходной казармы, по которой день-деньской шаталась толпа людей, совершенно утративших представление о дисциплине и обратившихся в деморализованный сброд. Особенно это чувствовалось на площадке посреди лагеря, обращенной в «толкучку». Здесь торговали и менялись всяким барахлом, вывозимым из Германии. Со всех сторон слышались крики: «Налетай! Шухнём! Махнём!» Солдат с рядом медалей, а иногда и полный кавалер ордена Слава, торгующий немецкими женскими чулками, быть может ношеными, и без умолку кричащий: «Кому чулки? Налетай!» — отвратительное зрелище.

Среди демобилизуемых было много женщин. Комендатура лагеря предусмотрительно отвела для них двухэтажный каменный дом, который его обитательницы вынуждены были обратить в крепость и отсиживаться там, не рискуя высунуть нос. Никакого начальства мы не видели, никакого порядка в лагере не существовало, да и трудно было бы навести его. То́лпы демобилизуемых прибывали и убывали,

а лагерная обстановка и лагерные специфические картины оставались все теми же.

В составе группы демобилизованных, которых не прельщала каждодневная лагерная торговлишка, я часто выходил из лагеря и бродил по живописным окрестностям города. С этих прогулок мы приносили много грибов, которые росли на окрестных холмах и в лесах. А примерно через неделю был, наконец, сформирован эшелон, идущий на Ленинград. Я с облегчением расстался с лагерем. Нас рассадили по товарным вагонам-теплушкам, и скоро Германия осталась позади и мимо побежали города, села, леса и поля Польши.

Вот показались дачные места и потянулись дома и сады пригородов Варшавы, мало пострадавшие от войны. Но вместо самого города мы увидели каменные нагромождения сплошных развалин. Среди этих развалин приютился питательный пункт, где нас накормили. Часа через два поезд двинулся дальше.

В поезде бросалось в глаза полнейшее отсутствие дисциплины среди демобилизуемых. Эта недисциплинированность особенно проявлялась по отношению к офицерам, сопровождавшим по долгу службы эшелон и ехавшим в пассажирском вагоне. Я был свидетелем нескольких безобразных сцен. Между тем, окрестная обстановка требовала, напротив, строгой дисциплины. Бывали случаи, когда люди, вышедшие на несколько минут на какой-нибудь станции, исчезали. Из нашего вагона так исчез среднего возраста солдат, везший своей семье в Ленинград довольно много пакетов с вещами. На одной из пригородных варшавских станций он вышел из вагона и не возвратился. Доложили коменданту поезда. Вещи его взялся доставить семье знавший его товарищ. Таких случаев в эшелоне было несколько. Думаю, что не всем отставшим удалось вернуться к своим семьям, нетерпеливо ждавшим отцов, мужей, сыновей, которые возвращались с войны с победой...

На границе Литвы, если память мне не изменяет, появились пограничники и работники таможни. Но они даже не заходили в вагоны, а только спросили, не везем ли мы какие-либо запрещенные вещи. В Вильнюсе поезд простоял несколько часов. Здесь уже восстанавливался вокзал, разрушенный во время военных действий. Работу производили пленные немцы.

Наконец, мы в России. Едем по разграбленной, выжженной Псковщине. Остатки селений. Только трубы торчат из земли — население ютится в землянках. Мой товарищ-старовер волнуется. Вот сейчас, слева по ходу поезда, в некотором расстоянии от железнодорожного полотна, должна быть его деревня. Деревни нет, однако поезд останавливается — на том месте, где испокон веку останавливались поезда этого маршрута. Солдат уныло бредет по чистому полю к тому месту, где он жил с семьей, где стояла его деревня. Оставшиеся в вагоне с волнением следят за удаляющейся фигурой. Человек вернулся домой, — но неизвестно, найдет ли там кого-нибудь в землянках. Поезд трогается и уходит вперед, — а он так и бредет в неизвестность, и вот уже скрывается из глаз...

Не останавливаясь проезжаем Псков. Он сильно разрушен. Теперь я с волнением смотрю направо. Ведь тут, в тридцати километрах от Пскова, должна быть станция Тарошино — то самое Тарошино, где в детстве мы проводили лето. Здесь, на речке Пскове́, стоял нарядный дачный поселок.

Поезд останавливается около теплушки, стоящей на запасном пути. Поблизости несколько землянок, дающих о себе знать торчащими из земли трубами. Я соскакиваю из вагона на землю, подбегаю к станции-теплушке и спрашиваю название станции. «Тарошино», — отвечает железнодорожник.

В Ленинград поезд пришел днем. Подъезжая к Варшавскому вокзалу, все начали собираться с понятным волнением. Эшелон остановился, и люди посыпались из вагонов. Их ждут семьи — жены, дети, близкие люди. Кто ждет меня?

Единственный человек, живший в Ленинграде, с кем я переписывался, была Вера Васильевна Чернова, и она знала о моем предстоящем возвращении с войны. Жила она на Лиговской улице, рядом с Греческой церковью. Грузовик довез меня до дома, принадлежавшего раньше доктору Герзони, чья квартира находилась на втором этаже. Часть этой квартиры и занимала Вера Васильевна.

Доро́гой я глядел на знакомый мне с детства родной город. Ленинград не показался мне сильно пострадавшим. Руины сгоревших домов, следы бомбежек попадались лишь изредка. Несколько домов на моем пути оказались прикрыты деревянными щитами, закрывавшими пробоины, на неко-

торых я заметил фанерные декорации с нарисованными окнами, скрывавшие отсутствующий фасад, многие здания сохранили камуфляжную раскраску. Масса оконных стекол еще сохраняла крестообразно наклеенные бумажные полоски, чтобы стекло не разлеталось на мелкие осколки от взрывной волны... Но в целом Ленинград был в значительно лучшем состоянии, чем я ожидал его увидеть. И жизнь вовсю кипела на его улицах.

## *Глава 24. Снова в Эрмитаже*

Сентябрь 1945 года. Я в Эрмитаже, сижу в своем кабинете за большим и столь удобным для работы гофмаршальским столом. Все как прежде. Как будто бы вчера я уснул и видел тяжелый сон. Сон этот охватывает семь лет, и в нем все: тюрьма и бесчеловечное следствие, концентрационный лагерь, болезни, голод, война, убитые, раненые и пленные, развалины городов и сел России, Польши, Чехословакии и Германии, взятый штурмом дымящийся Берлин. Но вот я проснулся, и все это исчезло, поглощенное рекой времени. Если бы это был только сон! Семь лет вычеркнуто из жизни. Однако я полон сил и радости оттого, что опять принимаюсь за любимое дело. Мне сорок один год, но я чувствую себя совсем молодым. Я даже пополнел от армейской бездумной жизни. Там все проблемы решает за солдата начальство. Правда, все время грозит смерть, ну что же — такова профессия солдата. Привыкаешь и к мысли о смерти!

Но раз все это было не сном, то и «пробуждение» не могло быть мгновенным. Вовсе не по мановению волшебной палочки я очутился тут, в музее, за этим столом. Как же происходил этот переход к новой ленинградской действительности?

Я все еще пользуюсь гостеприимством друзей, живу у Веры Васильевны Черновой и ее мужа Николая Николаевича Проскурина. Сын Веры от первого брака, Никита, уже большой мальчик и через год-другой должен закончить среднюю школу. Это очень хорошие люди, относящиеся ко мне как к родному. В доме, принадлежащем Эрмитажу, на бывшей Французской набережной, для меня отделывают комнату, и как только она будет готова, я переберусь туда.

В годы блокады Вера потеряла всех родных, остававшихся в осажденном Ленинграде, — отца, мать и сестру, муж которой был арестован и расстрелян еще перед войной. Отец

Никиты погиб на фронте. Вера рассказала мне, что, эвакуируясь из Ленинграда, она настаивала, чтобы моя мать ехала с ней. Мама не согласилась, она рассчитывала, что, окончив срок заключения, я вернусь в Ленинград и ей следует дождаться меня.

За то время, что я отсутствовал, умерла не только мама. Умерли тетя Наталья Михайловна, дядя Михаил Михайлович — оба в ссылке, дядя Константин Михайлович и его жена Людмила Александровна. Двоюродный брат Георгий Константинович с женой жили в эвакуации в Свердловске. Печальной оказалась судьба двоюродной сестры Ольги Константиновны. В феврале 1942 года ее муж Леонид Владимирович Клименко, профессор Политехнического института, был арестован и в том же году погиб в концлагере. Ольга Константиновна с маленьким сыном Володей уехала из блокированного Ленинграда в Вологодскую область, но там спустя некоторое время арестовали и ее. Теперь она находится в концлагере, получив срок 10 лет неизвестно за что.

Из моих родственников я разыскал в Ленинграде только семью дяди Алексея Михайловича. Я нашел их через Петра Федоровича Папковича, крупного ученого, друга нашей семьи. Петр Федорович сам пережил немало неприятностей, в период сталинских репрессий потерял многих своих родных. Когда я приехал к нему домой, он отвел меня в свой кабинет и прямо спросил, имею ли я законное право находиться в Ленинграде. Я успокоил его, сказав, что вернулся совершенно легально. Тогда Петр Федорович дал мне адрес семьи дяди. Он сообщил также, что в Кронштадте, в военно-морской школе, учится сын моего двоюродного брата Георгия Константиновича, Юрий, и что стоит мне сослаться на Петра Федоровича — и Юрию разрешат отлучиться из училища и навестить меня.

Я поехал по адресу, данному Папковичем. На 5-й Красноармейской улице вдова дяди Марфа Даниловна жила в первом этаже. Окна ее квартиры выходили во двор, были расположены очень низко и прикрыты изнутри прозрачными тюлевыми занавесками. Начинало темнеть, в квартире горел свет, я увидел в одном из окон сидящего за книгой мальчика и сразу узнал в нем Юзика, сына дяди. Меня приняли любезно и пригласили заезжать еще. Впоследствии оказалось, что

Марфа Даниловна, оставшись после смерти дяди совсем еще молодой вдовой (тогда ей было всего 24 года), хотя и с двумя детьми, спустя некоторое время вышла замуж вторично, а затем, после гибели ее второго мужа на фронте во время войны с Германией, и в третий раз. Так что теперь ее семья состояла из Иосифа и Надежды — детей дяди Алексея Михайловича, маленького Васи — сына погибшего второго мужа, а также из жившего здесь же отчима всех троих детей. Марфа Даниловна — кажется, под влиянием третьего своего мужа, — вступила в партию и на протяжении всех военных лет заведовала в Ленинграде продуктовым магазином, что и помогло ей сохранить жизнь своих детей. Мать ее, Варвара Мартыновна, умерла в 1940 году, а с ее сестрой, Ольгой Мартыновной, Марфа Даниловна не захотела поддерживать отношения и даже детям запретила навещать ее.

Теперешний муж Марфы Даниловны, партиец, заместитель директора какой-то фабрики, произвел на меня весьма неприятное впечатление при моем вторичном и последнем посещении. Правда, ничего хорошего я и не ожидал. Когда я приехал во второй раз, у меня уже составилось вполне отчетливое представление о семье моего любимого дяди. Я побывал у Ольги Мартыновны, и она многое мне рассказала. И чувство родственной любви сохранилось только к Иосифу (Юзику), единственному из всей семьи оказавшемуся достойным своего отца.

Я пригласил Надю и Юзика на ближайшее воскресенье в Эрмитаж, где в это время функционировала только одна выставка — «Кутузовская», открытая 16 сентября 1945 года и составленная из экспонатов, остававшихся во время войны в Ленинграде, а также полученных от частных лиц. Мы условились, что дети заедут к Вере Васильевне за Никитой и мной.

В воскресенье дети не приехали. Мы с Никитой посмотрели выставку, а в понедельник Марфа Даниловна позвонила мне по телефону и сказала, что отчим запретил Юзику и Наде ехать со мной в Эрмитаж. После этого я прекратил всякое общение с Марфой Даниловной — было совершенно ясно, что дело не в Эрмитаже, а во мне: я представляюсь нежелательным, а может быть и опасным для благополучия этой семьи элементом, могущим навлечь неприятности сразу на двух партийцев.

Юзик часто приезжал ко мне — и когда я квартировал у Веры Васильевны, и в дальнейшем, но эти визиты были, так сказать, полулегальными: мальчик не говорил дома, куда уходит. Надя же, росшая ярой поклонницей Сталина, не нашла возможным поддерживать отношения с «врагом народа».

Из числа старых знакомых, кроме семьи Папковичей, я разыскал Павла Николаевича Тучкова. «По́мка» Тучков работал в институте «Гипрошахт», развелся с женой и жил с одной из своих сотрудниц. Навестил я и первую его жену Татьяну Александровну, урожденную Завалишину. Очень милая и на редкость симпатичная женщина, она жила вдвоем с дочерью Наташей, получив после возвращения из ссылки комнату в доме, когда-то принадлежавшем родителям ее мужа.

Моя работа в Эрмитаже возобновилась в августе. Но я не был назначен, как до ареста, хранителем Отделения оружия, так как эта должность была уже занята профессором Матвеем Александровичем Гуковским. Доктор исторических наук М.А. Гуковский был специалистом по истории итальянского Возрождения, но к истории оружия не имел никакого отношения. Он преподавал в университете, а до того работал в Музее этнографии Академии Наук. Когда директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Орбели беседовал со мной о возобновлении работы в Эрмитаже, он прямо сказал мне: «Гуковский числится хранителем Отделения оружия. Вы, вероятно, знаете его, так как работали в Академии Наук, и знаете, что он работать фактически не будет. Так что вам придется вести всю работу по Отделению». И действительно, в Отделении оружия Гуковский был редким гостем.

За время моего отсутствия в структуре Эрмитажа произошло изменение: незадолго до начала войны, 26 мая 1941 года, в нем был создан Отдел истории русской культуры. Это было в то время, когда, принимая во внимание политические и тактические соображения, сохранять в нашей стране музей зарубежного искусства, каким до той поры являлся Эрмитаж, было бы со стороны администрации чистым безумием. «Преклонение перед Западом», к которому причислялась всякая мало-мальски положительная оценка явлений науки, культуры и искусства западных стран, грозило репрессиями.

Заведовал Отделом русской культуры Михаил Захарович Крутиков, умерший во время блокады Ленинграда, а после

него — Владимир Николаевич Васильев, совмещавший эту работу с обязанностями секретаря партийной организации Эрмитажа. До этого он заведовал политпросветотделом музея.

История Эрмитажа в годы войны явилась настоящим подвигом. С самого начала войны сотрудники стали готовить коллекции музея к эвакуации в глубокий тыл. Уже 6 июля 1941 года в Свердловск прибыл первый эшелон с экспонатами! Второй последовал 30 июля. Было эвакуировано 1117 тысяч экспонатов. С эшелонами выехало 46 научных сотрудников во главе с В.Ф. Левинсон-Лессингом. Только музейные работники могут понять и оценить, какая колоссальная работа была проделана в предельно короткий срок. В тщательной упаковке и доставке экспонатов на железнодорожную станцию большую помощь Эрмитажу оказали студенты и солдаты воинских частей.

Перед войной в Эрмитаже насчитывалось более двухсот научных сотрудников. Из них всего сорок семь оставалось в блокированном Ленинграде. Многие ушли на фронт, некоторые были убиты. Двадцать восемь сотрудников умерло от голода, в их числе такие крупные специалисты, как Алексей Алексеевич Ильин, Александр Николаевич Зограф, Альфред Николаевич Кубе и другие. Здания Эрмитажа подвергались бомбардировкам и обстрелам, пострадали от снарядов, от отсутствия отопления и ухода.*

Рабочие помещения Отделения оружия я нашел в очень неприглядном состоянии и горько пожалел об отсутствии такого помощника, каким в свое время был Николай Федорович Денисов, умерший в июне 1941 года в возрасте семидесяти трех лет. Особенный беспорядок, как ни странно, был именно в том помещении, которое перед войной занимал Денисов. Но ни малейшей его вины в этом не было. Очевидно, сюда сгребали весь мусор, когда оружие упаковывалось для отправки в эвакуацию. Чтобы очистить это помещение, в

* 22 февраля 1946 г. И.А. Орбели, выступая в качестве свидетеля на заседании Международного военного трибунала в Нюрнберге, подчеркивал преднамеренный обстрел Эрмитажа немцами. Сомневаюсь, что это было так. Рядом с Эрмитажем находится мост через Неву, разрушение которого, бесспорно, затруднило бы жизнь осажденного города и оборону его в случае немецкого штурма. Кроме того, у набережной, на которой стоит Эрмитаж, в блокадный период были пришвартованы военные корабли, что не могло не быть известно немцам.

котором находились также умывальник и уборная, я в течение нескольких дней, вооружившись лопатой, выкидывал мусор из окна во внутренний двор музея. Помещение было завалено мусором, слежавшимся за эти годы, до колен. Очистив его, я обнаружил, что большой шкаф, в котором Денисов хранил все принадлежности для ухода за коллекциями, закрыт. Ключ отсутствовал, так что пришлось позвать слесаря и вскрыть шкаф. В нем в идеальном порядке были разложены инструменты и химические препараты для чистки оружия. А так как в эту пору в них был острый недостаток, я мысленно принес Денисову глубокую благодарность.

Оружие, в основном огнестрельное, составляло значительную часть коллекции, остававшейся во все годы войны в Ленинграде. Оно было укрыто в подвальном этаже. Работой по его переноске оттуда и размещению на сохранившихся стеллажах я занялся до прибытия из эвакуации основных коллекций Отделения оружия.

10 октября 1945 года коллекции Эрмитажа вернулись в Ленинград. Началась работа по разгрузке эшелонов и доставке в музей ящиков с экспонатами. Мне тоже привелось участвовать в этой работе. Возвратились из Свердловска и сотрудники музея. Одновременно усиленными темпами шло восстановление музейных зданий, сопровождающееся частичной перестройкой ряда внутренних помещений.

После того, как сотрудники Эрмитажа собрались, возвратясь из эвакуации и армии, в музее был устроен вечер с ужином, вином и танцами. Таким образом И.А. Орбели решил отметить и победу, и сохранение музея в тяжелых условиях военного времени, и начавшееся восстановление Эрмитажа, и объединение вновь его персонала.

В конце 1945 года я переехал в комнату в эрмитажном жилом доме.

Началась работа по вскрытию ящиков с оружием. При распаковке их выяснилось, что их содержимое не соответствует поящичным описям. Объяснялось это спешкой при укладке. Описи составлялись не параллельно с укладкой, а заранее. При укладке многие экспонаты не умещались, и их клали в другие ящики. Кроме того, отсутствие хранителя, который бы хорошо знал собрание оружия, вносило добавочную путаницу. Тем не менее, после распаковки всех ящиков, в которых

находилось в общей сложности около семи тысяч предметов, проверка выявила отсутствие только одной маленькой пороховницы.

Часть экспонатов пришлось раскладывать на полу запасника, так как экспозиционного помещения Отделение долго не получало. До войны большая часть экспонированного оружия находилась в Георгиевском зале площадью 800 кв. метров. Но теперь дирекция решила поместить в этот зал большую карту Советского Союза из русских самоцветов, побывавшую на международных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939), а затем переданную Эрмитажу. Этот экспонат, выполненный грубовато, но производящий на неискушенных зрителей впечатление своей аляповатой «роскошью», «отделкой», мне всегда казался неким чужеродным телом среди коллекций Эрмитажа. Жаль, что он потеснил настоящие музейные ценности. Только в 1948 году мне удалось устроить экспозицию предметов оружия в очень неудобных помещениях — узком Министерском коридоре и прилегающих к нему маленьких комнатах.

С И.А. Орбели у меня сложились какие-то неровные отношения. Периодически мы с ним только холодно здоровались при встрече, но бывали и такие периоды, когда он тепло и дружески относился ко мне. Впрочем, такие перемены в отношениях с сотрудниками были характерны для Орбели. Недаром за его спиной говорилось, что он — «типичный восточный феодал».

Орбели начал работать в Эрмитаже 1 сентября 1920 года, очень любил свой музей, ревниво относился к нему, сделал для него очень много. Сотрудникам он часто повторял, особенно когда они жаловались на мизерную зарплату: «Вы имеете счастье работать в Эрмитаже. Это дороже любой зарплаты!»

Орбели не терпел «совместителей». Одно время он, продолжая быть директором Эрмитажа, занимал также пост президента Армянской Академии Наук. Но не выдержал и отказался от этого поста, а значит и от солидной президентской зарплаты. А тех денег, которые он получал как действительный член Академии наук СССР, плюс сравнительно маленькая ставка директора Эрмитажа, ему не хватало, и он был постоянно в долгу у старушки, ведавшей его домашним

хозяйством. Если прибавить к этим чертам огромные знания Орбели и его властный характер, станут понятными те уважение и симпатия, которые директор, как правило, вызывал у своих сотрудников.

Но большим людям присущи очень часто и большие недостатки. Эти недостатки натуры Орбели явились причиной того, что некоторые в высшей степени достойные люди его не любили и не могли ужиться с ним. Он сам испортил отношения с крупнейшим египтологом академиком В.В. Струве, с член-корреспондентом Академии Наук Михаилом Васильевичем Доброклонским и рядом других достойных уважения людей.

Иосиф Абгарович Орбели одевался всегда очень скромно, нарочито небрежно, и я помню его в старом засаленном костюме, обросшим давно не стриженными волосами. Он говорил, что терпеть не может стричься. Допустим, — однако это никак не объясняет, почему он терпеть не мог элегантности в других. Признавая в них даже крупных ученых и не считая их плохими людьми, он любил поиздеваться над своими «франтоватыми» знакомыми за глаза, утверждая, что им присущи те или иные унизительные свойства, чего на самом деле, конечно, не было.

Только что сказанное относится и к последней жене Орбели, которая в свое время была моим товарищем по курсам искусствоведения. Ей было суждено стать последней из многочисленных официальных и неофициальных жен академика и матерью его единственного сына. Между тем, всего за несколько лет до свадьбы Орбели хотел отстранить ее от работы в Эрмитаже, мотивируя свое намерение всякими мелкими придирками. Истинная причина этих придирок крылась, полагаю, лишь в «чрезмерной» элегантности этой дамы.

Орбели был блестящим и остроумным оратором. В период сталинщины он в публичных выступлениях всегда восхвалял Сталина. Эти восхваления были, конечно, неискренними и произносились только ради того, чтобы удержаться в Эрмитаже, на посту директора столь любимого музея, и притом иметь возможность заступаться за многих жертв сталинщины. Приходилось «лгать во спасение». И Орбели продержался, по меркам того времени, необычайно долго: он был снят

28 июня 1951 года, когда меня уже опять не было в Эрмитаже. При этом следует отметить, что Иосиф Абгарович не был членом партии, занимая такой пост, что представляется почти чудом.

...Коллекции оружия требовали особого ухода. Металл очень чувствителен к воздействию атмосферных явлений, его самый страшный враг — коррозия, чего приходилось все время опасаться ввиду сырого климата Ленинграда. Между тем, в Эрмитаже оружию особенно не везло. Три раза его хранители арестовывались при сталинском режиме. Дважды на протяжении полувека коллекции эвакуировались в тыл — первый раз в войну 1914 года, второй раз — в 1941 году. В промежутках они поручались людям, незнакомым с правилами хранения изделий из металла.

В марте 1946 года я подал докладную записку директору, изложив в ней то, что нашел по возвращении в Эрмитаж: коллекции находятся в катастрофическом положении, и к работам по реставрации и консервации оружия необходимо привлечь по меньшей мере двух человек. На большее я рассчитывать не мог. Записка произвела впечатление. Через месяц в Отделение оружия был принят опытный оружейный мастер Алексей Николаевич Ломоносов, специально приглашенный самим директором. Он проработал со мной три года. Этот превосходный, инициативный работник, нужно добавить — хороший человек, смог привести в порядок тысячу триста экспонатов из семи с половиной тысяч, хранившихся в отделении. К сожалению, в 1949 году ему пришлось уйти: зарплата старшего реставратора, которую он получал в Эрмитаже, не позволяла ему прокормить семью. Орбели, правда, обещал ему повысить ставку, — но не смог выполнить своего обещания.

Сразу после моего возвращения И.А. Орбели сказал, что мне следует заняться подготовкой кандидатской диссертации. Но я оказался настолько загружен работой в музее, что, откровенно говоря, не придал его совету серьезного значения. К тому же наряду с основными обязанностями пришлось уделять время и другим делам. Например, Арктический институт обратился ко мне с просьбой определить и описать оружие, найденное в 1940 и 1945 годах на восточном побережье Таймырского полуострова. Статья об этом оружии должна

была войти в сборник, посвященный русскому арктическому мореплаванию XVII века. Другая работа, которой я уже пытался заняться в 1937 году, была посвящена очень интересовавшей меня теме: клеймам толедских мастеров шпаг XVI–XVII вв. В западной оружиеведческой литературе эта тема до сих пор не освещена, несмотря на то, что толедские клинки занимают одно из почетнейших мест во всех коллекциях оружия. Этой темой я занялся с увлечением, зная, что она даст ключ, который позволил бы разобраться в толедских клинках и отобрать немногие подлинные изделия испанских оружейников из огромного количества оружия, хранящегося как «толедское» и в Эрмитаже, и во многих других европейских и американских музеях и включающего массу подделок и подражаний.

В апреле 1946 года в Эрмитаж из Москвы поступило собрание оружия дрезденского Исторического музея, по количеству равное нашему собранию. Это прекрасное собрание, замечательное еще по отличной сохранности составляющих его вещей, не экспонировалось у нас и простояло в ящиках вплоть до его возвращения в Дрезден в 1955 году. Тем не менее, с ним, как и с собранием Музея Гогенцоллернов, поступившим непосредственно в Эрмитаж, пришлось изрядно повозиться, в частности, выполняя распоряжение о строгом учете драгоценных металлов, обязательное для всех музеев СССР.

Моя занятость объяснялась еще тем, что я был холост и мне приходилось самому вести свое домашнее хозяйство, правда, совершенно примитивное. Больше всего времени отнимали, пожалуй, заботы, связанные с дровами. Во многих домах Ленинграда в то время было еще печное отопление. Каждую осень требовалось хлопотать о получении дров, затем так или иначе доставлять их к дому и в течение зимы многократно заниматься их пилкой и колкой. Сделать это сразу на всю зиму в тех условиях, в каких я жил, было невозможно, потому что заготовленные поленья, сложенные во дворе дома у входа на лестницу, наверняка бы растащили, а держать их в квартире, где жили и другие семьи, нельзя было и думать.

В этот период ко мне несколько раз заезжал Всеволод Тырышкин — сын моей двоюродной сестры Ольги Константиновны Клименко, все еще находившейся в лагере. Он

просил прощения за свое поведение во время следствия по моему «делу», когда он давал пусть несущественные и вздорные, но все же направленные против меня показания. Теперь он оказал мне как-то большую услугу. Он ездил в пустую квартиру своей матери и обнаружил там портрет моего прадеда, который мама поместила у Ольги Константиновны, не имея где его хранить. Портрет не был изъят при аресте, вероятно, только потому, что оказался прикрыт отворенной дверью.

В том же 1946 году ко мне приехал мой друг и товарищ по армии Сергей Никитин. Я был очень обрадован его приездом. Он надеялся поступить в Институт имени Репина или художественное училище, чтобы усовершенствоваться в своей специальности живописца, однако прием студентов в этом году повсюду был уже закончен. Не помогли и мои связи и знакомства. Сергей провел в Ленинграде недели две и уехал в Краснодар, где женился на знакомой по армии. Он начал работать художником-оформителем. Послевоенный период оказался для него очень тяжелым и он писал мне унылые письма.

Начали появляться мои родственники. Приехала Таня Косинская, дочь покойного двоюродного брата Романа, и я помог ей устроиться на работу в типографию Эрмитажа. Довольно часто приезжал ко мне из Кронштадта сын другого двоюродного брата — Юрий. С ним обычно был кто-либо из товарищей по военно-морской школе, где он тогда учился. Мальчики оставались у меня ночевать. Я обычно их «эксплуатировал», в том смысле, что они принимали участие в заготовке дров, — надо сказать, что с их участием эта «повинность» превращалась в нетрудное и даже, так сказать, азартное занятие.

К этим представителям молодого поколения нашей семьи я относился сердечно и старался чем-либо помочь им в начале их самостоятельной жизни. Но самым любимым представителем юного поколения Косинских был для меня мой двоюродный брат Иосиф, сын покойного дяди Алексея Михайловича. Иосиф, или, как его называли в семье, Юзик, по уму, стремлению к всестороннему образованию и душевным качествам намного превосходил всех других моих юных родственников. Хотя с семьей его матери я и не поддерживал

отношений, Юзик часто бывал у меня и относился ко мне как к близкому родному человеку. Из семьи его матери я, впрочем, очень хорошо относился к бабушке Юзика, Ольге Мартыновне Подобед. Это был прекрасный человек, горячо любивший Юзика и также вынужденный прекратить отношения с его матерью.

В конце 1946 года в Ленинград приехал и Дмитрий Брониславович Ловенецкий, поселившийся у меня. Как и мне, в силу превратностей времени ему не удалось создать семью. По окончании срока заключения в лагере Дима жил в Архангельске, откуда попал в тот же Вологодский запасной полк, что и я. Из этого полка его демобилизовали по состоянию здоровья, и он переехал в город Чусовой, где устроился на работу — заведующим музыкальной частью в драматическом театре. В Ленинграде Дима стал вести класс рояля в Доме пионера и школьника одного из районов города. Одновременно он давал частные уроки музыки.

Странное, да и страшное это было время. Хотя некоторые репрессированные возвращались, однако массу других людей сажали в тюрьмы и отправляли в лагеря. Война еще увеличила количество советских граждан, по сталинским законам и понятиям подлежащих «исправлению» в тюрьмах и концлагере, и добавила к ним граждан всех стран Восточной Европы, оккупированных нашей армией. Создавалось впечатление, что «органы» постоянно ищут поводы для новых и новых кампаний арестов. Это можно было понять: огромная мясорубка «государственной безопасности» не должна была простаивать и постоянно нуждалась в доказательствах своей необходимости. К тому же разоренной стране требовались многие миллионы дешевых рабочих рук. Принудительный труд за кусок хлеба и баланду (похлебку) стал уделом этих миллионов на годы и десятилетия.

Германия лежала в развалинах, безглагольна и недвижима, но победители, как водится, сразу же перессорились между собой. Кое-кто из военных (говорили, что в первую очередь маршал Жуков) советовал не останавливаться на Эльбе и в Берлине, а взять заодно Париж, Рим, а англичан и американцев сбросить в море. Эти полководцы были явно опьянены своими успехами и потеряли чувство реальности. Но Сталин не решился на такую авантюру. Риск был слиш-

ком велик: опыт Гитлера только что показал, что нельзя выиграть в наше время большую войну только с помощью сильной армии. Экономика страны была сильно истощена, народ изрядно выдохся, потери, понесенные в войне, были чудовищны. Положение в завоеванных областях, да и в самой России было тяжелое и даже тревожное. Продовольственная помощь союзников, разумеется, прекратилась, а собственное сельское хозяйство находилось в плачевном состоянии. Во многих местах на селе вовсе не осталось мужчин, и колхозницы, давно забывшие о том, что такое трактор и лошадь, впрягались по нескольку человек в плуг или борону, чтобы пахать и боронить «на себе». В относительно благополучных местностях пахали на коровах. Голод дал себя знать с новой силой из-за катастрофического неурожая 1946 — первого послевоенного — года.

Но у правительства на первом плане были иные — как всегда, «идеологические» — заботы. В 1947 году началась борьба с так называемым «космополитизмом», проявления которой, встречавшиеся на каждом шагу, доходили до абсурда, а вслед за ней другие столь же дикие кампании, стоившие жизни или по крайней мере свободы сотням тысяч ни в чем не повинных людей.

Наведение порядка осуществлялось знакомыми и испытанными средствами массового террора. Трогать фронтовиков на первых порах было еще в какой-то мере рискованно, порой приходилось даже льстить им, но постепенно и исподволь их тоже начали лишать голоса и влияния. Однако прежде всего надо было расправиться с солдатами и офицерами, вернувшимися из плена. Таких было около полутора миллионов. Заодно производилась свирепая чистка на территориях, освобожденных от немецкой оккупации. Население этих территорий после двух-трех лет немецкого правления вовсе не исповедовало пронемецких взглядов, но недопустимо было уже то, что люди, которых десятилетиями приучали к идее «единственно возможной», незыблемой и непобедимой советской власти, воочию увидели возможность иного правления и образа жизни. Это «расшатывало устои». То же относилось и к бывшим военнопленным, как бы тяжко ни пришлось им в немецком плену. К тому же все эти люди не только познали голод, смертельную опасность, страх, — к

этому им было не привыкать! — но и оказались свидетелями картин, небывало позорных для своей родины. И причиной этого позора во многих случаях была «родная» советская власть.

В анкетах, которые советский гражданин был вынужден заполнять вновь и вновь — при получении паспорта, при поступлении на службу или в учебное заведение, при вступлении в комсомол и партию, — первостепенную важность приобрели нововведенные пункты: был ли на «временно оккупированных» врагом территориях? были ли там родственники? сколько времени? при каких обстоятельствах попали в оккупацию и чем занимались при немцах?

Несмотря на выигранную войну, в стране продолжали действовать мораль и законы «осажденной крепости».

В такой обстановке было очень тяжело жить и работать. Правда, та же работа, которой я занимался с увлечением, отвлекала меня от окружающего. Моя тема — определение клейм толедских оружейных мастеров — подвигалась очень быстро. Через Эрмитаж я запросил некоторые из иностранных музеев, и они любезно сообщили недостававшие мне сведения и прислали рисунки клейм. После рабочего дня в Эрмитаже, вернувшись домой, я ложился на часок вздремнуть, а затем весь вечер работал — иногда часов до трех утра. Около полуночи я обычно делал перерыв — выходил на набережную Невы и недолго прогуливался, отдыхая и собираясь с мыслями.

К концу 1947 года работа была завершена. Я отдал ее на просмотр Орбели. Ознакомившись с ней, Иосиф Абгарович сказал мне: «Михаил Федорович, эта ваша работа вполне может быть представлена на соискание кандидатской степени. Давайте представим ее на Ученый совет». Как раз в это время Эрмитаж пригласил профессора А.П. Маркузе для проведения занятий по «марксистско-ленинской философии» с группой сотрудников — соискателей ученой степени. Эти занятия должны были подготовить нас к сдаче одного из обязательных экзаменов так называемого «кандидатского минимума». Экзамен по «философии» я сдал летом 1948 года, а чуть позднее, тем же летом, комиссия из членов Ученого совета Эрмитажа приняла у меня экзамены по специальности — по всеобщей истории искусств и истории оружия.

В конце 1947 года в Эрмитаже было решено восстановить существовавшую до войны экспозицию западноевропейского оружия. М.А. Гуковский, сознавая свою некомпетентность, от участия в организации выставки возглавляемого им собрания совершенно устранился. Мне пришлось организовывать ее одному, — правда, мне помогали два моих сотрудника, но это была чисто техническая помощь.

Помещение для выставки было предоставлено очень неудобное — как я уже упоминал, узкий Министерский коридор и четыре маленькие комнаты, соседствующие с ним. К тому же эта секция музея служила для прохода посетителей музея с главного Иорданского подъезда в залы Малого и Нового Эрмитажа. Я вынужден был отказаться от показа ряда наиболее крупных экспонатов — например, не экспонировать коней в доспехах с восседавшими в седлах рыцарями. Коридор был так узок, что они загородили бы проход посетителям. Но все-таки, по просьбе Орбели, пришлось установить одну конную фигуру. Уж очень большой популярностью пользовались конные рыцари у школьников.

В эти дни я лишился полезного сотрудника. Кроме Ломоносова, мне помогал Николай Аркадьевич Круковский — студент университета. Будучи студентом, он пользовался льготой, состоявшей в том, что в Эрмитаже ему было разрешено работать не каждый день. Однажды в начале 1948 года, когда мы с ним готовили очередную партию экспонатов для выставки, зазвенел телефон, висевший около входной двери отделения. Круковский подошел к аппарату — и спустя минуту-другую вернулся в кабинет побледневший и взволнованный.

— Михаил Федорович, меня арестовывают!

— Как? По телефону?!

— Да, сейчас звонил Павел Иванович Малинин и сказал, чтобы я оделся и шел к нему. Он говорит, что мы с ним пойдем проверять трофейное* оружие.

Это, действительно, не могло не вызвать беспокойства. Павел Иванович Малинин был сотрудником «органов» и занимал в Эрмитаже должность начальника спецчасти. При всем этом он оставил у сотрудников Эрмитажа хорошие

* То есть вывезенное из Германии.

воспоминания о себе; он и сейчас продолжает работать в Эрмитаже — заместителем директора по учету и хранению. Изредка мы с ним встречаемся, и у нас сохранились хорошие отношения.

Но в случае, о котором я пишу, неожиданный вызов к нему являлся непонятным и зловещим. Тем более, что ключи от закрытых помещений Отделения оружия находились в моем распоряжении, и вызов сотрудника для осмотра их без моего ведома и участия был мало вероятен.

Я спросил Круковского, как считает он сам, могут ли его арестовать? Мой вопрос заведомо был неумным. Арестовать могли любого человека в любой час суток, и предвидеть этого никто не мог. Круковский ответил, что в студенческом общежитии, где он живет, вообще-то происходили аресты. Среди студентов, безусловно, есть тайные осведомители, которые всегда найдут что-либо из услышанного, о чем следует доложить своим хозяевам.

Мне оставалось спросить Круковского, есть ли у него с собой деньги. Я знал, что родных в Ленинграде у него не было, а мать его жила в Гомеле. Денег при себе он не имел, и я дал ему оказавшиеся у меня 50 рублей. Мы простились, он ушел и больше я его не видел.

Через несколько дней, когда Орбели пришел посмотреть, как продвигается устройство выставки, я рассказал ему о Круковском. Орбели должен был, казалось бы, знать об аресте сотрудника Эрмитажа, но он ответил, что ничего не знает. А летом, во время просмотра выставки перед открытием, меня вызвали на служебный подъезд. Там меня ждала пожилая женщина — мать Круковского, приехавшая из Гомеля. Она пришла по просьбе сына передать его благодарность и сообщила, что приехала прощаться с ним, перед его отправкой в концентрационный лагерь. Шесть лет спустя, в 1954 году, меня разыскала в Ленинграде незнакомая мне девушка, чтобы передать привет от Круковского. Он до смерти Сталина находился в лагере на Дальнем Востоке, потом был освобожден и жил в каком-то городе в тех краях.

Летом 1948 года подготовка выставки была закончена. В Министерском коридоре экспонаты иллюстрировали развитие боевого оружия в XV-XVII веках, а в комнатах вдоль коридора было выставлено преимущественно парадное ору-

жие, изготовленное в Италии, Германии, Испании и Франции, причем я старался сгруппировать его по центрам производства. Недостаток места заставил ограничиться только главными центрами производства оружия.

...С большей частью сотрудников Эрмитажа у меня были, да и теперь сохраняются, прекрасные отношения. Но среди них было несколько человек, относившихся ко мне исключительно плохо, несмотря на то, что мы, в сущности, очень мало были знакомы. Речь идет, как нетрудно себе представить, о людях, рьяно придерживавшихся «культа личности Сталина» и старавшихся всячески показать свою «преданность» режиму. Лучшим средством для этого они считали назойливое, показное преследование всех, кого не считали «нашими людьми» (кстати, существовало и было широко распространено даже выражение: «это не наш человек!»).

Я был наиболее подходящим объектом для травли. Барон, при Сталине уже дважды подвергавшийся репрессиям, не принимавший участия в его восхвалениях. В придачу, я имел брата, эмигрировавшего за границу, и погибших от репрессий многочисленных родственников. В общем, я был на все сто процентов лицом, отвечавшим требованиям «органов». И в глазах сталинистов было с моей стороны наглостью иметь свое собственное мнение, после заключения в концентрационном лагере неожиданно вернуться в музей с фронтов Великой Отечественной войны, да еще с боевыми наградами.

Вскоре после открытия выставки западноевропейского оружия состоялось собрание сотрудников Эрмитажа, на котором директор осудил поступок одного из моих недоброжелателей, доктора наук Исидора Михайловича Лурье, возглавлявшего Отдел культуры и искусства Востока. Про него Орбели говаривал: «Лурье доведет меня до удара». Женившийся на своем профессоре, также египтологе и сотруднике Эрмитажа, Милице Эдвиновне Матье, которая была старше его на девять лет, он принадлежал к числу наиболее активных и «ортодоксальных» сталинистов, стараясь использовать свою приверженность к этой ортодоксии в личных интересах. То же можно сказать о его супруге. Недаром сотрудники музея, тароватые на всякие клички, называли Милицу Матье — «Милица, мать ее...»

Так вот, именно Лурье обратился в райком партии с доносом, где старался показать, что я построил экспозицию, пронизанную антисоветским духом. Я убежден, что это было сделано не без поддержки секретаря партийной организации Эрмитажа Владимира Николаевича Васильева. В это время я находился в отпуске под Ленинградом. Райком создал комиссию, которую Иосиф Абгарович провел по выставке. Комиссия не нашла в экспозиции ничего предосудительного, и выставку открыли для обозрения. Но Лурье не успокоился. Он поместил статью в стенгазете Эрмитажа, где подверг выставку критике, правда, уже не касаясь политических обвинений, отвергнутых райкомовской комиссией.

На собрании Орбели, понимая, что нападение Лурье было направлено не только на меня, но в известной степени и на дирекцию Эрмитажа, говорил о том, что сотрудник музея, если он действовал из благих побуждений, должен был вынести критические замечания на обсуждение своих коллег либо представить их дирекции еще до открытия выставки. Лурье же сразу обратился в вышестоящую (!) организацию. Но так или иначе, подчеркнул Орбели, Лурье ошибся, так как комиссия райкома не нашла в выставке тех моментов, на которые тот указывал.

Я тоже выступил на собрании, а также написал ответную статью в стенгазету, но решил предварительно показать ее Орбели. Прочтя статью и подумав, он попросил меня воздержаться от ее опубликования. Время не благоприятствовало дискуссиям, даже научным.

5 ноября того же года я был награжден — в связи с очередной годовщиной революции — грамотой «за отличное выполнение социалистических обязательств по производственной и общественной работе». Грамоту подписали директор, секретарь партийной организации и председатель местного комитета профсоюзов. Правда, мне говорили, что секретарь парторганизации В.Н. Васильев не хотел ставить свою подпись. Однако директор и Ученый совет Эрмитажа настояли на том, что я, наряду с другими сотрудниками музея, достоин награждения грамотой. Я упоминаю об это факте потому, что спустя два с половиной года вопрос о грамоте всплыл в «органах».

## *Глава 25. Спорная диссертация*

Защита моей диссертации была назначена на 14 января 1949 года. В газете «Вечерний Ленинград» Эрмитаж поместил, в соответствии с общепринятым порядком, объявление о предстоящей защите. Любопытное совпадение — в том же номере газеты сталинский режим напомнил о своих наиболее страшных сторонах.*

Официальными оппонентами на моей защите были назначены член-корреспондент Академии Наук, доктор искусствоведения Михаил Васильевич Доброклонский и доктор исторических наук Матвей Александрович Гуковский. Последние дни перед защитой я не то чтобы очень волновался, но все же ощущал некоторое беспокойство. Я знал, что мои недоброжелатели накинутся на меня и сделают все от них зависящее, чтобы «провалить» меня на этом весьма серьезном экзамене.

Гуковский, как и полагалось, заранее дал мне свой письменный отзыв. Отзыв был положительный, но содержал много замечаний, и мелких и крупных. С подавляющей их

---

* Напомнил в своей манере, ставшей уже одиозной, в виде очередного «Опровержения ТАСС»:

«По сообщению берлинского корреспондента агентства Рейтер, военный министр США Ройялл сделал на пресс-конференции в Берлине 27 декабря заявление, в котором, ссылаясь на якобы "достоверные сведения" американской разведки, говорил о 13 миллионах русских, чехов, поляков, немцев и других, заключенных будто бы в концентрационных лагерях в Советском Союзе.

ТАСС уполномочен опровергнуть это нелепое измышление Ройялла, как явную ложь и гнусную клевету на Советский Союз.

Следует отметить, что "американская разведка" не первый раз подводит правительство США подобного рода смехотворными "достоверными сведениями"». («Вечерний Ленинград» от 29.XII.1948, стр. 3).

А на обороте, на странице 4-й, значилось: «Эрмитаж извещает, что 14 января, в 2 часа дня...» и т.д.

частью я не был согласен и готовился высказать соответствующие обоснованные возражения.

Другой оппонент — М.В. Доброклонский — отзыва заранее не представил, но накануне заседания, остановив меня в коридоре Отдела Запада, рассказал об основных чертах своего предстоящего выступления на защите диссертации перед Ученым советом Эрмитажа. При этом он обратил мое внимание на некоторые — впрочем, незначительные — погрешности в работе, о которых ему придется говорить.

В этот же вечер меня вызвал Орбели. Сказав несколько ободряющих слов, он спросил меня:

— Михаил Федорович, вы, конечно, знаете, что некоторые члены Ученого совета будут стараться изо всех сил, чтобы опорочить вашу работу?

— Да, знаю, и знаю, кто именно...

Надо сказать, что тема диссертации была «неблагоприятной»: ведь она относилась к западноевропейскому оружию, а между тем как раз в этот период начались гонения на «космополитов». Незадолго до дня защиты диссертации в одной из газет появилась статья, осуждавшая работы ученых, «далекие от жизни», то есть посвященные не восхвалению всего отечественного, безотносительно к его действительному значению, а зарубежным культурным и общественным явлениям.

К двум часам дня зал Эрмитажного театра оказался набит битком. Многим не хватило сидячих мест, и они вынуждены были стоя присутствовать на заседании. Кроме сотрудников Эрмитажа, пришло множество работников других музеев города — знакомых и незнакомых.

Должен признаться, что у меня явилось неприятное чувство. Едва ли обилие слушателей и зрителей можно было объяснить интересом к первой в России диссертации по истории оружия. Большинство пришло полюбоваться предстоящей схваткой между работниками науки и сталинистами — зрелищем в ту пору редким.

Орбели, открыв заседание Ученого совета Государственного Эрмитажа, начал с того, что как раз сегодня «советская общественность отмечает память замечательного русского художественного критика и замечательного ученого и общественного деятеля В.В. Стасова в связи с исполнившимся

125-летием со дня его рождения». «Будем верить, что это был всегда русский человек, который никогда не скатывался с позиций русских людей!» — восклицает Орбели и после этой странной фразы, похожей на заклинание, предлагает почтить память Стасова вставанием. Затем директор Эрмитажа, он же председатель Ученого совета, переходит к повестке дня заседания. В ней один вопрос — защита моей диссертации «Клейма толедских мастеров шпаг XVI–XVII столетий». Повестка дня утверждается.

Александр Александрович Иессен — заведующий Отделом истории первобытной культуры — зачитывает биографические и анкетные данные и характеристику диссертации. Директор спрашивает присутствующих, есть ли у них ко мне вопросы. Вопросов нет. Избирается комиссия для предстоящего подсчета результатов тайного голосования.

Затем слово предоставляется мне.* Первый раз в жизни мне пришлось выступать перед такой большой аудиторией искусствоведов и историков. Я выступал перед судом самой высокой квалификации в нашей стране. Но, очутившись перед этой аудиторией, зная, что в ней находятся люди, которые уже приготовились опорочить мою работу, я чувствовал себя совершенно спокойно и выступал уверенно. Правда, в ходе выступления пришлось сделать несколько ритуальных реверансов в сторону «единственно подлинного научного метода», которым де владеют советские ученые, противопоставляя его «неизбежной для буржуазных ученых беспомощности» в решении научных задач. Я говорил:

«Изучение клейм имеет большое значение для историка искусства, историка техники и историка оружия. Оно позволяет не только установить принадлежность вещей той или иной стране, центру производства, мастерской или отдельному мастеру, — изучение клейм позволяет датировать вещи и установить их подлинность, позволяет сделать ряд существенных выводов о состоянии производства в определенный отрезок времени».

«Для истории прикладного искусства, как и для истории оружия, произведения толедских мастеров имеют большое значение. Толедское производство оружия, одно из древнейших в Европе, переживает в XVI столетии расцвет. Толедские

* Все выступления привожу по стенограмме, несколько сократив их.

клинки завоевывают европейский рынок и вызывают огромное количество подражаний и подделок. Создается широкая популярность толедских клинков, которая живет в произведениях литературы и в памяти людей.

В музеях и частных собраниях оружия шпаги с клинками толедской работы занимают одно из самых почетных мест... К числу наиболее значительных вещей принадлежат шпаги с клинками толедских мастеров и в собрании оружия Эрмитажа».

«Между тем, в каталогах собраний оружия царит невероятная путаница в определении произведений толедских мастеров... Полное отсутствие исследований, посвященных толедскому производству, и путаница в определении его памятников как нельзя более ярко иллюстрируют несостоятельность западноевропейской буржуазной науки, лишенной подлинно научного метода, беспомощной в решении задач обобщенного широкого исследования. В трудах западноевропейских ученых в области прикладного искусства и истории оружия господствует любительский подход, угодничество перед интересами господствующего класса (Боже, что за оборот я ввернул!), чуждые интересам науки».

«Западноевропейские ученые пытались оправдать свою беспомощность. Так, австрийский оружиевед Венделин Бехейм и крупный знаток испанского оружия, автор «Историко-описательного каталога Мадридского арсенала» (1898), до сего времени сохраняющего значение лучшего пособия для ознакомления с испанским оружием, Валенсия де Дон Хуан писали о невозможности исследования и обобщения наследия толедских мастеров, рассеянного по многим музеям».

«Два упомянутых обстоятельства — большое значение произведений толедских мастеров и полное отсутствие исследований — заставили меня взяться за настоящую работу. Единственное, на что можно было опереться при решении поставленной задачи, — это вещественные памятники круга толедских мастеров: обширный материал, исследование которого нужно было производить, отказавшись от предшествующих определений западноевропейских ученых».

«Материал, который был привлечен для разрешения данной задачи, составляют 500 клинков, среди которых находятся подлинные произведения толедских мастеров, подражания и

подделки. Изучение последних дает возможность получить сведения о мастерах, подлинные произведения которых не сохранились».

Из немногочисленных письменных источников я выделил три: изданную рукопись Жехана Лермита, фламандца, находившегося на службе при испанском дворе с 1580 по 1602 год; рукопись инспектора по сбору десятинных налогов города Толедо Франсиско де Сантьяго Паломареса «Заметка о толедском производстве шпаг» (1762), с приложенной к ней гравированной таблицей клейм толедских мастеров, и рукопись некоего Родригеса дель Канто, бывшего учителем фехтования пажей короля Филиппа V.

«Вопрос о клеймах — пришлось сказать мне далее, — имеет особый интерес в связи с тем значением, которое в последние годы приобрела проблема личного клейма мастера-стахановца в социалистической промышленности нашей страны».

Я закончил свое вступительное слово так: «Как выполнена настоящая работа — предстоит решить сегодня Ученому совету Эрмитажа».

Затем слово было предоставлено официальным оппонентам. М.В. Доброклонский прочел свой отзыв, лестный для меня, и закончил выражением уверенности в том, что моя работа заслуживает присуждения ученой степени.

Второй оппонент, М.А. Гуковский, в своем выступлении сделал упор на необходимость для нашей науки пересмотреть представления, сложившиеся в «буржуазном искусствоведении». «Остается пожалеть, — сказал он, — что тов. Косинский из своей, присущей ему, вежливости недостаточно резко подчеркнул свои разногласия с буржуазными исследователями, которых он наделяет лестными эпитетами в своей диссертации, а на деле в изложении материала разбивает их наголову».

Замечания, сделанные Гуковским, сводились к следующему:

«Полностью порвать с традициями, которые установились в оружиеведческой литературе, диссертанту не удалось. Это сказывается в том, что, разрешая ряд вопросов по истории испанского оружия, тов. Косинский в основном остается в кругу источников и литературы, касающихся только специально истории оружия. Это ведь не фарфор и не керамика

(я не хочу ни в какой мере плохо отозваться о них) — в тех областях тоже есть весьма интересные вопросы, но о фарфоре и керамике вы не найдете упоминания в тексте хроник, а поэтому человек, который занимается изучением истории фарфора и керамики, не обязан читать хроники, в них он ничего не найдет для себя.

Совсем иначе обстоит дело с оружием. Оружие — это вещь, стоящая в центре интересов средневековья, а поэтому в большинстве источников вы можете найти ссылки на другие источники, — между тем, эти последние остались вне поля зрения автора».

Тем не менее, второй мой официальный оппонент также закончил тем, что «замечания, которые могли быть сделаны по данной работе, вытекают больше из трудности задачи, чем из ошибок автора», и работа «бесспорно заслуживает того, чтобы на основании ее состоялось присуждение ученой степени».

На вопрос Орбели, кто еще желает взять слово, вызвался профессор Лурье. Он отозвался о моей работе недвусмысленно отрицательно. «Вводная часть работы, — сказал он, — представляет собой в лучшем случае научно-популярный очерк. Собственных мыслей автора (...) там нет. Точнее, там есть одна собственная мысль диссертанта: дескать, мавританские мастера никакого влияния не оказали на производство оружия в Толедо».

А между тем, коварно продолжал Лурье, «мы знаем по ряду работ, например академика Орбели, о том, какое большое влияние на искусство Испании и Западной Европы оказало знакомство с культурой Востока, возникшее через посредство арабского завоевания. Это бесспорное положение отрицается автором диссертации на единственном основании, что оружие в Толедо производилось до арабского завоевания».

Остальная часть работы, сказал проф. Лурье, «на меня производит такое впечатление, что тов. Косинский является человеком, который хорошо знает материал, но в подходе к нему он не поднялся выше уровня технического описания, перечня мастеров с указанием того, что ими сделано. Причем этот перечень представляет собою перечень, в котором формальные моменты играют решающую роль и на основании этой части формальных моментов даются ответственные вы-

воды и объявляется целый ряд вещей подделками и при этом без всякого рода доказательств.

...Я бы сказал, что кроме тех упущенных автором источников, о которых говорил Матвей Александрович (Гуковский), упущен еще один ряд источников, достаточно важный: я имею в виду изобразительный материал.

В свое время Иосиф Абгарович Орбели показал, какое значение могут иметь произведения западноевропейских художников для определения и датировки памятников Востока. Неужели вы не могли использовать в работе этот материал? Мне кажется, что этот источник возможен и немаловажен.

Что же из этой работы получается? Дан каталог оружия, дано правильное или неправильное установление того, что принадлежит этим мастерам, а какой же нужно сделать вывод? Что из этого проистекает? Об этом в работе ничего не сказано. В итоге получилось, что это чисто формальная работа, требующая усидчивости и знания целого ряда каталогов, но не дающая выводов. Допустим, что таким-то мастерам принадлежит не десять шпаг, а три шпаги. Но что из этого вытекает? Мне кажется, что работа, которая предъявляется на соискание ученой степени, требует, чтобы автор знал материал (он его знает) и умел пользоваться этим материалом. Этого последнего тов. Косинский не показал.

Мы знаем, что имеются работы Энгельса, в которых дан образец марксистского анализа оружия. Такова, например, его работа по истории винтовки. Подходя к тому материалу, который дает тов. Косинский, можно было бы отталкиваться от этого образца.

По-моему, рассматриваемая нами работа исключительно формалистична, не выдвигает никаких идей и мыслей, и мне трудно согласиться с тем мнением, которое высказали о ней наши уважаемые оппоненты».

Последовавшее сразу за этим выступление профессора М.Э. Матье заняло втрое больше времени, чем выступление ее мужа.

«Замечания, которые мне хотелось бы высказать, — так начала Матье после «дежурного» вступительного комплимента в мой адрес, — касаются методологической стороны работы. Если бы я работу не читала, а только бы слушала сегодня Михаила Федоровича, то у меня была бы другая оценка

работы, ибо сегодня Михаил Федорович нашел целый ряд моментов и выражений, которые должны присутствовать в работе.

...Сегодня Михаил Федорович нашел правильный тон и оценку для ряда источников, которыми он пользовался, и я чувствовала, что я присутствую на диссертации советского ученого в 1949 году, а когда я читала диссертацию, то я этого не чувствовала.

Я приведу две оценки, которые он дает, — оценку Бехейму и вторую оценку Валенсии де Дон Хуану. Сегодня была действительная оценка, а вот что он пишет в своей работе: «Превосходные собрания оружия Стокгольма и Вены имеют хорошие каталоги, также далеко не новые, но могущие похвастать авторством таких маститых ученых и знатоков оружия, как Рудольф Седерстром и Венделин Бехейм». Или: «Мадридский арсенал, оружие которого блестяще издано в 1898 г. графом де Валенсия де Дон Хуан, крупным испанским ученым».

...В своем выступлении Матвей Александрович говорил о «вежливости» Михаила Федоровича. Я бы сказала, что может быть это можно назвать вежливостью, — а может быть и аполитичностью».

Если Лурье указывал на то, что мои замечания, рассеянные в тексте диссертации, противоречат позиции академика Орбели, то его супруга обвинила меня в гораздо более серьезном, непростительном грехе — в противоречии указаниям самого Карла Маркса. Например, я говорю о расцвете городов в Испании в период монархии — а Маркс, наоборот, утверждал, что «введение абсолютной монархии привело к упадку городов»!

Окончание выступления Матье также не сулило ничего хорошего:

«Я вполне согласна с тем, когда официальные оппоненты делали вам упреки в том, что вы бываете слишком категоричны, определяя критерии подлинности вещей. Я могу в этом убедиться на ваших выводах о произведениях толедских мастеров, находящихся в Эрмитаже. Вы говорите, что в собрании Эрмитажа есть подделки и, кажется, довольно большой процент? Вы посмотрите, какой ответственный вывод получается для оценки нашего собрания! Мне кажется, вы должны

бы подходить более ответственно к выдвигаемым вами критериям и еще раз их проверить».

Расчет супругов-недоброжелателей был ясен. В составе Ученого совета Эрмитажа и вообще в аудитории не было специалистов по истории оружия. Следовательно, надо было бросить тень на метод моей работы, на мои общие установки, давая понять, что они противоречат принципам «марксистской науки», и более того, что я прямо противопоставляю себя авторитетам. В лучшем случае меня соглашались признать «усидчивым», вызубрившим каталоги, но не способным подняться до «научных» выводов и обобщений, а работу мою соглашались, опять-таки в лучшем случае, считать не полностью порочной, а «аполитичной», что также должно было поставить под сомнение закономерность присуждения ученой степени.

После Лурье и его жены выступил директор Публичной библиотеки, бывший ученый секретарь Эрмитажа Лев Львович Раков. Он говорил о важности «музееведческого» подхода к вещам, хранящимся в наших музеях. Именно этого профессионального подхода нам очень не хватает, откуда возникают то и дело трудности в музейной, да и в библиотечной работе. Недостает таких работ, которые могли бы получить практическое использование, недостает элементарных определителей. Сегодня Ученый совет музея рассматривает как раз одну из таких редких работ.

В то же время и Раков отдал дань эпохе: «Правильное замечание: не сто́ит, Михаил Федорович, называть буржуазного ученого "маститым"! Ведь у нас идет борьба двух миров и ни одной каплей принципиальности нам не следует жертвовать. Здесь принцип ученой вежливости не нужен. Он не соответствует всему стилю нашей науки — прямой, суровой, воинствующей!»

Соответственно он и закончил: указав, что старинные виды оружия представляют для нас интерес не только как музейные экспонаты, иллюстрирующие развитие материальной культуры, но еще и потому, что они могут неожиданно возродиться в наше время, «как возродилась в последних войнах, скажем, ручная граната или многоствольная митральеза», Раков вдруг воскликнул: «Михаилу Федоровичу это хорошо известно по личному боевому опыту! И вам, Михаил Федорович,

знающему опыт последней войны, награжденному правительственной наградой за захват складов в Прейсиш-Эйлау, следует в дальнейшей научной работе основательно посмотреть, чтó из достижений старого мастерства может быть применено для нашего оружия, потому что нам его нужно держать наготове и может быть еще раз придется оставить изучение оружия прошлого и снова встать в ряды защитников Родины, придется изучать оружие и его действие не в стенах музея, а на поле боя»!

О прикладном значении диссертации говорил и заведующий библиотекой Эрмитажа Оскар Эдуардович Вольценбург. Заведующий Отделом западноевропейского искусства профессор Владимир Францевич Левинсон-Лессинг также отметил, что в круг задач, стоявших перед диссертантом, не входило исследование вопросов истории и организация оружейного производства. К диссертации следует подходить «как к работе источниковедческой — работе, посвященной анализу и изучению определенной группы источников, которыми являются в данном случае клейма на испанском оружии».

«Те 36 очерков, — продолжал он, — в которых даются списки работ 36 мастеров Толедо, представляют собой значительный вклад в историю оружия. Если бы кто-нибудь из искусствоведов, работающих над историей не прикладного, а изобразительного искусства, поставил себе задачу составить критический каталог работ 36 мастеров, то мы сочли бы итог такой работы весьма внушительным».

Левинсону-Лессингу также пришлось коснуться злополучного вопроса о моей «вежливости» по отношению к ученым-предшественникам:

«Мне кажется, — сказал он, — что эпитеты “выдающийся“ и “маститый“, которые диссертант применил, не означают ничего особенного. Слово “маститый“ — это вежливый синоним престарелого возраста, а ведь автор, на которого ссылается Михаил Федорович, в то время, когда писал свою работу, находился в возрасте 85-86 лет и в 1902 году сошел в могилу. Вряд ли, таким образом, применение этого эпитета может быть в данном случае поставлено в упрек. А кроме того, следует сказать, что эти два имени, о которых будто бы «слишком вежливо» говорит автор, в оружиеведении действительно занимают ведущие места».

Академик Василий Васильевич Струве начал свое выступление с такого признания: «Я не хотел выступать, потому что я боялся увеличить число выступавших, которые с самого начала говорят, что они не являются специалистами в данной области, — и все же хотят непременно высказать суждение о диссертации. Но надо бы указать на следующий фактор, до сих пор не упоминавшийся никем из выступавших: диссертант является зарекомендовавшим себя научным сотрудником, не правда ли, а не только автором данной работы? Если подойти с этой точки зрения, то мы можем констатировать, что, по общему признанию, мы имеем дело с вполне зрелым исследователем.

Некоторыми из выступавших был выдвинут упрек, что диссертант не коснулся ряда источников. Такой упрек не всегда вполне справедлив. Я вспоминаю диспут Л.П. Карсавина в 1912 году. На его защите официальный оппонент указал, что диссертант не коснулся в своей работе таких-то и таких-то источников. На это замечание оппонента Карсавин ответил: я не коснулся их потому, что в этих источниках я не нашел ничего ценного для моей работы».

Положительно отозвались о диссертации также проф. Леонид Антонович Мацулевич и заведующий отделом Артиллерийского исторического музея полковник Владимир Иеронимович Маркевич. «Я считаю, что эта диссертация является поднятой целиной, — заявил последний с первых же слов своего выступления. — Я могу лишь поздравить автора за то, что он имел дерзость взяться за такой труд, который другой, более изворотливый исследователь посчитал бы неблагодарной темой... Тут дана техника, а не беллетристика. Беллетристика нам не нужна».

Заседание затягивалось. Но вот, наконец, на вопрос председательствующего «кто еще желает высказаться?» зал ответил молчанием. Те, кто по своим научным познаниям мог выступить против меня, уже сделали это в самом начале обсуждения, и сказали все, что могли: и о Марксе, и об энгельсовской «Истории винтовки», и о взглядах Орбели на арабское влияние, и о моей аполитичности... Все, кто хотел и мог меня защитить, тоже высказались. «Позвольте мне, — сказал тогда Орбели, — использовать свое право члена Ученого совета, чтобы высказать несколько своих соображений».

«Я, — продолжал он, — не случайно приветливо улыбнулся на замечание Л.Л. Ракова о том, что у нас развивается диспут. Не потому, что в недавней газетной статье о диссертациях говорится о желательности широкого обсуждения, а по моему характеру. На мой взгляд, нет ничего скучнее, когда диссертант нудно излагает свою работу, официальные оппоненты так же нудно читают отзывы, потом происходит вялое голосование... нет, мне больше нравится дискуссия!»

«Михаил Федорович, — обратился Орбели ко мне, — вам ставится в упрек, что вы называете одного буржуазного ученого “маститым“, а другого, кажется, “уважаемым“. Но ведь как же можно, имея дело со шпагами, не соблюдать правил поединка? Ведь согласно этим правилам, прежде чем проткнуть противника, нужно вежливо осведомиться, как он себя чувствует. Пусть диссертант называет “маститым“ и “уважаемым“ буржуазного ученого, — ведь вслед за этим он протыкает его насквозь! Разве это — низкопоклонство перед Западом?

В числе разных аргументов приводились аргументы, касающиеся моей особы. Исидор Михайлович* прав, говоря, что я много раз в своих выступлениях упоминал, что при оценке того или иного явления культуры Запада нужно учитывать те моменты, которые оказались привнесенными с Востока. Но я никогда не настаивал на том, чтобы эти моменты придумывать. А конкретно, в отношении Толедо, я должен сказать, что Михаил Федорович Косинский, для себя неведомо, солидаризовался с Я.И. Смирновым, который полемизировал с “не в меру восточными“ противниками толедских клинков, утверждавшими, что эти клинки перековывались из индийского булата!

Я лично думаю, что шпаги абсолютно исключают возможность сопоставления с восточным оружием».

«Теперь — страдает ли достоинство Эрмитажа, если выясняется, что в нашей коллекции имеется только шесть не возбуждающих сомнений произведений толедских мастеров? Если в 1840 году буржуазные русские ученые сказали Николаю I, что шпага (которую они купили достаточно дорого) принадлежит толедскому мастеру, то нам вовсе незачем рабски следовать этой точке зрения... Следующий момент: о

* Лурье.

разных видах источников. Трудно себе представить рыцарскую поэму, в которой не упоминалось бы о шпаге. Ну и что из того? Если бы там говорилось о клейме, — тогда другое дело!»

«Далее: об образцах. Тут есть известная пропорция, которую надо соблюдать. Как можно по поводу кандидатской диссертации говорить: почему ваша работа не похожа на такую, как работа Энгельса по истории винтовки? Разве можно наши работы, издаваемые Эрмитажем или Академией Наук, ставить на одну доску с трудами основоположников марксизма-ленинизма? Я думаю, что нельзя».

Слово для заключения было предоставлено мне. Я говорил довольно долго, хотя и признал, что выступавшими ранее уже было опровергнуто большинство сделанных мне упреков и что бóльшая часть выступавших посчитала поставленную мной задачу выполненной. Но некоторые аргументы мне хотелось привести самому.

«В своей работе, — счел я необходимым напомнить Ученому совету, — мне впервые удалось установить ряд точных дат деятельности мастеров, местá их деятельности, значение в производстве оружия, особенности творчества. Удалось воскресить для истории имена таких крупных мастеров, как Сальвадор Авила и Педро де Эспиноза, доказав их существование подлинными клинками, и похоронить выдуманного “маститыми“ буржуазными учеными XIX века Педро Эрнандеса. Удалось впервые профессионально поставить вопрос о Хулиане дель Рей, вокруг имени которого была создана легенда, которому приписывалось множество клинков во многих музеях Европы и Америки, на самом деле являвшихся произведениями мастеров из Пассау и Золингена. Таким образом, сущность моей работы — борьба за исторические факты».

«Конечно, я мог бы привлечь обширный материал об употреблении шпаги в истории Испании. В этой стране, в силу особенностей ее исторического развития, шпага пользовалась особой популярностью. Я использовал бы хроникальный и литературный материал, если б он в какой-либо мере соответствовал теме моей работы. А вместо этого я говорю в своей работе о том, что в произведениях испанской литературы, в том числе и у Сервантеса, нет материалов, проливающих

свет на легенду, связанную с именем Хулиана дель Рей. Зачем же ссылаться на то, чего нет? В одном прекрасном месте «Дон Кихота» Сервантес любуется своим героем, когда тот бесстрашно устремляется на единоборство со львом, вооруженный одной шпагой, — "добро бы еще помеченной клеймом собачки», — замечает Сервантес. Но что это дает для выяснения легенды о Хулиане дель Рей?

В Эрмитаже в Отделении гравюр найдутся, вероятно, десятки тысяч листов, где можно усмотреть изображение клинка. То же и в других собраниях. Я бы с жадностью пересмотрел все это, если бы на гравюре, изображающей, скажем, жанровую сцену, можно было отличить толедский клинок от валенсийского, миланского или золингенского, — но какой же смысл, Исидор Михайлович, черпать воду решетом.

Относительно "маститых" ученых. Я употребляю это слово именно в том смысле, как это понял Иосиф Абгарович, — фехтуя, сражаясь с видными учеными. Но я должен сказать, что крупнейший знаток испанского оружия Валенсия де Дон Хуан и еще больше Венделин Бехейм, умерший в самом начале этого столетия, сделали очень много для развития исследовательской работы над оружием. Это были крупные ученые. И я, тоже оружиевед, опровергая их на каждом шагу с позиций современной науки, не могу не отдать должное их былым заслугам.

Почему советский научный работник должен огульно порицать всех старых ученых? Так можно дойти до отрицания заслуг Микеланджело и Леонардо да Винчи!

Я хочу еще сказать, почему я не дал расширенного описания толедских клинков в собрании оружия Эрмитажа, когда писал главу, посвященную оружейным коллекциям различных музеев.

Я вырос в Эрмитаже, он мне очень дорог, но подробное описание тех немногих толедских клинков, какие у нас имеются, дано в главах, посвященных мастерам. Тема работы — толедские клинки. Больше всего подлинников, по вполне понятным причинам, хранится в Мадридском арсенале. Было бы неправильно, с точки зрения темы работы, уделить ему меньшее внимание, чем нашему музею».

В этом «антипатриотическом» — по тем временам — месте меня перебил Орбели, видимо, боясь, что дальнейшее разви-

тие этой мысли повредит мне. «Михаил Федорович, — заметил он, — я боюсь, что если вы будете еще долго говорить, то у членов Совета, после четырехчасового диспута, не хватит сил проголосовать!»

— Иосиф Абгарович, это, кажется, все главное, что я хотел сказать.

— Прошу членов счетной комиссии, — тут же заявил Орбели, — приступить к исполнению своих обязанностей!

Члены счетной комиссии роздали всему составу Ученого совета бюллетени, и пока подсчитывались результаты тайного голосования, толпа бросилась в курительные комнаты. Действительно, во время напряженного заседания люди безвыходно просидели и простояли в зале Эрмитажного театра четыре часа.

Когда все возвратились в зал, О.Э. Вольценбург прочитал протокол счетной комиссии. За присуждение мне ученой степени проголосовало 19 человек, против было подано три голоса — в том числе, несомненно, два принадлежали супружеской паре, с самого начала атаковавшей меня и мою диссертацию, — а один бюллетень был признан недействительным. Степень кандидата искусствоведения была мне присуждена, и, сознаюсь, мне было приятно слышать дружные аплодисменты, последовавшие за утверждением протокола.

Закрывая заседание, Иосиф Абгарович сказал:

«Дорогие товарищи! Я обращаюсь к вам ко всем, а не прямо к Михаилу Федоровичу, хотя первое, что я хотел бы сделать, — это поздравить его с присуждением ученой степени. Но я обращаюсь ко всем, потому что мне кажется, что сегодняшняя защита должна быть учтена всеми: и членами Ученого совета, и остальными научными сотрудниками, и притом учтена в полной мере.

Я в своем выступлении подчеркнул, что мы впервые присутствуем на настоящей широкой диссертации, вызвавшей оживленное обсуждение. С одной стороны, это чрезвычайно отрадно и интересно. Однако был момент, когда мне стало неловко: это когда один из наших дорогих сочленов* сказал, что многого здесь не пришлось бы говорить, если бы подготовка к защите была проведена более тщательно. Многие

* Академик В.В. Струве.

замечания были бы внесены и, несомненно, учтены автором не в ходе самого уже начавшегося диспута, а заблаговременно. Если бы нам удалось сделать это раньше, то у очень дорогого и близкого мне сотрудника не осталось бы досады на то, что так долго и напряженно шла его защита.

Но Михаил Федорович должен знать, что ему не только присуждена ученая степень, но что его труд должным образом оценен. Словом, я хочу сказать, что все мы выполнили свой долг — и председатель Ученого совета, и оппоненты, и все присутствующие, включая самого диссертанта».

По традиции, Орбели закончил выражением благодарности в адрес всех, кто принял участие в обсуждении диссертационной работы. Многие поздравляли меня тут же. Выходя из зала, я очутился рядом с парторгом. Тот с искаженным от злости лицом, тоном насмешки, поздравил меня. Это и был, вне всякого сомнения, третий «голос против». Товарищи по Отделу Запада, во главе с В.Ф. Левинсон-Лессингом, затащили меня в помещение отдела, расцеловали и подарили мне портфель, наполненный бутылками со «старкой»...

Среди этих искренних проявлений дружбы и симпатии я не мог услышать голос моего друга — Рахили Моисеевны Хай. «Лотта» была прикована к постели, и через несколько дней этого прекрасного человека и тончайшего искусствоведа не стало. Причиной смерти явился рак груди.

Ее хоронили торжественно. Значительную часть хлопот, связанных с похоронами Лотты, взяли не себя Леон Тигранович Газульян и я. Газульян был одним из любимых учеников Орбели. Приблизительно в одно время со мной он был арестован и пробыл в лагерях всю войну, значительно больше назначенного ему срока, — «до особого распоряжения». Своим возвращением после всего этого в Ленинград и восстановлением в Эрмитаже он был обязан энергичным хлопотам Орбели.

На похоронах я встретился с Анной Андреевной Ахматовой, с которой еще раньше познакомился именно у Лотты. Их связывала искренняя дружба.

В те же дни одиннадцать моих товарищей по Высшим курсам искусствоведения, работающих в Русском музее, прислали мне поздравление с защитой диссертации. Это тронуло меня до глубины души.

По существующему обычаю, принято отмечать присуждение ученой степени маленьким или большим раутом. Я приготовил необходимую сумму денег и передал ее своим товарищам по отделу — дамам, любящим организовывать подобные маленькие торжества. Как вдруг Орбели передал мне, что подобной товарищеской встречи он просит не устраивать, так как это может обострить недовольство «и моих, и его врагов». Пришлось отменить раут, но узкий круг моих ближайших друзей, и в их числе несколько работников Эрмитажа, собрались у меня дома, в моей небольшой комнатке, и «отметили» мою степень.

## *Глава 26. Эрмитажные неприятности*

Между тем, массы людей продолжали преследоваться и арестовываться. Лагеря росли. Многие готовили себе чемоданчики с бельем и двумя-тремя самыми необходимыми вещами на случай ареста. Жизнь продолжалась. Люди ходили в театры, в кино, в гости к знакомым, распевали «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Влюблялись, женились, ходили на работу, стояли в магазинных очередях, славили Сталина на собраниях...

И в то же время похоже было, что страна, еще не залечившая раны кровопролитной, небывалой войны, снова готовится воевать. У СССР появилась собственная, лихорадочно созданная атомная бомба. Очень много надежд, по-видимому, связывалось с неисчерпаемыми людскими ресурсами Китая, ныне полностью «красного», нашего вернейшего союзника, казалось многим, более верного, чем те восточноевропейские государства, которые именовались в прессе так: «страны новой демократии», а позднее стали именоваться совсем уж странно — странами «народной демократии». Сталину исполнилось семьдесят лет, — не приходило ли ему в голову, перед уходом из этого мира, на весь мир «хлопнуть дверью»? Тем более что истинного положения в стране, донельзя разоренной войной, он не знал. В любом городе, и в частности в Ленинграде, военные фуражки и мундиры то и дело попадались в уличной толпе — несмотря на демобилизацию армии военного времени, режим явно продолжал держать под ружьем миллионы людей. Полковники прыгали на ходу в трамвай, стояли в очередях, — не то что на фронте, где даже майор был огромной величиной, а более важные чины встречались мне совсем редко...

После защиты диссертации И.А. Орбели согласился предоставить мне отпуск. Врачи направляли меня в Эстонию, в

Хаапсальский санаторий, известный своими целебными грязями. Однако, по странности характера директора, как раз перед отъездом в отпуск мои отношения с ним вдруг испортились, и я не был уверен, что мне удастся уехать вовремя.

Началось с того, что заместитель Орбели по хозяйственной части отдал странный приказ, запрещавший сотрудникам Эрмитажа появляться в его залах до открытия музея для публики. Приказ этот объяснялся тем, что будто бы сотрудникам случалось наследить на полах, натиравшихся полотерами перед открытием залов для посетителей. И вот однажды, рано утром, когда я был дежурным по Отделу Запада, мне позвонила по внутреннему телефону сотрудница охраны одного из залов выставки искусства Франции и доложила, что кто-то снял футляр с одних из часов, выставленных в зале. Я поспешил туда. Выставка находилась на противоположном конце музея. По дороге меня остановили работницы охраны, сославшись на приказ дирекции не пропускать сотрудников до открытия музея.

Мне пришлось повернуть обратно, и, возвращаясь, я наткнулся на Орбели с группой сопровождающих его сотрудников. Он был уже чем-то раздражен и реагировал на мой доклад с видимым недовольством, спросив меня: «Честно сознайтесь, вы шли не по своим личным делам?» Я невольно нахмурился и ответил, что уже доложил ему, зачем я шел. Тогда директор, повысив голос, произнес: «Товарищ Косинский, попрошу вас выполнять приказы директора и его заместителей!» Я по-армейски ответил: «Есть!» и удалился.

Второй случай произошел примерно в это же время. Реставратор Отделения оружия А.Н. Ломоносов, отличный работник, уже давно жаловался мне, что не может прокормить семью на ставку, получаемую им в Эрмитаже. Когда-то Орбели сманил его в музей с одного из заводов. Тогда, сразу после войны, деньги были совершенно обесценены, так что продуктовые карточки и ордера на промтовары, которые он получал в Эрмитаже, более чем компенсировали те несколько сот рублей, которые Ломоносов потерял, уйдя с завода. Однако с тех пор положение изменилось: 15 декабря 1947 года карточная система была отменена, одновременно проведена денежная реформа и резко повышены цены на продукты, так что главное и решающее значение приобрели деньги. Ломоносову

предлагали опять вернуться на завод и сулили зарплату, вдвое превосходящую ту, которую он получал у нас.

Он объявил мне, что уходит. Меня уход Алексея Николаевича ставил в совершенно безвыходное положение. Найти приличного мастера для поддержания в порядке металлических экспонатов, да еще на музейную ставку, было невозможно. В отчаянии я немедленно позвонил директору по телефону и услышал в трубке гневный голос Орбели: «Михаил Федорович, вы должны знать, что я никогда не удерживаю сотрудников, не желающих работать в Эрмитаже! Причем, если это женщина, я посылаю ее к черту, а если мужчина, то еще дальше!» — Орбели повесил трубку.

А я позвонил директору потому, что несколько ранее он обещал найти способ увеличить зарплату Ломоносову, и я надеялся, что таким образом можно было бы удержать его в Эрмитаже. Этого не произошло, и 15 марта Ломоносов ушел.

А тут еще начались покаянные собрания. Это было одним из мероприятий сталинского режима. На собраниях должны были присутствовать сотрудники всех отделов, но каждое из них было посвящено какому-нибудь одному отделу, до которого доходила очередь. Научные сотрудники этого очередного отдела выступали, каясь в ошибках, главным образом «идейно-политических», которые им случилось допустить в своих трудах, изданных и неизданных. Первое такое собрание состоялось как раз перед моим отъездом в отпуск. В конце его я подошел к директору и сообщил, что, согласно его разрешению, я уезжаю в отпуск, билет у меня уже в кармане. Разговор происходил при заместителе директора по научной части Б.Б. Пиотровском.

Случайно оказалось, что на следующем собрании должны были каяться сотрудники нашего отдела. По-видимому, Орбели решил, что я уезжаю, желая уйти от унизительной процедуры, он раскричался и начал бранить меня. Нужно сказать, что недовольство директора мной еще никогда прежде не выражалось так резко в моем присутствии и я узнавал о нем из рассказов товарищей.

Отлично понимая трудность положения директора, я не вступил в спор, но спустя некоторое время попросил Б.Б. Пиотровского «при случае» напомнить Иосифу Абгаровичу о данном мне разрешении на отъезд. Вопрос был улажен, и я

сел в поезд, идущий в Таллинн, с удовольствием предвкушая отдых от напряженной обстановки, сложившейся в Эрмитаже и вокруг, от гнусных покаянных собраний, а главное — избегнув непосредственного участия в них, пусть хотя бы на короткое время.

В санатории меня поместили с пожилым профессором ленинградского Политехнического института, на вид сухим и некомпанейским. Однако проживание в одной комнате и то обстоятельство, что я познакомился с ним еще в поезде, по дороге из Таллинна в Хаапсалу, сыграли свою роль. Мы ежедневно бродили вдвоем по городку, несмотря на сырую и холодную погоду ранней весны, и пили очень вкусное темное пиво в одной и той же пивной. Кормили в санатории сносно.

Однажды, во время нашей прогулки, мы увидели длинную вереницу грузовых машин, остановившихся возле станции железной дороги. Машины были набиты старыми и молодыми женщинами, детьми, стариками. На станцию нас не пустили. Там стояли солдаты внутренних войск и милиционеры. Так продолжалось два дня — шла очередная массовая отправка в Сибирь «кулацких элементов» из окрестных районов Эстонии.

По окончании пребывания в Хаапсалу я проехал в Таллинн и провел там целый день, осматривая достопримечательности этого старинного города. Большую помощь в этом мне оказал хранитель городского музея. Музей помещался в башне «Толстая Маргарита», одной из башен старых укреплений города. Любезный пожилой мужчина, сопровождавший меня по городу, спустя некоторое время приехал в Ленинград, и я рад был выдать ему из запаса Отделения оружия рыцарский доспех, передаваемый «на временное хранение» Таллиннскому городскому музею. Впоследствии я узнал, что этот музейный работник подвергся аресту «органами».

Вечером я сел в поезд, чтобы возвратиться в Ленинград. В вагоне я предался печальным размышлениям — и было от чего...

Еще в 1948 году в Ленинграде погиб Павел Николаевич Тучков, брат моего злополучного друга Ники. За несколько дней до смерти Павел, или, как близкие привыкли звать его с детства, Пом, был у меня. Он пришел как всегда элегантный, высокий, стройный, прямо держащийся, но с первого

взгляда было видно, что какая-то тяжесть давит его. Он рассказал, что его давняя связь с сослуживицей еще продолжается, но сильно тяготит его. Вообще, после смерти матери, пережитой ссылки, смерти брата в ссылке, после развода с женой, Тучков производил впечатление человека мечущегося и потерявшего веру в людей и в себя. Он никак не мог порвать свою тяготившую его связь, чему мешала и совместная работа с этой женщиной. Он пытался уйти из Гипрошахта, где работал, но администрация дорожила им как специалистом и, разузнав о причине, предлагала уволить не его, а эту женщину. Павел на это не мог согласиться и разрешил свой семейный и моральный кризис иначе. Он выбросился с шестого этажа здания Гипрошахта.

Неприятности коснулись и семьи Косинских, — видно, мало пришлось их на нашу долю! Поздней осенью 1948 года последовал арест, а затем и осуждение на десять лет лагерей Марфы Даниловны — вдовы дяди Алексея Михайловича, — за какие-то злоупотребления в продовольственном магазине, которым она заведовала. Арест Марфы Даниловны ставил ее детей в очень тяжелое положение. Юзик и Надя были студентами, только что приступившими к занятиям в высшей школе. После ареста матери они остались без всяких средств, да еще с двумя маленькими братьями...

В Эрмитаже меня ждал целый ряд неприятных известий.

Произошли многочисленные аресты партийного руководства Ленинграда во главе с П.С. Попковым и А.А. Кузнецовым, по сфабрикованному так называемому «Ленинградскому делу». Эти события не могли в какой-то мере не отразиться и на Эрмитаже. Попков сделал очень много для музея и часто навещал его.

После реэвакуации эрмитажных коллекций была обнаружена пропажа большой картины Ван-Дейка «Святой Себастиан», висевшей всегда в зале Ван-Дейка над дверью, ведущей в соседний зал Рубенса. В ящике, в котором «Святой Себастиан» числился по поящичной описи, его не оказалось. Обнаружена эта пропажа была в тот период, когда я исполнял обязанности ученого секретаря Отдела западноевропейского искусства. В то время отдел два раза получал письма от какого-то западного ученого, работавшего над Ван-Дейком и просившего прислать ему фотографии этой картины. По

указанию директора и заведующего отделом, я оставлял эти письма без ответа. В негатеке Эрмитажа не оказалось негативов «Св. Себастиана». Все сотрудники Эрмитажа искали эту картину, так как возникло предположение, что в спешке эвакуации в 1941 году ее забыли уложить в ящик. Я перерыл всю территорию, прилегающую к моему отделению, вплоть до чердаков. Но Ван-Дейк так и не был найден. Некоторые высказывали догадку, что если картину забыли в Ленинграде при эвакуации, то во время блокады замерзающие работники охраны музея могли обратить забытую картину в топливо для печурок, тем более что она была написана на дереве.

Орбели, надеясь, что картина рано или поздно будет найдена, официально не доложил об ее пропаже, а только сказал об этом событии первому секретарю областного и городского комитетов партии Попкову. Теперь, в связи с отстранением Попкова (несколько позже, 1.X.1950 г., он вместе с рядом своих сотрудников был расстрелян), дело это могло принять для Орбели неприятный оборот.

Не менее скверно складывалось дело с перерасходом золота, отпущенного Эрмитажу на позолотные работы внутри музея. В результате этого перерасхода главный инженер Эрмитажа Александр Владимирович Сивков и его помощник Агафонов оказались в тюрьме. Говорили, правда, что главным виновником в этом деле являлся заместитель директора по хозяйственной части Крючков, но он отделался лишь увольнением из музея.

Ко всем этим неприятностям на Иосифа Абгаровича свалилась еще одна — в немилость у властей попал его родной брат. В печати, при непосредственном участии «всеведущего» Сталина, начался разгром некоторых медицинских теорий, сопровождавшийся, как обычно, репрессиями. От этого разгрома пострадал Леон Абгарович Орбели, видный ученый, академик. Его сняли с поста президента Академии медицинских наук, но не посадили, и это уже было хорошо.

Весной 1949 года М.А. Гуковский и его брат Григорий Александрович с женами поехали в отпуск в Крым. Там, на вокзале какого-то крымского города, их обоих арестовали. Г.А. Гуковский погиб в тюрьме год спустя, а Матвей Александрович в 1955 году, после смерти Сталина, был освобожден из концлагеря и вновь работал в Эрмитаже —

заведующим библиотекой, вплоть до своей смерти в 1971 году.*

С поста директора Публичной библиотеки уволили Льва Львовича Ракова; он жил, со дня на день ожидая ареста, и, чтобы хоть как-нибудь перебиться это тяжелое время, поступил рабочим в артель, изготовлявшую модели кораблей.

Волна увольнений с работы прошлась по ранее репрессированным людям. Диму Ловенецкого уволили из Дома пионеров и школьников, где он вел музыкальный кружок. Ему удалось устроиться на «внештатную» работу — распространителем театральных билетов — в один из ленинградских театров.

Мне пришлось по возвращении из отпуска работать без помощника, что было чрезвычайно тяжело. По вечерам я на выставке был вынужден сам заниматься чисткой экспонатов. Особенно страдали — от дыхания многочисленных посетителей и от прикосновений их пальцев — доспехи: на них появлялись пятна, предвестники ржавчины. Несмотря на то, что старушкам, наблюдавшим за порядком в залах, было строжайше предписано следить за посетителями, не давать им прикасаться к экспонатам, они уследить за всеми не могли, а посетители, как известно, не умеют ограничиваться лицезрением экспонатов и обязательно должны их потрогать. Необходимо было в тот же день снять замеченные пятна, так как иначе они обращались в ржавчину, а очистка от ржавчины сопровождалась снятием слоя металла, то есть порчей экспоната.

Очень много времени отнимали постоянные собрания и заседания, семинары, лекции и общественные нагрузки. Количество этих мероприятий разрослось до невероятных размеров. Причина была одна: оболванивание, или, как стали выражаться позднее, «промывание мозгов» любого взрослого гражданина, интеллигента и неинтеллигента, должно было

---

* «О мертвых плохо не говорят», — но это всего лишь красивая фраза. Правда должна оставаться правдой, независимо от того, жив человек или умер. О Гуковском приходится сказать, что этот юркий маленький человек обладал характером цепким, но подленьким. Его брат, Григорий Александрович, преподаватель литературного отделения Высших государственных курсов искусствоведения (а впоследствии — Ленинградского университета), был полной противоположностью Матвею Александровичу. Он блестяще вел свой курс, и студенты других отделений приходили слушать его.

вестись по возможности непрерывно, иначе оно не достигало цели; к тому же было, по-видимому, желательно, чтобы каждый из нас имел как можно меньше свободного времени и как можно больше находился не у себя дома, а на глазах «коллектива». Моей постоянной общественной нагрузкой было наблюдение за эрмитажной типографией, за выполнением ею планов и за ходом «социалистического соревнования» ее работников.

А между тем состояние вверенных мне коллекций из-за отсутствия Ломоносова вызывало тревогу. Я вынужден был все время обращать внимание дирекции на это обстоятельство, выступал на собраниях, настаивая на приеме в Отделение оружия хотя бы одного реставратора. Тем более что вся ответственность за сохранность коллекций теперь официально была возложена на меня: ввиду ареста Гуковского я был вновь назначен хранителем Отделения оружия.

При этом пришлось потребовать назначения комиссии для формальной приемки экспонатов. Со времени моего ареста в 1938 году коллекции изменились и количественно, и качественно. Так, например, после моего ареста тогдашние «органы» (НКВД) распорядились привести все огнестрельное оружие в состояние, заведомо непригодное к употреблению, и направили в Эрмитаж мастера, который принялся сверлить дыры в казенной части стволов ружей и пистолетов XVI–XX веков. Мастер этот работал до тех пор, пока не обнаружилось, что он не только сверлил дыры, но и снимал золотые накладки и уносил их домой. Говорят, будто бы его арестовали, но накладки не вернули, и только акты, составленные по следам этих происшествий, остались напоминанием о столь варварском ограблении музейных экспонатов.

Имея порядочный музейный стаж, я считал образование комиссии по приемке коллекций насущной необходимостью. Притом я требовал только того, что считалось обязательным и предусматривалось музейными инструкциями Комитета по делам искусств. Такая комиссия была создана и в 1936 году, когда я впервые принимал коллекции оружия. А потом, при последующих назначениях хранителей, вопреки музейным правилам, комиссия не назначалась, и эти люди (тот же М.А. Гуковский) сами не знали, что они хранят и за что несут ответственность.

Такая моя педантичность, а также ряд докладных записок и актов, отражавших недостаточную сохранность коллекций, вызывали, по-видимому, недовольство дирекции и секретаря партийной организации Эрмитажа. Это стало для меня очевидным после того, как мне удалось подыскать подходящего человека на должность реставратора и последовал отказ его оформить.

Как-то раз, спускаясь по лестнице служебного подъезда Эрмитажа, я встретил директора, сопровождавшего двух каких-то персон. Орбели остановился, пропустил гостей и обратился ко мне: «Михаил Федорович, я хотел вас немного помучить, ну да ладно. Зайдите ко мне через часок. Вам пришло письмо». Через час я был у него в кабинете. Орбели протянул мне открытку с репродукцией известного «Голубя мира» Пикассо. На обороте я увидел французскую почтовую марку, адрес, написанный по-русски, и французский текст. Это письмо было от Баяра, француза, бывшего военнопленного, с которым я познакомился в Глазофе под Берлином. Баяр вспоминал о нашей встрече и поздравлял с Конгрессом мира. Я рассказал Орбели о моем знакомстве с Баяром и спросил, как он думает, следует ли ответить на это любезное письмо из Парижа. Орбели подошел к окну, помолчал и сказал: «Конечно, следовало бы... Но, Михаил Федорович, отвечать не нужно. Вы понимаете почему?» Затем Орбели попросил меня подарить эту открытку его жене, Антонине Николаевне, так как, объяснил он, его жена, будучи специалистом по французской живописи, очень хотела иметь репродукцию «Голубя мира» Пикассо и не могла ее достать. Я исполнил его просьбу.

В конце июля 1949 года вышел из печати мой буклет, посвященный описанию одного из готических доспехов, хранящихся в Эрмитаже. Редактором этой книжки был М.А. Гуковский. Любопытная деталь, характерная для того (а впрочем, не только для того) времени. На 6-й странице буклета, насчитывавшего менее десятка страниц, я привел выписку из «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса, где говорилось о «закованной в броню дворянской кавалерии» и т.п. И вдруг мне звонит Гуковский, тогда еще бывший на свободе.

— Михаил Федорович, необходимо срочно в самом начале вашей брошюры вставить что-нибудь о борьбе феодалов с массами!

— Помилуйте, Матвей Александрович, да у меня там длинная цитата из Энгельса...

— Да, но она на 6-й странице, а нужно на первой!

Пришлось срочно придумать несколько фраз и поместить их в начале текста.

При невероятной занятости в Эрмитаже время летело для меня особенно быстро. Прошло лето, у порога стояла зима. И вдруг, в ноябре, по Эрмитажу разнесся слух: «Едет ревизор!» — то есть комиссия министерства государственного контроля. Действительно, комиссия прибыла к нам. Она состояла из нескольких человек, разместившихся в двух больших комнатах первого этажа.

Мне неизвестны все вопросы, которыми занималась комиссия, но ее члены многократно посещали запасники и выставки и интересовались учетом и хранением экспонатов, их консервацией и реставрацией.

Несколько раз члены комиссии приходили и ко мне, в Отделение оружия. Сначала они просили показать им несколько вещей, указав их номера по описи. Топографические указатели у меня были в идеальном состоянии. Я попросил подойти к «топографическому ключу» — ящикам, в которых были расставлены карточки на все предметы в порядке их инвентарных номеров, дал краткую записку, где были перечислены все хранилища и их местонахождение, и попросил членов комиссии самих найти интересующие их вещи. Они проделали все это и выразили мне свое удивление тем, что только у меня они нашли такой образцовый порядок.

Гораздо хуже обстояло дело с реставрацией и консервацией коллекций. Я вынужден был рассказать,что единственным сотрудником Отделения являюсь я сам, не успеваю физически делать все, что следовало бы, для сохранности коллекций, и мне оставалось лишь постоянно требовать увеличения числа сотрудников отделения. Члены комиссии попросили меня повторить эти объяснения в письменном виде.

Через день после получения моей записки меня вызвал председатель комиссии и сказал, что секретарь партийной организации Эрмитажа не подтверждает того, что мной написано, и наоборот, говорит, что мои требования об увеличении штата выдуманы мной и никогда не имели места.

Доказать лживость утверждения секретаря ничего не стоило: я раскрыл папку с копиями моих служебных записок, адресованных администрации.

Комиссия, пробыв в Эрмитаже около месяца, уехала обратно в Москву. А у меня с реставрацией и консервацией коллекций оружия все осталось по-прежнему.

В декабре 1949 года я с отчаяния написал об этом заметку в эрмитажную стенгазету, назвав ее: «Сколько же можно медлить?» Я прямо писал, что «богатейшие коллекции русского и западноевропейского оружия находятся в состоянии разрушения. Причиной этого является нарушение нормальных условий хранения во время войны и несоблюдение их в последующие годы... Я жду от партийной организации и администрации Эрмитажа реальной помощи... и ясного ответа на вопрос: почему не предпринимаются меры к предотвращению гибели доверенных нам страной памятников искусства?»

В тот же день, когда эта стенгазета была вывешена, как обычно, в одном из эрмитажных коридоров для публичного обозрения, ко мне подбежал в этом коридоре секретарь парторганизации с перекошенным от злобы лицом:

— Зачем вы упомянули в своей заметке парторганизацию? Вы ни разу не обращались к ней.

— Действительно, мои служебные записки по этому поводу были адресованы администрации. Но мои выступления на общих собраниях, где я бил тревогу, должны были быть услышаны и членами парторганизации.

— Но вы ни разу не обращались в парторганизацию письменно!

— Если дело только в этом, я думаю, что теперь-то я обратился за помощью письменно, не правда ли?

— На днях мы устроим собрание парторганизации, вызовем вас на него и потребуем от вас ответа.

— Буду ждать вызова.

Эта угроза призвать меня к «ответу» осталась невыполненной, — вероятно, потому, что через некоторое время Владимира Николаевича Васильева за что-то сняли с поста парторга. Впрочем, ненадолго.

К концу года мои недруги сумели рассчитаться со мной за строптивость. В самом конце года из Комитета по делам

искусств приехал сотрудник отдела кадров, и мы узнали, что в Эрмитаже готовится сокращение штатов. При отборе людей, подлежащих сокращению, основную роль играли все тот же Васильев и заведующая отделом кадров Эрмитажа Евдокия Александровна Лямина, также принадлежавшая к числу моих недругов. Результаты сокращения были объявлены перед Новым годом. В числе сокращаемых, главным образом пенсионеров, был и я, хотя мне еще далеко было до пенсионного возраста. К тому же я был единственным в стране специалистом по западноевропейскому оружию.

Среди сокращенных оказалась доктор исторических наук Наталья Давыдовна Флиттнер, о которой я упоминал в свое время в связи с Высшими курсами искусствоведения. Наталье Давыдовне было предложено оставить Эрмитаж и уйти на пенсию, поскольку ей исполнился семьдесят один год. Она сказала мне тогда: «Вот, Михаил Федорович, сокращают и нас с вами». Думаю, что ей нетрудно было догадаться об истинных причинах моего сокращения, инициатива которого заведомо исходила от органов «госбезопасности» и которое было преддверием моего ареста теми же органами. Но доброй женщине хотелось сказать мне какие-то слова участия.

Меня, как полагается, предупредили об увольнении за две недели, но фактически уволили не по прошествии этих двух недель, а через пять месяцев, когда уже окончательно отпала надежда дирекции отстоять меня и сохранить в Эрмитаже. Я пишу «дирекции», хотя совершенно уверен, что отстаивала меня не дирекция в целом, а один Иосиф Абгарович Орбели. К слову, через полтора года он сам был вынужден покинуть Эрмитаж.

Некоторые из моих коллег стали настаивать на том, чтобы я поехал в Москву и лично переговорил с председателем Комитета по делам искусств Поликарпом Ивановичем Лебедевым. В те годы министерства культуры не существовало и музеями ведал этот комитет. Так как отбор сокращаемых происходил в Ленинграде, а из Москвы было указано только количество сотрудников, подлежащих сокращению в целях экономии средств, были, казалось, некоторые основания надеяться, что Лебедев может изменить решение незначительных лиц, производивших сокращение «на местах». Находились и такие наивные люди, которые считали, что мое

участие в Великой Отечественной войне должно бы ограждать меня от дальнейших репрессий. Дима Ловенецкий, вернувшись как-то из кино, в котором смотрел фильм «Падение Берлина», под впечатлением этого фильма, расстроенный, сказал мне: «Почему ты получил медаль "За взятие Берлина"? Не может быть, чтобы участника штурма Берлина сократили после войны с работы!»

«Не может быть!»... А ведь он сам испытал на себе прелести сталинского режима.

Хотя я уже вполне понимал, что послевоенные надежды на смягчение режима не оправдались, я все-таки решил попробовать постоять за себя, но предварительно обратился к Орбели.

Я пришел в кабинет директора и сказал ему, что могу поехать в Москву для личной встречи с председателем Комитета по делам искусств в том случае, если Иосиф Абгарович скажет мне совершенно откровенно, считает ли он, что не только в моих личных интересах, но и в интересах Эрмитажа стоит совершить такую попытку.

Орбели подошел к окну и долго думал, смотря на Неву. Потом повернулся ко мне:

— Михаил Федорович, вы знаете, что я вас не люблю. В этом, может быть, виноваты не вы сами, а ваша покойная матушка. Мне не нравится воспитание, которое она вам дала. Но как к сотруднику Эрмитажа я могу относиться к вам только положительно. Ваши знания и ваша преданность делу мне хорошо известны. Поэтому я не только одобряю вашу поездку в Москву, но и дам вам служебную командировку. Надежды на успех мало, но попытайтесь. И, прошу, когда будете говорить с Лебедевым, то ссылайтесь на меня, на то, как я настаивал перед ним на вашем оставлении в Эрмитаже. Да, и вот еще что... В комитете будет и мой заместитель, Борис Борисович Пиотровский. Он поддержит вас.

Я поблагодарил Иосифа Абгаровича. Через несколько дней я был в Москве.

Прежде чем посетить Комитет по делам искусств, я зашел в министерство государственного контроля и разыскал в нем сотрудников, производивших ревизию в Эрмитаже. Они были очень удивлены, узнав о моем увольнении. Оказалось, что о моей работе комиссия дала превосходный отзыв.

Но никакие отзывы, вероятно, уже не могли помочь. В Комитете мне не сразу удалось попасть к Лебедеву. Только на третий день он принял меня. До него я побывал в комитетском отделе кадров. Заведующий отделом, Федор Иванович Калошин, был со мной язвительно-официален и посоветовал обратиться в музеи Львова и еще двух городов с предложением своих услуг. Эти музеи, по словам Калошина, обращались в Комитет с просьбой направить в них сотрудников. Впоследствии я, уже с отчаяния, написал в эти музеи, и мне ответили, что их заявки были поданы вскоре после окончания войны, но уже давно сотрудники найдены и места заняты. Калошин сказал мне еще, что я давно должен был подготовить себе смену. Как следовало это понимать?

Посетил я, околачиваясь в комитете в ожидании приема Лебедевым, и заведующего Музейным сектором комитета, с которым ранее познакомился во время пребывания его в Эрмитаже. К сожалению, я не помню его фамилии. С ним еще в Ленинграде у меня сложились хорошие отношения, но он мог поддержать меня разве что выражением сочувствия. В его кабинете я встретился с Б.Б. Пиотровским. Когда я рассказал о своем посещении Калошина, Борис Борисович обратился ко мне с совсем неожиданным вопросом:

— А в самом деле, Михаил Федорович, почему бы вам не воспользоваться предложением отдела кадров и не перейти на работу в один из предложенных им музеев!

Так заместитель Орбели оказал мне поддержку, о которой говорил Иосиф Абгарович!

Вправе ли я осуждать Пиотровского за его тогдашнюю позицию в отношении меня, за его «поддержку»? Это было время, когда сталинский режим толкал очень многих на предательство. А Пиотровский находился тогда в расцвете научной карьеры. В 1945 году он был избран членом-корреспондентом Академии Наук Армении, вскоре стал лауреатом Сталинской премии. Он настоящий ученый. В то же время он происходит из дворянской чиновной семьи, что для советской власти, естественно, всегда являлось отрицательным фактором. В 1945 году он вступил в партию. Его старушка-мать работала в библиотеке Эрмитажа, и у меня с ней были очень хорошие отношения. Когда меня сократили, Борис Борисович пришел ко мне и очень просил не рассказывать о

моем сокращении матери. Я исполнил его просьбу, но, конечно, она узнала об этом от других. Поддерживать меня — значило подвергать риску и себя, и свою семью. Но было немало людей, поступавших даже в то время иначе, чем Пиотровский.

Лебедев встретил меня вежливо, но и только. Во время беседы, длившейся полчаса, он, казалось, подчеркивал свою непричастность к моему увольнению и свою полную неспособность помочь. Неоднократно он прерывал наш разговор, вроде бы деловой, не имеющими к нему никакого отношения вопросами, к примеру:

— Товарищ Косинский, скажите, сколько вам лет?

Под конец он произнес:

— Я согласен рассмотреть вопрос о восстановлении вас в Эрмитаже, если ленинградская партийная организация письменно поддержит вашу просьбу.

— Но я не член партии и в обкоме или в горкоме меня совершенно не знают.

— Орбели просил меня за вас. Удалось же ему, именно через ленинградскую партийную организацию, добиться возвращения в Эрмитаж Газульяна. Пусть он обратится в нее опять.

После этого мне оставалось только уйти. И Лебедев, и я знали, что возвращения научного сотрудника Леона Тиграновича Газульяна Орбели добился через Попкова — ныне арестованного и исчезнувшего навсегда.

Во время пребывания в Москве я не забыл посетить Третьяковскую галерею и даже осмотрел выставку подарков Сталину по случаю его семидесятилетия, походившую на огромный универмаг. Но самым запомнившимся событием для меня было знакомство с Марией Михайловной Денисовой, одним из самых хороших людей, которых мне посчастливилось встретить в своей жизни. Дружба с ней продолжалась до самой ее смерти — 16 декабря 1961 года. А в 1950 году шестидесятидвухлетняя Мария Михайловна заведовала Отделом оружия Исторического музея в Москве и была ведущим специалистом по древнерусскому оружию.

Вернувшись в Ленинград, я приступил к сдаче коллекций, участвуя в комиссии по передаче собрания новому хранителю. Им оказалась Ольга Эрнестовна Михайлова. Она

занималась в Отделе Запада керамическими изделиями и к истории оружия никогда не имела никакого отношения. Но специалистов-оружиеведов не было, и вполне понятно, что желавшего заняться этой нелегкой специальностью среди научных сотрудников найти было нелегко. Вероятно, Ольга Эрнестовна получила указание принять Отделение оружия в качестве партийного поручения. Кстати, мало того, что она была членом партии и поэтому «надежным человеком», — муж ее работал в министерстве внутренних дел. Внешне Ольга Эрнестовна была красивой молодой женщиной с длинными черными волосами, спускавшимися на плечи. Сотрудники Эрмитажа относились к ней с опаской и чуждались ее.

Уволен я был 2 июня 1950 года. Найти какую-либо музейную работу было теперь почти невозможным делом. Во всех музеях города меня знали и боялись принять, несмотря на превосходную характеристику, которую мне выдал Орбели. Когда я обратился, по старой памяти, в Артиллерийский музей, меня принял очередной начальник его, молодой майор с длинными усами, поинтересовался моей прошлой работой в этом музее и попросил указать, кто из его сотрудников знает меня и может дать мне рекомендацию. В.И. Маркевич к этому времени был уволен в запас «по возрасту», но Тихон Ильич Воробьев еще работал. Я назвал его. Но когда я пришел за ответом, начальник объявил, что меня принять не могут из-за отсутствия вакансий. Я прошел к Тихону Ильичу, и тот рассказал, что начальник говорил с ним, и Воробьев дал мне отличную характеристику. Но начальник все же решил узнать причину моего сокращения из Эрмитажа. Он поручил замполиту побывать там. Тот посетил Эрмитаж, поговорил с Васильевым, и Васильев, конечно, охарактеризовал меня так, что мне немедленно отказали. А Тихон Ильич получил от начальства нагоняй за «потерю бдительности».

Пока еще у меня сохранялась работа, правда жалкая, в Педагогическом институте имени Герцена, где я преподавал, с почасовой оплатой, историю западного средневековья. Кроме того, переписка на пишущей машинке давала мне небольшой приработок. Словом, пока я еще держался, хотя, после этих невзгод, седина появилась на моей голове.

В мае был арестован Лев Львович Раков. Его приговорили к заключению во Владимирский «политизолятор» (тюрьму)

сроком на 25 лет. Оттуда, видимо, он уже не должен был выйти — ему было 46 лет.

Интерес к моей особе не угас с моим увольнением из Эрмитажа. Меня начала посещать дома гнусная, и внешне и внутренне, личность — участковый из отделения милиции, по фамилии Царьков. Совершенно ясно было, кто направлял Царькова ко мне. Он являлся, спрашивал, устроился ли я на работу, а потом, ухмыляясь, заявлял, что если и в ближайшее время я не получу работу, он будет возбуждать дело о выселении меня из Ленинграда.

После одного из этих визитов я обратился к начальнику городского «паспортного стола», ведавшему вопросами прописки в Ленинграде. Я объяснил этому вполне интеллигентному майору свое положение и трудность найти для себя работу. Майор тут же позвонил начальнику отделения милиции, которому были подведомственны дома нашего района, и распорядился оставить меня в покое.

В это время меня навестила Нина Дмитриевна Румянцева, мой товарищ по концлагерю в Талагах под Архангельском. Ее выпустили из лагеря после войны. Некоторое время она работала в Архангельске, но затем ей предложили выехать оттуда, и она скиталась по России. В Ленинграде ей не разрешили жить, но ей удалось найти место преподавателя латинского языка в медицинском училище в Луге. Поселившись там, в 130 с лишним километрах от Ленинграда, она не нарушала правило, запрещавшее «нежелательным» лицам жить не только в больших городах, но и в стокилометровой зоне вокруг них...

Только 13 сентября мне удалось заключить договор с Ленинградской экскурсионной базой на проведение экскурсий по городу и получить для разработки тему экскурсии. Но ни одной экскурсии мне провести не удалось: болезнь свалила меня с ног.

## *Глава 27. Третий арест*

Еще до своего окончательного увольнения из Эрмитажа я начал чувствовать онемение в правой руке, но не придавал ему значения, думая, что это происходит оттого, что мне приходится много писать. Потом произошло несколько случаев, заставивших обратиться к врачу. На несколько секунд, а затем и минут, у меня отнимались правая рука и нога, а при попытке заговорить изо рта вырывалось какое-то бульканье. Все это бесследно проходило, и я вновь чувствовал себя совершенно здоровым. В медицине я ничего не понимал, и если обратился к врачу, то лишь по настоянию Димы Ловенецкого, который был не на шутку обеспокоен состоянием моего здоровья.

Ближайшая поликлиника, носившая имя Софьи Перовской, находилась на Екатерининском канале (канале Грибоедова). Женщина-невропатолог осмотрела меня и заявила, что немедленно госпитализирует меня. Я взмолился: на другой день я должен был отослать в Москву, Марии Михайловне Денисовой, кое-какие материалы для предпринятой нами совместной работы по древнему оружию. Но доктор был неумолим. Однако еще более неумолимыми оказались обстоятельства. Дело в том, что нервные заболевания в этот период получили исключительно широкое распространение. Удары и параличи сделались при сталинском режиме очень модными, прямо-таки «сезонными», болезнями. Невропатолог долго звонила по телефону в различные больницы города, но всюду ей отвечали, что свободных мест нет. Тогда она сказала мне, чтобы я явился в поликлинику на следующий день.

Наутро, перед тем, как идти в поликлинику, я хотел побриться, но бритва вывалилась у меня из рук и вновь произошел припадок, длившийся несколько минут. Встревоженный Дима немедленно позвонил по телефону в ту же

поликлинику. Явившаяся женщина-врач объяснила, что меня сейчас нельзя перевезти в больницу и я должен лежать дома, не отрывая голову от подушки, и ждать дальнейших указаний врача.

А я уже чувствовал себя хорошо и перспектива лежать не вставая, одному, казалась мне бессмысленной. Врач почувствовала это и заявила, что если я не стану выполнять ее предписаний, то она снимает с себя ответственность. Я подчинился. Назавтра Дима вызвал такси и отвез меня в поликлинику. Там меня пересадили в машину скорой помощи и, в сопровождении Димы, доставили в больницу имени Эрисмана. В приемном покое больницы меня осмотрела молодая женщина-врач и вышла, не сказав на слова. Мы сидели с Димой и разговаривали. Время шло. Диме нужно было ехать на работу, и он уехал в полной уверенности, что вот сейчас меня положат в одну из больничных палат. Прошло больше часа. Я напомнил о себе девушке, работавшей в приемном покое. Каково же было мое удивление и возмущение, когда она мне заявила, что я напрасно жду. Доктор нашла меня совершенно здоровым и отказалась принять в больницу.

Я попросил немедленно вызвать врача опять. Врач пришла в сопровождении более пожилой женщины — вероятно, своей более опытной коллеги. Опять меня выстукивали, выслушивали и, наконец, объявили, что я здоров, но уж если я так настаиваю, то меня «положат для испытания».

Врачи удалились. Я ждал еще час. И вот явился молодой парень-санитар с носилками в руках. Тут я невольно рассмеялся:

— Видно, носилки мы понесем вдвоем?

— Да нет свободного второго санитара.

— Ну что же, пошли.

Больница имени Эрисмана — большая больница. Мы долго шли по всяким переходам и лестницам. Наконец, пришли в огромную палату нервного отделения, наполненную больными. Меня уложили на койку. Ночью меня хватил уже настоящий удар. Только тогда появился врач — пожилой мужчина. У меня была парализована вся правая половина тела и речь, но сознание не покидало меня.

Я пролежал в больнице около трех месяцев. Уже когда начал поправляться, рискнул напомнить докторше, не хотев-

шей меня принять (она дежурила иногда по нашему отделению), об эпизоде моего поступления в больницу. Она сослалась на трудность установления диагноза у нервных больных.

Диме в больнице сказали, что надежды на мое выздоровление почти нет: врачи предполагали, что у меня последует паралич и левой стороны — и наступит смерть. Но я обманул врачей и относительно быстро начал поправляться. И вот меня как-то вызвал молодой врач, которого я довольно часто видел в нашем отделении. Он был в форме военного врача и попросил меня дать подробные сведения якобы для истории моей болезни. Все, что я говорил, отвечая на его вопросы, он записывал. Это был настоящий допрос, отличавшийся от допросов тюремного следователя вежливым тоном и еще тем, что меня не заставляли подписывать каждый лист своих показаний. Я тут же понял, что меня допрашивают по поручению «органов».

Родные и друзья часто навещали меня в больнице. Мария Михайловна прислала Диме для меня денег. Ему же сотрудники по Эрмитажу два раза передавали собранные для меня суммы.

Я еще прихрамывал, у меня сохранялись «остаточные явления», в частности время от времени пропадала речь, но меня уже собирались выписывать. 20 декабря 1950 года меня осмотрели в больнице врачи, составлявшие врачебную трудовую комиссию, и признали «инвалидом второй группы». А несколько дней спустя Дима доставил меня домой.

Любопытный эпизод произошел перед самым моим отъездом. Прощаясь с лечившим меня пожилым врачом и желая сказать ему любезность, я шутливо «обещал» в случае рецидива опять лечь в больницу им. Эрисмана. Но он, видимо приняв мои слова всерьез, вдруг испуганно начал просить меня, если уж случится, лечь в какую-нибудь другую больницу. Это еще раз подтвердило мое предположение, что и в больнице органы «госбезопасности» не забывали меня. Очевидно, врач, будучи порядочным человеком, боялся, что ему опять поручат слежку за своим пациентом и такое поручение он не сможет отклонить.

Вернувшись домой, я обнаружил, что не могу делать многих привычных вещей — например, писать карандашом

или пером. Голова работала, казалось, нормально, но память очень пострадала.

Затейники из госбезопасности постановили, должно быть, выждать ровно месяц со дня моей выписки из больницы. Вечером 23 января меня посетил управдом — вроде бы без всякого повода, но вечерний визит управдома тогда был зловещим признаком. Тем не менее я не думал, что события начнут развиваться так скоро. Димы не было дома, и когда после ухода управдома опять прозвенел звонок, я решил, что это вернулся Дима.

Однако это были два сотрудника государственной безопасности. Они предъявили ордер на обыск и на арест. Рылись в вещах довольно долго. Отобрали документы, письма, некоторые фотографии, несколько моих медалей, полученных на фронте. В это время появился Дима. Он был взволнован визитом непрошеных гостей даже больше, чем я, хотя арестовывали меня.

В обычном такси меня доставили в тюрьму при «Большом доме». Там, после хорошо мне знакомых процедур приема, меня отвели в одиночную камеру, в которой уже сидели два человека.* Когда меня вели, дежурный сказал «цирику»: «Посади его с Ивановыми».

Действительно, я оказался в одной камере с двумя Ивановыми — впрочем, отнюдь не родственниками. Оба были старостами при немцах. Один в Луге, другой в какой-то деревне на Псковщине. Но арестовали их только теперь, спустя то ли шесть, то ли семь лет.

Дверь камеры закрылась. Вот я и опять в тюрьме.

На этот раз я просидел до конца мая. Следствие велось без «физического воздействия» и даже в более или менее вежливом тоне. Но сути дела это не меняло. «Особое Совещание» так или иначе осуждало арестованных всех поголовно. Что касается меня — причин для осуждения было более чем достаточно: социальное происхождение, аресты родных, брат за границей, наличие репрессий в прошлом.

---

* Здесь нет противоречия. В рассчитанных на одиночное заключение крохотных камерах следственной тюрьмы, построенной до революции, в периоды массовых сталинских репрессий помещалось по нескольку человек.

Пробовали «прицепить» и кое-что другое. Но довольно вяло. Например, через Льва Львовича Ракова пытались связать меня с «ленинградским делом», круги от которого продолжали расходиться по воде, вовлекая все больше и больше людей. Но из этого ничего не получилось — не потому, что Л.Л. Раков не имел никакого отношения к расстрелянной ленинградской партийной «головке», а я тем более, а просто потому, что с Львом Львовичем мы не встречались после войны в частной обстановке и его показания на этот счет оказались абсолютно идентичными с моими.

Зато М.А. Гуковский, показания которого мне также зачитывали, писал, что мы с ним часто встречались не только в Эрмитаже, но и в университете, у него на квартире (он жил, как и я, в эрмитажном доме) и у меня, и при этих встречах вели контрреволюционные разговоры. Что моя диссертация написана в сугубо антисоветских тонах. Ко мне домой был послан агент госбезопасности, чтобы взять у Димы экземпляр диссертации. Гуковский от страха мог напакостить родному отцу, а не то что мне, с которым у него были весьма натянутые отношения.

Страх, владевший им, был в общем понятен: настало время «чистки» среди еврейской интеллигенции, — в связи с возникновением государства Израиль. Совершенно очевидно, что ни братья Гуковские, ни многие другие видные интеллигенты еврейской национальности не были сионистами и к факту создания еврейского государства относились скорее всего равнодушно, однако «в назидание другим» их, по советским понятиям, требовалось с у р о в о  н а к а з а т ь. За этим расхожим выражением, введенным в официальный обиход при Сталине, скрывалось хорошо если двадцатипятилетнее заключение, — «суровое наказание» вполне могло обозначать и казнь.

По первому из показаний Гуковского я потребовал выслушать свидетельства длинного ряда сотрудников Эрмитажа, которые знали о наших с ним истинных отношениях и о том, что мы ни разу не были друг у друга. Но следователь, не желая возиться с этой процедурой, заявил мне, что следствие не доверяет показаниям Гуковского и не будет присоединять их к моему делу, — а значит вызывать свидетелей не имеет смысла.

Познакомившись с моей диссертацией, следователь никакой «контры» в ней не нашел и только с неудовольствием сказал мне, что советский ученый должен писать не об испанских, а о русских шпагах и доказывать приоритет наших мастеров во введении этого оружия. В тот период, в связи с борьбой против «безродных космополитов», иностранное слово «приоритет» (подразумевалось: наш, русский приоритет) было у всех на устах.

Этим исчерпывались свидетельства о моей «контрреволюционной деятельности». Дальше разговор шел опять о дворянском происхождении, репрессированных близких и так далее. Были и такие моменты: следователь читает вслух какой-то документ, в котором говорится, что мой брат-эмигрант состоит членом «Союза кирилловской молодежи».* Я тогда еще не знал, что мой брат погиб в 1944 году, но ответил следователю, что это явная инсинуация и притом весьма неумная. Автор ее не учел, что моему брату уже пятьдесят лет, и причислил его к организации молодежи. А кроме того, следователь, ведший мое дело при моем втором аресте, более десяти лет тому назад, утверждал, что мой брат убит при попытке перейти к нам из-за границы «с диверсионными целями». Следователь убрал бумагу, и больше она не появлялась.

Или такой момент: следователь спрашивает, имею ли я переписку «с заграницей». В ответ на мое «нет» он извлекает русский перевод письма Баяра, присланного мне в Эрмитаж, и торжествующе читает его. Причем фамилия автора письма звучит у него «Бауард» вместо «Баяр» (Bayard)! Я объяснил, от кого получил это письмо, и сказал, что не ответил на него.

В конце моего пребывания в тюрьме при «Большом доме» следователь вызвал меня и стал задавать вопросы о Диме Ловенецком. Я понял, что Дима арестован. Но что могли ему поставить в вину? Даже я, его ближайший друг, живший с ним годами в одной комнате, не ответил бы на этот вопрос. Разве что то обстоятельство, что он когда-то уже был репрессирован.

Товарищи по камере менялись. Обоих Ивановых убрали в один и тот же день. Некоторое время я сидел один. Потом с

---

* Русская эмигрантская организация, поддерживавшая претендента на царский престол великого князя Кирилла Владимировича Романова.

симпатичным инженером по фамилии Ракеев. И, наконец, с матросом американского корабля — эстонцем, арестованным в одном из ресторанов Ленинграда.

До середины апреля я получал от моего двоюродного брата Юзика обильные передачи. Дима давал Юзику, живущему на студенческую стипендию, деньги, потому что продукты принимались только от родственников заключенных. Юзик покупал для меня продукты и относил их в тюрьму. Обоих арестовали в апреле, и передачи прекратились.

В мае меня вызвали для подписания протокола об окончании следствия. В кабинете следователя находилось четверо или пятеро человек. За столом, недалеко от меня, сидел мужчина небольшого роста в серой форме прокурора. Плотный человек, по-видимому начальник следственного отдела, говорил, все остальные молчали. Он и сейчас пытался убедить меня, чтобы я сознался в какой-то неизвестной вине — «признал себя виновным», не важно в чем! Для человека, незнакомого со сталинским следствием, это покажется странным, но как доказательство моей «виновности» или, во всяком случае, порочности он зачитал справку из Эрмитажа, в которой говорилось, что я «не занимался общественной работой». Справка была подписана Б.Б. Пиотровским.

У меня, как часто и раньше во время этого следствия, заплясала правая нога. После пареза это случалось, когда я волновался. Меня это очень раздражало и почему-то казалось унизительным. Я руками старался сдерживать дрожь. В данном случае это явление было вызвано поступком Пиотровского. Я понимал, что он из трусости подписал эту бумажку, очевидно после того, как Орбели отказался подписать эту заведомую ложь.

— Это явная неправда, — сказал я. — У вас в деле находится грамота, выданная мне за производственную и общественную работу!

— Грамота, выданная врагами народа, недействительна.

— Так, значит, директора Эрмитажа, академика Орбели, вы считаете врагом народа?

— Нет, его л и ч н о (?) мы врагом народа не считаем.

— Секретаря парторганизации Васильева вы считаете врагом народа?

— Нет.

— Председателя местного комитета Эрмитажа вы считаете врагом народа?

— Нет.

— Но именно эти три человека подписали грамоту! Как же так?

Однако начальник отдела не смутился. Самоуверенным тоном он пытался найти оправдание своему промаху. Я посмотрел на прокурора. Он тоже смотрел на меня. В его взгляде я почувствовал одобрение и симпатию.

Протокол окончания следствия был подписан, но на следующий день меня опять привели в тот же кабинет. Здесь располагалась та же компания, только на месте вчерашнего прокурора сидел другой человек, тоже в прокурорской форме.

Начальник отдела сказал, что вызвал меня снова подписать протокол, так как во вчерашний вкралась мелкая формальная ошибка. Ну что же, раз так, я вновь подписал, хотя, может быть, в этой процедуре крылся какой-нибудь подвох. В сущности, что это меняло? Я знал, что режим бесправия сильнее меня, что присутствие прокурора, неприменение «физического воздействия», относительно вежливый тон следователя — это лишь нюансы, не меняющие сущность режима.

Через несколько дней меня перевели из «одиночки» в общую камеру, где сидели люди с законченным следствием, а оттуда перевезли в «Кресты». Здесь нам надлежало ждать решения нашей судьбы Особым Совещанием.

Народу поступило вместе со мной много. При распределении по камерам в «Крестах» я обратил внимание на нескольких подростков. Все они оказались сыновьями секретарей райкомов и других партийных деятелей, посаженных по «ленинградскому делу».

Развели по камерам. Со мной оказалось несколько человек и среди них один юноша — сын секретаря райкома, и молодой музыкант, сын бывшего царского офицера, в прошлом эмигранта, вернувшегося на родину после Второй мировой войны вместе с семьей. Сталинская метла вновь и вновь проходилась по всем — и по «красным», и по «белым», и по «розовым»!

В «Крестах» мы ожили после мрачной следственной тюрьмы при «Большом доме». Козырьков («намордников») на

окнах тут не было, перед окнами в тюремном дворе росли деревья. Майская зелень и весенний солнечный свет радовали заключенных.

Вдруг однажды дежурный вызвал меня к следователю. Мое недоумение быстро рассеялось: незнакомый следователь, ждавший меня в пустой маленькой камере, сказал, что ведет следствие по делу Косинского Иосифа Алексеевича, и задал один только вопрос: показывал ли мне когда-нибудь он свои стихи? Я даже не знал, что Юзик пишет стихи. На мой вопрос, были ли стихи, о которых идет речь, предосудительными, следователь ответил, что не были. Таким образом я узнал об аресте Юзика.

Во второй половине мая меня и еще нескольких товарищей по камере вызвали для того, чтобы объявить нам постановление Особого Совещания. Я был приговорен к ссылке на пять лет в Казахстан «как социально опасный элемент». Постановление было датировано 28 апреля 1951 года — то есть было вынесено еще до окончания «следствия»!

## *Глава 28. Денисовка*

В последних числах мая во дворе «Крестов» выстроилась вереница «черных воронов». Машины битком набили заключенными и привезли нас на товарную станцию Московского вокзала. Посадили вместе с охраной в пассажирские жесткие вагоны и повезли. Уже на другой день большую партию заключенных высадили на товарной станции в Москве и в сопровождении вооруженного конвоя повели в город.

Я сильно хромал и не мог поспевать за этапом. Отстала также женщина — преподавательница какого-то из ленинградских институтов, с трудом тащившая два чемодана. У меня был только маленький пакет со сменой белья, и, желая помочь, я взял один из чемоданов. Этап ушел вперед. Мы остались с одним охранником, который непрерывно подгонял нас и, пытаясь заставить ускорить шаг, нещадно ругался и угрожал пустить в ход свой автомат. Я отнесся к этим угрозам совершенно равнодушно и заявил только, что хромота не позволяет мне идти быстрее.

Вокруг на железнодорожных путях рабочие, видимо привычные к подобным картинам, безучастно поглядывали на вооруженного солдата, гнавшего двух еле ковылявших «врагов народа».

Наконец мы вышли с территории железнодорожного узла в город. Нас ожидал один «черный ворон», плотно набитый заключенными. Остальных уже увезли. Плохо зная Москву, я не мог определить ни район, ни тем более тюрьму, в которую нас доставили. Я слышал, как охранник докладывал о моем дерзком поведении, но, по-видимому, начальству было не до меня. Тюрьма, вероятно пересыльная, кишела толпами заключенных, с вещами бродивших по открытым камерам и коридорам. Вокруг меня была густая толпа, самая

настоящая толпа, напоминавшая «толкучий рынок».* Тут были и приличные по внешности люди, и оборванцы, и урки. Случайно оказавшись рядом с тремя мужчинами, державшимися все время вместе, я узнал, что все они были моими коллегами — научными сотрудниками Одесского музея.

Урки-подростки старались не зевать в этой толкучке, и когда их ловили на месте преступления, кричали:

— Сталин не велел обижать маленьких!

Я очень страдал от отсутствия сигарет. Передач я давно уже не получал, а последнюю выписку из тюремного ларька в «Крестах» не успел получить из-за отъезда. Денег заключенным держать при себе не разрешали. Можно было бы известить о своем пребывании в Москве Марию Михайловну Денисову и попросить ее передать мне сигареты, но после пареза я не помнил ни одного адреса, да и боялся скомпрометировать ее письмом из тюрьмы.

В этот день нас кое-как накормили и, после ночевки не раздеваясь, вывели наутро для посадки в машины - все те же «черные вóроны». Долгий путь в них по Москве, а затем столыпинские вагоны, в отделениях которых нас набили до отказа. Вагоны прицепили к пассажирскому поезду, и поезд тронулся. В дороге нам выдавали сухой паек, состоявший из хлеба, нескольких кусочков сахару и селедки. У некоторых заключенных были с собой продукты, но я не видел, чтобы кто-либо из них делился с товарищами. Большинство, к которому принадлежал и я, питалось только казенным пайком. В вагонах было жарко, люди мучались от жажды. Требовали воды и изредка получали ее. Я ел только хлеб, боясь увеличить жажду селедками. Теснота все увеличивалась — на станциях, через которые мы проезжали, в наши вагоны подсаживали все новых и новых заключенных. Охране приходилось беспрерывно отмыкать двери и пускать людей в уборную. При этом молодые солдаты войск МВД все время кричали на нас и требовали, чтобы люди бегом бежали по коридору столыпинского вагона в уборную и обратно.

---

* Рынок, где все торгуют «с рук», непрерывно расхаживая в толпе. Такие рынки были характерны для пред- и послереволюционной России.

Когда пришла моя очередь, я медленно поплелся, так как нога не позволяла мне бежать. Охранника, кричавшего на меня, я попытался пристыдить, сказав, что он только еще начал служить и негоже ему кричать на старого солдата, раненного в боях с фашистами. Когда я возвращался из уборной, этот охранник велел мне идти за ним. Пройдя в конец вагона, мы оказались в купе, в котором помещалась охрана. Там сидел парень-сержант, совершенно пьяный. Он накинулся на меня с угрозами: я де веду контрреволюционную агитацию среди солдат охраны. За это он велел посадить меня в карцер.

Карцер представлял собой маленькое купе с нарами только с одной стороны. Я оказался в нем один. Разостлав на нарах свое пальто, я с радостью подумал: как хорошо, что я попал сюда. Здесь можно было улечься, вытянуть ноги и поспать, в то время как в набитых до отказа отделениях приходилось только сидеть «впритык» с соседями.

Но только я уснул, как мое счастье кончилось: на одной из следующих станций карцер набили новым пополнением заключенных, для которых нигде более уже не находилось места.

Так мы доехали до Челябинска. Там нас привезли в тюрьму, вернее во двор тюрьмы. Весь двор был заполнен заключенными. Но, о счастье! в центре двора бил фонтан. Измученные жаждой люди беспрестанно пили воду.

Среди заключенных находилась целая группа молодых поляков — юношей и девушек. С одной девушкой из этой группы я разговорился. Ее, оказывается, арестовали в Польше. Она жила с родителями в сельской местности, и они пустили переночевать незнакомого прохожего. Так она мне рассказала о своей вине. В результате всю семью везут, конечно разделив, в лагеря в Советском Союзе.

После того, как мы простояли в этом дворе несколько часов, меня и еще нескольких мужчин, направляемых, как и я, не в концлагерь, а в ссылку, отвели на вокзал, посадили в пассажирский поезд, в один вагон с «вольными» пассажирами, и в сопровождении охраны доставили в Кустанай. В Кустанае мы пробыли один или два дня. Жили в обычном для этих краев саманном домике, отведенном для этапируемых. Начальник охраны выдал нам по нескольку рублей, на кото-

рые мы кормились в столовой, а я, наконец, сэкономив на пище, получил возможность купить папиросы.

Отсюда мы ехали на грузовике. Нововысылаемых было двое — молодой парень, по профессии шофер, и я. Сопровождал нас один конвоир. В кузове грузовика были и местные попутчики, и среди них мальчик, еще школьник, живший с матерью и братом в поселке Денисовка, куда везли и нас. Позднее Володя Крузман, так звали этого мальчика, был одним из лучших моих учеников в денисовской школе. Вся их семья была высланной из Ленинграда.

Ехали бесконечной и безрадостной степью. По дороге проезжали саманное село Тобол со станцией железной дороги. Здесь машина вброд переехала реку с таким же названием — приток Иртыша. Иногда встречались маленькие селения, также состоявшие из саманных домиков, порой из юрт. Изредка в дороге нам попадались на глаза верблюды.

Наконец, впереди показался довольно обширный поселок: несколько улиц приземистых саманных сооружений, «землянок», как их почему-то называли местные жители, несколько двухэтажных деревянных домов, за которыми там и сям виднелись одинокие деревья. Вновь переехав вброд Тобол, мы остановились в центре поселка под названием Денисовка.

В Денисовке размещались все учреждения Орджоникидзевского района Кустанайской области, поскольку, как выяснилось, это районный центр. Здесь же были элеватор, «клуб» — сарай, в котором демонстрировались кинофильмы, две школы — одна казахская, другая русская-десятилетка, четыре жалких лавки, два ларька, больница и типография районной газеты, занимавшая здание бывшей церкви. Население Денисовки состояло из двух с лишним тысяч человек. Казахов было мало, и они составляли преимущественно партийно-административный персонал. Большинство местных жителей — потомки переселенцев с Украины, поселившихся здесь в начале века. Теперь их язык состоял из смеси украинского с русским. Но в целом «местных» было не так уж много — самую многочисленную часть населения кругом составляли ссыльные. Это был, поистине, край ссыльных, и кого тут только не было! Немцы Поволжья и Крыма, чеченцы, ингуши, сплошь ссылавшиеся в Казахстан и Сибирь в начале

войны и после освобождения их краев от немецкой оккупации... Русские — ленинградцы, москвичи, одесситы и многие другие... Мужчины, женщины, дети, — как говорится, и стар и млад!

Во главе районного отделения МВД находился, кажется, капитан, по-моему довольно неплохой человек. Вежливый и проявлявший заботу о «трудоустройстве» ссыльных, то есть о том, чтобы они не остались без работы и без куска хлеба. По-видимому, благодаря ему и другие сотрудники МВД в Денисовке относились к нашему брату сносно. Но, независимо от человеческих качеств исполнителей, сталинский режим проявлял себя здесь так, что даже такие видавшие виды люди, как я, были удивлены. Как на пример, укажу на мобилизацию молодежи для работы на шахтах Карагандинского угольного бассейна, находившегося сравнительно недалеко от Денисовки. Сотрудники МВД и милиции неожиданно выходили на улицы и забирали юношей, независимо от того, дети ли они ссыльных или коренных местных жителей, работают ли они, или учатся. Их загоняли в помещение милиции, потом собирали по домам их документы и отправляли молодых людей в Кустанай, а оттуда отвозили в Караганду. Обучали шахтерскому делу и направляли в шахты. Возможность побывать дома и навестить родных им предоставлялась только после «овладения специальностью». Это происходило только в местностях, отдаленных от центральных городов страны, и, живя в Ленинграде, мы ничего не знали о подобных методах мобилизации рабочей силы. Те из нас, кто был умудрен опытом, считали, что экономика огромной страны держится в значительной степени на труде миллионов заключенных. До нас доходили слухи, что, например, та же Караганда — средоточие концлагерей, и в карагандинских шахтах работают в основном заключенные, — точно так же, как в шахтах Воркуты, расположенной ближе к Ленинграду. Но нет, даже мы знали далеко не все об ужасах режима!

Или такой факт. Всех ссыльных стали вызывать в отделение МВД и предлагали расписаться в бумаге, в которой говорилось, что они сосланы «на вечно». Именно так: «На вечно»! Все, с кем я разговаривал на эту тему, расписались. Я же категорически отказался. По приговору Особого Совещания, я был отправлен в ссылку на пять лет, и я заявил, что

только постановление того же органа, или вышестоящего, может изменить этот приговор. Сотрудники МВД оставили меня в покое.

Вскоре после прибытия в Денисовку я возобновил переписку с друзьями, и некоторые из них не только писали мне, но и посылали посылки. Это было очень существенно. В Денисовке имелась столовая, где я иногда проедал свои скудные гроши, но в продовольственных, с позволения сказать, магазинах по существу ничего нельзя было купить. Например, сахар в магазин практически не поступал: как только его привозили на склад, он распределялся среди местного начальства. Выпекать хлеб начали только перед моим отъездом из ссылки, и за ним стояли длинные очереди. Картофель и муку можно было купить на местном жалком базаре. Местное население и многие ссыльные имели свои огороды и мало пользовались магазинами.

Те гроши, что я зарабатывал, будучи направлен на работу статистиком в райздрав (районный отдел здравоохранения), едва позволяли не протянуть ноги с голоду. Мои сослуживцы были неплохие люди, за исключением заведующей санитарно-эпидемической станцией, довольно противной бабы и ярой сталинистки, но их положение не намного отличалось от моего. Заведующий райздравотделом — интеллигентный казах, пожалуй, единственный представитель национальной интеллигенции в Денисовке и притом очень неплохой человек. Бухгалтер райздрава — ссыльный немец из Поволжья, славный парень, но пьяница. В санэпидемической станции работал также фельдшер Владимир Васильевич Блинов, очень хороший юноша, родители которого жили в Кустанае. С Блиновым у меня установились приятельские отношения, сохранившиеся до настоящего времени.

Немало хороших людей было и среди ссыльных. С некоторыми из них у меня завязалось знакомство, но настоящие дружеские отношения связывали меня только с одной женщиной-москвичкой. Они продолжались до ее смерти в 60-х годах. Любовь Анемподистовна Смирнова, так ее звали, была в предвоенные годы арестована в Москве, где она жила, отбывала срок заключения в Воркутинских лагерях, потом ссылку в Воркуте, затем выхлопотала разрешение поселиться в каком-то городе Московской области (по-видимому, за

пределами пресловутого «сотого километра» от столицы), но в дальнейшем была переведена в Денисовку. Здесь она работала медицинской сестрой в больнице.

В августе или сентябре я получил от Димы Ловенецкого известие, что он, как и я, осужден к пятилетней ссылке, но не в Казахстан, а в Красноярский край, и пока еще находится в «Крестах». Я купил свиного сала и несколько пачек махорки и срочно отослал ему посылку. Я хотел поставить Диму в известность о том, что жив, и сообщить ему свой адрес. Мою посылку он получил накануне этапа, что было очень удачно. Через некоторое время я получил от него письмо из Енисейска, откуда узнал, что в сентябре его через Красноярск этапировали в какое-то село на Енисее. Ему посчастливилось перебраться в Енисейск, где он устроился преподавателем в детскую музыкальную школу.

В сентябре и я оставил райздравотдел и перешел в школу-десятилетку учителем рисования. В это время, вопреки существовавшему порядку, мне неожиданно возобновили выплату пенсии, назначенной еще в больнице им. Эрисмана в силу моей инвалидности. Более того, мне выдали ее за все месяцы, прошедшие со дня ареста. Как ни мала была эта пенсия, получение ее сразу почти за полгода сильно меня поддержало. Возможно, за мной признали право на пенсию в связи с явной незаконностью (даже по понятиям сталинского периода) ссылки, о чем я еще буду писать.

Наконец, мне удалось узнать о судьбе моего двоюродного брата Иосифа Косинского. Арестованный в апреле 1951 года, в возрасте двадцати двух лет, он был приговорен к десяти годам заключения в концлагерях и находился в Вологодской области. Причем в его аресте сыграла определенную роль его собственная сестра Надежда. Она, совершенно добровольно, дала показания об его антисталинских высказываниях в домашней обстановке. Кроме того, будучи ярой приверженкой сталинщины, она не стеснялась уснащать ложью свои показания. Позднее выяснилось, что в своих показаниях она писала о том, что настроения ее брата создавались под моим влиянием. Но в сознательном возрасте она видела меня один-единственный раз. Причем, вернувшись с фронта, я воздерживался от критики «великого и мудрого», понимая всю ее бесполезность и опасность.

Юзика, во время его пребывания в лагерях, самоотверженно поддерживала его бабушка Ольга Мартыновна Подобед, о которой я уже писал. Из своей ничтожной пенсии, прирабатывая на восьмом десятке лет частными уроками, она умудрялась посылать ему посылки. Я постарался сколько мог помочь ей в этом. Между мной и Юзиком установилась регулярная переписка: он не боялся мне писать, ибо нам обоим терять было нечего. Но не раз мне становилось не по себе от мысли, что, если не произойдет смягчения режима (а никаких признаков этого не было), ему на всю предстоящую жизнь уготована советской властью та же судьба, какая преследовала меня, а быть может и похуже.

В школе, где я начал преподавать рисование в старших классах, педагогический состав, начиная со старика-завуча (заведующего учебной частью) и кончая местными молодыми учительницами, отличался вопиющей малограмотностью. Исключение составляли трое преподавателей — два учителя немецкого языка и учитель физики. Все они были ссыльные немцы. Кроме них, один молодой русский учитель математики, приезжий, более или менее соответствовал понятию «учитель», когда-то столь почитаемому на Руси. Что касается директора школы, то он, хотя и не имел высшего образования, был грамотным и неплохим человеком и педагогом. Но его беда заключалась в том, что он был пьяницей.

При таком педагогическом составе ученики были очень распущены и оканчивали школу, в подавляющем большинстве, безграмотными, малоразвитыми людьми. А между тем среди них было немало способных и даже талантливых ребят.

Мне пришлось нелегко. Я не имел опыта работы со школьниками, очень любил детей и не умел быть с ними по-настоящему строгим. Кроме того, рисование считалось как бы необязательным предметом, оценка по рисованию не принималась во внимание при решении вопроса о переводе учеников в следующий класс, и это общее для всех средних школ правило способствовало соответствующему пренебрежительному отношению к моему предмету.

Но зато в кружке рисования при «Доме пионера и школьника» (кружок занимал одну комнату в саманной постройке) мне удалось создать более здоровую атмосферу. Тяга в единственный кружок была у детей очень велика. Отбирались в

кружок способные ребята, и он способствовал тому, чтобы и школьные занятия проводились более успешно. Я выписал необходимую литературу, заказал учебные мольберты для классов и кружка. И в результате на «сессии» преподавательского состава, на которую в январе 1952 года собрались все учителя района, впервые появилась выставка школьного рисунка, продемонстрировавшая большой прогресс учеников за одну лишь половину школьного года.

Итак, начало моей работы оказалось хорошим. Но именно на сессии у меня начались неприятности с заведующим районо (районным отделом народного образования). Это был совершенно безграмотный человек, да еще к тому же и жулик, назначенный на относительно важный и ответственный пост только потому, что он состоял в партии, а район был глухим и отдаленным. Поначалу он относился ко мне положительно, понимая, что моя работа в школе, да и кружок, послужат для упрочения его положения в области. На сессии он поручил мне сделать доклад о значении уроков рисования для среднего образования. Я тщательно подготовился к докладу. Но на сессии, явившись совершенно пьяным, он разогнал все секции, созданные из преподавателей различных специальностей. Разогнал в буквальном смысле слова, явившись в самый разгар заседаний. Меня это самодурство не могло не возмутить, и на заключительном заседании сессии я выступил и выразил возмущение его поведением. Меня поддержал инспектор, прибывший из Кустаная.

Последовало возмездие: сразу же был закрыт кружок рисования — единственный школьный кружок в районе, что лишило меня значительной части заработной платы, а осенью 1952 года меня уволили из школы как ссыльного.

Конечно, в жизни я немало себе испортил сам. В 1938 году я мог избежать чудовищных избиений, подписав ложные показания на невинных людей. В Эрмитаже я мог избежать враждебного ко мне отношения, проявляя угодливость к людям, от которых зависела моя судьба. Так было во многих случаях прежде, так произошло и здесь, в ссылке. Но я не жалею о том, что не продался за «чечевичную похлебку» и не предал традиций своей семьи.

Работая в школе, я невольно обратил внимание на нескольких ребят, выделявшихся из общей массы учеников сво-

им сознательным отношением к учебе и к преподавателям. Среди таких школьников был Шурик Жумагужин, с семьей которого я вскоре близко познакомился. Семья Жумагужиных состояла из отца — Николая (до крещения — Дюсюмбая), казаха, типичного по своей наружности и далеко не типичного по своим личным качествам. Он был исключительно порядочный и хороший человек, несмотря на то, что он и жена его совершенно не знали грамоты. Николай Жумагужин участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен и остался после излечения хромым. Работал он конюхом в райкоме партии. У Жумагужиных было пятеро детей. Они жили в саманной «землянке» и постоянно держали у себя на квартире ссыльных. У них проживали Любовь Анемподистовна Смирнова, о которой я уже упоминал, и древняя старушка, одесситка Розина Векославовна Бопп, сидевшая в карагандинских лагерях вместе с сыном и дочерью. Сын ее умер в лагере. Кроме них, у Жумагужиных периодически жили и другие ссыльные. В частности, очень симпатичный, но и очень больной старик протодиакон из какого-то южного города нашей страны, очень любивший детей. Маленькие Жумагужины называли его дедушкой.

Осенью 1951 года я поселился в семье Манвайлеров — ссыльных немцев Поволжья, выдворенных сюда из города Энгельса. У Терезии Андреевны, моей хозяйки, было пятеро детей, не считая старшего сына, работавшего на шахте в Караганде, и еще двух, маленькими умерших от голода в 1940-х годах. Сама она, будучи сердечнобольной, очень много работала по дому. Ее муж Александр Яковлевич, несколько лет пробывший в Сибири на принудительных работах (в так называемой «трудармии») и вернувшийся оттуда инвалидом, работал сначала конюхом в ветеринарном пункте, а потом был переведен в санитары. Старший из сыновей, живших в Денисовке, девятнадцатилетний Виктор, трудился в сапожной мастерской, второй, семнадцатилетний Эдуард, поступил работать конюхом, сменив на этой работе своего отца. Пятнадцатилетняя Минна помогала матери в домашнем хозяйстве, училась в школе и занималась в моем кружке. Двенадцатилетний Артур учился в третьем классе и ухаживал дома за свиньей, курами и кроликами. Только двухлетний Володя еще не имел трудовых обязанностей.

Семья моих хозяев была многочисленной и все члены ее трудились, но все-таки жили они очень плохо. Трудиться с утра до вечера, получать скудные гроши, не рассчитывать на лучшее будущее и молчать — такая судьба была уготована этой семье, как и многим ссыльным немецким семьям, на долгие годы вперед, если не навсегда — по трудно постижимой сталинской справедливости. У меня сохранилась фотография, на которой я запечатлен в кругу семьи Манвайлеров. Супруги Манвайлер сидят на фотокарточке посередине — Александр Яковлевич с характерными маленькими усиками а ля Гитлер (выражение немого протеста?), Терезия Андреевна с лежащими на коленях натруженными руками...

Как ни дружно мы жили с Манвайлерами, но все-таки мне хотелось иметь отдельную комнату, «свой угол». И вот весной 1952 года я договорился с одним ссыльным, у которого был свой дом, что с моей помощью он пристроит одну комнату и я перееду к нему. Пришлось мне стать строительным рабочим, месить саман и глину и помогать моему новому хозяину. На эту новую квартиру я переехал в июле. Хозяин ее, Иван Максимович Калмыков, был ссыльным уральским казаком. Меня предупреждали, что у него «мозги набекрень». Это было неверно. Просто человек с «кулацкой» психологией, т.е. завзятый, убежденный «единоличник», но человек очень трудолюбивый. Он постоянно работал на стройке — то строил саманные домики, то дома для местных учреждений, при своем домишке разбил отличный огород, причем для поливки этого огорода, не имея лошади, сам впрягался в телегу с поставленной на нее бочкой и возил воду из Тобола, находившегося за несколько кварталов.

Жил он с женой, бывшей шахтеркой, и двумя дочерьми. У него была еще старшая дочь, отбывавшая срок заключения, куда она попала из Денисовки, с должности кассирши столовой. Я занял в доме Калмыковых отдельную комнатушку с тамбуром, в котором поставил керосинку и стряпал на ней примитивный обед.

В самом начале лета ко мне пришел старичок протодиакон, живший у Жумагужиных. Он просил меня позаниматься русским языком с сестрой Шурика — Раей, отстававшей по этому предмету. Обычно он сам помогал в учении детям своих хозяев, к которым очень привязался. Но какой-то тяжелый

недуг принял у него настолько острую форму, что его направляли в больницу, в Кустанай, откуда он уже не чаял вернуться. Получив мое согласие заниматься с Раей, он уехал в Кустанай и там умер в больнице.

В это лето друзья прислали мне масляные краски, и я стал прирабатывать «живописью», выполняя заказы местного населения. Правда, в Денисовке уже был художник, тоже ссыльный, и следует сказать, что его продукция пользовалась у местного населения несравненно бóльшим спросом, чем моя. Он нигде не учился и не умел писать. И все же... Населению нравились пейзажи этого художника — с голубым небом, ярко-синей водой озер, в которой плавали белые лебеди. Красок он не смешивал, а если он писал людей, то черты лица обводил сажей. Однако, несмотря на конкуренцию, я все же кое-что зарабатывал. К тому же работа такого рода давала мне много приятных минут.

Подошла осень, и перед самым началом занятий в школе я был уволен. Это нанесло мне порядочный материальный ущерб, но все-таки у меня оставалась пенсия и мизерный приработок от занятий живописью. А кроме того, я привык довольствоваться малым.

Когда начались занятия в школе, Николай Жумагужин рассказал мне, что его вызвал новоназначенный директор школы и объявил, что у Шурика настолько слабые успехи, что необходимо принять срочные меры, иначе его из шестого класса, в который он перешел в этом году, переведут обратно в пятый. Николай просил меня заняться с сыном, за что он будет мне платить. Это был беспрецедентный случай. В деревне, какой по существу являлась Денисовка, не было принято нанимать репетиторов. Я дал согласие и с этого времени всю зиму занимался с Шуриком. Его не перевели обратно в пятый класс, и более того, не оставили на второй год в шестом: весной он, правда с грехом пополам, перешел в седьмой класс. Но заниматься с ним было очень тяжело. Способности у него были, однако культурный уровень очень уж низкий. За уроками мы просиживали часами.

Мы часто с ним беседовали на разные темы. Он никогда не выезжал из родной Денисовки и с интересом слушал мои рассказы о больших городах. Я иногда спрашивал его: а что

если неожиданно меня возвратят в Ленинград, поехал бы он со мной? И он всегда отвечал, что поехал бы с радостью.

Правда, такая возможность казалась мне несбыточной. Да, вероятно, не только мне. Пока всем заправляет Сталин, ожидать смягчения режима не приходилось. А кавказские народности славятся своим долголетием.

5 марта 1953 года он умер, и сколько людей испытали страх: что-то теперь будет! Мне лично и миллионам таких, как я, уже нечего было бояться.

Известие о смерти Сталина вызвало в стране, среди малоинтеллигентных людей, нечто вроде массового психоза: какую-то неодолимую тягу в Москву. Люди ехали, как говорят, на подножках и даже на крышах переполненных поездов, чтобы увидеть покойника в зале, где он был помещен на несколько дней для «всенародного прощания» с ним. А в Москве произошла новая «Ходынка» — в давке и смятении рвущихся посмотреть на мертвого диктатора пострадало несколько сот человек, многие из них были задавлены и затоптаны насмерть.

Уже 27 марта вышел указ об амнистии со снятием судимости с тех, кто был приговорен не более чем к пяти годам заключения или ссылки. Ни моя двоюродная сестра Ольга Константиновна Клименко, девятый год безвинно отбывавшая «наказание» в лагерях, ни двоюродный брат, Иосиф Косинский, осужденный за два года до смерти Сталина на десятилетний срок, не «подпадали» под эту амнистию. А мне предстояло освобождение. Правда, оно затянулось из-за ряда формальностей. Прежде всего следовало выдать мне паспорт, которого ссыльному иметь не полагалось. Для оформления паспорта послали запрос в Кронштадт, где я родился. Прошло довольно много времени, прежде чем нужная выписка из метрической книги была получена. Но... пришедшая бумажка почему-то не была скреплена печатью. Пришлось снова запрашивать эту злосчастную выписку.

А я волновался. Почти каждый день я выходил из Денисовки и шел по дороге к Кустанаю. Так уж странно устроен человек: мне казалось, что это приближает меня к Ленинграду. Но приходилось вновь и вновь поворачивать обратно и ждать. К дороге я был уже готов. Деньги на дорогу мне прислали друзья, и среди них Мария Михайловна и товарищи

по Эрмитажу. Я написал письмо одному из них — Михаилу Васильевичу Доброклонскому, в дружеском расположении которого я не сомневался. Он прислал мне ответ, из которого следовало, что я, по-видимому, могу надеяться на продолжение работы в Эрмитаже. Но он советовал в этой связи зайти, проездом через Москву, в министерство культуры и поговорить там о возможном моем возвращении в Эрмитаж.

В свое время, еще не зная, когда и как закончится моя ссылка, я обещал Шурику Жумагужину взять его с собой в Ленинград. Теперь Шурику было уже 16 лет. Он здоров, неприхотлив, неизбалован. Почему бы не пуститься в дальнюю дорогу вместе с другом, которого не устрашат возможные лишения и для которого я, во всяком случае, смогу сделать больше, чем в Денисовке?

Шурик, по-видимому, ждал, что я вернусь к давнему разговору. Он с энтузиазмом ответил согласием на мой вопрос, не передумал ли он ехать со мною. Тогда я обратился к его родителям. Они понимали, что на меня можно положиться, что я помогу Шурику «выйти в люди». А что ждало его здесь? Шахта в Караганде или работа конюхом в райкоме, после ухода отца на пенсию? Они дали согласие.

Надлежащая бумага из Кронштадта все не приходила. Начальник милиции в Денисовке сказал мне, что без выписки из метрической книги может быть выдан только «трехмесячный» паспорт — действительный срок на три месяца. Он не советовал мне его получать, так как с ним, по всей вероятности, не пропишут в Ленинграде. Лучше уж еще подождать и получить полноценный пятигодичный паспорт. Но ждать дольше я уже не хотел. Я сказал ему, что если меня захотят прописать, то пропишут и с трехмесячным паспортом, а если не захотят, то не пропишут ни с каким.

Трехмесячный паспорт мне выдали. Настал день нашего с Шуриком отъезда. Мать Шурика плакала. Отец тоже уронил слезу. Прощаясь, он просил меня следить за тем, чтобы сын не начал курить, и выразил надежду на то, что мне удастся определить Шурика в ремесленное училище.

До Кустаная мы ехали на грузовике четыре часа. Оказалось, что купить железнодорожные билеты не так-то легко, надо ждать несколько дней. Эти дни мы провели в семье Блиновых — родных Владимира, работавшего со мной в

денисовском райздраве. Самого Володи не было — он был призван в вооруженные силы и служил на Тихоокеанском флоте. Дома находились его отец, мать, сестра и трое братьев — семья очень симпатичная и дружная.

Нас приняли с большим радушием. В Ленинграде они просили разыскать еще одного из сыновей, Бориса, учившегося в военно-морском училище. Мы исполнили их просьбу, повидались с Борисом, и сейчас, спустя двадцать лет, капитан второго ранга Борис Васильевич Блинов — один из моих друзей.

Не желая стеснять Блиновых, мы ежедневно обедали в столовой. И вот однажды, сидя там, мы услышали по радио сообщение о злодеяниях и аресте Берии. В тот же день глава семьи, Василий Илларионович Блинов, член партии, вернулся домой с работы совершенно обескураженным.

— Ничего не понимаю, — твердил он, — арестовали Берию! Так в один прекрасный день могут снять и Молотова!

Я ничего ему не сказал, но в душе радовался, что наконец пришел конец этому негодяю и палачу.

Берия в правительственном сообщении был объявлен не только преступником, повинным в расправе над многими людьми, но и... агентом британской разведки, начиная с 1919 года! Наверное, те, кто искренне плакал в связи со смертью Сталина и пугался, как же дальше существовать без Сталина, — наверное, эти люди, давно оболваненные назойливой многолетней пропагандой, приняли на веру и это утверждение.

Вместе с тем, объяснение ареста Берии говорило скорее всего о том, что все еще остаются в силе прежние, сталинские, методы оболванивания масс, а значит — и прежние методы управления со всеми их прелестями. Перемен действительно важных, которые принесли бы свободу моим близким и миллионам других людей в нашей стране, ожидать было еще рано. Падение Берии означало только, что наверху идет ожесточенная борьба за власть — но исход ее был еще далеко не ясен.

## *Глава 29. Новые времена, новые веянья?*

В Москве мы с Шуриком остановились в районе Арбата, в крохотной комнатке Марии Михайловны Денисовой. Зайдя в министерство культуры, я получил там заверения, что если нынешний директор Эрмитажа, профессор М.И. Артамонов, не будет возражать, то меня восстановят на работе. Я вышел из министерства в самом радужном настроении, и были минуты, когда я готов был, вопреки всему, что написано выше, искренне сказать: «Поистине, времена изменились!»

Но нет, с этим заключением я, кажется, поторопился. Когда, прибыв в Ленинград, мы с трудом подыскали комнату на Петроградской стороне, в квартире незнакомой мне ранее вдовы, выяснилось, что прописаться в городе мне будет не так-то легко. То есть меня просто не прописывали в Ленинграде. Я подал, как это полагалось, документы в отделение милиции. Меня вызвали туда, учинили издевательский допрос и взяли с меня подписку о том, что я должен покинуть Ленинград в течение суток и выехать за пределы стокилометровой зоны, окружающей город.

Один из моих ленинградских друзей, Алексей Александрович Васильев, в этот период работал заместителем директора Музея Ленина и уже подыскал мне работу, правда временную, в Театральной библиотеке. Для устройства на эту работу я должен был вступить в инвалидную артель «Культбытобслуживание», а для этого, в свою очередь, непременно требовалась прописка в Ленинграде.

Получив предписание покинуть Ленинград, я поехал к Васильеву в Мраморный дворец на берегу Невы, где помещается Музей Ленина. Выслушав меня, Леша Васильев посоветовал мне обратиться к начальнику ленинградского управления милиции, генералу, Герою Советского Союза Ивану Владимировичу Соловьеву, участнику войны и, по словам

Леши, прекрасному человеку. Именно это свойство генерала заставляло работников милиции всячески ограждать его от непосредственного общения с просителями.

И действительно, несмотря на попытки соединиться с Соловьевым по телефону правительственной связи, установленному в кабинете директора музея, Леше это не удалось. Он сел в машину и поехал обедать в Смольный, а мне порекомендовал съездить к директору Театральной библиотеки, Михаилу Петровичу Троянскому, и взять у него отношение к начальнику милиции. Потом я должен был вернуться в Музей Ленина, куда к тому времени возвратится и Леша, с тем, чтобы продолжать ловить по телефону генерала.

Троянский оказался отзывчивым человеком. Выяснилось к тому же, что он, как и я, окончил в свое время Высшие государственные курсы искусствоведения, только другое, Театральное отделение. Он составил письмо к начальнику милиции, но тут встал вопрос, как его адресовать. Он не знал фамилии генерала, а я забыл ее и не мог вспомнить. Не то Савельев, не то Леонтьев. Тогда я взял трубку обыкновенного, отнюдь не правительственного, телефона, который стоял в Театральной библиотеке, и позвонил в Управление милиции по первому номеру, указанному в телефонной книге. Мне ответил низкий голос:

— Управление милиции. Что вам нужно?

— Будьте добры сообщить мне фамилию начальника управления...

— С вами говорит начальник управления. Что вам нужно?

— Я прошу разрешения встретиться с вами, товарищ генерал!

— Зачем?

— Я возвращен из ссылки, и так как у меня не сохранилась квартира, отделение милиции взяло с меня подписку о выезде из Ленинграда в 24 часа. Я работал в Эрмитаже, кандидат наук...

— Они поступили правильно. Как ваша фамилия, имя и отчество?

Я назвал.

— Приезжайте завтра ко мне к десяти часам утра.

На другой день в десять часов утра я был у генерала. Он оказался высоким стариком, умным и симпатичным. Мы

беседовали с ним более часа, и, прощаясь и пожимая мне руку, он сказал, что будет рад встретиться со мной при более приятных обстоятельствах. На моем заявлении, на котором стоял штамп милиции «ОТКАЗАТЬ», он написал: «Прописать».

Больше с Иваном Владимировичем Соловьевым я не встречался, но единственная встреча с ним оставила у меня самые хорошие воспоминания.

Прямо от генерала я проехал в отделение милиции, находившееся против того дома, где я снял комнату. Резолюция генерала произвела там такое впечатление, что мне стало неприятно за подхалимствующих людей. Тот самый милицейский чин, который брал с меня подписку о немедленном выезде из Ленинграда, преобразился в сюсюкающего доброжелателя:

— А Сашеньку вы тоже будете прописывать?

Шурика он ни разу не видел, но слово начальства обратило его враждебную суровость в саму любезность и напомнило мне чеховского «хамелеона».

Если вопрос с пропиской был таким образом улажен, то вопрос о моем восстановлении на работе в Эрмитаже так и остался нерешенным. На посланное мною письмо я получил ответ из Главного Управления изобразительных искусств министерства культуры, где сообщалось, что «в настоящее время из-за отсутствия вакансий Государственный Эрмитаж не имеет возможности восстановить вас в этой должности. При появлении соответствующей вакансии ваша просьба о восстановлении в должности старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа будет удовлетворена». Такой обнадеживающий ответ был получен мной в июне 1954 года. Но время шло, и надежды мои таяли. В ноябре я снова напомнил о себе письмом в Главное управление изобразительных искусств. Пришел ответ, в котором говорилось, что в случае положительного решения вопроса о выделении Эрмитажу дополнительных штатов на следующий 1955-й год я могу быть восстановлен, «на что есть договоренность с директором Эрмитажа т. Артамоновым М.И.».

С Михаилом Илларионовичем Артамоновым я ранее знаком не был. Когда я пришел к нему, он постарался не сказать мне ничего определенного. Наконец, Эрмитаж полу-

чил дополнительные штаты, я снова неоднократно наведывался к Артамонову, но опять-таки без толку. Профессор Артамонов, непонятно почему, избрал такой странный способ отказывать мне: он ссылался на то, что Владимир Францевич Левинсон-Лессинг, заведующий Отделом Запада, куда входило и Отделение оружия, «не дает на меня заявки». Между тем, Владимир Францевич заверил меня, что не один раз обращался к директору Эрмитажа, настаивая на моем восстановлении в отделе.

Я был уверен, что упорство Артамонова является результатом воздействия на него секретаря партийной организации Эрмитажа Васильева, с которым у меня еще до ссылки в Денисовку сложились откровенно неприязненные отношения и который сыграл роль в моем увольнении из Эрмитажа и, возможно, в последовавших за ним событиях.

После очередного разговора с Владимиром Францевичем мы решили сделать так: я приду еще раз к Артамонову, а Владимир Францевич будет ждать меня у его кабинета. Если директор опять сошлется на него, я попрошу его войти, и он опровергнет это утверждение.

Так и сделали. Артамонов снова начал уверять меня в задержке моего оформления из-за заведующего Отделом Запада. Тогда я сказал, что Левинсон-Лессинг ждет в соседней комнате и готов сейчас же сделать все, что нужно. Сидевший передо мной в кресле плотный пожилой человек, занимающий пост директора Эрмитажа, более уже не мог лгать. Но он не смутился:

— Михаил Федорович, вы забываете, что кроме заведующего Отделом Запада в Эрмитаже еще существует партийная организация.

Михаил Федорович ничего не забыл. Но чтó было отвечать на это? Я выразил сожаление, что он так долго скрывал от меня истинные причины, сказал, что больше не буду к нему обращаться, и ушел. Мы долго бродили по окрестным улицам с Владимиром Францевичем, тоже возмущенным, но старавшимся меня успокоить.

Конечно, для меня это был тяжелый удар. Я вспомнил своего деда, о котором писал в этих записках, и то, как III отделение лишило его возможности заниматься делом на-

родного образования, которому он посвятил почти всю свою недолгую жизнь.

Как ни привык я ко всякого рода низостям, перед моими глазами вновь и вновь вставала незначительная физиономия нынешнего директора, способного так спокойно и уверенно лгать.

М.И. Артамонов оставался на посту директора Эрмитажа до 1964 года, когда его заменил Б.Б. Пиотровский. Но мне уже не суждено было вернуться в Отделение оружия. В шестидесятые годы его возглавлял кандидат искусствоведения Леонид Тарасюк. Времена, казалось бы, изменились, — однако и он ухитрился навлечь на себя недовольство властей. Поскольку в нашей стране нет соответствующего периодического издания, он несколько раз позволял себе посылать свои оружиеведческие работы для опубликования в журнале, издающемся в Лондоне. Ему официально, хотя и в форме дружеского предупреждения, посоветовали прекратить отправление статей за границу. Затем последовал суд над Тарасюком и заключение его в лагерь — будто бы за «незаконное хранение оружия» в квартире. При этом суд не счел нужным вдаваться в такую мелочь, как определение, является ли найденная у Тарасюка вещь коллекционным предметом или же нелегально хранимым предметом вооружения, опасным для окружающих. Финал этой истории таков: отбыв наказание, Тарасюк с семьей подал заявление с просьбой разрешить ему как еврею выезд в Израиль, и наша страна, и в частности Эрмитаж, потеряли еще одного оружиеведа. Очень способного, нужно добавить.

Состоя в 1955 и начале 1956 г. в инвалидной артели, я зарабатывал немногим меньше, чем получал бы в Эрмитаже. А с самого начала 1956 года, по рекомендации моих ленинградских друзей, я получил место главного хранителя музея Академии Художеств. Ставка главного хранителя (то есть заместителя директора по научной части) в академическом музее в два с половиной раза превышала мою ставку в Эрмитаже. Здесь я проработал до сентября 1966 года и отсюда ушел на пенсию. Но работа в этом музее была далека от специальности, которую я очень любил и в которой достиг больших знаний.

В течение 1956 года я был реабилитирован по тем «делам», которые привели меня в тюрьму и концлагерь в тридцатых

годах и опять в тюрьму и ссылку в 1951 году. Причем еще до этой реабилитации последняя ссылка была официально признана незаконной. Вот как это произошло.

Я уже рассказывал о том, что в 1951 году мне предложили подписать протокол окончания следствия дважды, причем вторичное подписание состоялось на другой же день после первого и оба раза при этой процедуре присутствовали разные прокуроры по надзору.

В 1955 году, считая себя невиновным в каких бы то ни было преступлениях и добиваясь реабилитации, я пришел в городскую прокуратуру и встал в длинную очередь к секретарю, чтобы записаться на прием к прокурору города. Стоя в очереди, я уже не впервые думал об этом эпизоде, о том, зачем «органам» понадобилось срочно аннулировать уже подписанный мной протокол и заставлять меня подписать другой, притом в присутствии нового прокурора. Первый, мне казалось, с симпатией отнесся ко мне во время моего спора со следователями. Второй был совершенно не знаком с моим делом и, помнится, выразил удивление, когда я сказал, что меня считает социально опасным элементом то государство, за которое я пролил кровь на фронте. Не могло ли быть так, что первый из прокуроров опротестовал мнение «органов» о необходимости сослать меня как ранее репрессированного, и тогда призвали другого, более покладистого?

Я стоял и размышлял об этом, а в это время в комнату вошел человек небольшого роста в прокурорской форме и что-то сказал секретарю.Я подумал, а вдруг это тот самый прокурор, который присутствовал при подписании первого протокола. Видел я его только один раз и не помнил его наружности. Но, как говорится, «что-то меня толкнуло». Я вышел из комнаты и последовал за ним. Прокурор вошел в какую-то дверь. Выждав несколько минут, я постучал. «Войдите», — послышался голос из-за двери. Я вошел и очутился в маленьком кабинете. Кроме прокурора, в нем никого не было.

— Простите, но мне кажется, что вы прокурор, присутствовавший при подписании моего дела в 1951 году.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Я действительно прокурор по надзору. Но, посудите сами, через мои руки прошло столько дел, что невозможно запомнить всех обвиняемых!

Я уже хотел извиниться и уйти, когда он, продолжая всматриваться в меня, проговорил:

— Постойте, а это не у вас было дело, связанное с графским титулом?

— Только не с графским, а с баронским...

— Теперь я вас припоминаю. Да, я действительно присутствовал при подписании протокола окончания вашего следствия.

Тогда я рассказал о вторичном подписании протокола на другой день и с другим прокурором. «Это очень любопытно», — произнес он и спросил, что я делаю в прокуратуре. Я ответил.

— Обязательно подробно изложите эту историю в своем заявлении. Назовите и мою фамилию, — прокурор назвал свою фамилию, которую, к сожалению, я теперь забыл. — Потом, не стойте в очереди, это ненужная трата времени. Подайте заявление в канцелярию прокуратуры, оно обязательно будет рассмотрено. Заявление пишите покороче, но, повторяю, подробно изложите случай с подписанием.

Я видел его еще только раз. Через несколько дней меня вызвал другой прокурор. Перед ним лежало толстое дело — мое дело. Он сказал, что дело 1938 года пойдет в высшую инстанцию,а что касается постановления Особого Совещания о ссылке, вынесенного в 1951 году, то мне выдаст «справку», удостоверяющую его полную незаконность, прокурор города. И прибавил:

— Вы имели право не ехать в ссылку.

Я невольно улыбнулся и заметил ему, что, когда направляют этапом, через тюрьмы, под конвоем, ни о каком праве остаться, не ехать не может быть и речи.

Вот текст бумаги, выданной из городской прокуратуры:

«25 августа 1955 г.

Гр. КОСИНСКОМУ М.Ф.

гор. ЛЕНИНГРАД, Лахтинская ул., дом 14, кв. 24.

В ответ на Ваше заявление о пересмотре дела, по которому Вы осуждены в 1951 году к ссылке, сообщаю, что по этому делу Вы считаетесь лицом не имеющим судимости, незави-

симо от Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 27 марта 1953 года — «Об амнистии».

ЗАМ. ПРОКУРОРА города ЛЕНИНГРАДА

Старший Советник Юстиции (подпись) ТИХОМИРОВ».

Я был приговорен Особым Совещанием — которое само было незаконным, ибо неконституционным, органом — три раза:

Постановление от 23.III.1935 — 5 лет ссылки в Казахстан. Отменено тем же органом 2.IV.1936. Постановление от 10.XI.1939 — 5 лет лагерей. Реабилитация Президиума Ленинградского городского суда 13.I.1956. Постановление от 28.IV. 1951 — 5 лет ссылки в Казахстан. Реабилитация Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 12.III.1956.*

Одновременно или почти одновременно со мной были реабилитированы многие миллионы мертвых и живых людей. Уже одно это показывает, что́ представлял собою сталинский режим. Но даже на этом фоне то, что произошло со мной, встречалось не так уж часто: меня реабилитировали трижды. И когда я хлопотал о выделении мне комнаты взамен той, которой я лишился в связи с арестом и ссылкой 1951 года, мне сначала было сказано, что меня «поставят на очередь», однако эта очередь дойдет до меня очень нескоро, ибо таких, как я, великое множество. «Да, но я полностью реабилитирован...» — «Ну и что же? Все, кого мы ставим на очередь, полностью реабилитированы». — «Да, но я полностью реабилитирован трижды!» И этот довод возымел свое действие: я получил комнату площадью 13 квадратных метров (в квартире, где проживало еще две семьи и куда мы въехали вдвоем с Шуриком Жумагужиным) вне очереди, незадолго до того, как получил работу в Академии Художеств.

В июле 1955 года был освобожден из лагеря («амнистирован») и вернулся в Ленинград, проведя в заключении около половины назначенного ему десятилетнего срока, мой двоюродный брат — Иосиф Алексеевич Косинский. В 1958 году состоялась посмертная реабилитация его отца — Алексея

* Это говорит о том, что приведенный выше документ был как бы неполноценным и понадобилось еще решение Верховного Суда.

Михайловича. Спустя двадцать восемь лет после его смерти в Соловецком концлагере «особого назначения»...

Посмертная реабилитация ожидала и Леонида Владимировича Клименко, а его вдова, моя двоюродная сестра Ольга Константиновна, полностью отбыв десять лет заключения, на которые она была осуждена, вернулась в конце концов в Ленинград.

Я не продолжаю этот перечень — он был бы слишком длинным. Да к тому же мне известна поименно лишь ничтожно малая часть невинно пострадавших и погубленных людей. Каждый малограмотный крестьянин, замученный Сталиным и его прихвостнями, был человеком и имеет право на человеческую память. Никто из нас, переживших эти времена в истории нашей родины, не должен, мне кажется, молчать о них. А между тем почти все опубликованные в советской печати мемуары, к сожалению, мало что могут дать добросовестному историку, хотя они подписаны иногда очень известными именами. Об очень многом их авторы умалчивают. А сознательное умалчивание, как известно, — это один из видов лжи.

Причины такой лживости мемуаристов различны. Некоторые государственные деятели, не вполне владеющие литературным языком, приглашали для написания воспоминаний того или иного литератора — обычно бойкого борзописца, а уж тот знал, как нужно втиснуть все личное в прокрустово ложе официальной исторической схемы. Другие авторы, литературно искушенные, сами уже привыкли за долгие десятилетия избегать скользких тем, паче всего бояться резких, то есть правдивых, слов, умалчивать о многом и не доискиваться до истины. Вольно или невольно (бывало, наверное, и так!) они впадали в лицемерие.

Третьи были просто соучастниками преступлений режима.

Мне не очень-то верится, что за долгие годы подличанья, а то и прямо палаческой службы они, как принято говорить, «потеряли совесть». Что могло бы с ними случиться ужаснее этого? Но совсем потерять совесть невозможно, — разве что приглушить ее. Чувство справедливости выстрадано человечеством за много тысячелетий человеческой истории, и оно неистребимо.

История все расставит на принадлежащие ему места — я твердо уверен в этом. Но, оглядываясь в конце своего жизненного пути назад, на те ужасы, которые пришлось пережить, на то море подлости, в котором мы барахтались в продолжение тридцати лет сталинщины и в котором погибли миллионы лучших сынов и дочерей моей родины, моего народа, хочу поставить четыре вопроса и в меру своего опыта и разумения ответить на них.

Первый вопрос таков. Действительно ли Сталин был марксистом и ленинцем всю свою сознательную жизнь? При нем долгие годы на стенах домов, в убранстве зал, на плакатах, на обложках книг был в ходу четырехликий барельеф: Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин. Он сделался настолько распространенным, что стал как бы само собой разумеющимся и не привлекал внимания. Столь же стандартным был лозунг: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — вперед, к победе коммунизма!» После смерти Сталина была, однако, на какое-то время выдвинута версия о «перерождении» Сталина, будто бы испорченного неограниченной и бесконтрольной властью. Мне приходилось читать в этой связи, что, дескать, о возможности появления жутких оборотней в революционной среде высказывался еще прозорливый Энгельс (в одном из писем к Вере Засулич).

Но я в «перерождение» Сталина не верю. Да, он был кровожаден и деспотичен, но во всех своих действиях проявил себя как последовательный сторонник марксистской, ленинской линии. Даже своих ближайших соратников, таких же марксистов, как и он сам, он ликвидировал во имя скорейшего торжества все той же линии, а не только из-за присущей ему мании преследования, как пытались втолковывать нам. Лицо Сталина — это лицо большевизма.

Второй вопрос: что происходило в «верхах» в последние годы жизни Сталина, после войны, выигранной такой дорогой ценой?

Я уверен, что он, совершенно оторванный в эти годы от реальной действительности, готовился напоследок «хлопнуть дверью» — ознаменовать закат своей жизни «освобождением» если не всего мира, то по крайней мере всей Европы. Только этой навязчивой идеей можно объяснить и лихорадочное наращивание вооружений, хотя никакой реальный

противник после разгрома Гитлера нашей стране не грозил, и свирепую «чистку» тыла, и попытки взорвать некоторые западные страны (например, Францию, которая будто бы уже созрела для этого) изнутри... И только смерть сняла его палец с «ядерной кнопки», которую он, по-видимому, намеревался нажать в том же 1953 году. Ему, 73-летнему старику, уже нечего было терять, а перспектива добиться мирового господства, которое история связала бы с его именем, была столь заманчивой! Но его ближайшие приспешники, лучше представлявшие себе и положение в стране, и тогдашнее соотношение сил в мире, понимали, что война означала бы катастрофу — не в последнюю очередь для них. Правда, выбора-то у них не было: смерть Сталина тоже означала для них немалую опасность. И действительно, история показала, что в последовавшей кремлевской драке спаслись не все.

Третий вопрос: за двадцать лет, прошедших после смерти Сталина, было ли народу честно и правдиво рассказано хотя бы о самых страшных злодеяниях сталинского периода? Нет, этого по понятным причинам сделано не было. Схема осталась примерно такой: все, что происходило до 1930 или даже до 1937 года, было возвышенным и героическим. Но вот вдруг страшную силу набрал переродившийся Сталин, совершил крупные ошибки, которые, впрочем, смягчались «коллективным разумом партии» и роковыми для страны не стали («А иначе как же мы войну выиграли?!» — и т.д.). Но даже и совершая ошибки, Сталин в основном правил мудро — он индустриализировал страну, из отсталой сделал ее «самой передовой», он реформировал сельское хозяйство, войну мы выиграли благодаря его руководству — и устремились, как принято было выражаться устно и в печати, «к сияющим вершинам коммунизма»... Причем с самого начала чудовищные преступления были глумливо названы «культом личности и его последствиями». Этот термин, над изобретением которого, должно быть, немало поломали голову кремлевские «идеологи», может только ввести в заблуждение: ведь сам по себе «культ» той или иной личности еще не ведет к преступлениям. Культ Сталина был у нас, в страхе перед идеологическим вакуумом, сразу же замещен культом давно умершего Ленина, — ну и что же, разве от культа Ленина кто-либо пострадал?

Четвертый вопрос: может ли все пережитое нашим поколением повториться? Может и уже повторяется — в Китае, например, в сходных условиях, на питательной почве коммунистической диктатуры.

Человеческая память слишком коротка, вот в чем беда.

*1967–1972. Ленинград.*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ACHEVÉ D'IMPRIMER
EN MAI 1995
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 191-95

## Серия «Наше недавнее»

Вышли из печати:

1. Н.В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии.
2. Н.А. Кривошеина. Четыре трети нашей жизни.
3. О.А. Хрептович-Бутенева. Перелом (1939–1942).
4. А.В. Герасимов. На лезвии с террористами.
5. Кн. Е.Н. Сайн-Витгенштейн. Дневник (1914–1918).
6. Ф.Я. Черон. Немецкий плен и советское освобождение.
   И.А. Лугин. Полглотка свободы.
7. П.Н. Палий. В немецком плену.
   Н.В. Ващенко. Из жизни военнопленного.
8. В.А. Оболенский. Моя жизнь, мои современники.
9. Н.В. Палибин. Записки советского адвоката (20-е – 30-е годы).
10. Кн. Сергей Евг. Трубецкой. Минувшее.
11. Н.П. Окунев. Дневник москвича.

ISBN 2-85065-236-9